ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

1987

10 НОВЫЙ МИР 1987

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 10 Октябрь, 1987 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

АНДРЕЙ БИТОВ — **Пушкинский дом,** роман 3

ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВ — **Скажи, что знаешь,** стихи 93

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — **Никаких подобий,** стихи 96

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ — **Рассказы** 97

БОРИС ЧИЧИБАБИН — **Печаль моих поэм,** стихи 121

СЕРГЕЙ МАРКОВ — **Три стихотворения.** Публикация Г. П. Марковой 125

КЕН КИЗИ — **Над кукушкиным гнездом,** роман. Окончание. Перевел с английского В. Голышев 126

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС СЛУЦКИЙ — **Современные размышления,** стихи. Публикация и предисловие Юрия Болдырева 173

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. АЙЗЕРМАН — **Тревожиться и думать.** Из заметок словесника 180

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ. Стихи. Письма. Воспоминания о поэте. Предисловие **Эммы Герштейн.** Публикация «Стихов о неизвестном солдате» и комментарий **И. М. Семенко**. Публикация писем родным и комментарий **Е. П. Зенкевич** и **П. М. Нерлера. Н. Е. Штемпель** — Мандельштам в Воронеже. **С. С. Аверинцев** — Вместо послесловия 194

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Стр.

ЛЕОНИД БАХНОВ — **Возвращение** 237

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — **Поиски абсолюта.** К вопросу о милосердии, о котором напомнил Д. Гранин 245

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 254

Г. Петрова. Будем помнить.
Адольф Урбан. «Жизнь, а не роль».
Аркадий Гаврилов. Биография и судьбы.

Политика и наука 260

К. Челищев. На пути в незнаемое.
Петр Черкасов. Не только пропаганда.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. СОЛОВЬЕВ — **Долги, по которым нечем платить...** 265

С. БОБКОВА — **Автор бьет прямо в цель!** 267

КОРОТКО О КНИГАХ:

М. Каменская.— Галина Корнилова. В сторону Садового кольца. Рассказы. ✦

А. Немзер.— П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. ✦

И. Мочалов.— И. М. Забелин. Мудрость географии. ✦

О. Белозерова.— К. Сытник, В. Галузинская. Ботанические тетради. ✦

В. Ковалев.— Эразм Роттердамский. Философские произведения 268

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

© Журнал «Новый мир», 1937.

АНДРЕЙ БИТОВ

★

ПУШКИНСКИЙ ДОМ*

Роман

А вот то будет, что и нас не будет.

Пушкин, 1830.
(Проект эпиграфа к «Повестям Белкина»)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Пролог, или Глава, написанная позже остальных)

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге.

Н. Г. Чернышевский, 1863.

Где-то, ближе к концу романа, мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор и не мигая 7 ноября на вышедшие на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее вскоре придется поплатиться.

И действительно, утро 8 ноября 196... года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами,

---

Журнальный вариант.

* Название вызывает, как теперь модно говорить, «аллюзии». Они необоснованны. До окончания романа я ни разу не посетил Пушкинский Дом — учреждение, и поэтому (хотя бы) все, что здесь написано, не о нем. Со времени окончания романа в 1971 году все попытки переменить ему название оказались безуспешными: от имени, от символа я не мог отказаться. «Il faut que j'arrange ma maison» («Мне надо привести в порядок мой дом»),— сказал умирающий Пушкин. И русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия — все это так или иначе пушкинский дом, но уже без его курчавого постояльца Академическое же учреждение, носящее это имя,— позднейшее в таком ряду. *(Прим. автора.)*

бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром «назло надменному соседу», а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее,— на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавшись... Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер цвета самолета. Детское слово «Гастелло» — имя ветра.

Он коснулся улиц города как посадочной полосы, еще подпрыгнул при столкновении где-то на Стрелке Васильевского острова и дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив, таким образом, безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь и, подхватив на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную подворотню и, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх... И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный китайский мячик и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город где-то на Стрелке, описав, таким образом, нестеровскую петлю...

Так он утюжил город, а следом за ним по лужам мчался тяжелый курьерский дождь — по столь известным проспектам и набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочаля сырую древесину; напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец — ныне научное учреждение; в том доме на третьем этаже хлопало распахнутое и разбитое окно, и туда легко залетал и дождь и ветер...

Он влетал в большой зал и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном... Да и весь вид этого (судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами) музейного, экспозиционного зала являл собою картину непонятного разгрома. Столы были сдвинуты со своих геометрией подсказанных, правильных мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опрокинут ножками вверх в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним на рассыпанных страницах, безжизненно подломив под себя левую руку, лежал человек. Тело.

На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать «на вид», потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня — белая трава... в спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее... другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы «Север».

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех... Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измоченное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.

Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальнейшем; погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в повествовании хотя бы потому, что действие происходит в Ленинграде...

...Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

Мы склонны в этой повести (курсив мой.— А. Б.), под сводами Пушкинского дома, следовать освященным музейным традициям, не опасаясь перекличек и повторений,— наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, «в ключе» и может быть истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас темой и материалом, а именно: явлений, окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей цели.

Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось современное естествознание, когда материя, дробясь, членясь и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать от попытки разделить ее дальше: частица, волна, квант,— и то, и другое, и третье, и ничто из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а — просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой.

И мы разливаем этот несуществующий эфир в не сохранившиеся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя непраздная форма; мы с удовольствием отмываем слово «флакон» в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока из нее не сверкнет мыльно и хрустально луч детства и не осветит радужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то далеком и немыслимом рукодельном детстве, анисовые капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблице элементов и химической верности... И этот радужный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй в темя и великий роман «Три мушкетера».

И как удивляемся мы внезапной, такой непривычной неспешности и любовности собственных движений, подсказанной всего лишь формой и гранью этих склянок... таинственно прорывающей и останавливающей нашу суету...

Роман-музей...

И в то же время попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным продолжением и никак не нарушив повествование.

Пу
ской
гах Пушки
ко, но о всех,
ских литератур воо
какой литературе мы зад
жали, какой и когда долг
возвращен, какие долги
лишь начинают возвращать-
ся в виде переводов
же как оригинальное твор-
чество, вдохновленное ли-
тературой другого народа,
другого языка.

Как появляется в Кара-
калпакии сонет и какие
особые национальные при-
знаки каракалпакского со-
нета?

Как благодаря переводу
на аварский язык «Медного
всадника» рождается вели-
колепный реализм новейшей
поэзии аварцев?

Из всех этих вопросов и
ответов составилась бы
большая и полезная книга.

оэ
всео
о советск
читателями без
благодаря Сковоро
швили пред
ченковской и пушк

Вообще грузинс
тязь в тигро
щей Роди
кинской
ратуре. Так
ской Руси
швили о пуш
о восемнадц
тературой о
во о полку
никает в мыс

Никогда еще
туре укра
пу?

Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету и полагать, что то, что происходит сейчас в газете и, следовательно, в какой-то мере в мире вообще, происходит во времени романа, и, наоборот, отложив газету и вернувшись к роману, полагать, что и не прерывались его читать, а еще раз перечитали «Введение», чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из намерений автора.

Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимоизвестные, из опыта автора и читателя.

Раздел первый

ОТЦЫ И ДЕТИ

(Ленинградский роман)

Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын...

Тургенев, 1862.

ОТЕЦ

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случалось особых потрясений — она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала.

Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Левы еще не было или он был во чреве. А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости. и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лева.

В младенчестве, правда (Лева был зачат в роковом году), случились с ним, вернее с его родителями, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, «во глубину сибирских руд». Лева помнил это глухо: холодно, мама выменяла кимоно (огромные шелковые цветы) на картошку, а он, Левушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля,— вот этот уголок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, да цвет трехрублевой бумажки он и запомнил. Не мог он ни помнить, ни понимать, что отцу «еще повезло», что таких «мягких» мер вообще не бывает и то, что с ними произошло,— большая удача и счастливый случай потому хотя бы, что деда Левушкиного «взяли» еще в год свадьбы родителей, почти десять лет тому, а их вот все эти годы «не трогали». (А то, что деда взяли еще тогда, это деду тоже «повезло», потому что — «вовремя», позже с ним бы «не так обошлись», а так он перекочевал из ссылки в ссылку и только...) А то, что вестей от деда не было, тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда, а для них: мало ли как он там и что он там... Не говоря об остальных, «закордонных», родственниках — оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, «могло быть хуже». Но Леве эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать и потом, когда бы мог если и не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, с Левой, обратилось каким-то образом в так называемое военное детство. Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было.

Все в конце концов по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование «живого» деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать по-прежнему в университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец (единственное, что знал Лева о деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и старела.

Лева рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед, не гуманитарием, а скорее уж биологом... Эта наука казалась ему более «чистой», вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину, и ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камилавка. «Как отец, но покрупнее, чем отец...»

Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Мальчишей, ни Кибальчишей (не сознавая, что его заслуга — вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых; причина не объявлялась и не выяснялась — она исполнялась...). И быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который в его представлении полагались столь крупные почести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее каким-то образом казалось в его детском мозгу непременным условием

избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово «девицы» и что девицы эти время от времени пили «подслащенную воду». Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный...) мальчик, как Лева, и еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать... Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал «всего» Пушкина и сделал в школе доклад к стопятидесятилетию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была «сила воли», магическая духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели.

Из газет Лева любил читать некрологи ученых. В них находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь — каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество, но это как-то само собой разумелось, такое, и маленький Лева понимал, что без этого самого «труда» все «лишь пустое мечтательство», но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камилавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям (или, как принято говорить почему-то, «заслуженным»), по-видимому, по праву.

Их дом, построенный по проекту известного Бенуа с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна; дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, а кому какое хотелось: кому узкое и высокое, кому фонарь, а кому и круглое — вне симметрии и, однако, с каким-то с легкостью давшимся чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий «либерти» (в лепке, в решетках балконов и лифтов, в местами уцелевших мирискуснических витражах),— этот милый дом был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками (хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно),— потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института.

Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники люди заняты своим серьезным делом, своими растениями... Во время выборов в Советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт, и Лева вместе с родителями поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету?.. Сердце сладко замирало и екало от восторга перед собственным будущим.

Поскольку глава называется «Отец», следует сказать вот что: Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор как он себя помнил, он был влюблен в маму и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол, статист без реплики, лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал играть с Левой, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил пошлость — и Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что со временем каждая мимолетная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть будто отец не был способен даже правильно потрепать Леву по головке — Лева ежился, или посадить на колени — всегда причинит Левушке какое-то физическое неудобство, Левушка напрягался и становился сам себе неудобен; даже «здравствуй» и «как дела?» не получалось у отца, а все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лева смущался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то получалось у отца на одной коленке: «По гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке, по кочкам, по кочкам, в я-му — бух!» — силы хватало... но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедало ему (так, что ли, радовался, что получалось?), приходилось Левушке кончать игру первым.

Так все детство, часто и понемногу видя отца, не знал Лева даже, какое у того лицо: умное ли, доброе, красивое ли... Увидел он его впервые — однажды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге, мама в тот день решилась вымыть окна, Лева ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе... Комната была освещена пополам: пыльным, клубящимся светом и открытым, промытым, весенним солнцем,— и тут, произведя ветер своими широченными чесучовыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белой туфлей в лужицу около таза... Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно,— на мытой и весенней... Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала «Здоровье». Чересчур загорелый и седой (он рано поседел), с юным гладким лицом, большой и громкий, в белой, как его волосы, оттенявшей и так шедшей ему рубашке апаш... здесь положено описать в вырезе крепкую, мужскую, желанную шею... нам противно, шея — была. Лева слишком смотрел на отцову туфлю: на ней быстро намокал зубной порошок,— Лева слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю... Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще лет десять не замечать, какой он с е й ч а с, а представлять себе именно таким, как запомнил т о г д а: загорелым и уверенным,— будто они с тех пор расстались навсегда. И то, наверно, потому запомнил, что отразился отец в ту секунду в маме, отразился незнакомым Леве смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарилась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине... а главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось недомытым... Как мгновенно, однако, отражается в нас, бессловно и неосознанно жизнь чужой, чьей-то, тайной любви— мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемые чужим блеском, потом замыкаемся: поздно, не для нас... Впрочем, забегаем: это еще не для Левы,— но почувствовать он тем более мог.

И тут еще эта «история с рублем» обрамила и застеклила случайный этот образ загорелой шеи отца, кем-то, неведомо кем, любимой, уверенной в этой любви к себе, шеи... И рубль-то почти ни при чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка, с пятого этажа, старая кляча, сука, высосанная тремя детьми — и ее надолго

потом возненавидел Лева за этот рубль! — остановила его, прижала где-то в подворотне и, пока Лева стыдился ее, рассказала (и не помнит теперь, к какому слову у нее это пришлось...), как видели в парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой и отец подал нищему целый рубль! Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительна и возмутительна соседке... Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему — такое злачное количество другой жизни ослепило и Леву, и он пошел домой раздавленный. И то сказать — время еще было тяжелое, немногим послевоенное... Ах, как он, Лева, потом, очень потом, через четверть века, узнал, что все они были не стары тогда — молоды! И отцу — под сорок, и маме — тридцать пять, а проклятой соседке тридцати не было.

Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала: «Что с тобой?» Он поотнекивался, чтобы, чуть ли не охотно, расколоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность в справедливости, ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно-спокойно, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало повечерело, все потускнело.

Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало, предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму... мама-ласточка, круглые глаза, двадцати нет, в какой-то чалме на голове... Сличая эти два фото, Лева не мог не удивляться перемене: будто красавец теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах и этот сытый, загорелый бугай в чесучовых клешах («видный мужчина») — одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках — и в прошлом и в сегодняшнем, будто именно эпохи имеют лицо, а один человек — нет.

Лева так однажды решил — что он очень не похож на отца. Даже не противоположность — не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей — тут они действительно имели мало общего, но главным, что ему хотелось (быть может, и втайне от себя) как-нибудь ловко проигнорировать, было не это формальное, а — подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его подростковое и юношеское растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся, неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера... Тут и мама играет совсем определенную роль: постоянно раздражаясь на отца за неизбывность его привычек, как то: есть стоя с ножа или пить из носика чайника,— почти не замечала она, если то же самое проделывал Лева. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид (да ей уже и не приходилось, от натренированности годами, делать его), что не любит отца. Если же Лева ловил в себе отцово движение: скажем, пил, озираясь, на кухне из носика,— то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство.

А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Левино несходство с отцом, и разительное сходство. Но когда пятьдесят на пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал несходство и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом не похожи.

Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды (случай запоздалого развития) на мысли, что он неродной сын своего отца. И даже, пронзенный собственной проницательностью, догадался как-то раз, кто же был его истинный, родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви... Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем.

Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что когда жизнь пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехалась по Леве (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева с жалостью и болью все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим...

В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец — это его отец, что ему, Леве, т о ж е нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу — е г о отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном «тоже» надо рассказывать отдельно.

Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу — написать знаменитую трилогию «Детство. Отрочество. Юность» нашего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями. Если кое-что помнил Лева из детства: несколько избушек, теплушек и пейзажей — война... то об отрочестве Лева почти ничего не помнил, во всяком случае помнил меньше всего. Отрочества у Левы словно и не было — он учился в школе. И он окончил ее.

Итак — сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли — и доли: доли в общем деле — и доли в общей судьбе. Первая — недооценена, как и всякая историческая работа, вторая — так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.

Так или иначе, они ведь себя — «положили»... Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками), не только через годы последовавшей свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости д р у г о г о: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. — и были легкомысленны, а борьба была — серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали свою роль: в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения, с тем чтобы через два-три года «Москвошвей» и «Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как наше, это хотя бы много лишних брюк...

Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о «второй» доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле — части, куске общего пирога, а о доле — судьбе, доле-долюшке. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров... Их раскидало и расшвыряло,

и они — выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том героическом виде — как были бы они жалки среди такого-то достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас (в смысле «достать, доставать»), можно сказать, даром... И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу...

Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого — сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему, героическому времени.

Не заметить его было невозможно. Он — торчал. Все замирали и оборачивались и так оказывались поражены, что даже не смеялись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем,— он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что — господи! — можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова языком слизнула... — потому что он — был все тот же. И что пятнадцать лет прошло — было еще пустяки, а вот что́ за эти пятнадцать лет прошло — это было да! Это была эпоха. Как постепенно, как мгновенно она прошла — никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало, или, как тогда говорили, «прошвырнулось», прошлое...

Это был тот самый пресловутый стиляга начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой — в самом карикатурном даже для того времени, в самом «крокодильском» виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. «Вяткин...» — вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так в с е р ь е з.

Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда... Так и не смеялись — все были смущены: он был сумасшедшим. Он был инвалид. Господи! — подумал я,— как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда о н и любили! Сойти с ума... Да ведь если не прятаться за новый покрой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший...

Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус... Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить! Пусть он отстаивал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату...), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетели, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последующее расширение брюк, но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла...

Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт... Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после т о г о времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задержит на их лицах наш взгляд... Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они — самые знаменитые люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп... Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое по-

коление имена т е х вратарей и т е х центрфорвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд...

Где они были эти ...адцать лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я?.. Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые — э-ле-гантные: все-таки раньше других пестовали свой вкус... Легкий душок фарцовки можно, если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина «Советское шампанское»; что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок!.. Постояли, посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе неизъяснимую печаль: куда пролетели годы?

Да, годы прошли недаром, мы лучше оделись, это стоит жизни... Господи! недопустимо так унижать людей!

Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем, отчаянным, не впадал в смешную крайность — он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно... мы с уверенностью не скажем, что́ и когда воспитывает нас. В университете уже, в пору «Юности» (журнала), приучался он распространяться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем.

Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше... Ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет пять, был вынужден одеться, как в с е. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку года, скажем, на три и приверженность к «добротным» материалам: драпу, шевиоту...

Лева сшил себе первый костюм в 1955 году по английскому журналу на пятьдесят шестой год, и так ему пошел этот костюм, что покорил он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина...

Так что, хотя, поступив в университет, Лева вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, но тут же ему стало не до этого. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным (Лева еще не был критичен) — просто стало лень. Да и пора уже было начать если и не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками все не совсем так и то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис и любит ездить на лоно с этюдником, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит... Хотя отец и не просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические закулисности не посвящал: берег не то Леву, не то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме при всей сдержанности и осторожности что-то не то зашевелилось, не то как-то передвинулся воздух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз, разобрали наконец антресоли и снова сложили — какая-то лишняя энергия, дополнительный свет...

(Так в кино потом много раз будет в молчаливом просветлении герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением, а оттуда — весенний ветерок оттепели... Но и сам режиссер не будет знать, что делает он это потому, что вот с этого времени стало м о ж н о распахивать в фильмах окно.)

Время становилось все болтливее, иногда спохватывалось и тогда

пугалось и озиралось, но увидев, что ничего не произошло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, ученный временем, хоть и не болтал со всеми, выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета, болтал анекдоты его сын Лева... Так он слушал недолго, щурясь лишь из манеры, и, не проявив отношения к сказанному, вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет покуривать табачок, попивать чаек и постукивать на машинке. Так что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и щурился, но это ничего не выражало — это было его манерой.

Время стало собираться в компанию — будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скучиться для удовольствий как бы духовного родства и удивления ближнему: какой он, оказывается, хороший, умный или талантливый,— любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на поверхность его и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска,— умеющие лежать на воде...

Тут и объявляется старик пьяница, о котором мы помянули вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. (А вдруг именно он один и был «к чему»?..) Был он когда-то, когда Левы не было, другом дома, любил бабушку и маму — а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как десять лет назад, стал соседом Одоевцевых.

Лева пришел как-то из университета — обе створки дверей в квартиру были распахнуты — и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с детства знакомых (с которыми у нас отношения...) вещей, как: зеркало овальное, в оправе из золочено-черных виноградных лоз; настольная лампа, бывшая керосиновая (эмаль и бронза); полочка с двумя резными негритятами-амурами (они же авгуры) и длинная, полированная, красного дерева тумба, на которой в детстве Лева играл блошками в футбол, и пуговки особенно замечательно скользили... Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как надо ее выносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его.

Тут увидел Лева отца и мать, готовно и радостно суетящихся, почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные, чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографии, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви... Эта ничем не скрытая, не подавленная, не искаженная отношениями любовь — чистое отражение — поразила Леву в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много позже понял Лева, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что, при чистом по форме бескорыстии, могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Одоевцевых, любви именно друг к другу.

«Ну, Лева! Это же дядя Диккенс!» Лева почувствовал жесткую и горячую руку, увидел — белая фарфоровая манжета, агатовая запонка... «Держи же!..» — и Лева держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую гроздь; на секунду отразился в нем — отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут он отличил старика забытым за неупотребимостью словом «изящество»; но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду: неназванное — удивительно.

Удивительна была Леве эта полная свобода проявления — привлекательность. Привлекательным оказывалось все: брезгливость, суховатость, резкость, блатной аристократизм... И этот синий, в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке сложенный в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти четыре накрест складки,— этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем сезоне: так он был элегантен (Левин английский костюм был сшит для коров и на корову); и вишневые штиблеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком; и рубашка... боже! не может быть на ком попало белой рубашки — они не будут до конца чистыми, вот в чем дело!.. и булавка в галстуке (и это был не галстук, а галстух) — для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо... Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он «отмылся»: такое сразу видно,— он был всегда чист, зримое отсутствие любого запаха... что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл; последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор (впоследствии Лева разглядел у дяди Диккенса особую серебряную щеточку для этого); рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку — зубы дядя Диккенс еще не успел вставить; а глаза — миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские — были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего... К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккенс был высушен и миниатюрен, а маленьким назвать его было нельзя... «Куда прешь, падло!» — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника.

Вещи эти, такие для Левы семейные, оказались на самом деле дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было...

Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что — уже не в словах, воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками,— сидел. В первую мировую — юношей, прапорщиком — был он, значит, царский офицер, в гражданскую вдруг стал красный командир, демобилизовался позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии (с него бы стало) эти три мебели, но квартиры все не было — и он дал их «постоять» Одоевцевым, у которых после возвращения из «эвакуации» ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумилился, расщедрился и подарил их Одоевцевым — но тут получил квартиру. Тогда он сказал, чтобы Одоевцевы. к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему «временно» постоять его подарки, но тут за ним пришли в пустую и не обжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы.

Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Одоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то: бритва «Жиллетт», набор щеток для волос,— и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше.

Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя

на самом-то деле забрал дареные вещи... Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться,— и они были для Одоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика... и тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щи и муху-изюминку, что это будто бы с его отцом было... — он быстро хмелел, налитый брагой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал... А Лева все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и их можно было любить. Личность.

Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну, заваленную, комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону — прямо в сад... Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком (вензель «Н» с палочкой внизу), и все сходились на кухне. Такого Лева и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое... Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, секретную праздность и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться... Мама смотрела на дядю Митю с улыбчатой любовью, и когда отводила взгляд, через сахарницу или ложечку, на отца или Леву — еще не успевала изменить выражение, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливели от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути и, не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью... Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо — позволить другому все о себе...

Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец — так неестественно, а сам Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина),— и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что на самом деле отец его — дядя Митя.

У мамы оказалась «молодая» карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью,— красавец, элегант, благородный сердцеед... Лева постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и — совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов — то не мудрено, рассуждал Лева, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество: Лев Дмитриевич — не хуже Николаевича...

И не то чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру. «Говно» — вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дяди Митиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья — все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом — не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило, вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания.

Лева раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о «чистой» ботанике... Дядя Митя развеял эти остатки Ле-

виного «академического» благоговения, потому что это было тоже «говно». Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт и потому точно знал, что «этот твой» Ботанический институт — давно банка с пауками: чем тише и эстетичней на верхний взгляд, тем, можешь быть уверен, внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня... оттуда-то и потопал он, дядя Митя, по этапу. «Я — хозяйственник. Ну какое мне дело до Менделя и Моргана?! А директор, падло этакое, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов,— и упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. При чем тут Мендель, когда у него по роже видно, что — сволочь!.. Вот и возвел на меня напраслину, ...!» И оттого, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Леве свободно и весело, не знаю, как даже объяснить такой эффект.

ОТДЕЛЬНО О ДИККЕНСЕ

Бессемейный дядя Диккенс потому еще мог быть так л е г к о необходим семейным Одоевцевым, что у него был-таки у одного, а с в о й дом...

Леве нравилось у дяди Диккенса. Нравилось, когда, усадив его на «козетку», сунув ему какую-нибудь «порнографию» для разглядывания, выходил дядя Диккенс на кухню заваривать чай-чифирок, и Лева оставался один. Это была комнатка, созданная для того, чтобы в детстве забираться в нее тайком, через запрет. Именно как не позволенная в детстве книжка была квартирка дяди Диккенса.

Она и вся была забавна, выделенная из большой квартиры в отдельную («поделенная»),— так она была мала, так немного ей досталось от дележа так называемой общей площади (не входящей в ордер) и так в ней в с е б ы л о из того, что никак не могло поместиться, но было необходимо холостому джентльмену, каким и был дядя Диккенс.

Все как бы переехало, вытеснив друг друга: на месте ванной получилась кухонька, вместо «сортира» («туалет» — более неприличное слово, чем «сортир», говаривал дядя Диккенс) — душ; деться было некуда, и унитаз встал в передней под вешалкой (неизвестно, как дядя Диккенс уговорил техника-смотрителя, но он умел разговаривать с н и м и, его воле подчинялись с охотой). Так что первое, что мы видели, входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и изящества,— та же излюбленная дядей Диккенсом линия «либерти» наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сиживал на нем? — дядя Диккенс уверял, что «особы», а теперь он сам, по собственным словам, сиживал, завесившись старой, избитой молью барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю, но мы никогда не заставали его за этим занятием. Казалось, он вообще не отправлял никаких нужд: не спал, не ел, не что-нибудь еще. Он доходил в этом до крайности. «Не плюйся, когда чистишь зубы!» — наставлял однажды Леву. Сам он только пил и мылся. «Дядя Митя чистолюбив»,— шутила мама.

Да и все у старого алкоголика отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма: пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой. И когда Лева выразил однажды восхищение этой безупречностью, тот характерно поморщился и сказал: «Ты просто не знаешь, что такое просыпаться по утрам...» И действительно, стоило застать хоть раз дядю Диккенса в первой половине дня в седой щетине, расхаживающего босо по тесной своей квартирке в белоснежных кальсонах и накинутом на плечи оренбург-

ском пуховом платке, без конца пьющего чаек (он никогда не похмелялся и до вечера, до «восемнадцати ноль-ноль», не пил) и без конца принюхивающегося: «А не кажется ли тебе, что здесь чем-то воняет?» — (первое, что ты слышал, входя) — можно было бы и понять, что́ была для дяди Диккенса его чистота, хотя об окопах и бараках он никогда не говорил. Но вот уж чего он опасался зря — вони у него никогда не было. Это был своего рода эталон отсутствия вони. Лева был вынужден принюхиваться только к себе.

Все было у дяди Диккенса — даже «камин» был. Собственно, не камин, а буржуйка, очень, правда, ладная и толковая, которую он возил за собой чуть ли не всю последнюю войну. Потому что единственно чего не мог привести дядя Диккенс в порядок и соответствие, были его сосуды. Ему постоянно не хватало воздуха, и он страшился вони — поэтому окна были настежь; и он всегда неправдоподобно дрогнул и зяб («Зяблик,— говорила мама,— дядя Диккенс — зяблик») — поэтому гудел его «камин». По дому он ходил то босой, то в валенках. Помирить свои сосуды со средою он уже не мог никогда.

Так его и можно было застать по утрам в кабинете: босого, при открытом окне, в оренбургской пуховой шали и кальсонах, спиной к пылающему «камину», в руках отворенный том — толкового словаря Даля, или «Холодный дом», или «Война и мир»,— и так он был хорош, так м о ж н о было его любить (он так этого не требовал), что Леве всегда по-детски казалось, что он читает другую «Войну и мир», чем все люди, не в том смысле, что по-своему ее прочитывает, а что действительно у него другая книга под названием «Война и мир», с другой тоже Наташей, другим Болконским, тоже Толстого, но другого Толстого... И это правда: не могла она быть той же самой.

Вообще все, связанное с дядей Митей, претерпевало для Левы неожиданное обновление... Даже то, что принадлежало всем людям, например история,— стоило подставить в нее дядю Митю — приобретало необыкновенный оптический эффект: Лева начинал это видеть, будто это и действительно было. Будто вокруг дяди Мити не тускнело — был он как серебро, опущенное в воду времени,— особую пользу такой воды, помнится, пропагандировала бабушка... Лева начинал это видеть, будто ни разу классных сочинений не писал, кинокартин не смотрел, будто на уроках историю не проходили... И нельзя сказать, чтобы дядя Митя много рассказывал — ничего он не рассказывал (не из осторожности, а потому что стало «можно»),— но странное дело: стоило дяде Мите употребить слово «гражданская», или «Отечественная», или «Кресты» — так это уж была действительно «гражданская», «Отечественная», «Кресты» и будто сам Лева там дядю Митю видел. Дядя Митя, очерк души, прямо скажем, не частый, создавал рядом с собою факт простым словоупотреблением. И Лева заглатывал слюну, ощущая во рту металлический вкус подлинности: было, было, однако, все это было. Будто сам дядя Митя своей редкостью и небывалостью, своим исключительным (в смысле исключения) примером подчеркивал значительно большую реальность и возможность даже самых удаленных, даже самых невозможных вещей — потому что все можно было себе представить легче, чем самого дядю Митю, а он — вот он, перед глазами. Вот что: не было в дяде Мите как бы памяти о преодолении, мелкого мусора уколов, изнеможений, остервенений, а оставался лишь результат, свершение — и думать больше не надо: было, сделалось, ушло. Дул ветер в революционных подворотнях, сдувал гребешки с барханов, кони рыли копытом и ржали, дядя Митя поднимал воротник, пуля проходила навылет, жизнь прошла... Нет слаще банальности, чем та, что тебе принадлежит, нет более великого человека, чем тот, что предложит нам поверить в то, во что мы уже не верим, но, оказывается, так хотим... Потому что полюбить на земле... Господи, который раз! —

но снова и снова кому-то удается... те же слова, но в том, в том самом смысле сказать...

Другая была в руках у дяди Мити «Война и мир» — та самая.

К трем часам он начинал оживать — бриться, мыться, душиться, повязывать галстук. Отрадно было смотреть — некому было видеть. Лева раз удостоился присутствовать при туалете дяди Диккенса — и забыть этого не мог: у зрелища была своя отточенность и ритуальная красота, хотя вот уж и фетишистом дядя Диккенс не был. Туалет его был повестью о природе вещей, и, казалось, он имел дело с самим понятием каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он надевал рубашку, то он как бы п о н и м а л рубашку, повязывал галстук — это было то, как он понимает галстук. К пяти часам он бывал уже совсем готов. К 17.30 подходил (пешком, он не признавал городского транспорта, а на такси экономил) к гостинице «Европейская». Со всеми здороваясь (его — «знали»), поднимался он на «крышу» и поспевал к самому вечернему открытию (после дневного перерыва) — попадал в пустой зал, на только что постеленные, голубые от белизны скатерти, на не замореных и не расхамившихся официантов, на дневной свет, ровно лившийся через застекленную крышу. Здесь он обедал и выпивал свою первую водку. Допивал он у Одоевцевых.

Жизнь его была всем понятна. Жил он на скромные, в общем, средства — «рантье реабилитанса», говаривал про себя. И жил, принципиально не нуждаясь. Ни в чем и ни в ком.

Итак, сердцем этой смешной квартирки был кабинет — не в том тяжком, производственном смысле, как у отца, а в затерянном и теперь небывалом: кабинет, где мужчина, джентльмен, бывает один, пишет письмо, листает роман, просто лежит,— и Лева любил оставаться там на минуту один, на козетке, созданной для неудобства сидения, перелистывать монографию, допустим, о Бердслее, сладкую и маленькую, как детский грех, но рассматривать — запретную комнатку, пропущенную в детстве. И те книги, которые он брал и возвращал дяде Диккенсу (что и служило поводом посещений), тоже были в о с п о л н е н и е м детства: «Афродита», «Атлантида», «Зеленая шляпа»,— когда же их было и читать как не под одеялом, с карманным фонариком?..

«Он п р а в и л ь н о отобрал у нас свои вещи»,— так думал Лева, с трудом отличая в овальном зеркале свое стынущее изображение вдалеке, словно там был отражен прежний, маленький Лева. Над той низкой и длинной тумбой, лаково блеснувшей, на розовой, в широкую белую полоску стенке (обои из какой-то пьесы) — две картинки Пюви де Шаванна («пьюидешаан» — такое детское одно слово), любимого художника дяди Диккенса, их можно рассматривать долго и тупо, как трещины и обои с кровати во время ангинных каникул... Ближе к окну — маленький кабинетный рояль, на котором наигрывал дядя Диккенс попурри из грибоедовских вальсов («У дяди Мити абсолютный слух»,— говаривала мама). В дальнем углу был уже затененный хлам: треногая витая стоечка под таз — с тазом и криво торчавшим над ним зеркальцем; за ней, в самом углу, прислонена была раскладушка, сложная, как сороконожка, которую (как и таз) возил за собой дядя Диккенс начиная с первой мировой и на которой спал по сей день. Как справлялся с ней дядя Диккенс в одиночку, Лева не понимал, потому что, если присутствовал при этом, обязательно приходилось помогать: поддерживать, удерживать, натягивать,— это у них и вдвоем еле получалось. «Не так, дура!» — кипятился дядя Диккенс, причем относилось это не к раскладушке, а к Леве. То, что она все-таки раскладывалась, было каким-то детским чудом: когда из охапки палок вдруг растягивалось гармошкой многоногое, ажурное, как арочный мост, трепетное и шаткое,

как костер, сооружение, а на него натягивался, на палках и крючочках, некий киплинговский брезент, состоящий из заплат, над старательностью которых расплакалась бы любая вдова.

Все это были «вещи, принадлежащие одному человеку» (неизвестно, какое из четырех слов выделить вразрядку: все — с ударением), именно: дяде Диккенсу (Дмитрию Ивановичу Ювашову). У старика был вкус. Не тот современный прослоечный вкус, который стремится выбиться в вышестоящую социальную группу, в то же время не выделяясь, растворяясь и сливаясь с достигнутым уровнем,— у него был свой, е г о вкус, в чем-то высокий, в чем-то низкопробный, декаденгский (пристрастие к «либерти») и не стыдящийся самого себя, уважающий себя, то есть не рабский, не снобистский... Вещи, окружавшие его, н р а в и л и с ь ему — это и было основным условием его вкуса. И стояли-то они так: со вкусом и как попало,— не было приговоренности вещей к их местам.

...«Где же лампа? Лампа где?» — заторможенно думал Лева и находил ее слева за своим плечом, конечно, рядом с «камином»... смотрел тогда на дверь: пора было возвращаться дяде Диккенсу,— и тот входил, неся маленький прокаленный никелевый чайничек с чифиром.

ОТЕЦ (продолжение)

«Справедливость» торжествовала дальше.

Дядя Митя был первая ласточка — в семье позволили себе вспомнить о деде. Все эти годы дед был жив! — это потрясло Леву. Отреагировал он по-детски: вспылил, накричал, надерзил... Как смели скрыть! Как ловко, как длинно скрыли...— головокружительно воображать. Чтобы ему было легче в школе, чтобы не сболтнул лишнее... Лева обиделся за свою детскую слабость к старикам, когда не мог он равнодушно пройти мимо седой бороды (нищим старикам просил подать копеечку, старухам — нет), что означало, по-видимому, что в детской душе для всех есть место: бабушка еще была, дождалась внука, года три жила после войны с ними, а дедушки не было и почти незаметно не хватало Леве для полного комплекта, чтобы было в с е. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что есть, надо, чтобы все б ы л и,— всего лишь. И теперь, узнав про деда, Лева обиделся за детство. Не говоря, что это какая-то абсолютная величина внезапной смерти, весть, ей равная,— узнать, что мертвый всегда человек — жив. Дурной сон.

Абсолютная величина такая же, но знак противоположный у такой вести... Отец, растерявшись и смутившись Левиного взрыва, признал, что — нехорошо, но он, Лева, тоже должен понять и т. д., и, кроме того (отец потупился), он и сам не знал, жив ли отец, потому что на письмо о смерти бабушки ответа не получил... Лева, про себя, наверно, хотел поверить отцу, и с этого момента его уже более занимало, что дед — жив, чем его оскорбительное воскресение.

И действительно, это — существеннее. Лева исподволь учился относиться еще к одному человеку в своей жизни как к живому, как к родному.

Доставалась из маминых тайников фотография деда — подозрительно много, целые шкатулки, оказалось в доме фотографий за последнее время! была-то всего одна свадебная...— на Леву смотрел дед — узкое, такое немыслимо красивое, что казалось злым, лицо — вот кто был! вот кто, оказывается, б ы л... Дед смотрел в упор и не мигая, и будто именно во взгляд ввалились гладкие щеки, именно взгляду был присущ этот тонкий совершенный нос; глазницы, брови — кариатиды высокого и узкого, устремленного вверх лба (оттуда взгляд, из-за колонн...); темная бородка, усы, баки (там, где взгляду формировать было нечего) — все это чернело, сливаясь с почти черным же фоном, все это было: о т к у д а лицо-взгляд смотрело на Леву. И дед был молод —

все они были молоды, эти фотографии... Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе, Лева ни разу не встречал ни на улицах, ни даже у себя дома... Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф, под какой матрац? Лица подевались в разрозненные шкатулки, рассматривая своими удивленными глазами, еще не мертвевшими перед объективом, кудрявое имя владельца ателье, где был сделан портрет верхней кузины... их укладывали, однако, вверх лицом, как в гроб,— братская могила лиц, на которых еще не читался вызов, но которые уязвляют нас безусловным отличием от нас и неоспоримой принадлежностью человеку. Где-то он все-таки видел это лицо... Как во сне, встреченное во сне, не в природе... Вдруг понял: в Эрмитаже, на полотне чьем-то, пятьсот лет прошло... Страшно.

Теперь, рисуя себе деда, он подставлял, примерял на его место дядю Митю. И стало легче. Другого образца ведь не было.

Как-то вечером возбужденно обсуждалось, что в «Трудах» одного провинциального университета, в некой статье был упомянут положительно дед. Он был незаметно «протащен» в перечислении и в каком-то толстом журнале. Из небытия выплывало имя деда.

Получалось, пока на кухне, что имя это незаслуженно и несправедливо забыто, что дед — творец новой отрасли в науке и родоначальник целой научной школы. То, что он делал, лишь через десять лет было подхвачено на Западе, а теперь мы находились в тылу у собственного приоритета... Отец кипятился, странно смелея и бледнея, отнимал у дяди Мити рюмочку. Ожидание росло.

И разрешилось. Странно опустели в памяти все разговоры: кто-то выпустил деда, не они. Они оказались тоже у себя в тылу... Отец выехал встречать деда в Москву.

Вернулся он на следующий день, один, бледный и растерянный, трясущийся какой-то. Заперся в кабинете. Потом впустил мать. Они долго шептались о чем-то, очень громко. И отец все шагал и шагал, чаще делая повороты, будто кабинет стал короче, теснее.

Лева уловил в общих чертах, что́ произошло. Мог он теперь молча оборачиваться, чувствуя свое лицо бледно и длинно. Потрясающе в такой момент отсутствовала в его голове мысль, чтобы потом залихорадить наедине. Лева гордо чувствовал в своем — лицо деда.

Отец резко сник и постарел. Возвращался домой усталым, потерянным, прятался в кабинет. Квартира сжалась и потемнела, в коридоре стало не разойтись. От Левы скрывали, робко пользуясь его молчаливым милостивым разрешением скрывать, делали вид, что ничего не происходит, но так неумело и неуверенно, что ему лишь бросалось в глаза, как они сдали, его старики, более того: как они о т с т а л и. Это он обнаружил с внезапностью. Хотя в чем отстали, Леве было трудно себе сказать. В форме, наверно. У них были уже устаревшие представления о правде, чести и лжи, и они все время пытались скрыть то, чего никто уже не скрывает, чем себя и выдавали. Остальное-то было наружу. Было много наивного и трогательного в этих старых предателях...

Дядя Митя бывал все реже, у Одоевцевых перестало быть уютно, и атмосфера любви, в которой он привык купаться, пропала. Пруд высох. А дядя Митя любил удобства и привык к привычкам. А без этого, без этой своей пайки любви у Одоевцевых — отдай и не греши,— могло и надоесть дяде Мите б ы т ь за всех: и за секретного Левиного отца, и за бескорыстного обожателя матери, и за Левиного деда (как модель), и за отца — отцу (и это было отчасти, что Лева понял потом, позднее...),— и дядя Митя перестал у них бывать.

А Лева и без них разобрался. Без них...— проглотив комок детских слез. Точно так же оказались они у себя в тылу и с Левой... К Леве повернулась жизнь, он впервые предстал перед нею. Ее лицом оказался шепот, тень, налет, рябь... Пройти навстречу в узком коридоре, разминуться спинами по стенкам, справиться при этом с неизбежным

взглядом, уронить и поднять свой — это жизнь?.. Шепот за спиной, оборачивание вслед — попробуй обернись сам: нет ничего, никого. Фронт людей, коридорные шеренги, которым нет до тебя дела, но они знают п р о тебя — и, значит, тебя нет больше, ты убит, как в детской войне зеленых и синих... Это означает, что ты убит, если при тебе з н а ю т. Открыть, что ты существуешь и в третьем лице, для других, в другом времени и пространстве, где тебя уже нет, где тебя не будет,— и вынести потрясение, жить дальше с ними, приняв игру, примкнув, ждать следующего... Лева прошел сквозь строй.

Это — фактически, а метафорически было вот что. По неловкому поведению родителей, по тому, что при нем несколько раз обмолвились словно случайно, выдавая себя внезапным в Левину сторону взглядом, люди и вовсе мало знакомые, получалось, что в драме с дедом определенную и неблаговидную роль сыграл его сын, Левин отец: в юности отказавшись от него, а через двадцать лет заработав себе его кафедру критикой его школы, так что кафедра была еще «тепленькая». Это словечко и услышал краем уха Лева: какая же тепленькая, если двадцать лет остывала?.. что дед, шептало вокруг, почти тридцать лет... что видеть сына не захотел, или даже руки не подал, или даже плюнул и ногой растер при народе...— приходилось сглатывать.

Все изменилось... Оглянешься — и месяца не прошло. Все взгляды и разговоры стали казаться исполненными намеков и холодненького любопытства, словно от него чего-то ждали.

И Лева однажды, впервые без стука, распахнул дверь в кабинет отца, с тем чтобы выяснить раз и навсегда, в чем же, собственно, и как на самом деле было дело.

Лева выслушал путаную и невнятную, опять какую-то трясущуюся речь отца, полную расслабленных напутствий не придавать значения и не понимать буквально, впрочем, он, Лева, уже взрослый человек и объяснять ему все это, конечно, незачем, он сам со временем все поймет и разберется... Основное обвинение отец решительно отверг, но то, что он не сгреб Леву за шиворот и не вышвырнул тут же из кабинета, само по себе было очень примечательно. Лева навсегда запомнил длинное рукопожатие отца на пороге все того же, что и в детстве, кабинета, такого же полутемного, в нем по-прежнему хотелось говорить шепотом... Отец долго сжимал Левину узкую и прохладную руку своими горячими и сухими и говорил что-то, чего Лева уже не слышал, отчужденно наблюдая за движением его губ. Отец заслонял своей головой настольную лампу, свет бил ему в затылок, его легкие волосы светились и будто шевелились от невидимого сквозняка, и Лева, рассматривая этот мученический ореол, вдруг сравнил отца с одуванчиком и, потому еще, что ему передалось дрожание отцовского рукопожатия, подумал, что одуванчик разлетится, если дунуть на него. И это было в третий раз, что Лева запомнил отца... Теперь уже навсегда.

Сильное и жаркое рукопожатие отца вдруг показалось ему слабым и холодным и распалось от этого. Чувство щемящей жалости, зародившись, так и не проявилось в Леве, а гораздо сильнее почувствовал он в этот момент некое неясное торжество над отцом, и тут, на пороге того самого кабинета, у дверей которого он с детства переходил на шепот, сказал неожиданно громко: «Хорошо, отец». Голос его прорезал всю эту уютную тишину и темноту и показался самому Леве неприятным. Повернувшись резко, он перешагнул порог, отец как-то неловко покачнулся и забежал вперед как бы для того, чтобы затворить за Левой дверь, тень отца метнулась Леве под ноги, и Леве показалось, что он перешагнул отца.

В тот памятный день Лева вошел к дяде Мите с отчаянием некой последней надежды. Ведь мы идем за помощью, делая вид, что уже не верим даже в возможность ее, а — просто так идем и приходим имен-

но туда, где можем еще ее ждать, приходим с протянутой, как нищие, рукой — получаем рукопожатие, нам п о д а ю т р у к у... Это, такое естественное (форма приветствия!), рукопожатие — «Всего лишь!..» —с порога разочаровывает нас. «И он...— горько думаем мы.— И он тоже...»

Так и Лева. Чего-то он ждал, хотя и вот уж дядя Диккенс тем и хорош, что все, что от него можно ждать, заранее известно, он будто первым делом предупредил: то-то, то-то и то-то — и больше, как он говорил, «фсе». Но Лева раз-бежался...

Дядя Митя действительно только увидел в дверях Леву, что-то понял, тонкий человек. Он как будто даже не хотел его пускать. Потом пустил, потому что ничего, наверно, не мог придумать — как не пустить. «Только я скоро ухожу»,— сказал он по инерции какой-то предыдущей, пропущенной фразы и, наверно, возненавидел себя и за эту, сказанную, потому что поспешно отвернулся, перетоптался, кинулся вперед него в комнату. Кроме первого, быстрого и сразу испуганного взгляда в дверях, больше не удалось Леве ни разу поймать его взгляд. Дядя Митя очень нервничал, это было видно, и Лева никогда не видел его таким. Взгляд его метался рассеянно и скользко и все время как-то умудрялся обогнуть Леву, не попасть в глаза, и Леве показалось, что взгляд этот оставляет как бы вьющийся по комнате след цвета белка, резиновый жгут. Никуда, конечно, дядя Митя не мог и не собирался уходить: был он в своем утреннем, разобранном виде и, по техническим причинам, мог собрать свои скрипучие части самое скорое через два часа, но он и не думал собираться. Тем более гудел «камин» и на козетке был брошен отворенный том Даля — ежедневное чтение дяди Диккенса (он любил повосхищаться краткостью, «толковостью» толкований «этого шведа»). Поймав Левин взгляд, дядя Митя еще смутился, суетнулся к Далю, попробовал обычную их игру... «Скажи, только как можно короче и точнее, что такое лорнет?» «Ну,— вяло откликнулся Лева,— это что-то среднее между биноклем и очками, их подносили к глазам в театре и на балу...» «Это — коротко?! — разозлился дядя Митя и заглянул в Даля.— «Очки с ручкой» — вот и фсе!» Он сердито пробежался по комнате, и то ли ему показалось, что Лева намерен открыть рот, но он судорожно, ухватившись за что попало, начал говорить, быстровато и перебиваясь, теряя нить, что тоже было не в его манере. Короче, он не знал, как себя вести, что было, казалось, немыслимо в отношении дяди Диккенса, по крайней мере в глазах Левы, для которого тот был именно само поведение, его эталон. Он мог бы хотя бы сказать Леве в той единственной подходящей к случаю интонации, чем он так владел: «Ты, Левушка...» — или: «Так он же ...!» (про отца) — и тем успокоить смятенную душу. Но он и этого не говорил, а начал ругать кого-то (Лева не понял кого), причем так настойчиво, тупо и грязно, что Леве стало не по себе, чуть ли не стыдно, чуть ли не захотелось защищать «его», такого уж беззащитного, от дяди Мити. Но и дяде Мите, по-видимому, делалось все противней и невыносимей от самого себя — он не выдержал, сказал наконец долгожданное: «Все — говно!» — но и тут сфальшивил и убежал варить чай и пропал, казалось, навсегда.

Лева равнодушно обвел глазами всегда милый его сердцу кабинет — ничего на этот раз не умилило его. Он посмотрел на все скучно, как на читанную в детстве книгу. Сам показался себе одиноким и старым. Как-то вдруг подумал, что дядя Митя никем «большим», кроме как для него, Левы, за всю жизнь и не был. При всех его исключительных качествах... «Очки с ручкой...» Дя-дя Диккенс... Прозвище вдруг показалось Леве очень точным, еще что-то выражающим, кроме того, что он за ним подозревал. Вот именно, не Диккенс, а дядя... Тут Лева забыл, о чем это он. Потому что внезапно вспомнил первый испуганный взгляд, которым встретил его дядя Митя. И тут отчетливо, как с ним не бывало еще в жизни никогда ни с кем, представил себе его

отдельное от себя существование. Это было поразительное ощущение — дядя Митя стоял перед ним в дверях, старый, несчастный, уничтоженный человек, тративший в день до капли свои силы, чтобы больше никогда не быть униженным, вернее, никогда не быть униженным зримо для других, ни разу не быть зависимым и жалким... достоинство, тоска по достоинству была последней страстью дяди Мити, последней возможностью его жизни, и у него едва хватало сил на соблюдение хотя бы видимости его. Для этого необходимо было ему не нуждаться ни в ком, с тем чтобы и в нем не нуждался никто, потому что от малейшей зависимости, от малейших обязательств любви он бы сразу пошел на дно, как тяжелое, почти уже моренное бревно; он бы не выдержал и малейшей нагрузки чувств: взорвался, рассыпался, разлетелся вдребезги — сухие, острые, мелкие дребезги, из которых с трудом состоял... Не совсем так, не совсем в словах, но очень полно, как-то в слитом объеме ощутил это Лева, будто он уже не был Левой, а был самим дядей Митей,— такую тоску, страх и растерянность ощутил он в себе, разглядывая это вставшее в памяти изображение, будто именно сейчас видел он его впервые, а не полчаса назад. Боже, подумал Лева, какой же страшной жизнью он живет! И это он, Лева, приходил к нему за любовью, мудростью, жалостью... Да как он посмел, сытое, толстое, здоровенное, молодое и тупое ничтожество! Лева переходил в крайность: эгоизм дяди Мити показался ему благороден. По крайней мере насколько это лучше и чище вот такого неприличного душевного расплывания, которому предавался только что Лева... В такой оценке Лева отчасти был прав. Да разве можно подвергать другого человека такой опасности — не мочь, не выдержать, не справиться с тем, что на него наваливают?.. «Мало и так я на него взвалил?..» Дядю Диккенса, отца, деда — всех их исполнил один дядя Митя... Лева представил себе, войдя в образ, как тошно и унизительно было дяде Мите от самого себя, когда он сейчас врал, что спешит (впервые! — как же он перепугался, бедняга...), когда он избегал Левиного взгляда и лепетал что-то... «Не бойся, дядя Митя, я не стану этого делать, не стану я переваливать свой груз на твои слабенькие, дохленькие плечи, не стану подвергать я тебя опасности унижения от собственного бессилия и неспособности с достоинством справиться с происходящим... я поберегу тебя...»

Почти так говорил себе Лева, уже, к сожалению, отчасти перекашиваясь и умиляясь самим собою. И то, надо отдать ему должное, ни разу в жизни он еще не был так тонок, точен, чуток — так умен. В какую-то секунду Лева был истинно зрелый человек, с тем чтобы забыть вскоре об этом на долгие годы, почти навсегда. Возможно, это было прозрение феноменального для Левы толка, опережающее опыт и потому ничему его не обучившее, хотя странно...

Потупляясь, с опаской вошел дядя Митя — Лева был прав. И убедившись в этом, Лева жестоко встал и сказал: «До свидания, мне пора»,— и именно в этот момент довольства своим умом и удовлетворения поступком, наверно, и был от него отнят почти навсегда опыт недавнего прозрения как преждевременный, как незаслуженный. Он уже получил награду свою...

Дядя Митя поднял на него широко, с каким-то внутрь себя светом удивления, глаза, посмотрел так секунду и ничего не сказал. Проводил до двери.

«Да и какой же он мне отец... Где же ему быть и за отца, и за сына, и за святого духа? — криво усмехаясь собственной недавней глупости, как сам себе старшеклассник, говорил Лева.— Именно такой и должен быть мой отец, какой есть, никакой другой. И я его сын... страшно — но так... а дядя Диккенс — какие ж у него дети!.. Он же умер сто лет назад... Очки с ручкой».

И Леве казалось, что он перешагнул и дядю Митю.

Но это он преувеличивал.

Не мог же он себе представить, что дяде Мите могло быть стыдно... или противно не за себя?

Мы назвали главу «Отец», имея в виду, однако, не только отца, но и само время. Отец у нас вышел какой-то двойной: то он робкий, комплексующий человек, не умеющий даже сделать умело «идет коза рогатая» маленькому Леве; то он уверенно меряет сильными шагами свой академический, культовый кабинет, прочно чувствуя себя в эпохе. Но мы не считаем ошибкой это не с самого начала запрограммированное противоречие. Во-первых, и так бывает. Во-вторых, в этом романе будет еще много двойного и даже многократного, исполненного уже сознательно и даже если не совсем художественно, то открыто и откровенно.

Ведь сама жизнь двойственна именно в неделимый, сей миг, а в остальное время, которого с точки зрения реальностей и нет, жизнь линейна и многократна, как память. Потому что, кроме сей, сию секунду исчезнувшей секунды, кроме сей, ее заменившей, нет времени в настоящем, а память, заменяющая исчезнувшее время, тоже существует лишь в сей миг и по законам его.

Поэтому отец еще раз двойной, на следующий день воспоминаний даже не о нем — об образе его. На следующий день образ его — двойной иначе: с одной стороны, «видный мужчина», воспользовавшийся успехом и к которому подросток ревновал мать, с другой — легко поддающийся влиянию чужого мужчины, которого, видимо, предпочитает жена.

И еще третий раз двойной отец, когда наступает возмездие, когда он раздавлен собственным предательством, когда расширяется образ дяди Диккенса и заслоняет отца... Потому что хотя автор и посмеивается над Левой за юношескую игру воображения, однако и сам еще не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает...

Так что возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого, как кажется автору, опять получится ровно такой же герой. Потому что интересует его только герой и только героя как уже выбранный (пусть неудачно) объект исследования не хочет менять автор. Но это свое желание поведать второй вариант автор пока отложит.

Мы собирались рассказать об отце и о времени. В результате об отце мы так же много сказали, как и о времени. Но мы считаем, что, в данном случае, оба разных предмета можно сложить... Отец — это и было само время. Отец, папа, культ — какие еще есть синонимы?..

ОТЕЦ ОТЦА

> В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества.
>
> *«Отцы и дети», 1862.*

То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь — с ним: он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по молодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь «очень эмоциональна»), потому что не имеет под собою почвы

кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает... Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал «гипотезу второго отца», оставалась еще «гипотеза деда».

У сына родился отец. У внука рождается дед.

...Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты; когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это «всегда» подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства; когда он, по-детски же, переряжал в воображении дядю Диккенса в деда; когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей «крови»,— тогда же, вдохновенный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу, по букинистам и фондовым залам,— достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда весьма отдаленно: дед был лингвист, то есть он что-то з н а л и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый... но тут мы опять вступаем в шаткую область «приоритета». Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовой мысли и удивиться ей.

Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди — Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об исказивших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т. д.— это были еще самые мягкие формулировки... Леве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, Лева часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так, что, казалось, слышал в голове шум перегруженно трущихся мозговых своих частей. Но и опять прежде всего оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное... Наконец Лева нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием: этот был эффектен и формален, легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения, а Лева мог гордиться, что у ж е знает, что д а в н о знает).

Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной системой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые р а б о т а л головой, все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Леве систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти — уж больно она нравилась ему — в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек... «Гипотеза деда» еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и в этом звании очень хорошо получалось так: Дед и Внук...

Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее... да и как так вдруг?.. почему именно завтра?.. Первое движение оказалось давно пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, потом... как вдруг позвонил дед.

С сыном разговаривать не пожелал — говорил с Левиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас, и т. д.— все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен... дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил и была она ему симпатична тогда,— что ж теперь-то, через тридцать лет... вот внук пусть придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным...

И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул.

Все доставалось Леве даром.

К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал...

Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение... и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист — к специалисту, ученик — к учителю, это тешило Леву. Он за мечтами как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда... Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камилавочке.

Но и не только это. Было за этим и нечто наивное и идеальное... Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще, что́ же там, казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом — как человек и человек! дед поможет открыть их (створки) еще шире и объяснит, что́ там, и для Левы начнется совсем уж новая жизнь — на самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая...

И это все-таки было почти тем же представлением: как идут, старый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук — и все им рукоплещут из лож.

Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.

Деду дали квартиру в новом районе, последние дома... Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, ж и л в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров и залов-площадей... странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке, что они есть, но имена их путались в его сознании — вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка... снова полез в записную книжку.

У него было такое чувство, что он попал в другой город.

Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу.

...Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь с бурьянами и свалками; чуть ближе, прямо в поле было трамвайное кольцо, действительно — кольцо (Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное). Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стоя-

ли покинутые — такое было безлюдье и звенела тишина. В закатных лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся.

Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений — ветерок, аура... Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом желтая с синим скамейка для сидения старух,— стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали,— но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение, непривычно: он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он надел ради случая новые туфли — они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Не сразу Лева догадался войти в подъезд — на лестнице было тепло, Лева прижался к батарее, обнял ее... Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком отпрянуть от батареи) — и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лева еще постоял, тут стрелка подползла наконец к заветной черте — стал подниматься наверх, окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги.

Он уже почти достиг цели, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед... И когда дверь прикрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была е г о квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча не могла быть такой...

...Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. «А вдруг?..» — Лева похолодел от предположения. Не могло быть: такое несходство... Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью... И оно молчит тупо, лень губы разлепить.

— Простите, я не туда попал...— произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной, и он, давясь, глотал холодный воздух... Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки... а про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, даже не подумал, словно за порогом было облако.

— Вам кого? — «Ам коо?» — глухо сказало лицо, с трудом выкатив эти два «о». И когда рот разлепился, лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед...

— Модеста Платоновича...— «Моэсто, почти Маэстро»,— про себя передразнил себя Лева: у него во рту была кашица ужаса.— Одоевцева.— произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.

Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение,— очень быстро. Лицо ничего не выражало.

— Проходите.— Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте — там было сложно с замками...

Лева хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал! что это только в первую секунду что он его не узнал, а так он его сразу узнал (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его м о ж н о узнать,— поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте-маме...)! — все-таки в Леве бы-

ло столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался т а к о й.

— Что ж вы не проходите? Проходите...— невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату...

Левин восторг опять захлебнулся — в комнате сидел еще один старик. Он внимательно (Леве почудилась «доброта») взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентней, он больше походил на дядю Митю (значит, Лева был прав, подставляя!..) — восторг снова поднимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чист и элегантен. «Хорошо, хорошо,— дрожал про себя Лева.— Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал...»

— Вы — Лева,— так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.

Все в Леве заметалось, как заяц. «Как же так... Я, я!» — хотел бы обрадоваться Лева — и кивнул, сглотнув.

— Садитесь, пожалуйста.— Старик подволок, вместе с ногою, к Леве стул.

Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. «Что вы, не надо!» — хотел взмолиться Лева и отобрал стул — получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не только вытирал — вытирая, он опирался о стул, о бумажку...— взглянул на Леву.

— Садитесь. Он скоро придет...— Лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало.

Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил.

«Что же это? Что же это?» — лихорадило Леву. Больно оттаивали ноги, и лицо горело.

— Здесь как-то не убрано...— виновато сказал первый старик.

Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка — очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель... Кровать, коекак застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.

Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.

«Я туда попал?!» — хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.

Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в сердцах обратно на стол...

— Черт! Скоро ОН придет? — Метнулся по комнате, подволокнув ногу, уже совсем серый в сумерках,— метнулся тенью.

— ОН же только вышел...— подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал «дядя Митя».

Вздохнув, старик уселся на стул.

— Простите,— буркнул он Леве.

«Куда он пошел?» — хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым.

«Может, уйти и сказать, что зайду позже?.. Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?.. Теперь поздно». В голове у Левы путалось, лицо горело (к счастью, в темноте), губы высохли и будто готовы были лопнуть — так стучала в голове кровь. «Может, все-таки один из них?» — бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный («добрый») взгляд подтверждали, что это мог быть дед. «Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец!»

Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. «Что ж это получается? — издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха.— Будто если дядя Митя — мой отец, то он автоматически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком!.. Ха-ха!» Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет: первый старик и есть его дед... он просто испытывает Леву и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает... «Скоро ОН придет?» — как же это еще понимать как не: когда же он, Лева, догадается? То есть когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически?.. «Конечно, первый — дед. Он из двух — главнее...» И то, что он в комнате по поведению был «главнее», почти убедило Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии... Потому что...

Старики молчали, только «дядя Митя» закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза.

«Что они свет-то не зажигают?!»

Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом, тоненькая ниточка заката.

Резкий звонок пронзил темноту.

А! а! — Лева вскочил и не мог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати.

— Слава богу! — Первый старик с легкостью и проворством на одной ноге проскакал к двери, на ходу включил свет — и уже лязгал своими многими замками в коридоре.

Лева зажмурился от света и стыда за себя — он все еще стоял посреди комнаты, а «дядя Митя» смотрел своими внимательными глазами чуть удивленно.

Лева опустился на стул ослабевший, в прохладном поту.

И вошел все тот же развевающийся молодой человек — вид у него был смерзшийся и недовольный. Посмотрел длинно на Леву: этот как сюда попал? — бережно свалил на стол тяжелый рюкзак.

— Не могли убраться? — Стал зло и быстро собирать со стола.

И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик.

— Очень далеко магазин,— объяснил он «дяде Мите».

Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел — и некрасивое лицо его осветилось. Он порылся в своем балахоне и подал старику бутылку пива.

Старик искал, чем открыть, и не находил.

Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бутылку, ловко открыл, налил полную «ларьковую» кружку и подал старику.

Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку обеими руками и приник... Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впитывая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку, он копошился над ней, как шмель над цветком, и когда отвалился со счастливым вздохом, Лева с ужасом заметил, что пива, собственно, не убавилось в кружке — столько же и осталось. Слово «жажда» как бы написалось в воздухе во всей своей полноте, со всем своим жабьим жужжанием, и надолго потом, навсегда, связалась эта никак, при таких-то трудах и страсти, никак не отпитая кружка с образом Жажды, понятием Жажды как таковой...

— Вот и славно,— сказал успокоенный старик и обвел всех потеплевшим и уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недовольный взгляд, брошенный молодым человеком на Леву...

— Ах, я вас и не познакомил... Рудик, это мой внук Лева.

— Что ж он сидит как неродной! — сказал Рудик, доставая из рюкзака водку бутылку за бутылкой...

«Господи!..» — успел подумать Лева.

. . . . . .

— Так ты меня, значит, сразу не узнал!..— смеялся дед, и лицо его довольно сморщивалось, на одну, впрочем, сторону.— И очень замерз, чтобы прийти точно? — Он повел взглядом в сторону Рудика и «дяди Мити»; лицо его смеялось пополам.

Не выпить со всеми Лева не мог — выпив, почувствовал, как отвратительно то, что он выпил, и задохнулся, а дед предусмотрительно уже держал на вилке огурчик... И тогда, жуя огурчик, с набитым ртом, сквозь слезы, хрустально преломившие мир, где на длинных искрящихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его новых друзей... ощутил он награду освобождения и счастья, обрел на миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был необидным, стол — красивым, лица — светлыми: мир — истинным. У всего этого был образ проглянувшего солнышка после пролившегося дождя, с поблескиванием капелек на травинках; примирение с любимой, с поблескивающими же слезками на длинных ресницах; осушение, натянутость свежей, омытой кожи; легкость после слез и дождя. Так он приглашал всех любить себя под испытующей «теплотой» взглядов, при участливом молчании, прежде чем суждено было ему понять, что испытание было испытанием и молчание — молчанием... Пока не стало Леве так тепло и полно, что он сам потерял нить...

— ...А я-то, Левушка, и забыл, что ты должен прийти. Не то что к какому часу... Я вообще-то не собирался звонить — как это меня по пьянке угораздило? Я потом забыл совсем... Ну, это ладно. Ты мне вот что скажи: зачем ты мерз? На какого меня ты рассчитывал? Ну что тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше, или опоздать? Мог и вовсе не приходить... Зачем ты пришел ровно? — Дед как-то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во всяком случае без труда; прямые, как тычки сухого кулачка, глаза его совсем *все* видели, не в том смысле, что отличали и отделяли все физические предметы друг от друга, а — что́ за ними, и под ними, и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще, поверх, заключено: он видел все цельным и в цельном,— и никуда было не деться от взгляда, ты пятился, пятился, упирался спиной в стену, прикрывался локтем, как от удара.— Что за образ заставлял тебя мерзнуть — вежливость королей?.. Какие вы все-таки все стали рабы! Вот и он...— Дед кивнул в сторону Рудика.— Но он хоть поэт и невежда, самородок... Почему вас непременно должно перекашивать в некое чувство? Без «чувств» вы никак себе поверить не можете... Оттого и надо вам, чтобы вас любили, и все страдания ваши — какие страдания! пе-ре-живания — об этом... Что за надобность?

Лева не выдержал, перестал понимать, что говорит дед, заозирался, словно ища поддержки... Спасительный взгляд «дяди Мити» — он вцепился в эту последнюю надежду... Однако дед преследовал, не отставал:

— Отчего, ты думаешь, у него такой взгляд замечательный?.. Ты объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием — они тебе сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты .....! А он-то тебя действительно понимает, сечет... Потому что у него *метод* безукоризненный, и он только им и пользуется, оттого четок и ясен: он не на тебя смотрит — он тебя читает, он — профессионален. А метод его прост: он смотрит на тебя и видит, какой бы ты был на следствии или на допросе, потому что он тысячи, тысячи таких, как ты, видел. Он — Менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или натрий, не больше. Он заранее, по опыту, все про тебя знает — первых движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее. Вот только один недостаток — он с ума сошел, как Германн: тройка, семерка...— все перебирает. Он не может избавиться, не в силах отдохнуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и сличения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказательство в ту же секунду,— и они, учти, всегда идентичны. Вот и весь

его взгляд. Для тебя понимание уже есть участие, ты так привык, потому что понимание в твоей жизни случайность, да и не случайность, а некая функциональная, периодическая перевранность ситуации — как физическое отправление, только не такое честно-необходимое... (Лева взглянул еще раз в глаза «дяде Мите», и действительно тот слушал и слышал деда и смотрел на Леву, внимательность и участливость его взгляда не изменились: он следил за действием дедовых слов, опережал это действие представлением и сличал представление с возникающей, казалось для него слишком замедленно, реальностью. Могло быть так, как говорит дед,— Леве страшно...) Он же, Коптелов, мой начлаг бывший, хороший человек, меня дважды н е у б и л...

Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием.

— А это он доволен, что соврал, а он — не предугадал. Он ведь если и не каждое мое слово, то движение в целом, вектор,— тоже ловит и сличает... Только он меня слишком ценит, переоценивает — он не ждет, что я и лажануться могу. Ну вот, и редкое для него удовольствие: не совпало — смешно...

— Модест Платонович!..— жалобно сказал Лева.

— Модест Платонович! Модест Платонович...— передразнил дед.— Назови-ка меня дедушкой, выговори...

— Маэстро Платон...— поддразнил Рудик.

— А ты, завистник, молчи! — И дед потрепал Рудика по голове.— Налей-ка всем еще...

Дед был прав: Лева не мог бы произнести слово «дедушка» — его бы вывернуло от стыда и фальши. «Зачем я тогда сюда пришел? — вдруг догадался он.— К кому? Я же не к н е м у пришел...» Он посмотрел на «дядю Митю» — Коптелова, на Рудика — эти л ю б и л и деда, вот что он внезапно понял. А он?

Все выпили.

Нас всегда занимало (курсив опять мой.— А. Б.), с самых детских, непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В описанной им для нас обстановке всегда имелся некий затененный угол с обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в прихожую, и там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который все видел как бы своими глазами, но только скрыл от нас, где были эти его глаза... Там он стоит в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как японский ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из происходящего в чужой жизни, не таящейся от него из доверчивости, или бесстыдства, или привычки и презрения к нему.

Читая и сличая с жизнью, покажется, что дух общежития и коммунальной квартиры зародился в литературе раньше, чем воплотился наяву, как раз в подобном авторском отношении к сцене: автор в ней коммунальный жилец, сосед, подселенный. Достоевский, наверно, еще и потому лучше всех «держит» многочисленную, «кухонную» сцену, что сам никогда не скрывает своей «подселенности» к героям: он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он — их зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему опережающую время честь. Такая большая, объявленная условность истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого наблюдения. Рассказ от «я» в этом смысле самый безупречный — у нас нет сомнений в том, что «я» мог видеть то, что описывает. Так же не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где, только по одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев, можно строить предположения о том, что́ они думают, чувствуют, имеют в виду и т. д. То есть как раз субъективные (с точки

зрения субъекта — автора или героя) сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной реальности.

Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за «как есть», за «как было на самом деле», путем именно устранения той щелочки или скважинки, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и занавешивания. Это и заставляет нас как раз, уже и не по-детски, сомневаться в реальности литературного происшествия. Если нам не объявлена условность, субъективность, частность решения, то как раз поверить автору представляется затруднительным: откуда он знает? с чего он взял?.. Выдавать натужную «объективность» за реальность — достаточно самонадеянно. Сверху может видеть только Бог, если предварительно договориться, что он есть. Но писать с точки зрения Бога позволял себе лишь Лев Толстой, и мы не будем здесь даже обсуждать, насколько правомочны были эти его усилия. Тем более что наш герой назван Левой в его честь не то нами, не то его родителями...

Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что в этом смысле то, что принято полагать за оптимальный реализм, а именно: все «как было» как бы без автора,— является в высшей степени условностью, причем не откровенной, не вызывающей доверия, формально формалистической. И тогда мы сочтем за реализм само стремление к реальности, а не одну лишь привычность литературных форм и даже норм.

И вот, так как мы решаем все через Леву, а то, что с ним произошло в этой сцене и чему он был свидетелем и участником, пока еще, по достигнутому им развитию, не может быть ни узнано, ни расслышано, ни понято им, то растягивать в последовательное изображение то, как он не понял, не услышал и не увидел, является и слишком сложной технически, и слишком технической задачей. Мы достаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой главе, важен для Левы, хотя он и не был способен усвоить событие в той степени, в какой это для него важно,— нам важен дед Одоевцев, важен как знак. Поэтому нам отчасти придется отойти от чисто Левиной призмы и откровенно, не выдавая изображаемого за реальность (но и не отказываясь от нее), дать хотя бы знак, не посягая на живого человека...

Тем более что не только неподготовленность Левы нам помеха, а и то, что в этой сцене все пьют довольно много. А по опыту, и своему и предшественников, можно утверждать, что самое сомнительное и спорное в словесной передаче — это мир ребенка, мир пьяного и мир фальшивого или бездарного; ни то, ни другое, ни третье ни разу не имело достоверного самовыражения, а воспоминания подводят всех. На эти вещи у нас будет всегда свой взгляд, потому что детьми мы себя не помним, пьяными — не запоминаем, а фальшивыми и бездарными — не узнаем.

Поэтому расставьте сами где угодно, как подскажет ваш опыт, возможные в подобных сценах ремарки (это, кстати, и будет то, что мог отметить сам Лева...): где, и как, и после каких слов своего «выступления» дед Одоевцев кашлял, чихал и сморкался, супил брови, надувался и опадал, где он терял и ловил «кайф», где его перекашивало и он забывал, о чем речь, и где махал на это рукой, где он вытирал лысину, скручивал свою махорочную цигарку, плевался, вращал глазами и тыкал в собеседника (главным образом в Леву) пальцем и в каких местах приговаривал: «Я вас видал...» (далее нрзбр.— А. Б.)

ОТЕЦ ОТЦА (продолжение)

...Рудик читал стихи, непонятные, но сильные.

— Тебе нравится? — спросил дед Леву.

— Нравится...— неуверенно выговорил Лева под ревнивым и презрительным взглядом Рудика и внимательным — Коптелова. Разве он мог сказать «не нравится»?.. Но «нравится» тоже не получилось. У него не было шансов ответить «им» правильно. Все трое уже стали для Левы — «они»...

— Он мало что знает, зато умеет «ловить кайф»,— сказал дед.— Свойство молодости... Кстати, смешно: «ловить кайф» — совсем не лагерное, не только современное выражение. Семнадцатилетний Достоевский, задолго до острога, пишет своему брату, хоронит себя: «Что сделал я за свою жизнь? — только ловил кейф...» Читай дальше...— Деду нравились стихи, он был пьян «в самую меру» и он благодушествовал. Пол-лица его расправлялось и молодело.

Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, который казался ему особенно сильным, пророческим... с очевидным намерением окончательно всех сразить.

Леве на этот раз очень понравилось.

Дед рассердился:

— ... я ваши куриные прогнозы! С чего взяли, что т а к будет? С чего вы вообще взяли, что как-нибудь б у д е т? Не надо, Левушка, умиляться собственной вшивости. (Лева надулся: и стихи не его, и опять он же виноват.) Какой Запад, какая Россия!.. В вашем-то, идеальном, смысле — жизни нет ни там, ни тут. У них — условия, у нас — возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и западники?.. И те и другие сейчас — просто необразованные люди. Признавать прошлое у нас, а настоящее — на Западе, отменяя настоящее у нас, а там — прошлое... Вам девятнадцатый век нравится, а не западная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны света... Даже наша заповедная власть не справится с такой задачей. Как бы вам ни хотелось чего-нибудь поидеальней — все подчинится логике прогресса, логике потребления и изживания... Человечество было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в совершенный круг природы и бытия. Я старый, внимательно живший человек и я могу с некоторой определенностью, исходя из конца одних и начала других современных событий, судить, что будет с вашим сознанием через десять — пятнадцать лет, до следующей перемены. Так вот, лет через десять, когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совершенны были первобытные способы земледелия по «вписанности», по вкрапленности в замкнутую, предельно экономичную, совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным и прокармливало себя трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у дверей ее скромно и не помышляя еще о грабеже. Оно могло, подголадывая, накормить от пуза нескольких там князей и церковников, их было и не так много, и эта социальная «несправедливость» ничтожна, если учесть, что р а з н о с т ь эта необходима человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ в о з м о ж н о с т и. Никакое равенство не возведет храмы и дворцы, не распишет их, не украсит. После обеда, пира (пусть как учат в школе) можно послушать стихи или музыку. Из обеспеченности возникала подготовленность, из подготовленности — способность ценить, из способности ценить — уровень культуры. Никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство. Не для удовлетворения потребностей художника — а для подлинного спроса. Эту пассивную, почти биологическую, роль аристократии, такую очевидную, понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не

приходит, что сумасброд из маленького княжества очень, по-видимому, понимал в музыке, если у него «работали» Гайдн или Бах. Что папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Рафаэлем... Все-таки это были просвещенные люди. Ну да... И осуществлялась эта немыслимая, головокружительная разность человеческих потенциалов, от смерда до Рублева, на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства сохранялись смысл и возможность человечества. То есть экономичность человеческой культуры, при ее высоте как условии, так же поразительна, как экономичность природных процессов в круговороте бытия. Почти подобна. Я говорю «почти», потому что природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же «разности потенциалов», накопленной на минимумах энергий. Природу не интересует равенство внутри- и межвидовое, ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны, ей хватает такого равенства... Я говорю «почти» и потому, что и тогда, в пору высших форм аристократизма, люди, конечно, пожирали и вытаптывали под собой жизненные пространства. У Ювенала есть такая жалоба вольноотпущенника: «Ему (патрону) подают краснобородку, которую уже почти всю выловили в Средиземном море, а тебе (то есть ему, вольноотпущеннику) ужасного змееподобного угря...» Видите, с некой краснобородкой обстояло и в т е далекие времена, как сейчас с угрем... Так вот, человечество скромно выстаивало у дверей так называемой кладовой природных богатств. Замечали хамство этого выражения — «природные богатства»? Будто «богатство» — это излишек, не сама природа! Человечество, до наших времен, не было лишено скромности и даже застенчивости, и это не его заслуга, а т е условия. Технический прогресс тем временем потихоньку шел на уровне уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к полиспасту, по одному в столетие... пока не накопился до производства не более совершенных, а более тяжелых отмычек, орудий взлома и грабежа. Их надо было употребить — и ими взломали двери природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтобы войти в нее, а взломали, не поняв даже, в какую сторону створки... может, там и замка-то не было, а просто дверь на себя отворялась! Они нажали, надавили, сила есть — ума не надо, и ввалились внутрь вместе с дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они потеряли. Они оказались действительно среди развалов богатств — бери не хочу! Пощипывая, поплевывая, косые от разбоя, разбрелись и беспорядочно расплодились по всей земле... Али-Баба, выбрасывающий медяки, потому что нашел сундук с серебром, с тем чтобы потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиантов,— и все это до тех пор, пока не вернутся хозяева отрубить ему голову и снабдить ворота новым замком!..— это и есть прогресс. Принято, что человечество набрело на путь прогресса, меж тем как оно с б р е л о со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет, для истории это микрон, развилка еще видна простым глазом, если кому есть время обернуться,— так нет, все бегут. Не сверни оно, может, и немного уже оставалось,— оно бы вошло в ту же дверь, чуть толкнув ее, и ворота бы распахнулись, но уже не набросилось бы на богатства с бессмысленностью грабителя, а знало бы, как и что с ними делать. Те же законы, ту же тайну обязательно откроют, когда будет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться и никто не остановится первым; это и будет последний момент, когда еще можно спохватиться так, чтобы природа могла отдохнуть, зализать свои раны, регенерировать,— но человечество, еще и подученное веком, не согласится ни на какие сегодняшние жертвы ради даже завтрашнего утра... Инерция потребления и размножения будет

столь велика и массивна, что и поняв, что́ происходит, можно будет лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с гребня. И пружина уже не сожмется обратно, а растянется в проволочку и порвется — природа расползется, как спущенный чулок, причем это не будет спуск, хотя бы равный подъему,— это будет, мгновенно и на глазах, испарение облачком, останется злая лысина, с которой внезапно сдернули парик при всем народе, всем на позор. Это «прогрессивный паралич» Земли, простите за каламбур... Лавинообразное потребление и размножение на базе грабежа природы, паразитирование на природе и замена всех форм созидания всякого рода исполнительством, стремительное, фантастическое падение под самого себя, где ты сам собственным весом будешь себя тискать и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого и непроизведенного, невозвращенного — ноль из человека,— вот путь прогресса. Может быть — и это еще самый оптимистический взгляд,— то, что сейчас происходит в мире, не на социальной поверхности процессов, а в невидимой глубине их содержания, есть борьба, соревнование человеческого разума и прогресса (Бога и дьявола по-старому). Тогда задача разума — успеть во что бы то ни стало до критической точки (необратимости) разорения Земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и в н е з а п н о постичь т а й н у... Тут происходит революция в сознании — и Земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее параллельно прогрессу — это гонка с общим стартом и общим финишем. Может, разум и нагонит прогресс, но тогда они придут к финишу вместе, грудь в грудь (критическая линия необратимости и будет линией финиша) — и будет поздно воспользоваться плодами духовной революции, она не успеет их принести, завязи лопнут на космическом морозе, наступит необратимость — возмездие. Возмездие ведь и возможно лишь с момента осознания... Так все сходится.

Дед вздохнул, отхлебнул — пол-лица его все оживало, пол-лица мертвело — и продолжил:

— И это так же наглядно, так же очевидно в культуре, в слове, в духе — прогресс как потребление и изживание всех слов и понятий, составляющих нашу нравственную и гражданскую структуру. Сначала маленьких и конкретных, потом значительных и ложных, потом больших и абстрактных... Любая идея покажется вам спасительна, коль она у вас возникла. Слова подбираются, и сначала какие попало, а потом и те, что остались (остаются все лучшие),— и истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа повернулась в наш век лишь на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни — негативен. Ложные понятия изничтожаются — и не заменяются ничем. Вам еще повезло: у вас лет на тридцать (как раз пока меня не было...) была запрещена всякая охота за словом и понятием, слова одичали и перестали бояться человека одновременно, они разбрелись — пространство большое — и бродят неузнанные, непойманные, непроизнесенные. Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные: там все на том же месте от Державина до Блока — продолжение не поколеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь, не какая была, а какая ни на есть, началась лишь с семнадцатого года, но и ее стало много, и ее остановили. И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам тем не менее видимость духовной жизни лет на десять — пятнадцать. На ликвида-

ции «ложных» и ловле «истинных» вы еще испытаете как бы подъем, и восторг, и труд...

Ра-азделить с тобой готова
горе, радость, труд большой...—

внезапно пропел дед слабо и верно,— но она вас непременно бросит, не обольщайтесь... все это очень недолго, потому что все это уже было, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивления, все вернется с той быстротой, как во сне... Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений якобы ради сейчас еще запретных, но столь желанных «истинных». Но пройдет лишь несколько лет — вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас, потому что прежде понятий, прежде их возможности проник уже призрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям,— он-то и бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостному гоношению... И, помяните мое слово, самые передовые из вас, те, что катятся впереди прогресса... через десять лет вы услышите все ваши сокровенные слова и понятия в ложном и фальсифицированном смысле, и это будет не благодаря нехорошим людям, захватившим и извратившим... а благодаря вам самим, самим этим вашим понятиям, на которые вы уповаете; они, еще запретные и не произнесенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет и подвигает вас. Через десять лет вы будете слышать все слова из стишков Рудика на каждом шагу... Россия, родина, Пушкин... слова, нация, дух — все эти слова зазвучат еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле, заголятся — и это будет конец этим понятиям. И наступит пора «новых», которые вы к тому времени отыщете из еще более забытых. Это будет такая промышленность — «до́быча» слова (так, кажется, уже выразился один поэт), отработанные слова будут сваливаться в отвалы. Как в ру́днике... Лева, ты работал на «ру́днике»?.. Сейчас вы проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинетесь на Тютчева и Фета: доращивать одного — до гения, другого — до великого. Бунина — вытягивать... Это раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной культуры. Все будет, все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам кажется, все и объясняется и исправляется. По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности — будто оно одно и существует,— обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытья его. Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского отношения к действительности. В таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой религии. Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас, будьте благодарны культу...

Под эту реакционную речь, воспринятую всеми как удачно и вдохновенно сказанную, все еще выпили.

. . . . . .

Дед морщился, корчился — и перебил Рудика:

— Что вы кичитесь? Сами такие. Нет не таковских. Вы же — за, против, между, но только относительно системы. Вы ни к какому другому колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны — а это навсегда. Вы хотите сказать от себя — вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица своей же системы сказать можете. Куда ты... денешься? Для вас уже нигде не найдется условий: если вы себя даже экспортируете, то вы не можете захватить с собою то, относительно чего вы только и есть для себя. Да отвяжи вас — вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника... Вы обнаружите, что вас-то таких и нет. Это только здесь вы — есть. Вы больше нигде не будете. Вам не нра-

вится... А мне нравится эта жизнь! Что вы понимаете?.. Вы не можете этого оценить. Вот Рудик... я ему дал мятую дрянную бумажку — и он пропал, провалился в этот пустырь и нет его и нет! — Дед вспомнил и снова рассердился, фыркнул.— Да ведь сами посудите — и быть не может! Ведь куда он ушел? — один камень, плоскость, пурга... и вдруг возвращается ниоткуда: несет хлеб, вино, чай, колбасу, даже табак! Откуда? за что?.. Когда мне кажется, что схожу с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным, само собой разумеющимся, чего и понимать не надо! Ведь этого места, где мы сейчас сидим, скорее всего и нет на земле, быть не может — остров небытия. Однако открой кран — пойдет вода!.. Ну, электричество, газ — еще как-то можно смириться: мол, этого и постичь нельзя, мозги поломаешь... Но — вода! откуда вода-то здесь взялась?.. Однако можешь даже попробовать на вкус — вода! Даже не только попробовать — напиться, утолить жажду можно! Это ли не потрясающе?.. Положим, вода — вообще самое удивительное на свете: прозрачная, без вкуса, без запаха — и пьешь! Чистое утоление. То, что по бороде течет,— уже богатство... Это почти воздух — так удивительно и так не сказать. Если настоящая жажда — то и воздух. Я вам о прогрессе наговорил... Главное забыл. Не оттуда нам грозит, где с трудом дается, даже если и грабительским трудом. Не оттуда, где дорого, где стоимость, где всем надо и все хватают,— где есть цена, объявленная ценность. То есть мы, конечно, сведем леса, воды, рыбу, почвы, зверей... зверей, зверей первыми, чтобы наедине остаться... но все это потом, не успеем даже до конца... Потому что прежде всего нам грозит — от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда, от того, что не имеет стоимости,— вот откуда нам гибель: от того, чему не назначена цена, от б е с ц е н н о г о! Мы выдышим и выжжем воздух, мы выпьем и выплескаем воду... То есть б е с п л а т н о е мы разорим первым, а золото, брильянты, что еще? — все это будет лежать целехонько и после нас, на память о нас... Все-таки как это ни очевидно, а забавно, что то, что с самого начала было ничьим, общим — то и пропадет первым... Мы окружим понятия бессмыслицей слов, пока не завалим, чтобы не видно, накинем на явление рваную сеточку слов, кое-как накроем — и ладно, поймали... Нет, мир без молитвы совершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева, помните, пожалуй, в «Отцах и детях», в эпилоге, про Петра: «Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е*, как *ю: тюпюрь обюспючюн...*» Обюспючюны все теперь... тюпюрь... Я тут иду недавно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котлован вырыли... метрах в десяти, может, от цоколя, редко бывает так близко... дом еще чуть повыше остальных, сам по себе... и вышел он как над обрывом — такая коробища! Смотрю — так он же просто на землю положен, ну просто как спичечный коробок... и ничего — стоит. До чего же тихая и терпеливая наша земля, думаю. Даже кожей не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем... А мы уж и уверены! Видим — тихо... давай! И живут все в этом доме, из трухи сделанном, на землю просто так положенном, живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят, и такой завели порядок!.. Ровно встают, ровно выходят, автобус их везет и привозит не куда ему, куда и м надо, там они что-то делают, неизвестно что, и назад едут — тоже транспорт и на этот раз их не подводит, приезжают — сразу разбираются, кто где живет, у них это специальными цифирками обозначено, они их помнят, цифирки эти совпадают с тем, что они помнят,— они и не перепутываются; два раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают, и каждый понимает, сколько он их получит, потом они на эти же бумажки наверняка же берут товаров и расходятся их же употреблять; входят под одну свою цифру, потом под другую, зажигают свет — светло, за окном

пурга — батарея теплая... И не только устроились, но и все так ловко для себя у с т р о и л и! С той заботливостью и уютством, как разве в детстве в куклы играть возможно. Себе, заметьте, устроили — не вам! Вы-то себе ничего не устроили!.. Так что не... вам и претендовать. Вы брезгуете, говорите: сублимация, подмена, су-ще-ствование!.. Да, может быть, но — т о ч н о е! Вам и не снилась такая точность! Вы несчастны с а м и, как дураки. Вам любой скажет, что вы дураки... Система обеспечивает счастьем тех, кто в н е й находится и за края не высовывается... Кто ж его заставляет высовываться?.. Да, потрясающе все устроились — и уверены в этом. Заметьте, системы хватает даже на придание уверенности — она сильна... Вам кажется, в ы духовны и потому свободны. Так будьте духовны. Но и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху, а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума... Однако самостоятельность и свежесть своей независимости дано вам обнаружить лишь по отношению к позволенному. Вы будете читать «Улисса» в тысяча девятьсот восьмидесятом году, и спорить, и думать, что вы отвоевали это право... Это я вам говорю во второй половине пятидесятых — а вы поверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать. Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль о вашей зависимости вам недоступна. Завистники вы, неудачники, не состоявшиеся вы ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем... Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того — нет. Не для меня, но — есть. И у меня прямо душа падает от ловкости, цельности, сладкой целесообразности людского мироустройства...

За это все выпили, сам бог велел.

Лева чуть не плакал: что сделали с человеком! Но сдержался, заговорил о другом сильно издалека.

. . . . . .

...Дед прервал Леву на полуслове.

— Почему же незаслуженно! Почему же незаслуженно?.. — напал он, как петух, поворачивая к Леве голову боком — живой стороной лица. В голосе его звучала чуть ли не обида.— Я именно з а с л у ж е н н о пострадал... Словечко-то какое! Заслу-женно! Меня посадили за д е л о. Я никогда не был бездельником, не был несерьезен. Я не горжусь этим: быть всегда серьезным — пошлость. Но я был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, я бы сейчас с тобой не говорил! Я бы выгнал тебя к бениной маме в шею... Господи! Они еще спрашивают и удивляются: к о г д а, мол, все это началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться — тогда и началось. Гнать надо, в шею! — Шея у деда действительно иллюстративно налилась, Лева забеспокоился за второй удар, но зря: дед уже не был серьезен, он выступал. У него были проверенные слушатели и Лева — жирная наживка.— В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили... Власть есть власть. Будь я на ее месте — я бы себя посадил. Единственно чего я не заслужил, так это вот этого оскорбления реабилитации. Меня уже не страшно: я — шлак. Меня выбросили на покой — я как узник отслужил свое и больше ни на что не годен. Так в учебниках поступают с рабочими в странах капитала. Я им не опасен — я им не нужен. Вот тебе квартира, вот тебе пенсия. Причем — как подарок, как компенсацию, чтобы еще раз унизить, напомнив, что я им ничего не смог сделать... будто я трудом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым, чтобы быть сломленным,— я менялся сам. Как та девка, которая

видит, что сопротивление бесполезно и ее все равно изнасилуют, именно от гордости может раздеться сама... Я сломался лишь сейчас, после «освобождения». Я никогда не болел — первое, что со мной здесь случилось, это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться,— мне нельзя. Значит, я сам могу хотя бы одно сделать — то, что мне нельзя. Мне жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек — я не имею уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это жестокость — делать такое с человеком дважды! Сначала изнасиловать — потом заштопать и объявить целкой. В результате — к семидесяти-то годам! — все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни была, была бы м о е й жизнью, я могу сказать, что не справился с жизнью... Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня не б р а л и (как ту девку), сам ушел с ними. Я поставил крест на своем прошлом, на своей работе и призвании. Я понимал жизнь так и так себя понимал, что все, происходящее по судьбе с человеком, должно стать его жизнью,— это стало моей жизнью. Я прекрасно работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким: словом или грунтом и стройматериалами. Я стал другим человеком и был им все эти двадцать семь лет, я — другой человек! На ... мне такая справедливость, чтобы я насильно становился снова тем человеком, каким был тридцать лет назад! Тогда мне было сорок, теперь семьдесят — это ли не разница! Да и будь мне тогда семьдесят, а теперь сорок — я бы не был способен в третий раз сделать эту жизнь с в о е ю. Как смели те же люди, отвершив несправедливость, они же и восстанавливать ее!.. В лучшем случае это цинизм: выходит, они всегда з н а л и, что делают. И т о г д а знали, что через время, через мою жизнь, отменят ее! Они-то как раз и сделали так, что отменили тридцать лет моей жизни, вернув меня в прежнюю точку. Мол, это ошибка, что я жил эти тридцать лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе. Не мытьем, так катаньем: не вышло отменить в тебе твою жизнь, посадив, отменим — отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира — издевательство, бритая ухмылка... А может, я хочу там остаться, может, у меня там баба осталась, коротконогая безграмотная дура? Она — уголовница, ей, видишь ли, нельзя в большие города... Сначала все это было судьбой, теперь это уже возмездие. Слишком, нельзя столько. Казнь — пожалуйста, возмездие — хоть оставьте Богу! Вы помнили меня всегда только таким, каким посадили! — Он уже давно обращался только к Леве, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в грудь. — И таким же, сволочи, хотите меня сейчас, через тридцать лет, потому что д л я в а с этих моих лет не было! Ваши были, а моих не было! Я должен был вернуться тем, гениальным, сорокалетним, в отложном воротничке... чтобы бабы падали,— а теперь разочарованы, что видите меня другим? Вот вам! что осталось... — Он полез расстегнуть и показать, но слишком долго искал — его остановили.

Лева испугался и протрезвел: он устал мучиться е г о мукой, не той, что в словах, а другой, которая была над его словами, о т собственных слов. Дед раньше всех слышал собственную пошлость, даже если ее не слышал никто, его стошнивало — и не наружу.

— Мне некому даже рассказать о своей жизни — вы не поймете,— сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально. — Ему? — Он ткнул в Коптелова. — Он и так знает. Ему? — Он ткнул в Рудика. — Он, сирота, и так не поймет. Тебе? Ты и так не знаешь... Это глупости, что я сержусь на твоего отца,— он не сказал «сына»,— у меня просто нет сил.

Ему налили, но он не выпил.

. . . . . .

— Ну и как же он живет? — спросил притихший и успокоенный, словно даже трезвый и виноватый дед.

Этот переход, такая перемена уже не удивляла Леву: он стал свидетелем уже нескольких подобных... Амплитуда поведения деда была столь постоянна и очевидна, что при желании ее наверно можно было бы выразить математически в виде некой кривой, причем достаточно было бы уже двух опытов — третий был бы уже проверочным... Эту кривую можно описать по-разному, лишь смещая точку начала описания, координаты в графике, где по одной оси откладывается количество водки в миллилитрах, по другой — «кайф» в каких-нибудь единицах мысли (выбор подобной единицы и есть самое сложное...), выражающих меру самостоятельности, новорожденности и крутизны ее...

Сначала как бы ничего нет: пульсирующее дрожание и неподвижность, весь мир — в рассыпанном и чрезмерном разнообразии, без возможности предпочтения, без воли выбора — чистое нервическое поле, стрелка дрожит вокруг нуля — похмелье. Принимается доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессивности — способ преодолеть время и ожидание действия,— поводом для срыва раздражения может служить что угодно, первое попавшееся... В этой, еще тупой, раздражительности проходит некоторое недолгое время, и ее настигает «кайф». Удовлетворение приводит на секунду к размягчению, к потере последовательности — «о чем бишь я...»,— к провалу мутной полуулыбки... И потом происходит перерастание «первого кайфа» в собственно «кайф» — выступление деда, состояние, когда дед — дед: разбегáвшиеся до сих пор ум и сердце слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившемся центре реальности... И речь эта растет и ширится — и обрывается столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть: решительное доказательство «химизма» духовных процессов алкоголика,— «действие кончилось».

И дед был не только достаточно умен, но и достаточно «сознателен», чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от «химизма» собственной мысли (то есть, уже в любом случае, ее условность, относительность, неестественность), неспособность прийти в состояние мысли «наяву» были предметом особенно сильных, особенно невыносимых терзаний деда, которые в свою очередь были тоже унижены и тоже «химизмом», химизмом похмелья.

Он был оскорблен и унижен, мысль его была унижена в буквальном смысле слова — она не достигала реальности. И если «зрители и слушатели» могли быть удовлетворены и даже восхищены его речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором былого здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением, он гневался, и выпивал еще, и снова гневался в ожидании «кайфа».

— Ну и как же он живет? — спросил дед как бы тихий и виноватый...

Леве представился еще шанс. Он еще раз попробовал истолковать все по-своему, так, как он мог бы все это понять и принять, и так, как на самом деле не было...

В этой внезапно наступившей тишине и виноватости деда и в том, что тот спросил-таки Леву про отца, про сына, и, не спрашивая,— про святого духа... то, что дед не называет отца сыном, было тут же отмечено Левой с некоторым удовлетворением от собственной наблюдательности — усмотрел он, «как на самом деле страдает старик», как ему пусто и одиноко без них: без семьи, без какого ни на есть сына... Роль Шекспира в трагедии Лира... у Левы даже в носу защипало от такого предположения чувств. Это он (дед) от несчастий и несправедливости такой неуживчивый и злой, а на самом деле он — добрый (все-таки на Леву произвели сильное впечатление педагоги начального образования: «Ты на самом деле не злой мальчик, ты хо-

роший на самом деле мальчик. Это у тебя наносное. Скажи, кто написал на доске нехорошее слово,— и будешь хороший мальчик...» — и по головке, по головке — первое растление...), на самом деле, думал Лева, все это у деда лишь вызов, наносное. Он почти представил, как он, Лева, найдет все-таки, очень постепенно, очень тонко, подход к деду, ключ, растопит лед обид и горя, и, хотя на закате дней, деду улыбнется любовь и очаг... но тут, почти уже рассадив их всех за вечерним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди Диккенса — стало ему на секунду не по себе от такой невозможности, и, чтобы не потерять умиления, он тут же стер эту картинку с внутренней стороны лба...

И поскольку ему сейчас надо было рассказать деду что-то об отце, отцу — о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по «растоплению льда», он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать, а главное, как сказать, так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонаций, честной открытости взгляда, что он очень всем этим увлекся и уже как бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду, слушал сам, как говорит Лева. Откуда-то падал его душевный и располагающий голос — и совсем не слышал того густеющего, остывающего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло.

— Эк тебя, батенька, опять перекосило! — тихо, но как-то очень слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту... — Странный ты все-таки малый... Может, вы все теперь такие? Ты, по-видимому, совершенно искренне — слышишь, Левушка, я не сомневаюсь в твоей искренности, быть искренним, кажется, важно тебе... — совершенно искренне никогда не бываешь самим собой... По-видимому, нынешняя система образования — более серьезная вещь, чем я думал. Я думал просто — хамство и невежество... Но нет ведь! Попробуй научи человека не собственно пониманию, а представлению о том, что он понимает и разбирается в происходящем,— эт-то потрясающий педагогический феномен! Для тебя не существует ни фактов, ни действительности, ни реальности — одни представления о них. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь! Но пищеварение хотя бы у тебя происходит? Ты ... ходишь? Прости, Левушка, я не хотел тебя обидеть... Вот ведь с тобой и говорить-то по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению,— тебе и обидно, что они не совпали. Тебе будет долго и напрасно больно, Левушка, раз так... Необъясненный мир приводит тебя в панику, которую ты принимаешь за душевное страдание, свойственное тонко чувствующему человеку; объяснить, я вижу, ты еще ничего не в состоянии; тогда единственный для тебя выход благополучия (и ты им как-то парадоксально расчетливо пользуешься) — иметь объяснение происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению. С чего ты, например, взял, что, что бы я ни говорил вслух, втайне (подтекст? такое теперь слово?..), втайне чуть ли не от самого себя, я страдаю? Почему ты так уверенно различаешь, что «естественно» и что неестественно? Кто тебе прочел указ о том, что, раз полюбив, любят всю жизнь? Что возникновение чувства — хорошо, а потеря — плохо? Кто и когда успел тебе внушить, что все именно так: дед любит внука, внук уважает деда?.. Ты не предстанешь ни разу, таким образом, лицом к жизни, но боюсь, что это не выход и она тебе даст по жопе — и тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, умными тебе кажутся те люди, которые говорят то, что ты недавно понял за умное, а глупыми — те, кто говорит еще то, что ты недавно уценил как неумное. Ты все время будешь, таким образом, достигать более высокого уровня, чем тот, на котором находился, ты всегда бу-

дешь подниматься вверх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отличается умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, не могу себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от глупого отличается как раз и именно не уровнем объяснений происходящего, а «неготовностью» этих объяснений перед лицом реальности. Ты слышишь меня? Или опять ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее?.. Знаешь, что такое то, что ты съел вчера?

Это Лева хорошо знал — ему объяснил дядя Диккенс. Но он уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово «глупый». Он ничего не мог поделать со своими губами — они набухли, топырились и подрагивали. «Меня, кажется, назвали глупцом»,— думал Лева.

Лева не слышал, да дед уже ему и не говорил. Он повернулся к «своим» слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения чем-то увлекли его...

— Ум — нуль. Да, да, именно нуль умен! Пустота, отсутствие памяти, заготовленности — вечная способность к отражению реальности в миг реальности, в точке ее осуществления. Ум — это больше, чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование... Ум народен. Ум — это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не цитирование, не воспоминание, не изготовление по любому, пусть самому высокому, образцу — не исполнение. Ум — это способность к реальности на уровне сознания. Ни для чего, кроме живой жизни, ум и не нужен. Вот так, пожалуй...

Он разлил последнюю бутылку по стаканам с удовлетворением.

— Чего я не встречал,— усмехнулся дед,— так это людей, считающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним из секретов власти... Легко управлять людьми, которые ни при каких обстоятельствах не способны показаться себе глупыми в собственном представлении. Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом, чтобы они никогда не стронулись с места. Хорошо в этом смысле всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать себя глупее других. В основе ума лежит незнание. Поэтому ни один обучившийся не станет умным. Нуль еще умен — пятерка уже глупа. Жизни нет там, где она уже была; и не надо ту жизнь, которая была когда-то или которая есть где-то, искать сейчас или здесь. Здесь и сейчас — это именно здесь и сейчас. Другой жизни нет. Выпьем! Выпей и ты, Левушка, не расстраивайся... Ты, Левушка, главное, не расстраивайся...

Левушка расстроился и выпил залпом все свои сто двадцать пять граммов, а делить дед умел, так что там было не больше и не меньше... И тут с Левой произошло что-то странное. Он почувствовал, что трезвеет. Весь этот не уместившийся в нем вечер куда-то пропал, и он как бы только что вошел с мороза...

— Чего вы смеетесь? — сказал Лева. — Мы не пьем — мы трезвеем. Вообще трезвый человек — на самом деле пьяный, а когда пьет — трезвеет.

— Молодец! — сказал дедушка, поправляя камилавку. — Вот о себе и расскажи. Ты никак по стопам отца?

— Нет! Нет! — как «чур меня, чур», воскликнул Лева.

В комнате стало жарко, он расстегнул пуговицу. Ему показалось странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каждым своим новым словом. И тут понял, что давно уже говорит, а все слушают. Он глубоко до боли вдыхал прокуренный, пропахший закуской воздух, напрягал все мышцы — комната фокусировалась на миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты: дед пускал свой махорочный дым и обе половины его лица словно бы стали равны... — и Рудика, неподвижно и презрительно смотревшего чуть вверх и вбок, и Коптелова, крутившего перед собою ста-

кан и больше внимательно не смотревшего, словно все уже знал до конца... Лева задержал дыхание и с секунду сохранял перед глазами эту картину; потом сам собою последовал выдох, и все разбежалось снова: и дед, и Рудик, и Коптелов, откуда-то бочка, распятие, цвета и звуки, слова и мысли — все это снова клубилось перед ним, слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить.

Наконец к Леве стала возвращаться память, отматываться назад, и все стремительней: вот слово, сказанное минуту назад, вот фраза и вот внезапно вся его речь — общей массой, в неразличимости и слитности слов, но в отчетливости ее целого смысла — как удар. Лева даже зажмурился от ослепительного света непоправимости — он наговорил о том, о чем говорить ему категорически не следовало: о трудах деда, о всей их старой школе, о том, как он, Лева, сам, своим умом и собственными силами (скрип зубовный теперь от стыда)... хочет прибегнуть к их методам... Но не надо было исправлять эту ошибку...

Слово «отец» пролетело по комнате, и Лева судорожно схватил его на лету, сжал в кулаке, как муху... Да, да! Именно здесь крался, как ему спасительно представилось теперь, главная ошибка. Поправить в с е г о он уже не мог — но хоть не погубить в с е... Именно когда говорил об отце, он и совершил главный и непростительный промах: рассказал деду все не так и не то, что х о т е л услышать дед. Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было рассказать деду об отце.

Подцепив из воздуха черное и фрачное, как муха, слово «отец», он быстровато заговорил о нем, извиваясь по мере этой быстроватости и все сильнее чувствуя это свое извивание... О том, как он узнал, как отнесся, что́ узнал и ка́к поступил. Он раздвигал, отлеплял себя от отца как бы специальной лопаточкой, отдирал, отковыривал, подравнивал края разрыва...

Ох, как бы ему хотелось захмелеть обратно! И он почти достиг этого от непосильности взваленной на себя ноши и раздавленности ею. Зачем он сам, добровольно — никто его за руку не теребил — соскреб весь свой день в кучу (получилось много) и хотел унести? Он не мог стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего дня. Он почти опьянел от тяжести, глаза застлала душная близорукая невидимость, он начал путать слова, не понимая уже, что говорит, и испытывая даже какой-то подъем оттого, что он отдает и отдает кому-то все: и отца, и себя, и дядю Митю,— и все это чуть ли не с удовольствием, с непонятной даже радостью. Так — непосильную и драгоценную ношу уронить в грязь не донеся и почувствовать все равно облегчение... Хотя бы и мать, была бы сестра — и сестру, и это почти наслаждение...

Он услышал крик не сразу.

Крик, похожий на звон, как бы прорвался с полуслова, будто в приемнике резко включили звук...

— ...о - о - о н! ...о - о - о н! Ты же об о т ц е!.. Мне! О т ц у... Во-о-о-о-о!

«Вот он». Дед кричал, но как-то невнятно, словно во рту у него был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся...

Лева вставал, зацеплял ногой стул, стул качался и не падал. Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонно и нарушал законы равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое внимательное равновесие некой эмоцией, к Леве никак не относившейся...

— В семени уже предательство! В семени! — орал, сидя на стуле, дед, не то стонал.— Бескорыстно уже, абстрактно...

Лева ловил из рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пятясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая и пальто и шапку. Натыкался спиной на углы и косяки...

Лева стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и несильный, но обидный удар Рудика, пришедшийся вслед... и дверь, казалось ему, еще дрожала от удара, и «запродано! запродано!..» звучало в ушах, как заскочившая пластинка.

В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно неся себя как бы спеленатого и трогательно легкого... Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было и улицы,— все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчики, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть — и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было — дороги не было.

Лева брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной неправдоподобной дрожью: не было бы преувеличением или образом выражение «стучать костями», оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда зажегся глазок такси — в это трудно было поверить: мираж, немыслимое счастье... Лева заспешил, уже ничего не различая, кроме спасительного зеленого пятнышка. Оно было неподвижно — его не могло быть,— оно должно было отъехать и умчаться, как только он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов... И когда пятнышко потухло и снова зажглось, сомнений у Левы не оставалось: он — сходит с ума, тронулся, «поехал»... Такси было совсем близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Леве бесконечными. Он странно почувствовал протекание времени сквозь себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым: оно тянулось, вытягивалось, утоньшалось, образуя шейку, как капля, и вдруг — рвалось. Так он долго шел к зеленому огоньку, совершенно ни о чем уже не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и крича,— ничего пока не менялось, огонек оставался на месте, не приближаясь...

И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и на ходу продолжал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие показалось Леве ужасным.

Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило, и тогда он сильно обиделся. «Как же так...— невнятно думал он.— Я только впервые, может, все это, настоящее, почувствовал, никто меня этому не учил, так что это моя заслуга, я со всем открытым сердцем... а мне — нате! Так и не надо тогда! — прозлился он и стер рукавом слезу.— Подумаешь! Старый болтун, дурак...»

Он успокоился — его еще разморило. Все поплыло плавно, светившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покачнулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место — тут они взлетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в Леве, подкатило, и его вытошнило.

На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее и, резко, с матом газанув, уехал. Но это было уже совсем близко от дома.

Дома никто не спал — ждали. Лева мерзко осклабился и, не сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув, почти с удовольствием, просящий взгляд отца и умоляющий — матери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он так себе и сказал в двух словах: «Стал хуже...» Это было новое, неожиданное чувство — он бы не мог сказать, почему хуже и хуже чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше — был Левой. Сегодня же — «стал хуже...» сказал он себе и почему-то испытал при

этом почти удовлетворение. Он стал хуже не ясно чего и, содрогаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя, на все рукой. «Ну и ладно»,— сказал он себе. И еще раз для полноты и на самом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что; закрыл глаза — голова закружилась, кровать раза два повернулась вокруг как бы оси... И Лева пропал, его уже не было...

Проснулся же Лева до странности пустым и свободным и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или ничего на самом деле не было.

Этого урока он еще не мог усвоить.

Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел, подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с графинчиком, Лева ушел к себе или даже на улицу. Отцу он как-то раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что ему смешна эта мода на «пострадавших», когда на самом деле ее попросту п о з в о л и л и, эту моду.

Что-то он все-таки извлек... Нечто понял, но «справедливым» быть не желал. Освобождения не было. Справедливость была ему не нужна.

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ

Дед вскоре не выжил.

Он сбежал назад, на поселение, но в дороге его поймали, вернули, лечили, учредили опеку — и он не выжил.

Или, сбежав, заболел он еще в дороге, как Лев Толстой, и умер в Печорской железнодорожной больнице, так и не доехав до поселка Сыр-Яга, или Вой-Вож.

Или так. Деда принудительно лечили. Он сбежал и добрался-таки до Сыр-Яги, где его старуха, не имея никаких оснований ждать его, сошлась с одним слесарем по фамилии Пушкин (всего лишь однофамилец) [1]. Старуха тут же Пушкина бросила, и он каждый вечер шумел под окнами пьяный. Дед же Одоевцев вскоре не выжил, потому что «вторичное» возвращение в «прежнюю» жизнь подорвало его последние силы. И он испустил дух под вопли старухи, на руках слесаря Пушкина.

Существует несколько легенд, по-разному акцентированных, по которым можно предполагать, как умер Модест Одоевцев. Однако во всех версиях, при полной противоречивости, наблюдается общий словесный ряд: принудительное лечение, побег, Сыр-Яга (она же Вой-Вож и Княж-Погост), опека (кто-то раз оговорился «упека») и смерть. Последнее сходится во всех вариантах и всегда стоит в конце ряда. А остальные слова переставляются, что и меняет сюжет, причем принципиально. Сами Одоевцевы знают больше, но ни с кем не делятся. Слово «опека» исключено из их лексикона.

И мы не будем уточнять. Нам важна эта неясность как краска, как мнимая величина при абсолютной величине смерти. Во всяком случае, с кем-то из наших знакомых что-то подобное было.

Панихида была довольно торжественна. Хорошо выбритая профессура особенно была предупредительна, особенно скользила в узких проходах, не до конца качая головою, значительно роняя глаза. Все они что-то знали т а к о е о судьбе Модеста Одоевцева, который уже не знал о себе ничего. Они все знали, о чем молчали, эта общность несколько объединила их, а это опьянение могли они

---

[1] В таком совпадении нет ничего анекдотического. У моего приятеля в институте работают завхоз Гончаров, дворник Пушкин и водопроводчик Некрасов, однажды он их видел в магазине соображающими на троих. Любопытно, что Гончаров здесь старше Пушкина по служебному положению.

приписывать, в свою очередь, возвышающему приобщению к смерти. Было много общего и в лицах, некое конституционное сходство... Были сказаны слова, были произнесены намеки — они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противостоянию неисчислимым силам зла. Голоса дрожали взволнованностью при намеке, это ласкание опасности еще более спаивало всех, и смерть уже ничего не значила... Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее,— все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по тому поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет.

Всем им было уже более выгодно, нежели опасно, и хвалить деда Одоевцева и произносить намек. Одоевцев начинал входить в моду — они были ее жрецами. Как жуки выпускают свои локаторы и антенны, похлопывают друг друга усиками, так они инстинктивно выверяли свой круг опоры и поддержки. Становилась новая пора.

Еще до смерти Одоевцева его имя упрочилось в упоминаниях и ссылках, ряд периферийных перепечаток его старых (пока небольших и непринципиальных) работ был, однако, всеми, кем надо, отмечен и прочтен. Шли упорные разговоры об издании его однотомника, но с этим, при благожелательном по тону отношении руководства издательства, пока тормозилось. Всем не хватало его смерти — и он умер. Казалось, того и ждали, дело с однотомником решительно подвинулось, его чуть ли не засылали в набор. В специальном журнале появился большой некролог, уже без оговорок ставивший имя Одоевцева в р я д.

Значительную и благородную, почти и бескорыстную, всеми отмеченную роль в приведении в порядок и популяризации наследия Модеста Одоевцева сыграли его сын и еще юный, но способный внук. Они и правда взялись за дело с рвением и охотой. Это было похоже на дело, реальность его была объективна, с тем отличием, что дело было уже сделано, причем давно, другим, теперь умершим человеком. Они теперь красили решетку, поливали цветочки, вели переговоры с одним передовым московским скульптором. Тут наше лицо уже не кривит ухмылка: нам нередко приходилось видеть русского человека, делающего чужое дело с радостным оживлением и охотой. Например, объясняющего зрячему дорогу и даже провожающего его бережно и под локоток до трамвайной остановки, причем в другую сторону, чем куда он сам очень спешил. Или подробно, с удовольствием помогающего пьяному... или с неистовой истовостью сдающего еще не пьяного в вытрезвитель. Все они пьянели от своей «образцовости». Во всяком случае, охотность, с какой взялись и сын и внук Одоевцева за его дела, еще раз подчеркиваю, прежде всего не выгодой объяснялась, а тем, что это было чужое и безусловное дело, причем уже сделанное. Отец после работы, сын даже забросив учебу рылись в архивах, писали письма, составляли и пересоставляли. Была в этом некая соскучившесть по делу, чесались руки, как у мастеров после долгих принудительных или заказных работ...

В семье возникал и разрастался благоговейный и фамильный культ деда. Фотографии все увереннее и все больше висели по стенам — и будто всегда уже висели.

На Леве это все сказалось положительно — он вторично «извлек пользу» из семейной драмы, правда такую же, как и первая. Он — научился. Ему преподавали как раз те взволнованные люди, что хоронили деда, и он усвоил не то, что они читали, он — *их* усвоил...

Еще в университетских стенах он сумел определить свои творческие устремления, нащупав область, намечая тему, чем и выделился

из общей студенческой массы, вяло подвигавшейся к диплому, и успешно шагнул со студенческой скамьи в аспирантуру.

В этом ему немало способствовал и отец. К тому времени мутная волна разоблачений несколько осела и начала спадать, отец сумел отделить напраслину от вины и свалить с себя вину вместе с напраслиной: он вполне оправился, упрочился и даже помолодел.

Он был очень доволен Левой, почти гордился им. Лева относился к отцу мирно и снисходительно.

Противоречия отцов и детей несколько сгладились и значительно стерлись. Ров между поколениями был заполнен предыдущим поколением.

Десять лет, обещанных дедом Одоевцевым, прошли.

Лева жил, и никогда у него никто не умирал. Бабушку схоронили без него, да и было это слишком в детстве. Теперь они умирали один за другим, словно сговорившись. Так дружно однокашники женятся и рождают первенцев: все Анны или все Андреи... И вдруг, на тебе, так же дружно вымирают.

Дядю Диккенса нашли в холодной и чистой квартире у потухшего «камина», с рукой на горле — он повязывал галстук. Он был уже совсем готов «к обеду» — он лежал убранный и готовый в гроб. Так выяснился еще один аспект мании дяди Диккенса к чистоте — готовность к смерти в любую минуту. Старый офицер...

Его похороны совсем не походили на торжественную насмешку над дедом Одоевцевым. Несмотря на свою бедность и немноголюдность, они произвели очень трогательное и не омраченное впечатление. Погода стояла на редкость чистая, и уголок на кладбище достался Диккенсу светлый. На похоронах почти никого не было, одни Одоевцевы да, к удивлению Левы, Коптелов. Коптелов шепнул Леве, что служил под началом Дмитрия Ивановича во время войны,— впрочем, больше они не поговорили. Мама очень плакала, и, опоздав и запыхавшись, появилась заплаканная красавица с венком от официантов «крыши». Он был «свой человек», дядя Диккенс, и ему это было приятно.

В общем, у Левы впервые умер *родной* человек. С дедом все было не так: там смерть была заслонена энтузиазмом рождения великого человека. Никого не интересовало, что дед был человек. Дед был дельфин, кто угодно, но не человек. С дядей Диккенсом же было наоборот: ничего, кроме человека, в нем не умерло, но и ничего не осталось после, ничто не рождалось, и эта пустота между смертью и рождением ничем не заполнялась, была *невосполнима*. Со смертью дяди Диккенса не стало дяди Диккенса.

И это была утрата. Дядя Диккенс отнюдь не был великим человеком в том общепринятом, «весовом», значении, но нам хочется подчеркнуть особое и редчайшее его величие, величие осознанности собственного «размера».

Он был не сильный и не большой человек, у него всего было не много, но он ничего себе не присваивал и ни на что чужое или общее не посягал, как это принято между людьми. Зато *себя* он помнил всю жизнь, и в то время, когда все забывали всё, он не забывал свое «немногое» никогда. Не было никаких оснований предпочесть семью Одоевцевых многим другим, в том числе и возможной своей собственной, но именно эта семья *случилась* в его жизни, и, в таком случае, он уже ее не менял. Эта преданность была преданностью *себе*, чем она и выше, скажем, собачьей. В каком-то смысле дядю Диккенса съела, употребила своей любовью, заодно воспользовавшись до конца и его любовью, семья Одоевцевых. А у него, как мы уже говорили, всего было не много, но зато это было — все. Так он и пошел, цементом, в их гнездо. Они же, сильные и толсто-здоровые, легко употребили его, не заметив, как

и когда это произошло, полагая, что скрашивают его одиночество своей любовью. На пути с гражданской в лагерь, на крепенькой и невидимой лесе своей судьбы, попал он в пруд к Одоевцевым, там и увяз как исполненный подлинного благородства человек. В редкие свои каникулы свободы он едва успевал отнести вещмешочек накопленного тепла, как его забирали, как было уже пора... Так он и расходовал себя по мелочи, как в семье. У него ничего не оставалось. Заначек у него не было. Одоевцевы же кивали, позевывая перед сном, и говорили в неостывший след дяди Диккенса, что да, каждому человеку должно быть «куда прийти»... Они были начитанные люди.

У дяди Диккенса и деда Одоевцева, у людей, обобщенных историей, были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их, эти ветви не видят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались «сохранить достоинство». И тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, никому не свойственные, свои единственные пути. Но слово «пытаться» и слово «сохранить» уже исключают понятие «достоинство». Достоинство — это то, что есть, номинал. Отсюда «сохранить достоинство» — это сохранить с в о е достоинство. И главным тогда оказывается слово «свое». Сохраняя «свое», они проявляли истовость и неистовость кулака, но недвижимостью их была личность. Истовость проявил Диккенс, пряча свое и надеясь его сохранить, а потом пытаясь сохранить даже то, что осталось, а неистовость проявил дед сразу же, когда нашли его и отняли. Возможно, Диккенсу было легче сохранить свое, потому что добра было меньше. Возможно... Но все равно нам хочется указать на то, что дед отнесся к своей жизни («своему») чересчур всерьез. Было все-таки в нем самом то, на что он напоролся,— посягательство и присвоение, пусть в самых высоких, воспетых и возведенных человечеством на пьедестал формах. Но не надо посягать, не надо присваивать никогда ничего — это всегда нехорошо.

Может, иной раз лучше не упорствовать («не упырствовать», как говаривал дядя Диккенс), а пропускать. Тем более что мы отнеслись к повествованию с большим «упорством», чем ожидали. Нам, короче, не хочется излагать сейчас «второй вариант», который был неосторожно обещан,— «второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого опять получится ровно такой же герой».

Но нет, из жадности мы все-таки кое-что набросаем — две-три неловкие, но самоуверенные линии...

Что совпадет в обоих вариантах? Прежде всего нам хочется сохранить фамилию, намек на родовитость в далеком и изжитом смысле слова... Почему нам это так важно, мы сами не можем до конца объяснить.

Если Лева принадлежит нашему времени и отделен историческим временем от собственного происхождения, то его родители, хотя и принадлежат прежде всего нашему времени, от своего происхождения отделены уже меньше, а ранним детством даже принадлежат ему. А дед совсем не отделен от собственного происхождения, зато он отделен от собственных детей и тем более от Левы. Тут и возникает тот семейный микроклимат, в котором выращивается наш герой.

В личной жизни люди измеряют отсутствие лжи в отношениях, как правило, правдоподобием и неразоблаченностью — отсутствием ф а к т о в, изобличающих ложь. Однако совсем не требуется доказательств для правды, ф а к т ы правды необязательны в отношениях. Однако изобличенная ложь — это уже не ложь, это драма, и

только. А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она — трагедия. Там, где человек мучительно болтается на мутной поверхности судебной, фактической недосказанности, неподтвержденности собственных ощущений и чувств и вынужден как бы юридически не доверять собственным, свойственным ему, точным по природе ощущениям и чувствам, и разучается руководствоваться ими в своих поступках, то есть перестает их совершать — с в о и поступки. Это и приводит к отмиранию естественно нравственной человеческой основы, являя собой классический пример д е з о р и е н т а ц и и человека как биологической особи.

И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то мы бы сейчас не растерялись и уверенно ответили бы: о дезориентации[2].

Так и Лева с малых лет формировался в «недоказанной» атмосфере. И независимо от возможности доказáть это можно утверждáть, что всех нас сформировали отнюдь не очевидные биографические факты, которые мы можем показать как доказательства, а именно факты, мучительно недоказуемые, часто как бы и вовсе не существовавшие, «данные нам лишь в ощущении», немые и безглазые — белые, как бельмо. Тем более в детстве нам трудно сказать себе, что́ на самом деле произвело на нас впечатление — об этом мы узнаем много позже. В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно.

Так что вовсе не с того момента все начинается, когда Лева у з н а ё т про деда, про отца, про время, а много раньше, когда он еще не может знать, не подозревает о существовании этих фактов, но эти факты тем не менее существуют сами по себе и существуют некоторым образом в его незнании. И не то страшно, что он внезапно юношей, полувзрослым человеком, так поздно, узнает эти факты, а то, что он в них узнает то, что всегда знал, но не знал, что́ же это, а тéперь ему сказали, как это называется: показали органы на анатомической карте и рассказали, для чего они,— он получил доказательства.

Как ни странно, именно в наше время существует тенденция некоторой идеализации и оправдания аристократии[3]: мол, не все там были нравственные уроды, были и умные, честные люди, более того, не все даже были в р а г и. Это сытая, либерально-каннибальская справедливость в отношении наверняка поверженного и даже переваренного противника: покойничек был неплох на вкус...

Да, были умные, и честные, и нравственные — их было даже больше, чем признает любой разлиберал, но самой ей нет оправдания. Она сама повинна в собственной гибели, и ей нет оправдания потому, что у нее нет оправдания в собственных глазах. Она существовала, оказалось, лишь в своей классовой принадлежности, у нее не было и д е и — идея стала принадлежать лишь разночинцам. У нее ничего не оказалось, когда от нее отняли принадлежность классу. И то, что не все были враги, тоже не говорит в ее пользу. У них не было верховной идеи, потому что как данность имелась верховность положения; быть противниками чуждой идеи было им противно и ниже их достоинства, поэтому у нас не было подлинно и д е й н ы х врагов в борьбе с ними. Они не могли «сгрудиться». Они

[2] Когда человек сосредоточен на чем-то, то все — об одном... Вот сейчас открываю случайно книжку — какая замечательная фраза!.. «Еще удивительнее, что они преследовали падающие листья разной величины, формы и окраски и не только листья, но и тень от падающих листьев и даже собственную тень на земле» (Н. Тинберген, «Поведение животных»). Это о мотыльках.

[3] Здесь и дальше мы рассуждаем именно об аристократии, а не об интеллигенции. К тому же мы рассуждаем лишь о той пусть даже малой и не слишком крупной ее части, в отношении которой наше последующее рассуждение будет полностью точным.

уступили брезгливо и высокомерно, лишь в буквальной борьбе, по нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты предстоящей жизни. И за это автор не уважает аристократию всей сутью своего плебейства, неизжитого и благоприобретенного.

Они не предполагали, что им предстоит жизнь,— им пришлось с этим столкнуться. И тут проявилась одна замечательная, лишь на первый взгляд противоречащая распространенным представлениям черта аристократизма — живучесть. Принято полагать аристократию изнеженной, нежизненной, неприспособленной, не переносящей лишения и трудности, не способной к труду. Между тем, в высшем понимании, аристократизм и является высшей формой приспособленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять; именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь, дело. Тот, кто не имел, не может не иметь, потому что *хочет* иметь. Истинный аристократизм не хочет иметь, а *имеет* как данность. Теряя, он знает, что *владел* тем, что ему, не входя в обсуждения, полагалось. Он привык не входить в обсуждение насущных житейских вопросов и поэтому мог выработать в себе качества «как таковые». Теряя все, он может полагать, что не теряет своего аристократизма, сохраняя эти свои «как таковые» качества. Поэтому-то они и могли внезапно, впервые столкнувшись с враждебными обстоятельствами, проявлять эти свои качества (когда же они и проявляются как не при первом и неожиданном столкновении? обучение и опыт — уже не качества, опыт — явление буржуазное): удивлять стойкостью, терпеливостью, достоинством, то есть именно приспособленностью, потому что подлинный аристократизм — это способность обойтись без всего и до конца сохранить себя.

Но это, так сказать, идеальная, духовная суть аристократизма. Такой аристократизм может оказаться чертой крестьянина и не оказаться чертой аристократа лишь по происхождению. На практике все было, естественно, иначе, и приспособляемость аристократии проявилась в способности «не входить в рассуждения» и «служить». Рассуждали интеллигенты — аристократы проявляли неожиданные способности к труду. Возможно, когда-то они умели сидеть в седле и целовать ручки, но не надо никогда забывать, что они были классом, что у них была классовая природа. Их философия, их нравственность и мораль были им присущи по рождению, и если они принадлежали своему классу, то им можно было не тратить ни душевных, ни физических сил на выработку убеждений и принципов, вытекающих из единичной и рассеянной измордованности жизнью. Они могли служить, исполнять, руководствуясь понятиями чести и долга, не входя ни в какие конфликты с совестью.

Эта-то их способность и проявилась. Они ничего не приняли из перемен, но остались жить в измененном мире, с тем чтобы сохранить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты, которые словно бы могут являться общечеловеческими, как то: честность, принципиальность, верность слову, благородство, честь, мужество, справедливость, умение владеть собой... Они потеряли все, но эти черты им бы хотелось потерять в последнюю очередь: это была их природа. Но и эти черты не имели возможности уцелеть вне их классовой сущности, абстрактно, вне смысла происходящего и при отсутствии, отнятости самой почвы. Последовательное проведение в жизнь, осуществление подобных черт и принципов грозило немедленной гибелью, измена им была немыслима: это была бы нравственная гибель,— и родился удивительный психологический феномен, позволивший им выжить. Его можно было бы назвать абсолютной аполитичностью, и это было бы близко, но неполно.

Им пришлось закрыть глаза на измену своему классу, на то, что они не стали врагами, чтобы не погибнуть: осознание подобной из-

мены сразу лишило бы их возможности носить те черты, которые полагали или ощущали они своей неколебимой сущностью,— долг, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы не дай бог не расковырять его и не выпустить на свободу джинна совести, испепеляющего русскую душу со скоростью света. И стали они как нерусские люди...

Это удалось прежде всего тем, кто, обладая всеми положительными качествами класса, не обладал сильным умом. Ум ведь не аристократическая принадлежность, а природная и в этом смысле народная... Избежав нравственной гибели первый и главный раз, они зашили некую стенку в своем сознании глухими досками и больше никогда туда не оборачивались, будто там так и была — стенка. Потом жизнь их вертанула еще и еще раз — они таким же образом зашили глухо еще кое-какие углы и окна своего сознания. И в конце концов остался им один лишь, в шорах, взгляд перед собой — все было обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уже не поворачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных широкополых скачках юности, а постоянный корсет придавал их осанке еще более прямизны и благородства...

Семья, семья!.. Мы забыли прибавить к причинам этого феномена главную. Были дети, ради них надо было выжить, их надо было воспитать, а родовой инстинкт у аристократии и должен быть, по определению, чрезвычайно силен.

Они ничего не приняли — и они приняли все.

То есть для того, чтобы снова получился Лева Одоевцев, мы могли обрисовать здесь и совсем иную семью, значительно более положительную и привлекательную, даже, пожалуй, образцовую, которой можно было бы лишь умилиться, удивиться, что она есть, и поставить в пример. Совсем не обязательно было непременно расти в атмосфере тайного предательства, чтобы получиться Левой...

Итак, это — Дом, это — крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитанны, не лгут друг другу, охотно и без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи: здесь совсем нет хамства и грязи и здесь любят друг друга.

Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом, на лестничных площадках и дворах, все ссорятся, разводятся, матери-одиночки «водят к себе», пьют, дерутся, и дети все реже узнают в лицо отца...— они живут х о р о ш о. Их много и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах. Они живут ради семьи, они живут — в семье, семья — форма их выживания.

У Левы — детство. Во всяком случае раннего детства он не лишен, оно классично, оно может быть переплетено в томик. Где там конец тридцатых — начало сороковых в России XX века за окном? Ау! Заметить разность семейной и внешней жизни значит задаться вопросом; Лева «из воздуха» усвоил единственный способ не задаваться вопросом: он перестал отмечать про себя внешний мир.

Внешний мир был тоже книжкой, которых много стояло в библиотеке отца и которые с молчаливого согласия родителей разрешалось Леве таскать и почитывать тайком. Внешний мир был цитатой, стилем, слогом, он стоял в кавычках, он только что не был переплетен... И Лева, конечно, дружил с сыном дворника, его потягивало вниз на капустный запах, и он обижался, когда чего-нибудь там, среди «них», не понимал, или его не принимали в компанию, или смеялись над его непониманием,— тут он испытал первые уколы влече-

ния и ревности. Но все это было, за отсутствием усадьбы, приусадебными службами, а родители Левы были вовсе не против того, чтобы тот «понемногу узнавал жизнь»... Это было уже безопасно: Лева усвоил урок невнимательности, преподанный семьею.

А время уже вполне могло бы быть узнаваемо даже в консервированном воздухе Левиной квартиры... Оно приблизило вплотную свое безбрежное лицо и жарко и душно дышало, по ночам припадало к окну, приваливалось к двери, плющило свой нос о черное ночное стекло и пристально и безглазо смотрело в светлую нутрь квартирок... Однако сдержанность — фамильная черта... Не могло быть ни одной оплошности, ни одной промашки — безукоризненность был единственный выход. Они должны были быть безукоризненны по форме на работе и дома, чтобы не столкнуться, еще раз и окончательно, с жизнью.

Леве было двенадцать лет. Семейство выдержало, не оглянулось, как в сказке, не обратилось в соляной столб. Как они выдержали? Как они приспособились? Каким все-таки удивительным способом скрыли эти люди от себя собственную жизнь!..

В этой семье постарели только один раз, собравшись после войны. С тех пор они были настолько всегда друг у друга на глазах, что так и оставались красивы и молоды, чуточку в одиночку старея во время летних отпусков...

Леву — воспитывали. На личном примере безукоризненности. Он обучался отвлеченно-прекрасным образцам образа души, мысли и поведения. Почему такие именно черты, чего именно эти черты, где и когда эти черты — тщательно скрывалось. Возможно, это скрывалось уже и не только от Левы, но и прежде всего от себя. Они его учили, стараясь скрыть от него жизнь еще больше, чем не знали ее сами,— у них не было более широких возможностей для его образования, для образования Левы, нового Одоевцева. Лева рос инфантом в этой детской республике взрослых и красивых людей... Ах, если прибавить к этому Левиному образованию начальное и среднее, где в свою очередь преподавали телегу не только без лошади, но и без колес, чтобы не ездила... то получается букет, то получается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботинках, в мамосшитой курточке на «молнии», с комсомольским значком на фальшивом кармашке!

Его научили — его даже учить не пришлось, сам усвоил — феномену готового поведения, готовых объяснений, готовых идеалов. Он научился все очень грамотно и логично объяснять прежде, чем подумать. И семья и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его всему тому, что не понадобится впоследствии.

Не видя вокруг примера, по высоте и красоте близкого их семье, Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и исключительности. Но поскольку ему преподавалась, тоже личными примерами, простота, скромность, высокомерная втайне демократичность, то это нисколько не мешало ему в общении и контактах с внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без всякого допуска воздуха. Избранность в самоощущении — тоже одно из средств изоляции, а следовательно, и защиты, и это он тоже усвоил, и также бессознательно.

Были они как глубоководные рыбы: под давлением времени, в полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения, со своим фосфором и электричеством, со своим внутренним давлением.

Это Леве предстояло быть вытащенным на поверхность и разорваться на кусочки от невыносимости собственного внутреннего давления!.. Ничего, кроме полноватой (на мучном, без витаминов) души, чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращенной как бы на преждевременно (приоритет!) открытой гидропонике,— у Левы не было. Душа — была.

Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен, когда окончил школу, влюбился в Фаину и встретился наконец с дедом. К этому времени он не знал (и это буквально) таких слов, как: измена и предательство, репрессия и культ, еврей и жид, МВД и ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб.

Честность и безопасность. Никаких предательств в этой семье быть не может. Возвращается дед. (Это нам также хочется сохранить, это совпадает в обоих вариантах.) Но никто из домашних ни в чем не повинен и не запятнан в его судьбе. Это праздник в семье — его возвращение. Дед красив и неожиданно молод. Он прочно и достойно выдержал все выпавшие ему испытания (сократим ему в этом случае срок лет на десять). Он вернулся с ясной головой, все сохранив и ничего не утратив, ему идет эта академическая ермолка. Все было бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки (где-то, кажется, в Хакасии) и возвращается туда. Там он некоторое время преподает в пединституте и заведует краеведческим музеем. Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву, несмотря на многочисленные приглашения, потому что его имя начинает всплывать, его многие помнят и знают, и назревает репутация «великой судьбы великого человека». Потом Лева, уже студент, едет к деду — и все выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная девушка, и у них родился сын! В его-то годы! Все горды. Дед выглядит молодцом, на комплименты отвечает комплиментом себе же — достает из часового карманчика маленькую черную фигурку: редчайшая вещь, хакасский божок плодородия, владеющий им сам священен, за обладание им могут вестись набеги и войны, деду он достался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За столом Одоевцевых семейно посмеиваются над этой лестной историей. Лева отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его старых статей, дед их возвращает без слов, но против публикаций не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит, что теперь у него з д е с ь дом. Ему говорят: наш дом не только твой, но и в а ш дом. Все это превращается уже в семейную, удобную, с выверенным ритуалом игру... И тогда дед приезжает с сыном и вечной девушкой: худенькая, тонкие косички в кулачок,— сначала ее немножко, хотя и очень деликатно, чураются, но потом, договорившись, полюбляют всем сердцем... Дед, однако, не вынес, не снес и, оплаканный, сходит... Вокруг его похорон происходит все та же торжественность и намек — и вот мы снова в той же точке романа.

Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть царствие небесное! Они хорошие люди.

Так что мы останавливаемся на первом варианте.

...В заключение мы как бы входим в большой и пустой класс, подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки мел, который так плохо, бледно и противно для кожи пишет... И рисуем на ней всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами.

И среди них, в частности, мы пишем:

ОТЕЦ—ОТЕЦ=ЛЕВА (отец минус отец равняется Леве)

ДЕД—ДЕД=ЛЕВА

мы переносим по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:

ЛЕВА+ОТЕЦ=ОТЕЦ

ЛЕВА+ДЕД=ДЕД

но ведь и:

ОТЕЦ=ОТЕЦ (отец равен самому себе)

ДЕД=ДЕД

Чему же равен Лева?

И мы стоим у доски в эйнштейновской задумчивости...

НАСЛЕДНИК (Дежурный)

На берегу нашей знаменитой реки есть место хотя и в самом почти центре, но еще не одетое в гранит и не заасфальтированное. Там навечно стоят несколько барж, ржавеют и рассыпаются. У самой воды — узкая песчаная полоска, замусоренная корой и прочей дрянью. Из воды торчат полусгнившие сваи, черные и острые. Дома на набережной — особняки, в основном очень замечательные, старинные. Некоторые из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством.

Там и находится бывший дворец, а ныне — НИИ, научный центр мирового значения. Там бережно хранятся, исследуются и т. д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежащие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце. Место как бы специально приспособлено для тихих, глубоких и уединенных занятий, внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом, шумном городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На набережной в этом месте почти не наблюдается движения...

С год назад сюда прибыл большой строительный отряд, приплыла по реке всяческая техника, и вроде бы начались работы по реконструкции набережной. Некоторое время сотрудники института отвлекались от своих занятий и смотрели в окна. Там забивали сваи. Зрелище это в своей мерности словно специально предназначено для того, чтобы его рассматривать. Казалось, жизнь, до сих пор огибавшая набережную и институт, ворвалась сюда со своим бурным кипением, как врывается она у нас повсюду. Но сваи стали забивать все реже, а рабочие, казалось, в основном обедали или завтракали, рассевшись под поднятой бабой и развернув свои свертки и достав заткнутые бумажными пробками бутылки. Ели они до того аппетитно, что сотрудник, пробегавший в это время по коридору, очевидно, по делу, не выдерживал и спускался в буфет — брал там язык или слойку и проглатывал ее с разочарованием.

Потом и рабочие куда-то делись, и не было видно, как они завтракают. Техника стояла. А движение по набережной, прекращенное в связи с началом работ, не возобновилось. Так что место это в результате стало еще более тихим. Только что и появлялись иногда киношники... Они не могли избежать этого места, по-видимому, потому, что здесь сохранился булыжник. Они расставляли свою технику и бегали во все стороны, появлялась глупая черная пролетка, запряженная невиданными одрами, и снималась сцена конспиративного свидания молодого террориста со своей невестой или другой революционный эпизод.

Это тоже развлекало сотрудников, и свои научные беседы они, по двое, по трое, вели тогда у окна... Небо прочерчивал реактивный самолет, и это оказывался тот самый кадр, который надлежит выстричь.

Здесь и работал Лев Одоевцев. Ему как никому другому пристало работать в таком институте. Хотя бы как внуку Одоевцева. Работал Лева хорошо, уже не так увлеченно, как в студенческие годы, но и без скуки, слыл многообещающим. Он писал диссертацию «О некоторых особенностях или чертах...». В ней он интересно разрабатывал одну из веточек посаженного дедом дерева, и диссертация быстро подвигалась. В «ученых» разговорах Лева научился с легкостью различать, когда Одоевцевым называли его знаменитого деда, а когда его самого, и не сбивался, как когда-то, и не краснел как мальчишка.

Тем более что про себя он полагал, что краснеть ему не за что. Оборачиваясь и поглядывая вокруг, он обнаруживал удобное отсут-

ствие конкуренции: никто ничего не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел. Лева же — умел и мог (по сравнению...), а вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел...

Еще в аспирантуре была им написана очень неожиданная по времени, уровню и обстановке, некая большая статья «Три пророка» о трех стихотворениях — Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта не была опубликована, но наделала «внутреннего» шуму: ее многие прочли и она произвела... Работа была, может быть, не строго научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело... была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре, уже желтую, с потрепанными ушами... Она там хранилась, по-видимому, как беспрецедентный случай. Ею гордились не перечитывая и кое-кому из-под полы показывали. Так прочли ее и мы... Статья во многом наивна сама по себе, во многом с т а л а наивной за эти годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о Лермонтове и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве... в ней сказался е г о опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить... Мы, однако, постараемся улучить однажды момент.

И Левина роль в освоении дедовского наследия, и статья «Три пророка», которую все читали, и статья «Опоздавшие гении», которую никто не читал, и статья «Середина контраста» (о «Медном всаднике»), главы из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные вслух замыслы, намерения и суждения сыграли значительную роль в создании р е п у т а ц и и. У Левы она была.

У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопределенная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все обладают. Очень трудно четко выразить, что это такое, репутация, и из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнятными словами, с тем чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия. То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, которых нет для определения столь любопытного, но ускользающего явления, как «репутация», а стилем, напоминающим по фактуре ее поверхность...

Итак, у Левы эта определенно-неопределенная вещь была. Левиной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как бы сама собой, но обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в этом направлении постепенно становились все более сознательными, и он как бы поддерживал ровный огонь в очаге, без его ведома зажженном. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отдавало игрой до поры. Репутация эта сводилась, в общем, к тому, что Лева никогда не делал черную и легкую работу, что в стенах данного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную.

То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего он, и чтобы эта откровенная очевидность сразу была кем надо замечена и пошла данному автору в пользу. Нет, Лева в подобных ситуациях сохранял некую трезвую ясность мышления и не бросался сгоряча кого-то поддерживать, а кого-то осуждать хотя бы потому, что ему было ясно, что этой конкуренции, требующей совершенно тоже определенных качеств, ему не выдержать. К тому же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш тут мал и временен и все совершенно вилами по воде писано, выигрыш ли еще это, а скорее всего что и нет, потому что необходимость столь определенно высказаться, хотя и с полным обеспечением, может иметь потом, и даже вскоре, самые невыгодные последствия

в случае возможной перемены самого обеспечения, и тогда все те, кто не высказался столь определенно, начнут с радостью тыкать тебя носом в собственную определенность и твое падающее знамя будет мигом подхвачено другими полными готовности руками. Лева все это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать — это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Леву все-таки несправедливо, но, во всяком случае, он хорошо это чувствовал.

Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей, а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что обходился хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша, чистоплотность была и не чистоплотностью вовсе, а, быть может, лишь инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя, попросту кое-какая культурная привычка к санитарным нормам, но она именно создала Леве его репутацию.

Эта репутация, как правило, считается прогрессивной и невыгодной, но это скорее мнение, распространяемое теми самыми людьми, которые ее носят,— она по-своему выгодна, потому что, обладая ею, человек попадает в совершенно определенный круг незаметной поддержки, как бы по национальному признаку, и не пропадет. А люди эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и поддерживают свою необходимость обществу, и ты сам тогда тоже как бы необходим.

Исходя из этой же репутации, Лева не старался выдвинуться по общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интеллигентской инертности, защитной, впрочем. Такие люди подскакивают в момент крутых поворотов как постоянные, честные и в то же время не отпугивающие своими крайностями. Лева уже так раза два потихоньку подскочил, в последний раз совсем недавно; он стал редактором-составителем одного важного коллективного труда, ему была почти обещана стажировка за границей, как только он защитит диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура ни у кого не могла вызвать возражений, Лева не оставлял следов, а потому впереди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше всего можно пройти незамеченным.

Как было уже сказано, он поддерживал ровный огонь своей репутации, и до поры это даже отдавало игрой, почти искусством, где художник постоянно использует случайность, им самим нежданную и возникшую лишь в процессе творчества, а из управления этой случайностью возникает свежая краска. Это было игрой до тех пор, пока репутация упрочилась настолько и настолько набрала сил, что чуть не вышла из-под Левиного подчинения, потому что уже слишком сильно определяла все его действия, то есть выходила из-под власти и заставляла иногда действовать не так, как ему бы хотелось, или не позволяла действовать так, как хотелось. Короче, однажды возникла ситуация, когда Лева, до сих пор не испытывавший особых затруднений со своей репутацией, устрашающим образом потерялся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем наведены были сразу два пулемета — один на него, другой на репутацию, от него требовались лишь «да» или «нет», а он совершенно не знал, как тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что «да», но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета,— тогда уж «нет», но в этом случае срабатывал второй. Репутация, существовавшая до сего дня как бы сама по себе, бесплатно, потребовала плату — п о с т у п о к.

Дело касалось его старинного друга, самого близкого (настолько, насколько это было возможно у Левы), положение было отвратительное, разбирательство очень тяжелое и чреватое (друг этот не то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то

вслух сказал...). Лева не то был замешан, не то касался боком... От него — требовалось. Он совсем потерял себя и ходил вовсе без лица и без языка, окончательно мычал, и все бы, конечно, кончилось плохо, если бы вдруг не сошлось самым удивительным образом: заболела тяжело мама, подошел отпуск, он был срочно отозван в Москву на совещание, умер дед, и — одновременно. Короче, на всех этих разбирательствах он был лишен возможности присутствовать, а когда смог, все было решено и друга уже не было. То есть он был, но где-то уже не в институте, а встретившись раз на улице, не подал Леве руки и как бы не заметил. Лева отнесся к этому почти спокойно, с удивлением обнаружив, что, пожалуй, они и не были такими уж друзьями, как казалось, потому что не нашел никакого в своей душе движения ни навстречу, ни против друга. Хотя до этого очень переживал, как они встретятся... Вся эта история вызвала в Леве смутное и неприятное воспоминание — тень деда, и он прогнал эту тень. Репутация Левы несколько покачнулась и упала, особенно в умах крайних, у остальных же осталась почти такая же, потому что слишком много объективных неподдельных обстоятельств сопутствовало этой истории и почти Леву оправдывало. Потом, вообще время идет и все забывается, и мало ли...

В общем, в таком незавышенном виде эта репутация теперь была даже более удобной, спокойной и безопасной. Она была — ее как бы и не было. На Леву чересчур не рассчитывали, а насколько рассчитывали, настолько уж он и не подводил. Лева же стал опасаться слишком близких дружеских и обязательных отношений и стал сохранять в основном приятельские, не близкие и необязательные.

Приятелей оказалось вдруг очень много.

Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле все мы получаем с в о е — и в этом самое страшное...

В личной жизни Левы Одоевцева тоже все обстояло, можно сказать, благополучно. И в этом вопросе у Левы возникло равновесие, ритм, даже режим, настолько размеренный и привычный в своей невыносимости, что легче казалось принять его, чем изменить. Умолять одну, не любить другую, иметь третью... Они существовали порознь, и от каждой он получал свое, но они составляли и что-то одно: ту одну женщину, которой не было да и быть не могло.

В таком положении обстояли дела с Левой накануне октябрьских праздников 196... года.

Именно в эти свободные дни прочной Левиной репутации суждено претерпеть серьезнейшие испытания: столь неожиданно покачнуться, почти рухнуть и все-таки устоять. Это, быть может, и есть, вернее, должна быть главная история в романе, его сюжетный узел. И что весьма любопытно, угроза эта нависнет без какой-либо политической или идеологической ошибки или промашки с Левиной стороны. Казалось бы, чистый случай, гримаса судьбы, неожиданное помрачение...

На праздники Леву оставили дежурным по институту. Был у них такой обычай. По разным обстоятельствам, одним из которых была предстоящая защита, Леве было на этот раз не отвертеться.

Свой первый же, предпраздничный еще, вечер дежурства Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Он то звонил Фаине, то хватался за диссертацию и впадал от нее в уныние и, впав, начинал перебирать разрозненные свои «сокровенные» заметки. Они казались ему гениальными, и тогда он еще более удручался оттого, что их забросил, и снова звонил Фаине, пытаясь все-таки выяснить отношения и тем самым еще более осложняя их. Хотя куда уж более... Фаина перестала поднимать трубку.

Лева так и уснул на директорском диване чуть ли не с телефонной трубкой в руке. Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию прямо около института, в ноябрьской Неве...

Разбудил его звонок Митишатьева...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

И — стоп. Мы стоим на берегу лелеемого с самого начала сюжета, он вспухает буруном перед нами — но здесь, оказывается, нет брода, не перейти: нас сносит вспять к началу повествования и выбрасывает на тот же неуютный берег, почти к той же точке, из которой мы начали свое путешествие...

Казалось, своротили валун... А он опять на дороге. Будто мы не прошлись по всей Левиной жизни, от упомянутого вскользь рождения вплоть до обозначенной еще в самом начале смерти, ибо сейчас нас отделяет от нее лишь день или два. Но что мы, собственно, про самого-то Леву рассказали?.. Ну дедушка... скорее наше пожелание, а не дедушка. Ну отец... скорее дядя, чем отец. Отца-то почти нет. Убрать несмелый намек — то и вовсе его нет. И сам Лева... лишь косым лучом сквозь случайную щель — край уха и глубокая тень под подбородком,— обошлись без портрета. Голос его еле слышен за стенкой: чем он там занят, кому звонит, чей номер помнит наизусть?

Какая Фаина? откуда Митишатьев? что за «сокровенные» листки? Мы уже не раз обмолвились, что расскажем о чем-то потом; нам было некогда, а теперь — уже негде. Грустно обнаруживать, что, идя последовательно, мы настолько забежали вперед, что отстали от собственного повествования.

Возможно, такая неполнота возникла по одной лишь причине: с е й ч а с у нас другое прошлое, чем было т о г д а, когда оно было для себя настоящим. Глядя то с той, то с другой вершины на одну и ту же точку равнины, мы видим разный пейзаж. Каждое из двух изображений неполно, и они несовместимы. Мы рассказали всю Левину жизнь из сегодняшнего дня, представив Леву равноправным и полномочным участником исторического процесса. Возможно, теперь он сам именно так вспоминает свое прошлое и узнал бы себя в нашем изображении. Но если бы он читал все это тогда, когда это с ним происходило, то никогда бы не признал себя в герое, ибо крайне сомнительно, чтобы люди свидетельствовали о своем участии в историческом процессе изнутри процесса. Так что хотя все, что описано здесь, б ы л о с Левой, он-то об этом понятия не имел. Для себя-то, пожалуй, он имел только одно понятие... и не знал, что его любовь — исторична.

Итак, рассказав все, мы ничего не рассказали. Мы рассказали все что могли об «отцах» и почти ничего — о «детях». Те герои, о которых мы успели рассказать, умерли, а главные герои той главы, которую мы наконец собрались писать, все еще отсутствуют. Нет чтобы обойти ту яму, где недавно лежал валун,— мы хотим через него перелезть. Здесь пролегает естественный р а з д е л. И прежде чем нам удастся продолжить, нам придется пересказать всю нашу историю заново, с тем чтобы уяснить, чем же она казалась герою, пока он в ней был жив.

И это будет другая история. Она будет об одной любви.

И хотя нас вправе упрекнуть (уже упрекнули), что мы способны рассказывать лишь все по порядку, «от печки», мы считаем это правильным, то есть иначе не можем. Ибо и у нас есть право...

Во-первых, потому, что более правильной последовательности, чем временна́я, все-таки нет: именно в ней содержатся не только

нами открытые закономерности, но и те, которых мы не улавливаем до сих пор. А во-вторых, эпоха, которой принадлежит Лева в первой части, и время, которому он будет принадлежать во второй, позволяют, как нам кажется, рассказывать порознь и по очереди почти обо всем, что нас окружило, как о не принадлежащем друг другу. Отдельна жизнь от историц, процесс от участника, наследник от рода, гражданин от человека, отец от сына, семья от работы, личность от генотипа, город от его жителей, любовь от объекта любви. Не только между страной и миром опущен занавес, но повсюду, где только есть на что повесить, колышется множество как бы марлевых занавесок, одной из которых человек занавешен и от самого себя.

Подумать только, лишь десять лет с небольшим проходит, и уже объяснять надо, как могло быть такое, как мог быть такой Лева! Да ведь обучение раздельное, забыли?.. Как все отдельно, так и мальчики и девочки. Как не ведает Лева о том, что он князь, так и не ведает он, откуда завелся в нем некий идеальный образ, дымком стоящий в его душе. Поэтому, естественно, должен был этот образ достаться первой же встреченной им женщине. Так и есть: лишь секунду потрепетав от полного несоответствия, он тут же полностью и совпадает. И уже Фаина была той самой, взлелеянной в мечтах и под партой, а в недоразвитой родовой его памяти произошла полная перестройка — история подчищена, подскоблена под Фаину.

Вот и придется рассказать ее заново, параллельно первой. То есть предстоящая нам вторая часть романа является лишь версией и вариантом внезапно завершившейся первой. Какой из вариантов точнее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант истиннее. Но если мы употребили слова «реальный» и «истинный» в такой относительной форме, то — о чем еще говорить?.. Нам кажется, что во второй части Лева будет более реален, зато он живет в максимально нереальном мире. В первой же части куда реальнее был окружающий мир, зато Лева в нем совершенно нереален, бесплотен. Не значит ли это, что человек и реальность разлучены в принципе? Немножко сложно...

Может быть, как раз и следовало начинать роман со второй части, а продолжать его — первой?.. Но подчинимся хоть тому, что получается,— это, в конце концов, тоже принцип. Так и не уяснив себе последовательность частей, какая вторая, а какая первая, то есть какая из частей является основной, а какая — ее версией и вариантом, мы приступаем к нашей с л е д у ю щ е й части вслепую, как тот Лева, который будет в ней жить, не ведая о том, что́ ему предстоит. (В первой — мы у ж е знали, что с ним будет.) Мы продолжим и доведем его бытие до той же точки времени и пространства, где он остался поджидать нас в части первой. Параллельные наши пересекутся, и мы сольем время с той счастливой надеждой, что время героя обретет полноту своего течения как бы совсем сейчас, в самый момент написания, и мы узрим тогда Настоящее — прямо перед собою, не из прошлого и не из будущего, мы увидим перед собою безвариантное настоящее, и это не будет глухая стена.

Не знаем, какая часть тяжелее для героя, первая или вторая. Может быть, что и вторая, хотя она — об одном лишь счастье... Потому что историческая оценка личного прошлого все-таки облегчает участь некоторой торжественностью принадлежности каждого к громыханию исторического процесса, реальная же жизнь погружена в безвременье, где человек не ведает будущего и лишен возможности оценить себя, где человеку достаются все навсегда отмеренные ему муки, независимые от страны и века, хоть нам и кажется временами, что и на ДНК проступил общий знак качества.

Конец первой части

Приложение к первой части

ДВЕ ПРОЗЫ

Они думали, что у дяди Диккенса никого нет, но, опоздав на похороны, из Йошкар-Олы приехала его сестра, учительница в отставке. Кто-то даже что-то вспомнил, что дядя Диккенс что-то как-то говорил, что есть сестра... они еще даже все поспорили, говорил или не говорил. Но сестра вот она, сидела на кухне у Одоевцевых и стыдливо и бурно пила чай из блюдца: пальчики у нее были толстенькие и упорные. От всего, кроме чая, она наотрез отказалась. Она робела и стеснялась, мама была особенно предупредительна — Лева усмехнулся, на них глядя. Она была «другой породы», как сказала потом мама. И действительно, это выглядело так, будто у пойнтера была сестра такса. Она была, наверно, не то в бабушку, не то в маму дяди Мити, не то в башкирку, не то в чувашку. Об этом тоже как-то что-то говорил дядя Митя... Одоевцевы еще поспорили, чувашка ли. Но чувашка наконец попала в квартирку дяди Мити и сейчас взглядом цепким и испуганным фотографировала материальные ценности...

Ничто не упустила отставная учительница, до гвоздя все вывезла в Йошкар-Олу. И сколько ни говорили ей Одоевцевы — рояль-то хоть оставьте, что рояль они купят, что он не вынесет перевозки, что в Йошкар-Оле он никому и не нужен, губы ее становились все более ниточкой, и она не дала себя провести: рояль поплыл в Йошкар-Олу. Кажется, именно не поехал, а поплыл, потому что так оказалось дешевле, а торопиться ей было некуда. Любопытно, что семьи у нее тоже не было.

Даже Пюи де Шаванна, сколько ни объяснял ей Лева, что это всего лишь репродукция, не стоящая ни копейки, а ему дорога как память...— она, передергиваясь от слова «копейка», тоже не дала. Ну да, как память... Можно было вспомнить рассказы дяди Диккенса о фамильной жадности... Одоевцевы их потом, перебирая учительницу, вспомнили.

Только и сумел Лева что стащить «Атлантиду», пока она следила за Левиной мамой, к которой с самого начала отнеслась с необъяснимой пристальностью. Он перечитал ее и растрогался... «В эту тихую, лунную ночь де Сент Ави убил Моранжа...»

Зато бумаги дяди Диккенса отдала она Леве с легкостью. Их, впрочем, отобрала мама и заперла. Лева не уверен, что она их не почитывала, оставаясь в одиночестве. Однажды она передала Леве «как специалисту» две тетрадки: посмотри, может, тебе будет любопытно... Это были сочинения Диккенса.

Одна тетрадка называлась «Стихотворения», другая — «Новеллы». Лева испытал стыд и боль любви, читая их... Он неизбежно «уценил» дядю Митю по отношению к культивированным детским представлениям. Но эта уценка была не совсем хамской, а многоступенчатой и сложной: низкое удовлетворение от полупадения кумира сменилось разочарованием (не от кумира, а от этого падения), а разочарование — стойкой нежностью. Боль от крушения старого образа оказалась легкой и быстрой, а становление нового было зато светлым и радостным, уверенным и окончательным: как бы истинным. В общем, Лева лишь сильнее полюбил этот образ, теперь уже не прибавлявший к себе черт.

Стихи были бесспорные: слабые и наивные до неправдоподобия — но и в них сквозила незапятнанная диккенсовская душа. (С прозой в отношении оценок вообще обстоит сложнее... Ее труднее оценивать категорически, как поэзию: поэзия и непоэзия — середины как бы не существует. В прозе всегда что-нибудь да окажется выраженным: намерения ли автора, сам ли автор... Как документ хотя бы она всегда представит частный интерес.) Проза же Диккенса (дяди) нам даже чем-то нравится, и мы оцениваем ее выше, чем Лева, еще не вполне свободный от снобизма. С Левы в данном случае и нельзя спрашивать, хотя он и специалист в этой области более профессиональный, скажем, чем мы.

Он не может судить объективно потому, что чтение прозы Диккенса-дяди для него скорее непосредственный, личный опыт, нежели опыт опосредствованный, читательский. У него возникают иные связи, кроме выраженных именно этой прозой. Для него, например, потрясением было некоторое приоткрытие за-

весы между поколениями, завесы, всегда существующей... Так юный человек, достигнув сам возраста личной жизни и с головой уйдя в нее, вдруг задает себе наивный вопрос: а что, неужели у других так же? — и в поисках ответа вспоминает (кого же еще может вспомнить человек столь юный?) своих родителей и обнаруживает, что ничего-то в этом смысле ему про них неизвестно: любили ли они, страдали ли, какие они были и, может даже, е с т ь для себя и друг для друга, когда его, скажем, нет? неужели они тоже... и т. д. То есть ему, уже взрослому, казалось бы, человеку, предоставляется постигать все самому в формах, предложенных его временем, а то, предыдущее, поколение стареет и уходит, так и не раскрыв перед ним карт: жило ли оно вообще? — оставляя ему на всю жизнь запас образов и опыта детства о жизни людей взрослых. Это, наверно, замечательно, и тут есть тайна, нерушимая и святая — охранная. Потому что даже совершенная логическая уверенность, что у других так же, остается пустой и неживой, неоплодотворенной. Это-то, возможно, ценой страданий и позволяет человеку проживать дальше с в о ю жизнь...

Так вот, когда Лева читал сочинения Диккенса-дяди, то завеса эта как бы шевельнулась от ветерка и чуть загнулся край... Никаких «подробностей» в пошлом смысле он там не вычитал, зато образ человека старого и мудрого, с неким уже сверхопытом, выраженным в одном лишь поведении, где каждый жест является конечным и итоговым, завершает глубокий ряд,— такой образ сильно покачнулся, обнаружив бесконечную детскость, наивность, сентиментальность, отсутствие вкуса и силы. Зато тут же этот образ был заново отштукатурен и раскрашен в трогательность: раньше люди были чище и благородней, раньше люди были разные, раньше они были наивней, трепетней и идеальней — это и есть индивидуальность в истинном, а не в «профессиональном» понимании («стать индивидуальностью»),— все эти «раньше люди были» равнялись одному ушедшему дяде Диккенсу.

Тут наблюдался один эффект, который наводит нас на одну легкую мысль о природе прозы, и мы не можем удержаться от этого намека...

Эффект этот заключается в том, что, внезапно наткнувшись на страничку, писанную рукой человека, хорошо знакомого или даже близкого, но про которого мы не знали, что он «полисывает», и с непонятной жадностью прочтя ее, мы тут же начинаем знать о нем как бы во много раз больше, чем знали до сих пор путем общения. И не в каких-либо секретных или ревнивых фактах дело. Доказателен как раз пример, когда подобных фактов для любопытства или ревности мы бы на этой страничке не нашли. Именно в этом случае нам ничто не заслоняет, и мы узнаем про автора еще больше. Та непобедимая любознательность, с которой мы поднимаем при случае подобную страничку, есть не что иное, как жажда узнать «объективную» тайну — тайну «без нас», а такая тайна — это облако, на котором мы живем. Что же мы узнаем из этого листка, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет («ревнивые факты»).

Проза всегда одержит свою победу над автором, проявившись самостоятельно, иррационально, почти мистично, как некая субстанция... (У нас есть опыт неожиданных удивлений перед ней.) Человек, впервые взяв перо в руки, еще смущенный этим неожиданным позывом, еще защищающийся пренебрежительной ухмылкой (хотя его никто не видит, он улучил этот момент) от возможного своего фиаско, а на самом деле инстинктивно (здоровье!) страшащийся того, что сейчас не с ней (с прозой) — с н и м будет... этот человек уже столкнулся с феноменом литературы: хочет или не хочет — он выдаст свою тайну. С этого момента он всегда может быть изобличен и узнан, пойман — он виден, он зрим, он на виду. Потому что стиль есть отпечаток души столь же точный, столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника.

И здесь мы приходим к давно любезной нам мысли, что никакого таланта нет— есть только человек. Никакого такого отдельного «таланта», как рост, вес, цвет глаз, не существует, а существуют люди: добрые и дурные, умные и глупые — люди и нелюди. Так, хорошие и умные — талантливые, а плохие и глупые — нет. И если у человека есть ум сердца и он хочет поведать миру то, что у него есть, то он неизбежно будет талантлив в слове, если только поверит себе.

Потому что слово — самое точное орудие, доставшееся человеку, и никогда еще (что нас постоянно утешает...) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если он лгал — слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее — то оно к нему приходило. Не человек находит слово, а слово находит человека. Чистого человека всегда найдет слово — и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про талант нам внятно лишь одно: что он — от Бога.

Поэтому так неловко, так страшно, так стыдно и опасно узнать о близком человеке, что он «пописывает». Поэтому же мы обязательно воспользуемся первым же случаем узнать об этом... Писать вообще стыдно. Профессионал защищен хотя бы тем, что давно ходит голый и задубел и закалился в бесстыдстве. Он так много о себе уже сказал, разболтал, выдал, что уже как бы и сократил полную неожиданность информации о человеке, которая есть литература. И мы снова о нем ничего не знаем. Человек во всем имеет цель быть не видимым (защита) другим, и к этому есть лишь два способа: абсолютная замкнутость и полная открытость. Последнее и есть писатель. О нем мы знаем все и ничего. Поэтому так пристально (с той же неподвластной жадностью, что и подглядывание в чужой листок...) начинают после его смерти устанавливать, кто же он был: письма, воспоминания, медицинские справки,— и не достигают успеха. Этот человек, проживший так открыто, так напоказ, так на виду, оказался самым скрытным, самым невидимым и унес свою тайну в могилу.

Чтобы было так, писатели должны быть гениальны, графоманы — кристально искренни и чисты.

В тетрадке «Новеллы» было до десяти масеньких штучек. Все они были написаны на фронте летом и осенью 1944 года. В самой маленькой было чуть более ста слов, в самой большой не более трех страничек.

Вот новелла, события которой, видно, и послужили толчком ко всему циклу,— «Одиночество». Герой («Он») приезжает на побывку в город и приходит к любимой («Она»), чтобы еще раз (без надежд и посягательств) заверить ее в своей любви.

« — Я знаю,— тихо сказала Она.

Сдерживая волнение, но уже спокойным голосом, как бы не придавая значения своим словам, он добавил:

— Я приехал с фронта — и снова уезжаю на фронт.

Сказал — и вышел из комнаты».

Потом он бродит весь день по городу, всю ночь простаивает на мосту... «И только в полдень, когда уже солнце высоко залезло на небо, он сел на поезд и уехал на фронт».

Очень одиноко жилось дяде Мите! Тем с большим уважением отнесемся мы к его независимости. Вот он встречает на дорогах войны сиротку («Девочка»): «...ведь у меня нет ни хлеба, ни копеечки, так же как у тебя, вероятно, нет ни близких, ни родных, которые могли бы приютить тебя... Бедная моя крошка! — пойдем со мной по этой прямой дороге. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни влево... Нам некуда сворачивать, моя маленькая сестренка! — у нас ведь нет ни друзей, ни дома — даже нет маленькой, медной копеечки».

Дальше идут новеллки, свидетельствующие о том, что никаким скептиком или циником не стал этот человек, поддаваясь жизни... Столь искрення и простосердечна его ненависть к немцам: «Никакая залетная птица, никакой голодный зверь не будут клевать и жрать эту мерзость»; или: «Что думал этот подлый ублюдок поганой немецкой нечисти, выполняя задание хозяев-палачей?» И столь безусловны и надличны сочувствие и боль: «Я стою у окна и смотрю на это пепелище — и сердце мое обливается кровью».

А вот и то и другое вместе, сплав:

«Это еще более останавливает ваше внимание, и, вглядываясь пристальней, вы уже ясно видите, что это «фриц», сраженный пулей во время своей работы.

Эта фигура с естественностью самой позы, производящей ремонт проводов, вас ошеломляет, поражает своей живучестью и вызывает в конечном счете чувство отвращения и глубокой ненависти».

Замечательно это «в конечном счете»! И мы верим, что Диккенс был настоящий солдат. Одиночество его судьбы, безответная любовь, вечная война, боль за отечество — какими немногими чистыми и сильными линиями набросан его

автопортрет! Чувствительный и романтичный... и мы чуть ли не впервые принимаем и прощаем романтику — для этого потребовалась лишь кристальная чистота.

Проза Диккенса (дяди) бесспорно выражает его больше, чем он — ее. Он, пожалуй, и не подозревал, насколько она его выразила... Но сам он так для нас хорош, что лучше любой, самой крепкой, прозы, и мы благодарны Прозе, что она нам его выразила.

Для чистого человека и чистой бумаги не жалко...

Вот последняя его новелла.

Зеркало

После многих лет странствований и скитаний по дикой местности, где иной раз месяцами не встретишь ни человека, ни зверя, я попал в местечко, где ютились люди со своим скудным хозяйством, обычной бедностью и грязью.

Меня приняли гостеприимно и разместили в небольшом домике, показавшемся мне уютным и симпатичным.

По какой-то странной случайности в комнате оказался и камин, и это еще более привело меня в хорошее настроение. Наконец-то я смогу отдохнуть и привести себя в порядок!

Я растопил камин и стал обогреваться. Приятная дремота овладела мной. Я старался ни о чем не думать, не мыслить — так приятно было сидеть у камина,— но всяческие образы будили воспоминания, залезали в голову, копошились, как черви, и понемногу растравляли мои нервы.

Я вспомнил прошлое, своих друзей, любимую женщину. Вспомнились дни горьких разочарований, несбыточных надежд, одиночества...

Как все это казалось теперь далеким, давным-давно позабытым,— и только сердце еще билось в груди, заставляя переживать пережитое.

Да, да! Ты право, мое бедное, измученное сердце. Я все еще люблю эту женщину — и никакие годы разлуки не смогли заглушить моих чувств и страсти.

Я все еще хочу любить, мечтать, надеяться, я все еще жажду быть обласканным рукой любимой женщины. Ведь я еще не так стар, чтоб не иметь прекрасных желаний,— и разве дороги рано иль поздно не сходятся на жизненном пути и разве весной реки не всплывают из берегов?..

Все меняется в жизни — и времена, и люди, и чувства. Может, и та, которую я еще люблю до сего дня, осчастливит меня своей улыбкой и нежностью.

Так я сидел у камина, вспоминая прошлое и мечтая, как в былые дни, о счастье.

Вдруг я увидел на стене зеркало, снял его, и... рука моя вздрогнула. Старческое лицо с седыми волосами, с высоким, полысевшим лбом, с тусклыми, провалившимися вглубь глазами смотрело на меня.

Нет, нет! — это не мое лицо, это был не я. Я не верил, не узнавал — я был поражен жестокой переменой.

Горькая, какая-то ехидная усмешка скользнула по лицу старика и заставила меня встрепенуться.

Я захохотал — и с отвращением и ненавистью швырнул зеркало в камин

«Пусть горит все — и позолоченная рама, и старость, и фантазии!»

Я выпил стакан застывшего кофе и лег спать в теплую, мягкую постель впервые после долгих лет странствований и скитаний.

И если Диккенс (дядя) не столько выразил что-нибудь Словом, сколько Слово выразило его чистую душу, то дед Одоевцев, по нашей гипотезе, мог сам что-то выразить Словом (скрыть в нем), поскольку, в нашем допущении, нес в себе (вместо чистой души) черты гения. Попробуем проверить. Две жизни, два достоинства, две смерти, две прозы...

Роясь в дедовых бумагах (их, кстати, сохранилось не так много), набрел Лева на текст своеобразной рукописи, оставшейся незаконченной. Это не был еще зрелый и великий Модест Одоевцев (зрелым ему быть всего несколько лет, а «великим» — для нас, потом...); заметки носили личный, как бы дневниковый

характер — «для себя»... Однако сочинение это не было дневниково-беспорядочным, у него явно намеревалось общее строение, свидетельствовавшее о конечности замысла, но в чем он состоял, по этим страницам судить было рано. Называлась рукопись «Путешествие в Израиль[4] (Записки гоя[5])» и была разбита на главы с чередующимися названиями «Бога нет» и «Бог есть». И опять «Бога нет» и «Бог есть»... Глав сохранилось не то шесть, не то семь.

Шансов на опубликование такой рукописи не было, однако Леве она так же понравилась, как дед ее писал,— «для себя». И Лева кое-что из нее выписывал для себя. Вот одна из его выписок, помеченная им «Из «Бога нет»:

«Вот отечественная иррадиация: вполне имея от чего страдать, страдать не от того. Как нас, однако, у ж е успели воспитать (то ли еще будет!..): что что-нибудь непременно у тебя д о л ж н о быть, что как-нибудь и м е н н о т а к должно быть, кроме как е с т ь, что как-нибудь н а д о, чтоб было. С чего бы, казалось? Откуда пример? С чего взять, что именно тебе должно даться то, что никому не удалось? Откуда взялась эта толпа ложных идеалов, которая сообщает нашему, и действительно несчастному, человеку еще и чувство необоснованной неполноценности (ибо есть повод для обоснованной...)? Эта постоянная российская озабоченность судьбой Пизанской башни... Как, однако, надо было подтасовать общественную жизнь, чтобы добиться такого эффекта! Что надо сделать еще, чтобы окончательно в нем утвердиться? За отсутствием мало-мальской жизни ввести в сознание доступность категорий и идеалов, смутить души возможностью материализации абсолютных понятий, заменить способность к чему-нибудь на право на что-нибудь — что проще? — назвать усталое супружеское сожитие «простым человеческим счастьем»... и — готов новый человек! Однако как это близко: свербит упущенное счастье, ноет первородный обман. «А счастье было так возможно, так близко...» Кажется, совсем недавно под «счастьем» и понимался только миг (сей-час, счас, счастье... настаиваю на такой этимологии!), мотыльковый век счастья никого не смущал, подразумевалось, что счастье — только е с т ь (или нет), но не продолжается, не экстраполируется, не б у д е т. Пообещаем его впереди, но зато уж навсегда, навек. Обмануть инстинкт несложно — это называется «развратить». Незаметно внушить, что может иметь место поллюция длиною в год, каких и у слонов не бывает... и тут же получится, что лишь случайное и злое стечение обстоятельств помешало именно тебе (потому что кто и рожден для этого как не ты?) достичь упомянутого эффекта. А для того, чтобы не было обиды на судьбу (раз было тебе единственному предназначено, значит, единственному и не удалось...), то к судьбе-то как раз и следует привить материалистическое, вульгарное отношение как к предрассудку, необъективному фактору, просто — как всего лишь к С л о в у. Вот к Слову-то и надо прежде всего привить новое отношение, переставить его в конец житейского ряда, а «В начале было Слово...» отдать поэтам под метафоры. Короче говоря, надо передать пошлость в вечное и безвозмездное пользование народу, благо — не земля, пошлость удобрять не надо, она сама себя удобрит. Пошлость — это, впрочем, не сама по себе «доступность», а отношение к «доступному», как, скажем, к воде и воздуху у нас пошлое отношение (то есть что они — даром). Счесть законы природы оскорбительными для Человека с большой буквы (или дороги...); победить Природу с ее тяготением... Ввести материальное отношение к абстрактным категориям с одновременным привитием романтического взгляда на реальность — вот методология пошлости. Основа уже заложена, русло под ее поток распахали борцы с нею, пророки «новой жизни» — «милый Чехов», «сложная фигура Горький».

Что-то, однако, ноет, что именно твоя жизнь прошла... что именно ты провалился в промежуток... что именно тебе не повезло с веком... Вот это-то Она и есть».

---

[4] В 1913 году М. П. Одоевцев путешествовал по Ближнему Востоку.

[5] Слово «гой» не было знакомо Леве, как и те слова, о которых мы уже говорили. Но тем он уже обучился, а с этим у него возникла единственная ассоциация: «Ой ты гой еси, добрый молодец».

Что именно в этом отрывке так особенно понравилось Леве, трудно сказать. Деду было двадцать семь, когда он писал это; Леве — двадцать семь, когда он это читал. Но это еще не означает, что прочитано было именно то, что написано. Скорее наоборот. Слишком уж с большим подъемом переписал Лева этот текст. Радостное поддакивание устремило почерк. Против слова «Горький» стоит Sic! переписчика. Однако именно на инерции этого подъема прорвался Лева дальше, в главу «Бог есть»:

«Господи! каким молчанием бываю я наказан! шарю в темноте, пустоте, слепоте и звука шороха не слышу. Вот уж доказательство, что ничего-то вокруг нет. Когда тебя — нет. Поиски вне себя — тщетны. Мир невидим в твое отсутствие. Наказание Божье, награда Божья — миром, существованием вокруг тебя...

Когда совесть говорит — уста молчат. О чем?..

«Служу Богу или дьяволу?

Борясь, не признаю ли за действительное то, с чем борюсь?

Враждуя с прогрессом, не служу ли ему, совершенствуя и оттачивая его механизм?

Изгоняя дьявола, не искушаюсь ли?

То есть угодно ли Богу то, что я делаю? или я пользуюсь им, ворую у Него и сбываю?

Богу, людям, себе? своему богу?

Знаю ли я, что Ему угодно? могу ли знать? могу ли я знать, что — Есть, а что приписал Ему в искушении?..»

Вот молитва молчания.

Если человек не может создавать, он может подать пример. Но — Господи, погоди! — я не готов.

Господи! дай мне слова! У меня куриная слепота слова. Дай договорить! У меня в глазах темно, словно я долго смотрел на солнце. Так пусто, так немо сердце мое. Господи! как небо...»

Лева, видно, утомился переписывать. Буквы его становились ровнее, скучнее, теряли трепет. Странная тоже вещь — узнавание: кто — в чем, кому — что... Переписчик уснул.

И это не Бог, а Лева — не услышал.

Виноват...

Раздел второй

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Версия и вариант первой части)

> И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.
>
> *Лермонтов, 1839.*

Мы вывели крупно, на отдельной, пустой странице название второй части и вздрогнули: все-таки наглость... все-таки Лермонтов... надо знать свое место.

Да, за последние сто лет Лермонтов безусловно произведен из поручиков в генералы, и обращаться к нему надо соответственно званию, через ниже и ниже стоящего начальника. И его сомнительный «Герой» за те же сто лет тоже подвинулся по служебной лестнице, к нему тоже, пожалуй, не пробьешься на прием... Так и слышу: «Так то же Печорин! А у вас, я извиняюсь, кто?..»

«Наша публика так еще молода и простодушна,— писал Лермонтов в своем предисловии,— что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения».

Но перечитайте это предисловие целиком, оно стоит того; мы даже идем на риск сравнения с текстом, находящимся в исторически более выгодном положении, чем наш. Все равно — перечитайте. Мы не можем отказать нашему времени (тем более!) в том, что намечалось уже сто тридцать лет назад.

А мы, пока вы читаете, выведем здесь, тайком и поспешно, несколько слов в свое объяснение и оправдание...

Странное это, телескопическое, завинчивающееся оправдание... Лермонтов оправдывался перед публикой в том, что присвоил Печорину звание Героя Нашего Времени, а мы — проходит какой-то век! — извиняемся уже за одно то перед ним самим, перед товарищем Лермонтовым, что позволяем себе смелость процитировать его...

И, ища себе оправдания, мы опять натыкаемся на газету.

Газета поддерживает нас своим опытом в употреблении «готовых» заголовков... Почти в каждой газете можно обнаружить статью или очерк под каким-либо уже известным нам по литературе или кино названием, иногда чуть измененным, и, как правило, по содержанию статья и оригинал не перекликаются. Но не только газетчики... И у современных нам писателей замечается подобная практика — слегка измененные названия знаменитых произведений, но измененные так, что и прежнее сразу узнается, и тем, по-видимому, становится автор не одинок и не затерян в своих намерениях, устанавливает «связь времен» и подчеркивает свою современность легким искажением акцента (аналогия и противопоставление) и, таким образом, к своим силам прилагает еще проверенные силы предшественников. Не всегда это классика, иногда — бестселлер. Например, в одной районной газетке попался нам как-то фельетон под заголовком «Щит и печь» (тогда как раз всюду шел одноименный фильм «Щит и меч» по одноименному роману) — о сопротивлении некоего начальства строительству некой печи. Или вот только что, припоминая другой характерный пример... раскрыли журнальчик — «Автомобиль, который всегда с тобой», о том, как самому построить малолитражный автомобиль-амфибию (автор читал Хемингуэя, автомобиль для него — праздник).

Таких примеров, может, менее забавных, но более прямых, можно привести тысячи. Можно было бы даже написать на эту тему небольшую, но оригинальную структуралистскую работу...

Но дело в том, что и «Щит и меч» — уже цитата, перефразировка. Получается совсем интересно: «Не мир пришел я вам принести, но...» — впрочем, тут нет «щита»... Тогда, возможно, автор знаменитого романа имел в виду арию «Иль на щите, иль со щитом...», которую все слышали, но тут нет «меча»... Все равно — откуда-то эта цитата. Название же у Хемингуэя — тоже цитата из одного американского поэта, которого мы не читали.

(У него (Хемингуэя) вообще почти все названия — цитаты: «По ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «И восходит солнце...» — то есть это бывшие эпиграфы девятнадцатого века — теперь названия. «Анна Каренина», по Хемингуэю, называлась бы «Мне отмщение» или «Аз воздам».)

То есть меньшее знакомство с предметом вызывает большую прямоту обращения... «Эй ты!» вместо «милостивый государь». И когда мы встретим в газете заголовок «Время — жить!», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий завет.

Мы недавно посмотрели фильм «Евангелие от Матфея». Его смотрели профессионалы — режиссеры, артисты, сценаристы, редакторы. И вот мнения разделились: одни были потрясены, а другим — «понравилось, но...». Такое разделение нормально, но любопытно то, что

и в том и в другом лагере было приблизительно поровну людей: умных и глупых, со вкусом и безвкусных, правых и левых, старых и молодых, восторженных и равнодушных, искренних и неискренних,— то есть никаким образом не удавалось отчислить их восторг или умеренность по какому-либо признаку, как обычно: «так это же дурак» или «так это же сволочь»,— общая структура зала сохранилась уменьшенно в каждом из лагерей. Мы бы так и ушли, не разгадав феномена, если бы кто-то из восторженных сторонников в запальчивости, как довод в пользу фильма, не вскричал: «А Нагорная проповедь?..» И тут нас осенило... Многие были впервые потрясены Евангелием, читанным по подстрочнику сидящим в темноте переводчиком.

Даже трудно оценить общий вес подобного цитирования в нашем образовании... Иногда кажется, что именно благодаря ему начитанные люди знают имена «Христа, Магомета, Наполеона» (М. Горький), или Гомера, Аристофана, Платона, или Рабле, Данте, Шекспира, или Руссо, Стерна, Паскаля... и ряд их крылатых выражений.

И название этого романа — краденое. Это же учреждение, а не название для романа! С табличками отделов: «Медный всадник», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Что делать?» и т. д. по школьной программе... Экскурсия в роман-музей...

Таблички нас ведут, эпиграфы напоминают...

ФАИНА

...идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности...

«Герой нашего времени», 1839.

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случалось особых потрясений — она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни...

Леве уж так повезло: рубежами возраста отмечать исторические рубежи. Опустив отрочество, входя в юность, мы опять совпадаем с датой. Той самой, которой определена вся первая часть, все отбытия героев и главным образом возвращения. Брюки... Там эта дата не названа, быть может, именно потому, что причинна. Здесь же — как же еще начать историю первой любви? — здесь же назовем эту дату без причины: 5 марта 1953 года умер известно кто.

9.00, темень. Леву выстроили в школьном актовом зале на траурную линейку. Вот он стоит на линейке, «учащийся выпускного класса», полный, розовый соблазнительный мальчик басовитой наружности... но и растлители повывелись в то время... вот он стоит. Он не вполне уверен в себе — очень уж глубокая должна быть скорбь... Трудно описать...

Действительно трудно. Как раз то, чего мы так хотели избежать, приступая ко второй части, ради чего, собственно, к ней и приступили... и опять — туда же! Как изображать прошлое, если мы т е п е р ь знаем, что, оказывается, тогда происходило,— т о г д а не знали. Лева понятия не имеет, что эта смерть обернется для него прежде всего сексуальным раскрепощением — более дикую мысль нельзя представить себе. Но так в его биографии и останется на всю жизнь — будто женщины водятся не в пространстве, а во времени: снаружи шестнадцати лет, после получения паспорта... Так что поди знай, чему придать значение: тому ли, что люди не знают, что их, как песчинку, волочит под собой глетчер исторического процесса, или тому, что им наплевать на этот процесс, ибо им кажется, что это они сами ползут? Трагедия или комедия? Лишь взглядом назад отмечен исторический поворот. В корабле настоящего ничто не движется — все

движется вместе с кораблем. Чудом ожившая муха вокруг лампочки летает...

Все замерло. Лева старательно не смотрит на муху. Он стоит и понятия не имеет, как это именно для него важно, то, что он на этой линейке сейчас стоит. Он не ведает, что в этот миг кончается его сладкое почитывание в отцовском кабинете, дверь распахивается и входит... Фаина. Совсем иначе переживает он эту смерть, вовсе не как освобождение: он — смущен. Он смущен недостаточностью своего потрясения, неглубокостью своего горя. Он — боится. Он боится, что недостаточность эта видна на его лице. Ибо что потрясает его во всех остальных лицах — это именно искренность и глубина скорби. У завуча полные очки слез. Портрет, обвитый черной лентой,— его Леве немножко жалко: это портрет уже неживого человека. Это странное чувство, что портрет уже не жив, ибо жив был именно портрет, потому что самого-то живого — никто не видел. Леве хочется понять, что́ исчезло из портрета: ему кажется, что он изменился, хотя, ясно, не мог он измениться за одну ночь... Пахнет отмерзающей хвоей. Лева опять не смотрит на муху.

Он не может скорбеть так же сильно, как Гарик Покойнов, самый красивенький и самый глупый мальчик в классе. Какие слезы вскипают на длинных изогнутых ресницах Покойнова! Как он хорош...

Вся страна застыла в пятиминутном простое... А Лева думает, что первый урок — физика, контрольная, к которой он так был не готов, и не может не испытывать кощунственной радости, что урок этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет...

Физик, этот тупой крестьянин, короткий человек... У него единственного — туп же! — ничего не написано на лице, кроме томления. «Небось жалеет, что контрольная пропала...» — ядовито думает Лева. Физик не выдержал Левиного взгляда и постарался незаметно выскользнуть из зала. Тут все как-то кончилось, прозвучали торжественные слова клятвы завуча вечно учиться... голос его дрожал, был он в эту минуту красив, как Покойнов, который наконец не смог подавить вырвавшихся из груди рыданий.

Они удалились в класс, не перемолвившись ни словом, не шелохнув своего горя, тихо опустились за парты, не стукнув крышками. Покойнов уткнул свое необыкновенно красивое — в ладони. Многие воспользовались той же позой.

Контрольная между тем явно прошла... Где-то Лева уже читал, что глубочайшее горе не имеет уже форм выражения, что оно иногда замещается самыми странными проявлениями и ощущениями... Он хотел бы именно так истолковать свое равнодушие, чтобы стать как все, не быть уродом, но, по чести, он не мог так себя в этот миг истолковать. И Покойнов оставался недоступным идеалом, красота его оказалась такой оправданной и не внешней... Лева был смущен.

Не могли же все так же думать, как Лева: об удаче, что он умер, раз контрольная прошла?..— этого Лева никак не мог допустить. Другие все в своей скорби просто забыли напрочь о таких мелочах, как контрольная. Все как один — и один лишь Лева. «Ну один, ну двое...— думал Лева логикой следователя.— Все не могут же одинаково притвориться?..» Оставим Леву в его недоумении.

Конечно, невозможно предположить, что все не сговариваясь могут одинаково притвориться. Но что же тогда общество? Рано еще Леве подумать, что есть коллективная неискренность.

Тем более что через минуту в класс ворвется раскаленный физик: какого черта не идут они в кабинет?.. «Ну и что ж, что умер!..»— вырвется у этого грубого, недалекого человека. Как все будут им возмущены! А Лева с трудом удержит идиотский, возмутительный, ни с того ни с сего в себе смех: контрольная-то прошла. Не знает он, что это в нем — хохот самой Истории, если она все-таки есть.

Не знает он, что о ненавистном во все школьные годы физике станет когда-нибудь вспоминать с теплотою, а о кумире и властителе дум завуче — с содроганием. Не знает физик, что заведет себе наконец домик с садиком и огородом, не знает завуч, что станет вице-президентом Академии педагогических наук, не знает Покойнов, что придет через комсомол к русской идее, не знает Лева, что за дверью проходит Фаина... Никто ничего не знает из того.

Приготовимся к резкой перемене повествования: мы попадем в разреженный, слепой мир Левы, каким он был, когда он был...

Тут нельзя не рассказать историю о кольце. Хотя бы как символ она чрезвычайно характерна. Поскольку весь Левин сюжет легко свертывается кольцами: образуя как бы бухту каната или спящую змею. И если рассказ был начат с красивой фразы, как Левина нить мерно струилась из чьих-то божественных рук, то с какого-то момента это божественное существо, как нам кажется, то ли утомилось, то ли просто уснуло, завороженное мерным и однообразным мельканием Левиной нити без узелков и обрывов, и клубок как бы вывалился из его рук, и нить, разматываясь, стала падать кругами на воображаемый пол петля за петлей, петля за петлей, как на тех детских картинках, где уснула бабушка и котенок играет ее клубком. Не хватает, правда, котенка. Но можно с успехом принять за него Левину первую и вечную любовь или его друга-врага Митишатьева как некий собирательный образ, воплощающий собой некую силу, Леве противостоящую.

И потому еще — кольцо, что тут все трое из треугольника как бы схватились за руки и закружили, притопывая, с неестественной радостью, и началась цепочка, по которой если один делал гадость другому, то тот и незамедлительно передавал ее третьему, а третий возвращал первому, и в конце концов все закрутилось на одном месте, как заскочившая пластинка.

История эта тем более характерна, что была пусть наивным, но наиболее сильным из первых или первым из сильных выражений воздействия на Леву того самого механизма отношений, по которому Лева чрезвычайно быстро и легко подпадал под власть каждого, умеющего этим нехитрым механизмом пользоваться, а также и потому, что показывает, как испытавший поражение уже заражен, становится тем самым механизмом, который ему ненавистен, то есть становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно п о р а ж е н н ы м, как бывают поражены болезнью.

Потом, эта история, не претендуя на первоисток, просто открывает перечисление, она — номер один если не по значимости, то по порядку.

Ряд колец и протянется по рассказу, отражая определенный отрезок Левиной жизни, а именно тот, когда существо задремало и нить, выпадая из его рук, стала ложиться кольцами, причем верхнее так же ложилось на предыдущее, как то — на еще предыдущее, как все они, скапливаясь, лежали на первом кольце. И остается только надеяться, что что-нибудь вдруг подтолкнет это существо в бок, оно встрепенется и возьмется за упущенную нить.

К тому же история эта и действительно о кольце, о самом обыкновенном обручальном кольце («желтого металла», как выразился бы следователь), о круглом дутом колечке, которое носила на своем пальце Фаина.

Только о кольце.

Начать же ее следует с того, что, выйдя из класса, где проходил последний экзамен на аттестат зрелости, выйдя из класса после того, как им объявили оценки за этот последний экзамен, все вдруг заку-

рили. То есть Лева даже не предполагал, что все в классе курят. Оказалось, существовала даже договоренность, что все закурят, только Лева по какой-то случайности не был этой договоренностью охвачен. Каждый достал свою пачку и закурил свою папиросу, в большинстве — неумело. Митишатьев встряхнул свой «Север» и предложил Леве. И Лева взял.

Экзамен этот был «История СССР», и Лева получил пять, а Митишатьев единственный в их сильном классе — три, потому что увлекался в ту пору историей и все экзамены провел за чтением старинного Соловьева и Карамзина, а «Краткий курс» прочесть не успел и, таким образом, знал одни лишь третьи вопросы и те совершенно в противоположном, чем надо, виде; Лева же прочел лишь «Краткий курс», а третьего вопроса у него не спросили вовсе. Таким образом, испытывая скрытое торжество над Митишатьевым, Лева тоже взял папиросу, и, когда сумел не поперхнуться от первой затяжки, некая даже гордость вместе с головокружением охватила его, и тут он вдруг почувствовал, что наконец-то со школой — все.

Так и соединилось в его памяти на всю жизнь ощущение первой затяжки с окончанием школы. Все поплыло перед глазами, и он вдруг испытал легкость необыкновенную, и ему показалось, что он не прошел, а перелетел солнечный, вытоптанный школьный двор и очутился с Митишатьевым на улице, «Напиться бы»,— мрачно сказал Митишатьев. «А что, не мешало бы»,— радостно сказал никогда не пивший Лева и удивился. Он словно впервые очутился на открытом пространстве и сразу подставился всем ветрам.

Митишатьев тут же договорился, что Лева купит за них обоих, потому что у Левы деньги были, а у Митишатьева не было. «Будут настоящие женщины,— сказал он,— француженки». «Как — француженки?..» — задохнулся Лева. «Студентки иняза». Но и «студентки» прозвучало для Левы как куртизанки. Одна из них, как сказал Митишатьев, была даже замужем...

И Лева уже не столько одалживал Митишатьеву деньги, сколько сам становился навек ему обязанным. Потому что все это Леву, что естественно, необыкновенно занимало и ничего э т о г о он не знал, а Митишатьев, много раньше Левы начавший продвигаться во всех э т и х вопросах, никогда раньше Леве подобных предложений не делал, а намеки Левины и редкие и робкие напрашивания с ухмылкой обходил, чем и обижал его, оставляя наедине с достоинством, которым тот почти уже готов был пожертвовать...

Теперь все обстояло иначе. Они уговорились встретиться вечером, и Лева, закурив еще одну митишатьевскую папиросу, ушел домой, но не ушел, а снова полетел, как бы уносимый всеми открывшимися вдруг ветрами, в сторону дома...

Весь день он чистился и скоблился и за час до условленного часа уже кружил, порхал, попыхивал только что купленными сигаретами с золотым ободком и успел облететь один и тот же квартал раз сто, пока подошел не спеша Митишатьев.

В пустоватой комнате оказались три девушки — обозначим их условно: черненькая, беленькая и голубенькая. Говорили они по-русски (Леве непременно казалось, что они будут говорить только по-французски — тут он мог блеснуть, потому что усилиями родителей владел этим наречием своего рода). Время было еще кое-как заполнено, пока Митишатьев здоровался сам, знакомил Леву, Лева пожимал непривычные ладошки и выдерживал взгляды; потом он извлекал бутылки, два муската, который, как слышал Лева, так любят дамы, что теперь показалось Леве нелепым, хотя это он сам покупал их; время опустело, и он вдруг смутился.

Митишатьев тут же предоставил его самому себе, заговорив в уголке сразу с черненькой и беленькой. Лева ничего не предприни-

мал, смущаясь, заговорить был не в силах и пока оправдывал это тем, что надо же определить из трех девушек одну, причем не митишатьевскую. «Которая из них была замужем?» — гадал Лева... Пока получалось так, что Леве предназначена голубенькая: она, так же как он, была несколько в стороне. Лева перелистывал журнал, ничего в нем не видя, иногда поглядывал на свою голубенькую. Она была действительно голубенькая — и платьем, и волосы как-то так отливали. Беленькая — хозяйка — все входила и выходила...

Лева, собственно, не предпочел ни одну: все они были как-то одинаковы для него, хотя и разномастны. То ли нерешительность свою и смущение подменял он как бы безразличием и незаинтересованностью конкретно ни в одной из трех... Он уже стал инстинктивно выискивать в себе силы, чтобы из всех ему понравилась именно голубенькая, и начал понемногу преуспевать в этом, отыскивал в ней достоинства и отличия от подруг. Но тут все сбил Митишатьев: незаметно покинув свой кружок, он оказался вдруг разговаривающим (Лева даже возмутился) с Левиной голубенькой. Черненькая засуетилась: «Ну что же мы не выпьем? Где же Фаина? Долго мы ее еще будем ждать?»

«Кто из них Фаина? — заторможенно подумал Лева.— И почему ее надо ждать, когда все здесь?..» Как тут же отворилась дверь и в комнату, отбрасывая ладошкой сыроватые распущенные волосы, вошла совершенно новая девушка... И не девушка — женщина! — в самом настоящем, с точки зрения Левы, смысле этого слова. Да, это была женщина — так она вошла. Лева, сам не заметив, быстрыми шагами пересек комнату, пока она успела сделать едва три шага от двери, и встал перед ней истуканом, слегка расстегнув рот и как бы сказав «о!». Фаина — потому что это была именно она и это именно она была замужем, никакого сомнения в этом и не могло быть,— Фаина как бы только оттого, что что-то преградило ей путь, подняла глаза на Леву, застывшего перед ней, и, улыбнувшись как бы от той же внезапности, что и Лева, тоже сказала «о», причем так, что Леве в этом могло послышаться даже одобрение, оно и послышалось. «Фаина»,— сказала она сиплым, тут же восхитившим Леву голосом и протянула ему руку; Лева ощутил эту руку и податливой и уверенной одновременно, прохладной, нежной — у него по спине пробежал сладчайший холодок от этого пожатия. Он все держал ее руку в своей, когда услышал: «А вас как же?» «Да, да...— сказал он, поспешно выпуская руку и как бы припоминая.— Лева, Лева меня зовут»,— проговорил он, как бы сам себя в этом убеждая.

В общем, это была любовь с первого взгляда и наповал. Лева и не заметил, как мускат был выпит, отодвинулся в сторону стол, сама собой завелась радиола, а Митишатьев затанцевал с беленькой хозяйкой. Лева, танцевать не умевший, зато умевший по-французски, разговаривал с Фаиной, перемежая русские фразы с французскими, где она как специалист не могла не оценить его произношение. Стыдно ему не было. Они помещались у стенки, в проеме между двумя кроватями, держались за никелированную спинку как за поручень и куда-то ехали в этом автобусе далеко, и пассажиров не было... В их купе было довольно тесно, до руки Фаины оставалась маленькая никелированная полоска — Лева задыхался от этой близости, сжимал это кольцо, и у него красиво белели пальцы. Митишатьев танцевал уже с черненькой. Голубенькая подошла к Леве и простодушно протянула руку, вовлекая в круг. «Нет»,— как-то даже зло сказал Лева. Она пожала полупрезрительно плечами и отошла.

Митишатьев отдувался за Леву, танцуя с голубенькой. Он танцевал, как бы все более заводясь и уже в неистовстве, но Лева этому неистовству, хотя оно, в общем, у Митишатьева и получалось, не доверял. Тут было, по мнению Левы, слишком видно усилие этой безотчетной конвульсии, слишком уж оно говорило за неистовство

митишатьевской натуры. Сам же Лева, в противовес Митишатьеву, разговаривал легко и непринужденно — так ему казалось. Фаина больше молчала, слегка поддакивая, очень, впрочем, точно, умненько и в такт, так что Лева все больше убеждался в незаурядном ее уме, и ковчег ее достоинств, в представлении Левы, уже становился чрезмерен для возможности оценить и одарить эту женщину сполна. К тому же Фаина, хотя и помалкивала, как-то умудрялась не давать Леве почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости, и оттого, что она так чутка и тактична, Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся, если такое было еще возможно.

Митишатьев, оттанцевав с голубенькой, подошел к Фаине и, слегка покраснев, стал знакомиться чрезвычайно чопорно, как бы в контраст с неистовством только что законченного танца. Лева немножко удивился, что вездесущий Митишатьев не был, оказывается, знаком с нею, и ощутил оттого над ним чуть ли не превосходство. Познакомившись, Митишатьев пригласил Фаину на следующий танец, и Лева взглянул на него так грозно, что Митишатьев, все-таки оттанцевав один танец и с Фаиной, даже нашептав ей что-то, к особому Левиному неудовольствию, во всяком случае больше ее не приглашал, полностью предоставив Леве.

Веселье между тем выдохлось; черненькая совсем ушла, а беленькая хозяйка непрестанно кстати и некстати, и словно нечто подчеркивая, входила и выходила из комнаты. По всему, Фаина сегодня оставалась у хозяйки и никуда уходить не собиралась, а Леве давно пора было уходить, о чем и намекнул ему помрачневший Митишатьев, надевая плащ, и времени у Левы для тех решительных действий, на которые он решался весь вечер, заключавшихся в том, чтобы обеспечить и гарантировать себе следующую встречу с Фаиной, чтобы она теперь уже никуда от него не делась (потому что именно это странное ощущение преследовало его: что она уже пропадала у него однажды, словно он давно с ней знаком),— времени для этих так и не продуманных действий не оставалось никакого. И он, уже впопыхах, как бы зажмурив глаза и прыгнув, ни с того ни с сего (а именно хотелось, чтобы плавно и между прочим) предложил Фаине сходить в ресторан. Лева очумел от собственной смелости и задохнулся в непременном ожидании отказа и даже возмущения. Но Фаина согласилась удивительно легко, сразу же, будто в этом ничего такого сверхъестественного не было; это было неожиданно для Левы, и тогда его смелость повисла для него в пустоте. «Только когда?» — спросила Фаина, и в тоне ее прозвучала деловитость. «Да хоть завтра!» — восторженно воскликнул Лева. «Нет, тогда уж послезавтра»,— сказала Фаина. Они сговорились встретиться послезавтра в восемь вечера.

И Лева спешил домой, совершенно уже порхая. Митишатьев ушел в другую сторону с голубенькой. Лева еще удивился, что с голубенькой (ему почему-то казалось, что Митишатьев — с черненькой), удивился — и тут же забыл. Потому что, судорожно вспархивая вместе с сердцем, взлетая и опускаясь, мгновенно очутился у своего дома и тихо ковырялся в замке, чтобы не разбудить уже спавших родителей. И все вспыхивало кругом странноватым дрожащим светом, лившимся неизвестно откуда, потому что лампочка на площадке не горела...

Как Лева дождался послезавтра, как он нашел в себе силы преодолеть это бездонное время, остается только удивляться — но вот он уже сидел в самом роскошном ресторане (его выбрала Фаина) и говорил с нею, в основном по-французски, потому что разговор его (они уже немало выпили) был таков, что посторонним не предназначался, и Лева воспарялся все выше, потому что дело, насколько

он мог судить по молчаливым и оттого для него как бы еще более красноречивым поддакиваниям и взглядам Фаины, явно шло на лад.

Они досидели до самого закрытия, остались почти одни в зале, во всяком случае за столиком, а дальше Лева почти и не видел: в тумане. Официантка, милейшая женщина, к которой Лева испытывал все большую симпатию, потому что особая, казалось ему, ее забота простиралась на их стол, стояла у стенки и поглядывала в их сторону чуть ли не материнским, умиленным взглядом... Леве все было приятно, все его трогало: он ловил и этот взгляд и тогда как-то особенно распрямлялся и говорил громче... Фаина слушала его, потуплялась, крутила на своем суховатом пальце обручальное кольцо.

Тут произошла совсем символическая сцена, наполнившая Леву окончательно восторгом. Официантка подошла к ним и сказала, разгибая блокнотик: «Вы, наверное, молодожены?»

Лева покраснел в замешательстве. А Фаина вдруг легко, так же легко, как в свое время согласилась идти с ним в ресторан, сказала: «Да». Тогда и Лева, спохватываясь и давясь, тоже сказал: «Да, да». «Сразу видно,— сказала официантка,— самая хорошая сегодня пара... И давно вы женаты?» Лева растерянно глянул на Фаину. «Полгода»,— сказала она. «И три дня»,— обрадовавшись, пошутил Лева и тут же очень стал собой недоволен. «Сразу видно,— сказала официантка,— что удачный брак. Теперь это так редко». «Да...» — нелепо вздохнул он. «Ну, вы посидите еще немного? Еще минуток пять можно...» — с благоволением сказала она и опустила блокнотик в карман. И отходя от их столика, спросила: «А живете с родителями?» «С родителями»,— уже уверенно сказал Лева. Тут Фаина, к некоторому Левиному удивлению, подозвала ее снова и зашептала ей что-то на ухо. Официантка бросила коротенький и блестящий взгляд на Леву и ответила так же шепотом. Лева воспитанно откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в сторону, как бы ничего не слыша, но как ни напрягался — ничего не слышал. Только какое-то другое, недоступное Леве понимание между ними насторожило Леву; они были как «свои», официантка и Фаина, а потом и этот странный смех, и потом официантка отходила еще с улыбкой, относившейся к тому, о чем они говорили, и последний обмен взглядами — во всем этом померещилось Леве что-то плотское и нечистое, но он постарался тут же об этом забыть, что ему и удалось. Официантка вернулась через некоторое время и принесла небольшой пакет, вручив его Фаине. Тут они и рассчитались, Лева много дал на чай и поморщился, потому что чаевых-то и стало жалко.

Но дальше было вообще чудо. Никогда не говорил он так дивно, как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о парапет и смотрели на черную воду, и он наконец решился взять Фаину за руку... Потом они целовались в парадной так истово, так неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила ему такие слова, такие слова, что повторить их нельзя даже про себя, потому что они ничего уже не будут значить и завянут тут же, не оставив ничего, кроме разочарования.

Он и не подозревал тогда, что в свертке Фаины лежит шесть пирожных; что она ни слова не понимает по-французски, потому что в инязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании курсов машинописи; что и из его, уже русской, речи тогда, у парапета, которая, казалось Леве, и утвердила окончательно его победу, без которой он не добился бы ее любви,— и из этой речи она ничего не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и знанием его состояния, и только; он не имел представления, в какой мере те единственные слова, которые он впервые услышал от Фаины тогда, в парадной, между лобзаниями, столько же естественны и обязательны для нее, как поцелуи, и почти ничего не значат: просто она знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отка-

зать ему в ней... (Хоть не следует до такой степени отказывать и Фаине в искренности. Потому что и неискренности мы отдаемся. Во всяком случае, она отдавалась ей вполне.) Лева же ничего этого не знал — это было бы даже отвратительно, если бы он подозревал об этом. Он ничего этого не знал, и единственное, что нестерпимо отравляло его упоительное счастье, была одна маленькая нужда, застилавшая своими размерами свет... (Позже, когда он поведал ей об этом своем смешном мучении в ту ночь в расчете на некоторое даже умиление с ее стороны при воскрешении столь радостных первых воспоминаний, Фаина лишь пожала плечами. «Мог бы и отойти, я бы подождала»,— сказала она.)

На следующий день Лева расчувствовал все несколько больше. И теперь ему в его опьянении казалось, что так и будет, все выше и выше, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона — и так всю жизнь...

Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит, когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и отдается она ему, при всей уже отмеченной Левой преданности этому делу, с каким-то даже равнодушием, чуть ли не с неохотой.

Один раз ее уже не оказалось дома, и он дежурил три дня — ее все не было; наконец поймал — и она была веселее и добрее, чем обычно... А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти три дня — куда? к кому?..— но и то, что она вернулась такая довольная. Леве, уже обеспамятевшему, все хотелось понять, в чем же дело, чтобы ему «только лишь» объяснили, чего не хватает в нем и что еще нужно делать, чтобы все было «как прежде», потому что нет такой вещи, это было очевидно ему, которой он не сделает для Фаины, точнее, ради нее.

Он решил поговорить с ней «начистоту» (в этой «чистоте» он бессознательно подразумевал лишь одну сторону — восстановление ее прежних слов и признаний) и повел ее для этой цели в кафе, отчасти желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все больше уверяясь в том, что он непременно повторится, этот вечер (это давно следовало сделать, укорял себя Лева, это следовало сделать раньше, до «похолодания» Фаины). Но повел он ее в кафе, а не в ресторан, потому что у него мало денег (так мы всегда, давая все меньше, полагаем, что отдаем последнее, а за последнее требуем от другого всего), но и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда нравилось: какое-то уютное, особое освещение, там можно «побыть вдвоем» и т. д.

В этом кафе и спросил он с отчаянья напрямик: что ей еще нужно?.. Она не рассердилась (потому что продолжала пребывать в некотором добродушии после своего исчезновения) и сказала тоже напрямик: «Ты должен дать почувствовать мне свою силу». Что она под этим имела в виду, догадаться трудно, но Лева, как ни странно, сразу ее понял, и сердце его сжалось в тоске и отчаянье. Это означало попросту, что он слишком хорошо относится к Фаине и что все было бы лучше, если бы хуже...

Лева целый час говорил столь же вдохновенно и прекрасно, как в тот вечер у парапета, о том, как она не понимает, что это отвратительно — эта игра «кто кого», что он, Лева, просто не хочет в нее играть, в эту игру, что он не может, как некоторые, как, к примеру, тот же Митишатьев («Какой Митя? Ах, тот, что танцевал. Хороший мальчик!»), что он верит, продолжал Лева, что могут быть истинно прекрасные отношения, большинству неведомые, вне этой игры, что он ее любит именно так, а это редкая любовь, даже не редкая, а единственно та, что может быть названа любовью. («Вот...— сказала она и даже ласково погладила ему руку.— Просто ты меня слишком

любишь, а мне это трудно». Лева удивился и ужаснулся этой простоте, хотя надо отдать Фаине должное: никогда потом не говорила она так же чисто и честно.) Но, говорил Лева, он не хочет, да и не может становиться в один ряд со всеми, и тогда, в таком-то смысле, он может показаться кому-нибудь и слабым, но это вовсе не слабость, а сила, сила его! что это тот самый редкий дар, который случается с человеком раз в жизни... И как же можно отворачиваться от него (дара и Левы), когда он таит в себе (дар или Лева?) самое высокое счастье, какое только может дать один человек другому человеку! Отворачиваться от этого дара даже преступление... (Но Фаина и впрямь отворачивалась, давно уже пропуская Левину речь мимо сознания, потому что тоже давно ее как бы знала в принципе и в целом и все, что могла сказать Леве по этому поводу, очень откровенно уже высказала. Она отворачивалась, провожая взглядом только что вошедшего длинного молодого человека в усиках.) «Там-то как раз и бессилие, бессилие чувствовать и любить по-настоящему, где она подразумевает силу...» — сказал было Лева и ослаб, сник, смяк и не мог больше выговорить ни слова. «Я вдруг ужасно проголодалась,— сказала Фаина (придя в кафе, она от всего отказывалась).— Закажи мне, пожалуйста, лангет. Тут его очень хорошо готовят». «Откуда она знает, как здесь готовят лангет?» — подумал Лева.

Они продолжали «встречаться» (трудно было бы не встретиться, даже если бы Фаина хотела этого). Лева, так и не показав своей силы, очень маялся и страдал, и денег на все это уходило как-то больше и больше. Отец косился и, дойдя до определенного, по каким-то своим соображениям избранного предела, дотаций не увеличивал. Один раз выручил дядя Митя, хотя Лева, наслышанный о его скаредности, и не думал у него просить. «На,— сказал он, со вздохом прощаясь с купюрой,— тебе деньги нужны». И опуская в карман свой портмоне без этой купюры, рассердился: «Ты, Лева, не человек, а добыча». Лева не обиделся и был растроган до слез. В другой раз это была Альбина, единственная, пожалуй, девочка, с которой Лева был знаком даже раньше Фаины (по стечению жизненных, а не романных обстоятельств — дочь старинной приятельницы того же дяди Мити). Лева считал ее некрасивой и стеснялся при встречах: она всегда смотрела в глаза — и он всякий раз не знал, что сказать, чтобы скорей распрощаться. В этот раз пожаловался, что бедствует, и она тут же предложила взаймы. И, почувствовав себя скверно, уронив взгляд, Лева — воспользовался. Воспользовался еще и тем, что знал, что сама она никогда ему об этом долге не напомнит. Впрочем, он осознавал свою некоторую низость лишь как унижение, и то до тех пор, пока не скрылся за углом с этими деньгами. И — все. На этом самаритяне кончились, началась — «нужда». «Нужда и говно — синонимы»,— объяснил ему дядя Диккенс и денег не дал. Лева потаскивал книги, продал какую-то фамильную печатку одному жулику за сущий бесценок, но и эта сумма, для Левы тогда очень значительная, мгновенно утекла именно как в песок.

Так что теперь его, чуть и не наравне с выяснением отношений между ним и Фаиной, стала интересовать проблема, как и где раздобыть денег (так он незаметно привыкал покупать любовь). Он учился экономить (это был уже семейный процент их отношений), ходить в ресторан ему казалось уже слишком невыгодным, потому что существовали куда более насущные траты (чулки, косметика, электричество и газ, булавки, нитки, не забыть купить два метра к о р с а ж а, так и спроси: кор-саж...). Хоть бы он цветов когда-нибудь купил!.. Лева улыбался криво.

Тогда-то и принял он участие в «складчине»... У кого-то из однокашников высвобождалась квартира («предки» куда-то уезжали), Митишатьев вспомнил о Леве и пригласил его «с дамой», за что Лева,

давно истощив все доступные ему варианты развлечений Фаины и находясь по этому поводу в глубокой растерянности, был ему очень признателен, даже тронут.

Фаина долго ворчала, не соглашалась идти, морщилась: «Детский сад»; потом собиралась так же долго, даже тщательнее обычного.

То, что нас утомляет впоследствии, Леву еще нисколько не утомляло — он нисколько не скучал, наблюдая ее сборы, даже получал удовольствие. Он находил особую красоту и прелесть в этих заученных, машинальных, почти инстинктивных движениях Фаины перед зеркалом. Именно в этих вовсе не рассчитанных на постороннего, на эффект, не эстетизированных движениях находил он теперь именно и прежде всего красоту...

Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина уходила калить в кухню на газе и бегом возвращалась, отставив слегка руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на эту вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон), и столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы, и иголка, которой она разделяла по отдельности ресницы, уже накрашенные... Эта возня с колющими и режущими предметами (у самых глаз!) казалась Леве рискованной и опасной, а то спокойствие и деловитость, с какими Фаина это все проделывала, и восхищали и пугали его, как смелость артиста в цирке. Притягивало и пугало его и выражение глаз Фаины в зеркале, когда она занималась всем этим,— отсутствующее, холодное, прицеленное, снайперское какое-то. Заученная, непреклонная последовательность движений и операций, проводимых Фаиной при сборах, при всем единообразии не теряла прелести для Левы; он испытывал определенное удовлетворение от мысленного опережения, предвосхищения движений Фаины и некую радость от совпадения воображенного движения с действительным через какую-нибудь секунду.

(И пока он так робко наблюдает и безропотно ждет Фаину, у нас есть время разглядеть его взгляд... Как он умудряется, не сводя с нее глаз, настолько не видеть ее? Настолько ее не видеть, что, глядя в этой повести его глазами, и мы — не видим ее...)

Особенно нравилось ему, когда она смывала старую краску и становилась на миг будто растерянной и близорукой, будто ее легко можно было сейчас обидеть, а Лева бы — защитил... Вообще Лева все больше любил и дорожил этой незамеченной красотой Фаины: заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в одежде, неуклюжим безотчетным движением,— это вселяло в него блаженное ощущение прочности, принадлежности и благодарности, которые, в иных условиях, Фаина давала ему испытывать все реже.

Так уж получалось, что когда Фаина жаловалась на то, что плохо выглядит, то казалась Леве наиболее красивой, любимой и близкой. Если бы это было вполне осознанно, можно было бы сказать, что его радовало, когда она бывала измученной, слабой и несчастной (так особенно любил он ее, когда она заболевала), и, наоборот, пугало, когда она была «в форме»: красивой, уверенной, бодрой. В первом случае возникала иллюзия ее зависимости от Левы, она никуда не уходила от него и никуда не могла деться; во втором — она уходила от него бесконечно, всегда, уходила тем безнадежней, чем была красивее, уходила, даже если была рядом и они были вдвоем: он как бы над ней уже не простирался и отставал, задыхаясь от отчаянья.

В Левином сознании эти два ее состояния приходили все в больший антагонизм: в форме Фаина казалась Леве неестественной, злой, лживой, черствой, эгоистичной, наделенной всеми пороками, не в форме — милой, естественной, нежной и т. д. Именно не в форме, казалось ему, бывала Фаина сама собой, а в форме — чужая, не своя,

подмененная. И хотя он был не властен поколебать соотношение этих двух ипостасей Фаины, Леве казалось, что она пусть медленно, через бесконечные его страдания, но приближается, подвигается к тому своему состоянию, которое Лева полагал ее сутью и которое, если снять покровы с не осознанных Левой явлений, называлось «принадлежностью Леве». Он все больше узнавал Фаину лишь с одной стороны, он все копил и собирал в себе эти ее состояния не в форме, столь любезные ему: он их просто лучше видел и узнавал, сосредоточивая внимание на моментах, которые, может, были чрезвычайно невелики в общем образе Фаины, но как бы увеличивались и росли именно за счет возрастающего к ним внимания. То есть явление это было чисто психическим или даже оптическим, но оно придавало силы и помогало пережить самые обезнадеживающие ситуации.

Впрочем, осознай Лева необоснованность подобной логики, был бы он наинесчастнейший человек, потому что не обладал достаточными силами, чтоб справиться со своим знанием. Таким образом, чем больше проводил он времени рядом с Фаиной, тем меньше знал ее. Это, по-видимому, и значит, что «любовь слепа». Ту Фаину, которую мог видеть любой и каждый, прохожий и встречный, Фаину реальную, он не видел ни разу.

Когда Фаина красилась и готовилась, момент этот хоть и радовал Леву, но был все же двойствен: она была с ним и не уходила, поскольку не была готова, но она и уходила, уходила в перспективу оказаться наконец совсем готовой, красивой, в форме, и вздохнув в последний раз с облегчением или удовлетворением, бросив последний взгляд в зеркало, в один какой-то миг сразу и окончательно в эту готовую форму войти, в ней оказаться — и тем уйти от Левы. А пока Лева сиживал и наблюдал этот переход, он еще бывал счастлив, наблюдая. лишь легкое волнение и муть набегали на его расшатанную любовью душу (по мере приближения к концу ее туалета все чаще), он снимал, как бы смахивал это со лба легким движением руки, как смахиваем мы в осеннем лесу паутину. Жест слабый, как вздох...

Конечно, это неточно так говорить, что у зеркала Фаина бывала наедине с Левой, нет, у зеркала, конечно, она была совершенно одна во всем мирозданий, как и любая женщина,— но она и не была ни с кем другим, и этого Леве было достаточно, а определенность и последовательность ее движений рождали в нем ощущение устойчивости. Также натяжкой было бы говорить, что Фаина повторяла свой ритуал перед зеркалом всегда одинаково. Эта одинаковость была скорее явлением качественным, но не количественным. Она вела себя у зеркала по-разному, в зависимости от того, куда собиралась: был ли это рядовой, ответственный или исключительный случай сборов. Она могла собираться наспех, с обычной тщательностью и с вдохновением. Это были как бы малый, средний и большой набор операций и движений, с разным объемом вкладываемых физических и духовных сил. (Сейчас она, поругивая сосунков, к которым вынуждена идти, потому что больше идти некуда, и, соответственно, поругивая безответного Леву, собиралась тем не менее по самому полному, максимальному комплексу.) Но каждый из этих комплексов: и малый, и средний, и большой,— были постоянно внутри самих себя, почему Лева и любил сопереживать эти моменты.

В результате они несколько запоздали и застали уже то возбуждение и оживление, которое называется первым, или легким, опьянением. То есть они пропустили тот таинственный момент, когда некоторая холодность, скованность и разброд полузнакомых людей понемногу накапливались и подошли к тому пределу, когда все в сборе и готов стол, и вот все рассаживаются, уже возбуждаясь и отпуская напряжение; разливается по рюмкам водка, и она, еще не выпитая, уже как-то подействовала; а потом за первой рюмкой ходом вторая — и уже все знают друг друга, тормоза сброшены, и кто-то го-

ворит громко, и кто-то очень смеется, и всем кажется, что веселье длится уже давно; но если кто-либо с напрасной исследовательской жилкой засек бы время, оказалось бы всего десять минут как они сели за стол, от силы пятнадцать; а уже первый хмель начинает свое плавное и неумолимое перерастание во второй — и все это тем быстрее, чем независимей, чопорней и чинней ожидали гости этого момента...

Когда они пришли, дверь им открывали уже с неумеренной улыбкой на лице, без пиджака, с расстегнутым воротом, при галстуке, приспущенном, как флаг, с ничем не оправданной радостью говоря: наконец-то! и все вас ждут,— хотя вы и не знакомы вовсе. Такой открытый прием всегда, впрочем, впору — что-то вы оставляете за порогом: какую-то тяжесть, как шубу на вешалке. А поскольку время летнее и ни о каких шубах не может быть и речи, тяжесть была единственной невидимой одеждой, которую Лева скинул тут же в передней и как бы даже проводил ее падение взглядом; взгляд упал на сундук.

Передняя незнакомой, тем более коммунальной, квартиры тоже таинственна: небольшое чистилище перед веселием, впрочем, темноватое, заставленное и захламленное,— скорее предбанничек. Сундук, над ним велосипед, над велосипедом рога, под рогами подкова — все это незаметно входило в Леву, когда он, достав бутылки и передав хозяину, поджидал Фаину, внутренним усилием ее поторапливая, пока она движением столь легким, что, казалось, и практически не нужным, прикасалась, как бы чуть подталкивая, ладонью к прическе, меняла туфли и еще раз пронзала самое себя неподкупным взглядом; вся она тут будто вздрагивала, вытягивалась, лицо ее становилось холодным, как бы чеканным, почти величественным — это все отражалось какую-то секунду в зеркале, Фаина поворачивалась и, не глядя на Леву, чтобы не растерять выражение, шла к дверям, а у Левы было впечатление, что это уже не Фаина, а отражение ее вышло из зеркала и пошло, неживое,— и сердце его чуть сжалось.

Если продолжить сравнение, то из холодного и темного предбанничка они очутились прямо в парилке; или если вспомнить сравнение с шубой, оставленной в прихожей, то они вошли как бы с сильного ночного мороза в жарко натопленную и освещенную избу, когда из распахнутой двери большим светящимся шаром вываливается пар, а потом, когда дверь захлопывается за вами и вы начинаете видеть, то сами оказываетесь в пятачке холода, исходящего от вас; или, проще,— на них опрокинулся шум, и дым, и смех, и некоторое не окончательное и не всеобщее, но вполне ощутимое замолкание и разглядывание, как бы туше, а потом снова тот же шум.

Их рассадили порознь — это был принцип компании. Лева досадовал, но делать было нечего, и он был помещен рядом с пухловатой девушкой в прозрачной кофточке, сквозь которую просвечивало очень розовое белье; она прыснула, простушка, когда Лева садился рядом.

Фаина же была помещена рядом с Митишатьевым, и это Леву до некоторой степени удовлетворило: хотя бы знакомый человек. Она сумела сохранить свое выражение, вернее, свое отражение, которое она вынесла из зеркала, столь чинное и холодное, и, присев исподволь, но цепко осмотрелась. Это был тот же ее как бы отсутствующий, но снайперский взгляд,— взгляд был обращен сначала на девушек: они все были очень юны, даже не девушки, а девочки, но, как говорят, «развитые» (в те годы это было еще не частое явление, своего рода заслуга). Взгляд был мгновенен, пристален и пронзителен, он мигом расставил оценки и как бы успокоился, удостоверившись, что никакого намека на подвох нет: она их отбросила, она вне конкуренции. Лева мысленно согласился с нею: никакого сравнения быть не могло. Фаина была гранд-дама в этом птичнике. Успокоившийся

и как бы размякший ее взгляд во вторую очередь прошелся по парням, уже более медленно, лениво и благодушно, но тоже ни на ком как будто не задержался. Ну, парней-то Лева всех знал...

Митишатьев уже наливал Фаине. Лева приподнял рюмку, выжидая ответного взгляда Фаины, желая установить невидимую и столь сладостную, как бы телепатическую связь через стол (натянуть бы эту нить и держать ее весь вечер...), и увидел, что Фаина, еще раз безучастно охватив взглядом все молодое собрание, незаметно стянула со своего суховатого пальца обручальное кольцо и спрятала его в сумочку. Затем она приподняла рюмку и ответила кивком Леве; Лева весь как бы подался ей навстречу, но ответного желания установить эту невидимую связь не обнаружил: Фаина словно бы не заметила этой протянутой руки и обернулась чокнуться с Митишатьевым. Лева несколько расстроился и с жаждой выпил, сразу повторив (штрафная пришлась кстати), инстинктивно желая поскорее набрать то же ускорение, которым обладали все сидящие за столом, и не находиться вчуже, мучительным особняком, что всегда и тебе и другим неприятно.

Тут какой-то отрезок времени промелькнул для него незамеченным. Он обнаружил себя вдруг что-то впопыхах жующим, чтобы поскорей сбить неприятный вкус очередной рюмки, и при этом еще говорящим что-то соседке, причем та так и заливалась со смеху. Это (что он и жевал и говорил одновременно) как-то его удивило — он проглотил и перестал говорить: поймал взгляд Фаины и по выражению его понял, что она уже некоторое время, по-видимому, следит за ним. Взгляд был чуть насмешливый и удивленный одновременно.

Неверно было бы думать, что его испугала ревность Фаины,— ревность, если бы она была, могла бы только его обрадовать как некое обеспечение и гарантия. Испугало Леву, что она тут же могла воспользоваться тем, что он забыл о ней на минуту. Испугал его не сам взгляд, а его перемена. Потому что и он, Лева, тоже, в свою очередь, застиг ее взгляд немного врасплох и увидел тогда в нем лишь прохладное удивление и любопытство; когда же их взгляды встретились и до Фаины дошло, что Лева видит ее взгляд, она поспешила его переменить на взгляд чуть ли не обиженный и вот, бросив Леве именно такой взгляд, повернулась к Митишатьеву. Лева весь внутренне заметался, готовый придать своему лицу самое предельное выражение виноватости и мольбы, но был оставлен с этим своим лицом, как и тогда с протянутой рюмкой, безответным.

По-видимому, Фаина с Митишатьевым лишь ненадолго прервали свой разговор, причем весьма частный, какой-то даже сближенный. «Они же не были знакомы»,— поразился он. Лева вспомнил, как удивился тогда, в первый вечер, что они не были знакомы,— теперь же они явно выглядели д а в н о знакомыми. И эта неясная степень их знакомства, эта окончательная путаница во времени и собственных представлениях закружили в Леве. Его всегдашнее бессилие что-либо знать о Фаине снова подступило в полный рост, и самым сильным его желанием сейчас было иметь бы некий фантастический аппаратик, чтобы все это незаметно от них слышать. Левино воспитание, по которому подслушивать считалось нижайшей ступенью падения, было сейчас вовсе ни при чем. Желание было слишком страстно, чтобы воспитание выдержало... Но аппаратика ведь и не было.

Митишатьев, смеясь чему-то, что сказала Фаина, поднял взгляд на Леву как бы удостовериться, словно Фаина экскурсовод, а он, Лева,— экспонат, такой взгляд. Удостоверился, как бы даже усмехнулся еще больше, удостоверившись,— и снова весь поглощен Фаиной, говорит ей что-то, и теперь смеется Фаина... Так и не обернулась с тех пор к Леве ни разу!

Что-то говорила Леве, пытаясь продолжить прервавшуюся их беседу, его розовая соседка — он отвечал рассеянно, односложно и

невпопад. Она даже обиделась, ощутив столь резкую подмену, замолкла, но, проследив Левин растерянный взгляд, по-женски, несмотря на юность, тут же рассекла что к чему и рассмеялась. «Ревнуешь? — сказала она, наклонившись к нему.— Выпей лучше». Лева мучительно покраснел, потому что вторым по силе желанием после подслушивающего аппаратика было именно желание сделать как можно более равнодушное, безучастное, даже холодное лицо. И это вот лицо, которое он с такой энергией над собой совершал, оказывается, больше всего и выдает. «Нет, что за глупости, нет, конечно!» — зло, впопыхах ответил Лева розовой соседке. «А мне-то казалось, что вы ничего, остроумный»,— сказала она. «Остроумный, но без чувства юмора...» — подумал с тоскою Лева.

Ему мучительно хотелось обернуться к Фаине с Митишатьевым, и он себя сдерживал из последних сил. И, конечно, не выдержал. И тогда опять поймал взгляд Фаины. Этот второй взгляд был как второе предупреждение, и смысл его был вроде: ну раз так... Леве даже показалось, что он застал, в последний, правда, момент, некий кивок Митишатьева в его сторону, почему и обернулась к нему Фаина. Леве показалось, что за ним все наблюдают: и Митишатьев, и Фаина, и соседка, и весь стол,— ему стало неуютно, а Фаина снова повернулась к Митишатьеву так определенно, так подчеркнуто навсегда, что Леве захотелось опрокинуть на них стол, даже все тело напряглось для усилия. Снова с неудовольствием поймал наблюдательный пьяненький взгляд соседки и тут наконец услышал, какой гвалт стоит в комнате... До этого момента со звуком творилось что-то неладное, его как бы и не было: была Фаина с Митишатьевым и прислушивание к ним, которое-то и сводило на нет все прочие звуки. Звук жил, то включаясь, то выключаясь... И вдруг загрохотали стулья, кто-то погасил верхний свет. «Танцы, танцы! Почему мы не танцуем?» — вот, оказывается, почему все встали. Лева тоже встал, слегка качнувшись.

Поволокли в сторону стол. Лева тоже поволок, вернее, он глупо следовал за столом, все ища, куда бы можно было просунуть руку, потому что стол облепили со всех сторон, словно огромную тяжесть: это было всем очень весело — тащить стол, кто-то даже упал — совсем восторг!

Именно в таком глупом виде обнаружил Лева в двух шагах от себя Фаину с Митишатьевым — они в этом предприятии не участвовали, лишь наблюдали, единственные из всех трезвые. «Левушка,— сказала ему Фаина ласково,— какой ты смешной!..» Лева и расстроился, что она так сказала, когда рядом с ней Митишатьев, и обрадовался ласковому ее тону, которого не ожидал. Ласка была ему важнее. «Смешной? Правда?» — сказал он словно так, что, если это плохо, он больше не будет, а если Фаине нравится, так он может стать еще смешнее: как она захочет — так и будет. Фаина, смеясь, потрепала его по руке. Лева растаял.

Танцевали. Фаина сама пригласила Леву. Лева танцевал радостно и неловко и очень смешил Фаину. Он наконец понял, что все его страхи насчет Митишатьева — полная ерунда.

Танец кончился, Лева, расплывшись, сам подвел Фаину к Митишатьеву, как бы вернул кавалеру — такая шутка. Тут же Леву подхватила розовая его соседка: она была горячей и мягкой, таяла в Левиных руках и все хихикала, глаза ее плавали не в силах посмотреть в одну точку — на Леву это, к его удивлению, даже действовало... Тут увидел Лева спину Фаины — она танцевала с Митишатьевым. Леве показалось, что у них это очень красиво получается, и сам он тогда стал вовсе неловок. Фаина танцевала как-то так, что все время была к Леве спиной, и видел он все время лишь лицо Митишатьева, улыбавшегося какой-то взятой из кино улыбкой и беспрерывно что-то Фаине тихо нашептывавшего.

Лева, стремясь поправить положение, бросился приглашать Фаину на следующий танец, но ее опять словно подменили. «А ты растанцевался...» — сказала она холодно и как бы с ехидством, будто опять намекая на соседку, и отказалась.

Но танца и вообще не произошло, потому что вдруг кто-то зажег свет и скинул иголку с проигрывателя. «Играем в бутылочку!» — закричал он. «В бутылочку, в бутылочку!» — закричали все. В центре оказалась большая бутылка из-под шампанского. «Крути, крути!» — кричали. Кто-то попробовал ее крутить — ничего не получилось, сам упал. «Не можешь, не можешь, освобождай!» — кричали стоящему на четвереньках. «Она и не будет крутиться»,— сказал тот обиженно. «Почему ж не будет?»—неожиданно для себя спросил Лева. «А так— не будет,— рассудительно сказал тот, поднимаясь с четверенек,— нужна бу-ты-лоч-ка,— зло сказал он Леве,— а тут бутылища! Нужна же бутылочка, пузырек!» «Пузырек! — хохотали.— Пузырек!»

Кто-то крутанул ловчее, и серебряное горлышко уставилось на Фаину, как стрелка компаса на север. «О-о-о!» — пронеслось по кругу. «Крути — с кем! Крути скорее!» — крикнул кто-то нетерпеливо. «На меня, ну на меня же!» — мысленно приказывал Лева бутылке, и даже губы у него шевелились. Бутылка указывала на Митишатьева. «Целуйтесь же, целуйтесь!» — закричали. Митишатьев вопросительно посмотрел на Фаину. Фаина странно засмеялась и покачала головой. «Ну вот!» — с досадой протянул кто-то.

Бутылку крутанули еще раз, но указала она на самую неинтересную девочку — целоваться всем расхотелось, все как-то само собой распалось. Снова потушили свет и начали целоваться просто так, кто с кем хотел. Левой опять завладела розовая соседка, она тащила Леву куда-то в угол, а он все упирался и озирался, но нигде не находил Фаину с Митишатьевым, ни в одном темном углу. Их не было.

«Да, да... я сейчас...» — невнятно сказал он соседке и вскочил с дивана, на который она таки успела его усадить, и широкими, прямыми шагами, все равно казавшимися нетвердыми, направился к двери.

Он увидел Фаину с Митишатьевым настолько сразу, как выскочил из комнаты, что даже опешил и как бы споткнулся: Фаина стояла у сундука, прислонившись спиной к стене, а Митишатьев — перед нею, поставив одну ногу на сундук и одной рукой упершись в стену над плечом Фаины. Они оба посмотрели на него спокойно и вроде без замешательства. «Ну что, Лева,— сказала Фаина,— как твоя соседка?» «Ничего»,— выдавил Лева не в силах побороть в горле спазм. «А мы тут разговариваем,— сказала Фаина.— Там душно». «А»,— сказал Лева. Митишатьев слабо кивнул и только теперь несколько изменил позу, оттолкнулся от стенки и убрал руку, ногу же оставил на сундуке — все у него получилось как бы так, что ему нечего скрывать от Левы: могут же два человека, увлекшись разговором, стоять именно так (в наш век нескованных и естественных движений), думать что-нибудь другое, мол, было бы глупо на Левином месте... Но Лева думал как раз то самое, и все силы уходили на то, чтобы этого никто не заметил. Но он ощущал, что ничего поделать с лицом не может...

«Может, выпьем? — предложила Фаина.— Позови свою соседку». «Да ну ее!» — сказал Лева. «Что же так? Нехорошо...» — сказала Фаина. Лева разбудил соседку, она встрепенулась и радостно согласилась. Леве пришлось ей сильно помочь встать с дивана. Выпили. Лева опять оживился, заговорил, все время испытывая неловкость оттого, что розовая соседка висела у него на руке, и неживо топорщил локоть, стараясь казаться отдельным от нее. «Смотри, ей совсем плохо,— сказала Фаина.— Проводи ее». Лева посмотрел на Фаину с ненавистью и повел соседку к дивану, но тот уже был занят: на нем целовались. Он посадил ее на кровать и хотел там и оставить, но

она не отпускала его руку. Лева, не способный все-таки на грубость, с тоской сел рядом. Соседка замычала и мягко и ласково приткнулась к нему, терлась головой о плечо. Лева совсем одеревенел. Фаина с Митишатьевым стояли там же, где он их оставил, спиной к Леве. Соседка вдруг застонала и начала мучиться. «Этого еще не хватало»,— с тоской подумал Лева, слегка отстранившись. Он увидел ее лицо, открывшийся пухлый рот — она была совсем ребенок. Мучительная, брезгливая жалость к ней подступила вдруг. «Ну пойдем, ну пойдем,— уговаривал он ее,— ну пойдем...» Он тащил ее и тут снова обнаружил, что Фаины с Митишатьевым нет в комнате.

Не было их и у сундука. Он тащил розовую соседку с совершенно белым уже лицом по темному коридору, затравленно озираясь по сторонам, словно мог увидеть Фаину в какой-нибудь щели. Ткнулся в ванную — она была заперта изнутри, из-под двери выбивался свет. Он почти втолкнул соседку в уборную, сам бросился на кухню — там их тоже не было. Снова бросился к ванной — там было по-прежнему заперто. Он даже наклонился, припал к полу, но ничего не увидел и не услышал. «Я схожу с ума»,— сказал он себе, поспешно вскакивая и отряхивая колени.

Он вернулся в комнату и бессмысленно озирался, снова ища Фаину как бы в щели. Ее не было. Он обнаружил лишь ее сумочку, приткнутую за настольную лампу. Он схватил почему-то сумочку и с нею выскочил в коридор. В дверях столкнулся с той парочкой, что целовалась на диване. Дверь в ванную была отворена, и там теперь никого не было. Он услышал тогда за спиной, как хлопнула дверь на лестницу. Некоторое время стоял в тяжелой рассеянности и ничего не соображал. Бросился на лестницу. Внизу были слышны голоса. Сбежал через три ступени вниз. Никого. И во дворе — никого. Ему вдруг показалось, что идет снег.

Он вернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал сумку — щелкал замком. Наконец заглянул внутрь: пудреница, огрызок карандаша, платочек... Завязан узелком. Развязал узелок и обнаружил кольцо. Вспомнил, как она тихо сняла его с пальца. Примерил. Оно не лезло ни на один палец. «Ну и что же, сама говорила, что оно стоит пятьсот рублей [6],— как-то сухо подумал он,— мы можем три раза сходить в ресторан,— прокрутилось в нем безучастно, как в арифмометре.— Что же я могу поделать, раз у меня нет денег...» И он сунул кольцо в карман. Завязал обратно узелок на платочке. Закрыл сумочку. Отнес ее и задвинул за настольную лампу. Отойдя, еще раз посмотрел — точь-в-точь. Уселся ждать странно спокойный.

«Разве так можно, Фаина? — говорил он мысленно, у него даже шевелились губы.— Разве так поступают люди? Даже если я не прав и зря тебя подозревал, разве можно так измываться надо мной? Ты — как вивисектор. Мне даже представить невозможно, что один человек может другому такое... Да еще любящему. Именно любящему — не Митишатьеву же? Что же ты, Фаина...»

Так он тихо уговаривал Фаину, и она появилась. Подскочила к нему. «Что с тобой, бедненький?» Лева молчал, пощупывая в кармане кольцо. «Мы гуляли. Знаешь, как хорошо на Неве!..» Лева молча поглаживал кольцо. «Ну что ты, глупый?.. Нельзя же быть таким глупым! Ты обиделся на меня? Но как же с тобой еще можно...» «Ну как же с тобой еще можно...» — повторил Лева. «Пошли

---

[6] Масштаб цен до реформы 1961 года Деньги тогда были другими, большего формата, но меньшего номинала. Так что когда Лева мучился насчет раздобыть пятьдесят рублей, то это не то, что пятьдесят рублей сейчас, а так — рублей пять нынешнему. А вот то, что пять рублей теперь ни для кого не серьезно, а пятьдесят тогда могло быть очень даже серьезно, этого уж совсем не объяснишь тому, кто этого не помнит,— в р е м я! (Вот секрет возраста, каждым человеком достигнутого: только вспомни все как было, как следует... даже на день вспять я не хотел бы вернуться!)

отсюда, пошли скорей! Как тут можно находиться! Так хорошо на улице... Светло уже». «А я думал почему-то, что снег пошел...» — сказал Лева. «Какой же снег в июле? Вот чудак!..»

И Фаина направилась к столу, извлекла свою сумочку из-за настольной лампы. Лева с непонятным удовлетворением проследил, как она это проделала. Что-то в нем расслабилось, и он вздохнул.

И они вышли все втроем.

На улице действительно было прекрасно.

Лева шел, все в нем слегка и высоко звенело, он не чувствовал своего тела и словно даже летел; что-то они говорили все втроем, и Леве казалось, что что-то все время несильно вспыхивает рядом — он даже поворачивал голову проследить эту вспышку, но там ничего не вспыхивало, а вспыхивало еще рядом, еще немного в стороне... Время от времени он с испугом ощупывал кольцо; оно же никуда не девалось, было на месте. Он вздыхал с облегчением, немножко гладил его, и вспыхивание становилось ярче. «Как Аладин...» — вдруг сказал он вслух. «Что — как Аладин?» — спросил Митишатьев. «Шпиль,— сказал Лева, поспешно выдернул из кармана руку и именно ею показал на знаменитый золоченый шпиль, что был через реку.— Его хочется потереть суконкой, и все тогда пройдет...» «Это, я тебе скажу, образ...» — сказал Митишатьев. «О чем вы?» — сказала Фаина.

Потом они долго прощались у дома Фаины, словно выжидая, кто первый пойдет домой, а кто останется. Лева молча и терпеливо ждал, разглядывая три выбитых кирпича (они как раз были на уровне его глаз), и наконец они расстались все сразу: Фаина вошла в свою парадную, они же с Митишатьевым пошли вместе.

Лева испытывал облегчение и радость, и это странное вспыхивание вокруг при каждом шаге еще усилилось. Они шли к трамвайной остановке, подозрения спадали с Левы, как душные одежды, и в сердцевинке, голенькой и чистенькой, окруженный лишь вспыхивающим белым светом, оставался Лева — ядрышко, зернышко!..— вдыхал всей грудью, слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды; у остановки уже совсем светлело, Митишатьеву еще два шага — и он дома; они дружески, открыто пожимали друг другу руки, и Лева вспрыгнул на подножку первого утреннего трамвая...

ФАТАЛИСТ (ФАИНА — продолжение)

— Вы нынче умрете! — сказал я ему.
Он быстро обернулся, но отвечал медленно и спокойно:
— Может быть да, может быть и нет...

«Герой нашего времени», 1839.

Он ожидал услышать с порога про кольцо, но Фаина была весела, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он немного подождет на лестнице, а она быстренько оденется, и они пойдут гулять. Он ждал.

И тут же появилась Фаина, и на ней не было лица. «Что с тобой?!» — воскликнул Лева, чувствуя, какой он бездарный актер. Через минуту он уже раскаивался в содеянном — никогда еще не видел он Фаину в таком неподдельном горе! Его любящее сердце обливалось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил, но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это свое признание... Фаина его прогонит сразу же, и никогда, никогда больше не увидит он ее! «Хорошо, ну не плачь же, я куплю тебе другое! — говорил он, как в сказке.— Не простое, а золотое... Может, не такое дорогое... Но это будет м о е кольцо. Тебе ведь до-

рого само кольцо, а не то, что оно от н е г о?..» — спрашивал он с испугом и надеждой, уже умиляясь возможному счастью: его кольцо — его тогда навсегда и Фаина. «Конечно же, само кольцо! При чем тут, что от него?..» — очень прямо сказала Фаина. «Ну тогда будет, будет тебе кольцо! — с восторгом сжимая ее суховатые руки, говорил Лева, почти плача.— Только не расстраивайся, только не плачь!» Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда, значит, ты купишь?» «Правда, правда»,— говорил Лева, чувствуя, что вместе с ней успокаивается и сам, и даже огорчаясь, что она так быстро успокоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое...— почти равнодушно уже думал он.— Раз уж так...» «Ты знаешь,— говорила Фаина,— можно купить кольцо сравнительно дешево... За двести, даже за сто пятьдесят рублей, если поискать... И тогда уж мы будем обвенчаны...» — сказала она, поцеловала его нежно, как она это умела.

Лева опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну что ж,— рассуждал он.— Продам это, куплю другое, дешевле, и у меня еще останется, и мы сможем раза два сходить в ресторан. Не два, а три,— опять сухо, как в арифмометре, прохрустнуло в его голове,— какая разница. А то, что я ей куплю кольцо, так это мне еще вознаградится,— так ужасно он думал.— Поймет наконец, как я ее люблю. Знает же, как трудно мне достать денег...»

В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал: «Пятьдесят рублей». «Нет, пятьсот!..— чуть не закричал Лева.— Нет, не может быть! Жулик, ну конечно, старый жулик!»

И он мчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица; она бросила кольцо на весы, такие точные весы («Ну конечно же, тот был жулик,— радостно подумал Лева,— даже не взвешивал!»); приемщица тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах,— у Левы все сжалось и замерло внутри. «Сорок девять рублей»,— наконец сказала она.

Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. «О господи! Медяшка!» — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну, но что-то вдруг, какая-то неясная мысль остановила его, он увидел, как с любопытством смотрит на него приемщица из своего окошка, зажал кольцо в кулаке, кулак засунул глубоко в карман и, резко повернувшись, быстро вышел.

Узкое, длинное, пустое небо проспекта уходило вдаль. Ни одна птица не пересекла эту полосу, сколько он ни смотрел. Именно почему-то — хоть бы птица пролетела... Понял Лева, что у него никого нет. Ни отца, ни друга... Почти счастье — такое горе!..

Именно это чувство привело его... ноги сами пришли... случайно его бесцельный путь пролегал мимо... и не заметил, как оказался в этом подъезде, на этой площадке... дернул на себя медную надраенную пуговицу... В глубине старинно звякнул колоколец. Дядя Митя открыл сразу, будто под дверью стоял, небритый, в шали, без зубов. «Не дам,— сказал он через цепочку.— В долг — не дам».

Лева еще походил по магазинам, просто так, чтобы время шло,— приглядывался к кольцам: разбить витрину, попросить показать, вырвать... и — бежать, бежать! Он успевал прежде, чем они спохватывались... Сердце его стучало над прилавком. Кольца все были очень дорогие, даже за двести-то не было. А откуда же у него хотя бы и двести? А кольца действительно в основном стоили пятьсот и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала... Вдруг неотчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил, как-то вывернулась в его мозгу и стала такой ясной, что Лева чуть не подпрыгнул, во всяком случае воскликнул нечто невнятное, вроде: «О-ля-ля!» Какая-то злость и даже торжество шевельнулись в нем...

Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что он не мог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую должен снимать с ее суховатого пальца... а прямо приступил к делу, уже не заботясь о том, чтобы все было правдоподобно. Он все еще ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость.

«Дай мне свою руку»,— сказал он Фаине. Фаина несколько удивилась непривычному его тону, но, как-то сразу подчинившись, руку дала. «Закрой глаза»,— приказал он. «Ой, миленький! — вдруг догадалась Фаина.— Неужели!..— И она бросилась ему на шею.— Но как же ты смог?..» «Закрой глаза,— повторил он,— и не смей открывать, пока я не скажу». «Хорошо»,— покорно согласилась она. «На каком пальце ты его носишь?» — спросил Лева, вдруг сообразив, что этого-то он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо наделось легко, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать»,— сказал Лева.

Он все еще держал ее руку в своих так, что кольцо не было видно. «Ой, Лева, в самый раз!» — восклицала Фаина, блаженно пошевеливая в его руке пальцем. Никогда Лева не видел у Фаины такого самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцеловать его и попала как-то неловко, мимо, не то в нос, не то в глаз, не то в лоб. Лева почти ненавидел ее.

«В самый раз! — воскликнула она, и Лева отнял руку.— Как ты сумел...» Фаина осеклась, вглядываясь в кольцо. Такого лица, пожалуй, Лева тоже никогда у Фаины не видел... Огромное расстояние пролегало между первым и вторым лицом — оно было преодолено мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему. «Где ты достал это кольцо?» — спросила Фаина другим голосом. «Купил»,— спокойно сказал Лева. «Где?» «С рук»,— сказал Лева. «Это мое кольцо»,— сказала Фаина. «Не может быть»,— сказал Лева, леденея от неизвестного ему удовлетворения. «Мое. Я знаю свое кольцо»,— сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица. «Неужели ей так больно узнать, что это сделал я?» — почти удивился Лева. Словно у нее ускользнула почва из-под ног и она уже пошатнулась упасть — такое было у нее лицо.

«Оно не может быть твое. Сколько стоило твое?» — спросил Лева. «Пятьсот»,— механически, тускло отвечала Фаина. «А это я купил за сто,— сказал Лева,— и то переплатил вдвое. Я потом оценил его — оно стоит на самом деле пятьдесят». Фаина молчала. «Не веришь — пойдем проверим»,— уже пережимал в своем торжестве Лева.

«Я не хочу,— сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось.— Я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лева чуть растерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-то носил?» «Это сразу видно». Лева растерялся еще больше. «Ты бы сама походила по магазинам — увидела бы, что дешевых колец вовсе нет. Откуда бы я взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся». «Все равно я не буду носить чужое кольцо! — настойчиво, еще более оживая и воодушевляясь, сказала Фаина.— Новое я бы надела, потому что это было бы т в о е кольцо, от тебя... а это — нет».

И Фаина стянула кольцо с пальца и протянула Леве, отсутствующе на него глядя. Лева потупился, цепенел, с силой сжимал кольцо, словно желал раздавить его... И опять что-то спасительно вспыхнуло в его мозгу, он не успел даже четко понять что. «Ах так! — вдруг вскричал Лева.— Ну так мне оно тоже не нужно. Никому оно не нужно!..» И он размахнулся с неестественной силой и подбежал к окну. Рука его уже летела в замахе, и он все сильнее сжимал кольцо, чувствуя, что никогда не сможет действительно его выбросить... Вдруг он ощутил, как Фаина вцепилась в его руку, обернулся, взглянул высокомерно: что, мол, еще такое? Так он обернулся, все еще замирая от сладчайшей ненависти, столь заполнившей простран-

ство горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству, с колечком в занесенной руке... «Не надо,— сказала Фаина,— отдай его мне...» — сказала она тихо и покорно. И Лева подавил облегченный вздох.

Много позже, когда все, так сказать, быльем поросло, Лева взглянул однажды на ее кольцо (Фаина теперь никогда не снимала его) — и вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскресло и ощущение того вечера с Митишатьевым и всех последовавших дней... Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как бывает иногда от забытого запаха или музыки. (Они ехали в стареньком трамвайчике, на последней площадке, по окраинному пустырю, и, перед тем как вдруг увидеть кольцо, Лева долго смотрел на рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь...)

Лева вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил (а они никогда с тех самых пор обоюдно не заводили разговора об истории с кольцом, а тут он спросил): «Слушай, Фаина, сколько стоило твое бывшее кольцо? Скажи правду...»

Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула. «Почему бывшее? Всегда это и было. Оно стоит пятьсот рублей».

«Нет, оно стоит пятьдесят»,— настойчиво сказал Лева.

«Ну да,— сказала она,— в новом масштабе цен оно стоит пятьдесят».

(Примечательно, что после истории с кольцом у них был, пожалуй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «В настоящем-то смысле все науки — естественные,— подумал по этому поводу Лева,— и филология...» И, возможно, именно тогда отправился на поклон к деду. Впрочем, не придавая этому шагу столь уж большого значения...)

АЛЬБИНА

> — Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы...— не правда ли,— прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение...
>
> *«Герой нашего времени», 1839.*

Во всех выяснениях отношений, особенно если они давно уже выясняются и обрели свою периодичность, овой ритуал и ритм, как бы сложны и разработанны ни были надстройки обвинений и доводов, участников интересует в принципе один вопрос: кто начал первый?

И положа руку на сердце, на которое он в эти моменты ее сценически клал, трясясь от отчаяния, Лева, что совершенно естественно, был убежден, что — Фаина и только Фаина, что он — даже вот на столечко!.. а она... Да что тут говорить, вопиющую несправедливость ее упорства мог снести только Лева, любой бы другой на его месте... ну ладно, не он первый, не он последний, сам факт еще можно пережить...— говорил он, но вот эта стена лжи, о которую он бьется, она-то за что?! это же сойти с ума! именно, она хочет свести его с ума... Ведь что такое «правда», Фаина? Правда — это хирургия, операция: ты лишаешься чего-то, но и выздоравливаешь... Все еще будет хорошо у нас... но для того, чтобы оставить прошлое в прошлом, надо там оставить все. Понимаешь, все!.. О господи! Он-то выдержит, он все ради нее выдержит... но — сердце!

Это действительно подлежит удивлению, как выдерживает наше бедное сердце! Оно — выдерживает. Всякий раз.

Но если бы он действительно положил руку на сердце, вернее, если бы он мог положить сердце на руку, то там, на дне его, в еле угадываемой сосудистой перспективе, таилось что-то такое маленькое, неразличимое, самое страшное, на что бы он никогда не согласился, в чем бы он не сознался ни под какой пыткой, будто здание его неопровержимой правоты, возводимое в лесах логики по типовому проекту ссоры, было единственной его недвижимостью, обеспечивающей какое ни на есть продолжение их жизни... одна спасительная опора — была его правота, единственный берег в океане ее предательства... Но там, на донышке, которое он не приближал и не разглядывал, потому что уже знал, что́ там,— там он не знал, кто́ же первый. Конечно, Фаина — та была действительно глубоко грешна, а он — так, пустяково, неблагодарно, не в счет, но все-таки... если помнить об этой ерунде, позиция его начинала зыбиться и заваливаться...

Несомненно, Лева любил Фаину. Даже если поставить под сомнение «истинность» его чувства, то хоть и в «неистинном» — он любил ее всегда. Даже тогда, когда ее в помине не было (еще в школе он дружил с Митишатьевым...). Но однажды (пусть это звучит, как в сказке) и Фаина любила Леву. Не то чтобы любила, но так, в общем, сложилось или получилось. Возможно, это тот самый мирный период, которым завершилась история с кольцом.. Вернее, просто некий промежуточный был период у Фаины, может, и не любовь — просто ничего другого не было, так что Лева, прекрасно это чувствуя (все мы прекрасно это чувствуем), был спокоен и мысли о том, что любая уверенность оплачивается у него последующей неуверенностью, куда более мощной, не допускал, как и всякий живущий. Тут и вся разница: одни получают уверенность как бы в награду за предыдущую неуверенность, другие получают неуверенность в наказание за предыдущую уверенность. Впрочем, все это неразделимо и едва ли различимо и все это вместе. Короче, Лева был спокоен, но, как это ни странно (быть может, одному Леве это и странно), того ровного и бесконечного счастья, какое могло бы тут померещиться, вовсе не произошло, а возникла просто некая пустота, приправленная некоторой сытостью и самодовольством, которые, возможно, и не суть, а лишь форма той же свойственной людям Левиного типа растерянности, когда неизвестно, как тут быть. А им всегда это неизвестно, только иногда это страдание, а иногда — сытость. Лева очутился перед возникшей перед ним пустотой удовлетворения и — то ли был растерян, то ли сыт.

Тут и появляется Альбина как возможность. Хотя Альбина, с точки зрения Левы, никогда бы не уязвила Фаину, измена с ней ровным бы счетом ничего не значила и никакого равновесия установить не могла. Если Лева и обращал иной раз внимание на женщин, то только как бы с точки зрения Фаины, только на тех, кого Фаина могла бы счесть своими соперницами (так мы усваиваем вкусы противника и начинаем насвистывать «Розамунду»).

Однако именно Альбина. Она была бедная девушка, и Лева очень стыдился своего долга (которого так никогда и не отдал). Они встретились снова на дне рождения дяди Мити. Лева был удивлен, увидев у дяди Мити Альбину. (Приглашая его, Диккенс сказал: «Только без своей бабенки»,— он не любил Фаину, и только ему Лева прощал это.) И еще был удивлен Лева, отметив особую предупредительность и галантность Диккенса в разговоре «с этой молью». Это-то и заставило Леву обратить на нее некоторое внимание. К тому же он подналег на «митинку», в жилах его загудел ржавый чифирок. Дядя Митя, продолжая любоваться своей гостьей, достал даже какую-то репродукцию Гирландайо и всех приглашал отметить сходство. Тут-то Лева и имел неосторожность пожать под столом руку

бледной Альбины. Некоторое время он мял ее нежную ручку, и она не отбирала.

Лева и думать наутро об Альбине забыл — только голова трещала. А она не забыла. Она звонила ему без конца. Лева, к стыду своему, вспоминал, как жал ее руку и договаривался о встрече. Она звонила об этой самой встрече. И голос в трубке был такой, что и отказать он не мог, ни тем более согласиться. Он очень ругал себя за это. Он вспоминал дядю Диккенса — вот это мужчина! это джентльмен... этот бы никогда не постеснялся за ближнего. Как он вчера был предупредителен с нею!.. Но даже пример дяди Диккенса не вдохновлял его.

(Пора признаться себе: нам очень хочется, чтобы именно в этой части впервые объявился дядя Диккенс! Как вариант деда, вместо деда он бы очень подошел и очень украсил (на роль лермонтовского Максим Максимыча...). Тем более именно его воспринял Лева в красках юности и таким запомнил... Но — поздно. Мы истратили дядю Митю в первой части, другого такого у нас нет. И все-таки он необходим именно в той части, чтобы уравновесить некрасоту деда. Он там «нужнее» (как бы он отнесся сейчас к этому словечку!..). Он ведь всегда там, где кому-нибудь нужнее (чем ему): Леве, стране, мне... Он всегда и покорно там — с бедной гордостью на лице.)

В общем, Лева не хотел идти на это свидание. То ли застенчивость Левина (раздельное обучение), то ли Фаинины вкусы (что скорее) невольно выражались в этом внутреннем хамстве, но, во всяком случае, ничего он поделать с собой в этом отношении не мог: не столько останавливало его то, что свидание это ему было нисколько не нужно, сколько необходимость встретиться и быть вместе с Альбиной на людях. Хотя она отнюдь не была некрасива. Было в ней что-то... И еще что-то, как говорится, хорошее и чистое: врать она не могла, к примеру,— но вот Леве в высшей степени были безразличны эти ее столь редкие достоинства, в том числе и ее внезапная преданность, столь вроде бы ничего не требующая от него... Но было, тут Леву можно понять, в ее отнюдь не безобразном лице нечто выдававшее подвластность тому же механизму, к которому столь страдательно до сих пор был причастен сам Лева. Она была как Лева — вот в чем дело. Только Лева был уже не тот... И он пошел наконец на это свидание.

Была кромешная, слякотная, с ветром погода — выбрал же! — они сразу свернули из центра на безлюдные боковые старые улочки, темные почти совсем. Это Лева свернул, сказав так, что не переносит толпу, что ему просто дурно делается. Он в данном случае и не врал: ему действительно почти делалось дурно от кажущегося внимания толпы к нему с Альбиной. (Может, это был все-таки страх встретить случайно Фаину?.. Хотя Лева и верил математике: вероятность этой встречи в большом городе так мала... Но и эта вероятность могла его испугать.)

Они свернули в эти улочки, здесь Леве было холодно, но хотя бы темно и людей не было. А она ему в рот смотрела, что бы он ни говорил. Говорил, что толпы не выносит,— так и принимала, соглашалась охотно. Она все как бы ждала (это Лева прекрасно чувствовал), чтобы он напомнил о том вечере, что все это не просто так, что он жал ей руку, а раз не просто, то чтобы пожал еще раз и чтобы дальше все пошло, развиваясь. Но Лева старался не замечать этого молчаливого требования, говорил какую-то скуку о своей работе запальчивым голосом: как бы его сегодня очень разозлили и у него все с ума не идет. Он как бы не замечал, как она снова и снова протягивала ему свою мольбу (хотя только ее и видел), ему было очень нехорошо, стыдно, неловко — никогда он себя таким мерзавцем не чувствовал, что вот не в силах ответить на чувство столь абсолютное...

Альбина же все равно ему в рот смотрела, хотя и не слышала ничего. Только вот у нее все шнурки развязывались. Она краснела, жалобно просила прощения и начинала их завязывать: от желания проделать все поскорее принимала такую неловкую позу, что завязывать их и вовсе становилось невозможно. Лева же стоял над ней, суетливо торопящейся, ничего не могущей поделать со стынущими на этом ветру руками, молчал, злой дебил...— да и что он мог сказать, весь искореженный стыдом за ближнего и стыдом за этот стыд! И не дай бог проходил прохожий, одинокий в этом пустом переулке, оттого непременно было ему необходимо оглянуться и посмотреть с любопытством...

Альбина распрямлялась наконец.

Они шли немного дальше, шнурки ее снова развязывались, и снова все повторялось — она стояла скрюченная на ветру, без конца теряя равновесие, суетливо от поспешности путаясь в шнурках и от отчаяния уже, по-видимому, вовсе забывая, как она это всю жизнь проделывала: левую петлю на правую, правую на левую?

А погода была — ужас что за погода! Альбина в пальтишке своем уже ходила крупной дрожью и тоже ничего не могла с этим поделать, как и со шнурками. А Лева был почти счастлив, что погода именно такая, что она как бы кладет естественный предел, и он стал уговаривать ее: она так продрогла, еще заболеет, так не повезло им сегодня, лучше в следующий раз, когда погода будет не такая, непременно в следующий раз, обещал Лева. Альбина же говорила, что сама не понимает, почему дрожит, потому что ей тепло. Это у вас, наверно, жар уже, лихорадка, говорил Лева, и как жаль, что все так вышло...

В общем, с помощью погоды все еще как-то обошлось сравнительно недолго, и Лева, собрав последнее мужество и терпение — довести ее до дому,— лишь только хлопнула за ней дверь парадной, уже летел как из пращи, ощущая легкость необыкновенную, чуть ли не счастье даже, хотя бы и постыдное. Он так быстро вылетел за поворот, что Альбина, тут же отворившая снова дверь парадной, чтобы что-то у Левы еще спросить или выяснить, никого уже не увидела на этой пустой улице, лишь ветер залепил ей лицо мокрым, тяжелым снегом...

А Лева летел назад, к Фаине, пел даже от радости и клялся себе, божился, что никогда больше на такую жуткую штуку не попадется: кому же приятно ощущать себя скотом?

Однако, вернувшись, он не застал Фаины. Он ждал ее, ждал — она же куда-то делась, неизвестно куда, не оставив даже записки, не предупредив. Собиралась же весь вечер быть дома... И не звонила даже. Впрочем, был уже час ночи, объяснял он себе, и она боялась разбудить соседей...

Лева не спал ночь. Так вот — возмездие! Фаина появилась даже не рано утром, а в первой половине дня. Какая-то фантастическая история тут же с порога была предложена дрожащему холодной дрожью Леве вместе с поцелуем в лоб (для чего Фаине пришлось сильно привстать на цыпочки, потому что Лева, стараясь быть каменным, холодным, невозмутимым, головы не нагнул; впрочем, Фаину такой его вид никогда не пронимал).

История была о том, как в Левино отсутствие совершенно внезапно пришел ее старинный приятель и предложил покататься: машина ждет внизу... (Она же знала, сказала Фаина, что Лева сам пошел на свидание, хоть он и старался скрыть, но он же все равно этого не умеет, пусть и не пытается никогда, так она и решила, что почему бы и ей тоже не...) В общем, они поехали за город... нет, они не были вдвоем, был еще приятель приятеля, тоже доцент, он-то и вел машину, потому что ее приятель еще не получил прав... Такая красота! — тут все тает, а там елки в снегу, настоящая зима. Они

приехали на дачу, нет, не ее приятеля, а приятеля приятеля, тоже доцента, там поужинали... ну да, выпили немного, она почти не пила... сейчас, погоди, тут-то все и начинается... приятель приятеля, тот, который должен был вести машину, вдруг напился, совершенно напился, и они не могли выехать... что же они делали всю ночь? играли в карты, в кинга... можешь мне поверить, никогда такой тоски не было... да, играли... ты что думаешь, я не знаю, что в кинга вдвоем не играют? втроем играли... ну и что ж, что пьян, играть-то он мог... да и не в этом дело — бензин кончился, да и не в этом дело — машина сломалась, ах, отстань, пожалуйста, не приставай!..

Лева обнаружил на руках, груди, шее такие следы, что — какой там шофер! Фаина еще слегка попуталась, поплавала, но и Лева был ловок ловить в этой мелкой воде. С его обостренной логикой насчет Фаины он быстро припер ее к стенке, и она с неожиданной, мучительной легкостью созналась во всем. И, сознавшись, к Левиному несчастью, уже ничего не врала. У Левы мигом выскочили рога, причем если бы она хоть соврала с кем, а то с лучшим другом Митишатьевым, и чуть ли не сам Лева виноват: откуда она знает, зачем Лева пошел на свидание? да, если хочешь знать, из ревности... Господи, во что обошлось Леве его свидание!

А потом началось, поехало: сколько раз да раздевались ли?.. Конечно, это был не Митишатьев... Ах, какая тебе разница, кто он... не все ли равно! Ну один раз, и не раздевались вовсе. Так он и поверил, ха! Ну уж и разделись! да, догола, а что же терять было уже? Ну и пусть Митишатьев... Пьяна была, вот и вышло так. Ах, отстань! Истинно он про тебя сказал: ...страдалец! Да нет же, не он... Сам сволочь!

Оставим их.

Лева удалился на дачу отца пестовать свое горе. Фаине, в общем сильно его жалевшей, сказал, что не может никого видеть и хочет остаться один. Отцу — что надо срочно завершить одну работу. Сам же пребывал там в жутком слюнтяйстве и маразме, раскладывал без конца какой-то тупой пасьянс, единственный какой знал, и пил. Тут и навестила его Альбина. Ей сказали по телефону адрес (Фаина, что ли?)... да, женский голос.

Альбина привезла ему какие-то дурацкие пастилки в шоколаде и бутылку кислого вина. Лева холодно и тупо погасил свет и, странно ничего не чувствуя, ничего, кроме власти, именно о в л а д е л Альбиной. Будто разглядывал себя сверху, будто висел под потолком и мстительно наблюдал механический ритм покинутого им тела... И лишь повторял на жаркие ее расспросы, полагая в этом некую свою честность, что нет, он не может врать, он ее не любит, то есть любит как человека и очень хорошо относится, но — не любит.

Утром Альбина заспешила на работу, робко пытаясь разбудить его: у него сна ни в одном глазу не было, но он мычал как бы не в силах проснуться и глаз не разлеплял. Она, из нежности, не стала будить его, раз он так крепко спит. Нацарапала какие-то свои теплые и жалкие слова на коробке от пастилок и, в последний раз погладив его дрожащей рукой и пролепетав что-то вроде «ласточка моя», отчего Лева покраснел безумно, хотя уже и храпел для убедительности, ушла наконец.

Лева сел на кровати и завыл. Это именно то слово, без всякого преувеличения. Выл он долго: сначала от души, потом с удивлением к собственному вытью прислушиваясь, потом уж вовсе просто так, от отупения. «Вот тебе и пастилка! Ну и сволочь,— сказал он себе равнодушно.— Что ж такого?» Быстро собрался он и с дачи съехал. В пустой электричке выпил маленькую и проспал всю дорогу.

Он знал, что сделал это после Фаины. Да и разве мог он считать свою измену изменой?.. Но и ее было достаточно, чтобы все сдвига-

лось, колебалось. Он теперь не был абсолютно чист: хотя бы — поперся ведь на это свидание?.. И как бы это теперь ни объяснялось, абсолютной правоты уже не выходило — все это было как бы несущественно для следствия... и тогда открывалось второе донышко, а там, в глубине глубины, что еще могло таиться? Там таилось настоящее головокружение: Лева не был теперь уверен и в этой последовательности. В этот раз — да, он пошел на свидание, которое заведомо не могло привести к измене. Но вот почему же он все-таки на него пошел?.. Был, кажется, все-таки был, один незамеченный, вернее не отмеченный им, эпизод, почему Альбина и могла для себя остаться в недоумении и проявлять свою настойчивость. Он, конечно, не мог считать (тем более!) тот растаявший факт фактом. Он списывал и этот факт, но там уже воспалялось другое забытое, и это была снова Фаина: неужели уже тогда?! Он ведь так и не знал, куда она еще и в тот и в тот раз пропадала, к какой подруге ездила на дачу?..

«Да что ты говоришь! что говоришь!..— восклицала в этом погружении темы Фаина.— Да в самый первый вечер, когда мы познакомились, тебе нравилась другая! Будто не помнишь?.. Стелла...» «Какая еще Стелла!..» — взревел Лева. «Голубенькая такая...— И Фаина так ловко ее передразнила, что Лева не мог не усмехнуться, не вспомнить.— Ты же тогда к ней к первой полез!» «Ну уж...» — опешил Лева, польщенный ее ревностью, и Фаина снова была — родной.

«Так что вот так вот,— думал Лева.— Вплоть до Евы (и Ева изменила Адаму до того, как стала его женой), до первородного греха... Дрожит, как элементарная частица, все дробясь и не уничтожаясь... Есть ряд АБ, АБ, АБ, АБ... Измена А, следом измена Б, измена следом опять А, опять Б — такая цепочка... раз начавшись, тянется. Опустим первое А, и получится: БА, БА, БА... Какая разница, если ряд в бесконечность уходит?» Так математично рассуждал филолог Лева Одоевцев, тяготея к естествознанию.

(Продолжение следует)

ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВ

★

СКАЖИ, ЧТО ЗНАЕШЬ

***

Невропатолог, сидящий во ВТЭКе,
Что ты узнал о другом человеке?
Вот он с культей на кушетке сидит,
Что-то бормочет и горлом свистит.
Плачет и просит машину для сына,
Но говорит, для себя, мол, машина.
Мол, инвалида, милок, пожалей,
Ноги не держат царицу полей.
Пензии мало — всего ничего...

Нету свидетельств ранений его.

Где он, тот госпиталь, тот медсанбат?
В чадном огне документы горят.
Где вы, палаты, шприцы, доктора?
Спит вечным сном фронтовая сестра.

Не понимает, не слышит старик...
Нет документов?! Осекся, поник.

Горько вздыхает. Войну прошагал,
Смерти касался — бумаг не собрал.
Мелко трясется он веткой сухой,
Жалко глаза прикрывает рукой.

Смотрят глаза полумертвые эти
В стылую ночь в полевом лазарете,
В прошлое, в прошлое, в красный туман
Рваных, сквозных и осколочных ран.

В неоновом свете

1

Скажут: молчи, что ты знаешь о жизни и смерти?
Их откровения — зрелости мудрой удел.
Но это я при дрожащем неоновом свете
в морге холодном в застывшие лица глядел.

И черпачок опрокидывал с кровью остывшей
над нумерованным цинковым звонким ведром.
Пред восковой трепетал, все навеки забывшей
плотью, безропотной в мертвом обличье своем.

Мне повезло еще... Я задубевших портянок
не перематывал, в зимних окопах не мерз
и, отупело-бессонный, не лез спозаранок
на пулемет под холодными взглядами звезд.

Мне не в привычку труды погребального взвода,
тихий фонарик, блужданье понурых трудяг...
Как обезличена жизни и смерти работа!
Будничность поиска, ржавых лопат перезвяк.

Я еще в силах почувствовать весь этот ужас,
злость и обиду за жалкую цену свою.
Я-то могу, но другим уже выпала участь
сгинуть, исчезнуть в шинельном, железном строю.

...Есть представленье о неком естественном сроке.
Там, на краю увяданья рассудка и сил,
слепнет душа и сама будто сходит с дороги,
чтоб развязать узелки склеротических жил.

Но неизменно в дневном и полуночном свете,
видимый для посвященных и пристальных глаз,
тянет сквозной холодок преждевременной смерти,
то обтекает, то скрыто касается нас.

2

Уйдет экскурсия. Кудрявый лаборант,
спустясь в прозекторскую, прерванное дело
продолжит. Редкий и полезный свой талант
он совершенствует здесь твердо и умело.

Часы старинные пробьют урочный час.
На полку новых экспонатов встанет банка.
И чай грузинский в кабинетике, светясь,
ему опять заварит Света-практикантка.

Средь мумий горестных, безгубых и немых,
лишенных прошлого, лишенных справедливой
и полной смерти, как веселой среди них,
и обаятельной быть можно, и счастливой?

А вы спросите через девять-десять лет,
с чем счастье связано, в кругу каких предметов
была ты счастлива?..
И жалкий мир скелетов
воплывет нечаянно... —
когда другого нет.

В века ль железные, в разворошенный ад,
в скупые ль сумерки истории бесстрастной
она простой войдет, забывчивой, прекрасной...
Ее полюбят там, не только что простят.

Мальчик минувшего века

Какая тишина обволокла весь дом!
Морозы поднялись в январский полный рост.
Блистает серп луны и россыпь ярких звезд —
зияют небеса за инистым окном.

Сон. Глухозимье. Глушь. Полночный мертвый час.
Искрятся лед и снег. Дрожащим языком
лампадка лижет мрак у божьих карих глаз,
оклады в темноте мерцают серебром.

Пробило полночь. Вдруг как будто домовой
подростка подтолкнул, шмыгнувши из угла.
Открыл Кузьма глаза, от страха сам не свой:
— Ой, бабушка у нас намедни ж померла!

И кажется Кузьме — весь мир оцепенел
и вымерз. Только печь под боком горяча.
А луч луны в окне потусторонне бел.
Какой-то мотылек кружит внутри луча.

Печально и светло на самом дне зимы.
Чу! Будто кто-то — звяк! — кольцом двери входной
и словно дверь толкнул средь полной тишины...
— Не бабушки ль душа прощается со мной?

А если я умру, увидимся мы с ней?
Ох, жутко-то!..
Кузьму сверлит с киота взгляд.
Колеблет ветер цепь рождений и смертей.
Звено вослед звену струится наугад.

Безмолвная страна лежит в плену снегов.
Сдавила ей гортань суровая зима...
Не то во тьму судеб и мглу ее веков,
не то в глубокий сон срывается Кузьма.

Бабочки на сирени

В нежно-лиловой гуще северной сирени
Два невесомых совершенства светотени,
Две крупных бабочки, кружась и замирая,
Мерцают царственно, как две жилицы рая.

Полет порывистый, сомнения, опаска.
Чудесных крылышек тигровая окраска.
Когда-то с праздничной рассеянностью женщин
Порхали стайками они. Но их все меньше.

Как бы приснившись, появилась вскоре третья,
Еще изысканней. Из прошлого ль столетья
Сюда вас чудом донесло над жуткой бездной?
К чему был путь такой далекий, бесполезный?

Зачем, забытых, вас пронес угрюмый ветер
Над лагерями унижения и смерти?
Зачем, исполненные неги и печали,
Вы над пространствами баталий пролетали?

Вы души умерших, вам пели аониды?
Боюсь, не вынести вам нынешней обиды.
Инсектицидные луга, леса стальные,
Озера ржавые и реки нефтяные...

Щитом космическим блестит впотьмах планета.
Всего три бабочки с того пробились света...
С кругов наивного, таинственного рая
Летит еще одна редеющая стая.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

★

НИКАКИХ ПОДОБИЙ

Карусель

Я иду
и вокруг меня
кружатся солнце и ветер деревья певчая птица жених и
невеста дым из трубы собака случайный прохожий плеяды
физик с фиалкой парусник с экипажем озеро и камыш

если я в дороге присяду
на придорожный камень
отяжелеет солнце смутится ветер деревья уронят тени
замолкнет певчая птица жених и невеста поженятся станет
чадом дым собака залает на прохожего заплачут плеяды
физик забудет фиалку парусник понесет зыбь озера зарастет
камышом
мне будет очень трудно подняться

а если я лягу в траву
уйдут под землю
солнце и ветер деревья и птицы чей-то муж и чья-то жена
дым и собака прохожий плеяды физик фиалка парусник с
экипажем озеро с камышом
тогда
я уже больше не встану

***

Ужасны подобия человека
болванки голов
для напяливания шляп
торсы для пиджаков
муляжи мышечной
нервной системы
надувные подруги
мишени
скелеты
бюсты
борцовские чучела
куклы огромных размеров
памятники
любое
подобие человека
говорит о смерти
болезни
бойне
говорит о том
что у человека
не может быть
никаких
подобий

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

★

РАССКАЗЫ

Представляя в 1976 году читателям «Нового мира» (№ 4) молодого прозаика Евгения Попова, Василий Шукшин писал, что едва ли не самое трудное в профессии рассказчика — понять, нужен ли ты сейчас со своей историей. «Я прочитал рассказы Евгения Попова и почувствовал, что мне, например, они были нужны,— продолжал В. Шукшин.— Рассказы состоялись». И пытаясь объяснить читателю — почему, В. Шукшин отмечал, что рассказы Е. Попова в основном «про Сибирь», то есть про ту огромную прекрасную, суровую, но и наименее устроенную пока часть России, где, чего же скрывать, жить пока труднее, а Евгению Попову как раз и удается в своих рассказах ухватывать то «трудноуловимое состояние людей, когда они еще в поисках лучшего места, в нешуточной борьбе за человеческую жизнь и еще должны только породить исторически стойкое потомство. Тут,— писал В. Шукшин,— писателю-рассказчику (каковым, на мой взгляд, является Евгений Попов) непочатый край работы. Но работы очень нелегкой, неблагодарной. Нелегкой — потому что легко сбиться на экзотичность, на исключительную ситуацию, на сочинительство. Неблагодарной — потому что это же про неустроенность. Про людей неустроенных, «невезучих», про людей с трудной судьбой не любят читать и слушать...».

Журнальное предисловие заканчивалось так: «От души, с радостью и надеждой желаю молодому писателю выносливости и успеха. И хоть немного — удачи». Но в исходном авторском тексте В. Шукшина за этими словами следовало поясняющее: «Литературная судьба его, наверное, не будет легкой».

Предвидение В. Шукшина сбылось. Имя Евгения Попова исчезло со страниц наших журналов почти на десять долгих лет.

Но, к счастью, бывает и так (хотя и не столь уж часто), что нелегкая судьба не губит, а лишь закаляет талант, и редакцию «Нового мира» не может не радовать, что сегодня она предоставляет страницы журнала для нового знакомства наших читателей с творчеством Евгения Попова — как бы для его второго новомирского дебюта. А в частности — и для публикации рассказа «Обстоятельства смерти Андрея Степановича», который в свое время особенно нравился В. Шукшину и о котором в полном, не урезанном тексте своего напутствия он писал, говоря о том, как точен Евгений Попов в диалоге и как «по-хорошему скуп в выявлении искреннего чувства героев» — «рванулось неподдельное горе в биче Парамоте... и Парамот стал смотреть на него (на гроб с телом друга), и «в глазах у него, все увеличиваясь, и больше и крупнее стала отражаться желтая луна». Заплакал человек, и у меня горло сжалось. И — вся правда про человека. На мой взгляд, это лучший рассказ»...

С тех пор много времени прошло, а Евгений Попов не останавливался в своем творческом развитии, и трудно сказать, сохранил ли и сегодня рассказ «Обстоятельства смерти Андрея Степановича» свое былое первенство. Но читатель сможет судить об этом сам в какой-то мере уже и на основе настоящей публикации. Готовя ее к печати, мы решили не ограничиваться, как это обычно делается, двумя-тремя отдельно выбранными рассказами, а познакомить читателя с достаточно представительной их подборкой, составив ее так, чтобы он смог получить о Евгении Попове-рассказчике более или менее цельное представление — и о его темах, и о вехах его внутреннего духовного пути, и о сегодняшней общественной и эстетической ориентации, и о диапазоне возможностей его писательской манеры, о разных гранях его художнического таланта.

Электронный баян

«Дома-то щас как будет непременно хорошо! Катька повареш-кой в борще зашурудит. А борщ тот красный, как знамя. Что ж она, лапушка, на второе-то приготовит? Если курочку... или баранинки потушила... с капусткой свежей... картошечки туда, помидорчиков — замечательно! Ну, а коли просто яишню сжарила с колбасой — тоже красиво. Господи! За что мне счастье-то такое, простому человеку? Витяха в колени сунется: «Папка! Папка! Давай будем «Конструктор» собирать, луноход на Луну пустим!» Смышленый растет, чертенок, а не избаловался бы на всем обилии. Мы-то в его годы чрезвычайно не так жили. Вечно не жрамши... или хлеба там какого с солью подшамаешь... Господи! И за что мне счастье-то такое? Одному, все одному мне, простому человеку!..»

Так радовался направлявшийся домой после напряженного трудового дня честный человек и хороший специалист среднего звена Пальчиков Петр Матвеевич, тридцати восьми лет, семейный, как видите.

А дом его, равно как и десятков других семей рабочих и служащих, расположился, глубоко вписавшись в подножие отрогов Саянских на правом берегу реки Е., довольно далеко от центра, а стало быть, и от места работы Петра Матвеевича, откуда он добирался и трамваем и автобусом.

Вот только и было одно неудобство, что транспорт этот. А так, согласно всем требованиям нынешней планировки и градостроения, имелось у них в микрорайоне решительно все, что нужно современному человеку для жизни полнокровной, интересной, насыщенной в любом отношении.

Судите сами: помимо ванн в домах всегда парила на морозе прекрасная большая баня с прачечной и приемным пунктом химчистки, про магазины «Трикотаж», «Булочная-кондитерская», «Бакалея — гастрономия», «Рыба» и говорить смешно — тут они, под носом. Неподалеку же — колхозный аккуратный рынок с умеренными ценами, для игрищ и забав — клуб завода резинотехнических изделий, функционировал даже и пивной бар в микрорайоне, а к услугам любителей имелась настоящая музыкальная школа. Да в таком микрорайоне тыщу лет живи и все помирать не захочешь!

Ну, в пивной бар Петр Матвеевич заходить, естественно, не стал. Там грязно, накурено, кричат. Нечистая буфетчица с опухшей рожей нехорошо шутит. Пьянь какая-нибудь пристанет, вымаливая двадцать копеек. И ко всему прочему не уважал Петр Матвеевич пиво, хотя и был наслышан о его волшебных свойствах. Что, дескать, оно и того, и сего... бодрит, стимулятор. В сон его и дрему тянуло с пива, а Петр Матвеевич всегда хотел жить, а не спать. Вот он и прихватил в магазине четвертинку. Шел, прихрустывая ледком, по смеркающимся улицам, где в домах уже зажигались желтые огни, и синие горы уже темнели, и небо уже сливалось с ними.

Шел привычной дорожкой, но ее всю страшно разбили ногами, и грязь, несмотря на ледок, кое-где еще не схватилась.

Петр Матвеевич влез раз, влез другой, ругнулся и решил идти по территории музыкальной школы. Там сразу же от штакетника начиналась асфальтовая дорожка и у противоположного штакетника заканчивалась. Там нужно было махнуть через забор, и уж дом — вот он тут, рядом.

Сам Петр Матвеевич вообще-то не сильно поощрял подобное шастанье по территории школы. И сыну Витяхе наказывал и дружков его чурал. «Нехорошо, пацаны,— убеждал он их. — Ведь вы уже взрослые мужики, правда? А там затрачен труд дворника. Играйте где-нибудь в другом месте, учитесь уважать чужой труд, парни...»

Не поощрял. Но тут уж больно не хотелось окончательно марать в грязи новые коричневые полуботинки. «И по досточкам, по кирпичикам,— шептал Петр Матвеевич,— доберетесь домой как-нибудь»,— напевал он.

И хоть был целиком погружен в заботы о сохранности собственной чистоты, а также в думы о грядущем семейном счастье, но все же углядел, что окна школы светятся для такого вечернего времени довольно неестественно: все до одного и ярко. Обычно в такое время ну одно там, два горят, там, где на скрипочке пилят, либо на пианино бренькают, или еще разевают рот, а через стекло-то и не слышно, что за песня из него льется.

Любопытствуя, Петр Матвеевич напялил очки и обнаружил близ двери на белом бумажном листе следующий рукописный текст:

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН
ИГРАЕТ КУДЖЕПОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКИ И СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ

— Билеты продаются! — протянул Петр Матвеевич. И сплюнул в сердцах. — Это ж надо такую чуму придумать — электронный баян! Совсем с ума съехали!

Осудил, но с места дальше не трогался.

Потому что много он в своей жизни видел баянов и гармоник знал чрезвычайное количество, но вот чтобы это был баян электронный, то уж этого он себе представить не мог при всем старании. А руганью лишь распалял любопытство. Потому и решил все-таки сходить, чтобы на случай чего иметь и на этот предмет свое мнение. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кроме того, и семье потом можно будет описать это интересное явление и на работе потолковать о его практической пользе либо вреде. Так что решил все-таки сходить Петр Матвеевич и, расходами не стесняясь, приготовил бумажный рубль.

Однако, войдя в фойе, он увидел, что, во-первых, билеты никакие не продаются да и кассы-то никакой нету. А во-вторых, из-за белой двери доносились уже звуки какой-то организованной человеческой речи.

Петр Матвеевич сунул шапку в карман, осторожно приоткрыл дверь и оказался на последнем ряду маленького зальчика.

На него глянули рассеянно. Билета никто не спросил, только шепнули «тише», когда он скрипнул стулом. Все слушали человека, стоящего на эстраде.

— Таким образом, дорогие друзья, электронный баян — это очень интересное нововведение в музыке. И мы все надеемся, что наша промышленность вскоре начнет серийный выпуск этих замечательных инструментов, которые мы пока покупаем за границей, и, к сожалению, за валюту, товарищи. — Говоривший гряхнул гривой. — Так что не за горами, товарищи, тот день, когда громадное число наших слушателей, любителей музыки, насладится глубокими звуками этого инструмента, который, как я уже говорил, богатством тонов близок к органу и клавесину, совмещая все это с компактностью и даже ординарностью исполнительского мастерства.

Это, по-видимому, и был сам Куджепов. Издали Петр Матвеевич не мог подробно разглядеть его лицо. Так видно было, что человек, видать, уже не первой молодости, с залысинами, несмотря на гриву, в черном костюме — ну это уж как у них полагается.

Да и баян был как баян. И ничего электронного в нем почти не наблюдалось. Разве что шнур уползал за кулисы? А так — баян да баян.

— Надуваловка элементарная,— буркнул Петр Матвеевич.— Это ж надо такую чуму придумать.

А пока бурчал, то все и прослушал. Потому что Куджепов еще что-то сказал и тут же проворно развел мехи.

И вдруг — хватило! Схватило, закружило, понесло, к сердцу подступило, заполонило, ознобило, согрело — сладкая истома, головокружение. Мелодия, и сладкая боль, и молодость, и старость — все вместе!

— Это что такое? — прошептал Петр Матвеевич. — Эт-то что же такое?

— А это нужно знать, молодой человек,— с достоинством ответила ему соседка, сухонькая старушка в очках, подмотанных ниточкой.

— Я не про то. Со мной что такое? — шептал Петр Матвеевич.

— Не мешайте слушать! — рассердилась старушка.

— Я — ничего,— смешался Петр Матвеевич.

И вдруг слезы беззвучно потекли по его щекам, и он не стыдился слез и плакал ровно, совершенно беззвучно, прямо глядя вперед. Расплывались в глазах и зал маленький, и черный музыкант, и инструмент его волшебный. И плыла, плыла музыка.

Петр Матвеевич полез за носовым платком и внезапно наткнулся на четвертинку. И вдруг его такая злоба взяла, что он, окончательно изумив соседку, с места вскочил, потоптался, нелепо махнул рукой, что-то крикнул и пулей вылетел на улицу.

А на улице была прежняя ночь, поскрипывал от ветра фонарь, ровным светом горели жилые окна, все вокруг дышало ночью, тишиной, спокойствием.

Разгоряченный Петр Матвеевич хотел было хряпнуть четвертинку об асфальт, но потом передумал, помрачнел лицом, решительно надвинул шапку на глаза и пошел домой, не выбирая дороги.

— Господи! Извалялся-то весь, как чушка! Все штанины в грязи! — ахнула жена. — Да где тебя, черта, носило-то?

Петр Матвеевич раздевался молча, но с остервенением.

— Выпил, что ли, с кем? — присматривалась жена.

Тут Петра Матвеевича прорвало.

— Выпил! Выпил! — заорал он. — Тебе бы все «выпил»! Тебе бы все пить да жрать! Кусочница! Живешь, как карась подо льдом! И меня к себе в могилу тянешь! Да ты знаешь ли, как другие люди живут? Что там у тебя седни по телевизору? Штирлиц или Муслимка?

— «Семья Тибо», Франция,— упавшим голосом сказала супруга. — Сейчас покушаем и будем все смотреть.

— Дура! — крикнул Петр Матвеевич, набрав воздуху, и повторил: — Дура! Дура!

Жена охнула, а Витька бросил «Конструктор-луноход» и всхлипывал, пятясь в угол:

— Папа! Папа! Ты что? Ты зачем маму ругаешь?

— Пошел вон! — затопотал на него отец.

А сын уже плакал навзрыд. И тут Петр Матвеевич вроде бы очнулся, вроде бы возвратился в себя. Он медленно огляделся. Дом как дом. Квартира как квартира. Мебель как мебель. Люди как люди.

— Действительно... что-то я это... такое...— Он повертел пальцем у виска. — Ты, Катя, не сердись на меня. Накрутишься на этой работе проклятой, надергаешься... Вот седни опять: фонды же нам выделили на листовой алюминий, а я на базу приехал — нету, говорят. Пока вырвал... Дергают весь день, и сам дергаешься. А тут еще иду, и около музшколы, знаешь, чуму какую придумали, цирк номер два — электронный баян, ты это можешь себе представить?!

— Ну, ты меня напугал, напугал, артист,— облегченно засмеялась жена.— Что, думаю, пьяный он, видать, ли что ли? Или умом чиканулся, как Мишка, у нас в цехе подсобником который работал...

Петр Матвеевич тоже засмеялся. Они оба смеялись и колотили друг друга по мясистым спинам.

И лишь сынок Витяха смотрел волчонком. Слезы на щеках у него уже высохли, но губы были крепко сжаты.

Сани и лошади

Тогда нашу улицу еще не замостили, вернее замостили, но не сразу. Сначала не замостили, а потом выложили звонким булыжником, а потом накатились асфальтовые катки, заклокотали асфальтовые чаны. Замазали все, закатали, пригладили улицу и даже стали зимой убирать снег. Вот какие изменения вышли на нашей тихой улочке.

А тогда было лето. Тогда была летом желтая и серая пыль, которую поднимали колеса телег, курицы и пацаньи ноги.

Пыль, где прятались маленькие невидные стеклышки, которые вспарывали пятку, и получались шарики, капли пыли. А кровь густела от желтой и серой пыли, и шла сначала грязная кровь, и она потом густела, и вообще ничего уже не было, и заживало все намертво.

Снег выпадал, и его мяли полозья по прямой, но еще не было скрипа. А лошадка заносила ножки немного вбок, потому что — быстро; горяч пар пасти лошадиной, и спиралька в воздухе исчезает. Изредка полуторка проедет или «ЗИС», а так все больше — сани и лошади.

Сани были разные. Самые любимые мои — трест очистки города — ездили с квадратными деревянными коробами. Внутри труха, грязный снег — ненужное за город. Цепляешься сзади — и спереди не видно и удобно. И катишь каретным лакеем.

А вот сани «Хлеб» и сани «Почта» — отвратительные. Гладкие, все в железных замках, холодные.

А вот розвальни, они такие — середка на половинку: ехать-то можно, а коли заметят, так и жиганут кнутом за милую душу.

Сани, лошадей вижу, а вот физиономии возчиков, кучеров стерлись все. Начисто. Некая обобщенная фигура. Полушубок. Опояска. Катанки. Шапка. Ватные рукавицы.

И лишь харя одного молодца мне все помнится и помнится. Как живая передо мной мельтешит. И ухмыляется, препаскудная.

Сани были кошевые, от начальника. Из-за угла шли ровно и медленно, хотя конь горячился, дергал башкой, грыз железо. А хозяин вожжу на руку намотал, и хр-р-р — конь желтые зубы показывает. Хр-р-р.

И смотрит кучер на меня и знает, что я уже приспособился, ноги напружинил. И знает, что ни в жизнь не коснусь я его саней, потому что понял, что и он тоже все про меня понял.

И тогда — а вид его был таков: москвичка, цигейковый воротник шалью, валяные сапоги в сено по голяшки запиханы, спелая прядка выбивается из-под папахи, а рыло дышит силой, молодостью и красотой — и тогда:

— Мальчик,— кричит,— а ты цепляйся, я прокачу, че ты, пацан...

А я молчу.

— Да не бойся ты, дурачок, цепляйся, мы прокатимся щас.

Ну, я и цепляюсь, значит, дурачок.

А он коня тогда кнутом.

И — эх! — несемся мы! Я на запятках, он папаху заломил. Поет: «Ты лети с дороги, птица».

И от скорости кажется, что сани не по ровной дороге мчат, а по некой волшебной волнистой поверхности. И заносит и выносит их, а голову опустишь — мельк в глазах, мельк снежно-серый. И ничего не видно.

— Ты лети,— говорит,— с дороги, птица... Зверь,— говорит,— с дороги уходи...

А потом обернулся да как харкнет мне — прямо в морду ли, в лицо? Не знаю даже, как и назвать это после того, как в него плюнут.

Ну, я утерся, мы дальше едем. Но только я уже со смущенной душой, тоскуя и томясь. Прыгать надо, а страшно. А возчик-то, змей, и не смотрит на меня. И ни га-га-га и ни хи-хи-хи.

А потом обернулся, гад, и еще раз в меня — харк, и вот это-то и погубило его, неразумного.

Потому что после второго раза я приобрел сноровку и смелость я приобрел.

Ссыпался с саней. Ледышку подобрал, кинул и вдарил точно по мужику. Со страшной силой. И вижу, что точно по башке я ему и заехал.

И тормозит раненый мужик — а я в подворотню. Встречную старушку в сугроб, а сам за забор скок. Пальтишко только мелькнуло. Дрова. Сарай. Затаился в углу.

И слышал тягостные скрипучие шаги, и скрежет зубов, и кашель, и мат, но был умен, тих, неподвижен, а потому и не найден.

А отсидевшись, вышел на ту же нашу улицу и вижу — снег, снег, снежинки новые падают, а на старом снегу — комковатом, желтеющем — красные пятна. И их новые снежинки засыпают, засыпают. Скоро все скроют.

Дома пусто

Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

А я поехал на Алдан с целью заработать много денег, чтоб потом мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окраине городка и жили там так, пока не умерла бы сначала она, а потом и я.

Существовал без шума. Если по первому времени работа была для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не замечал. Я канавы рыл в геологической партии, со взрывом. Сначала бурку бурил, потом грунт взрывал, потом кайлом да лопатой углублял, расширял, чистил, забуришься, взорвешь, углубишь, расширишь, почистишь — и готово дело.

Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге, а на самом деле, как многие говорили, зверская это работа, и многие с нее уходили, потому что — физическое изнеможение каждый день, невзирая на хорошую оплату.

...Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же коммунальном доме, в котором и осталась после одна моя мать, без меня.

Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь т а к о е, э д а к о е, о т л и ч н о е, отличное от всего того, что меня окружало, а окружало меня одиночество матери, люди маленького нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны, отсутствие блистательной родни и книги Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре светового овала настольной лампы милые сердцу страницы и у мальчика ком в горле от неземной нежности.

Ходил по городу, камушки в реку бросал и знал, что все будет не здесь, и все будет другое, а когда, где и как — даже и не задумывался и не знал, и никто в целом свете, в том числе и Паустовский, ничего не мог мне подсказать.

Ну и вот. Школа. Вечер выпускной. Бал. Я задыхался. Угостили вином, плясал чарльстон, который я плясать не умею и никогда, по-видимому, не научусь. Выбегал на лестницу, раздувал ноздри, выки-

нул даже в окно последние свои школьные стихи — листочек из тетрадки в клеточку. Лети, лети! Это письмо в жизнь, а я скоро прибуду сам, я скоро буду, я скоро прибуду за письмом своим, я буду умен и важен, я буду на коне, на белом коне, в гриву которого вплетены красные ленточки... Противно мне это вспоминать.

И потом как-то все не так, не туда: в институт поступил, поучился, заболел, отстал, плюнул, хотя, если разобраться, зачем мне было в инженеры. Поотирался и по различным мелкоинтеллигентным должностям — лаборант, чертежник, коллектор, техник,— и все при разных институтах. Надеялся я таким путем, через институты, хотя бы заочный факультет кончить, что ли?

Пока к такому выводу не пришел, к которому все, кто не вылез, не прорвался, рано или поздно приходят, к простому такому выводу, что не будет толку.

А понял я это, когда как-то за полночь центральной улицей домой пробирался. А навстречу мне поток белозубой молодежи. Лет по семнадцати. Гитары они имели и играли звонко, а к нижней губе сигаретка приклеилась, а как одному играть надоест, так он гитару по воздуху приятелю своему перебрасывает, и приятель ровно с того места продолжает мелодию, на которой первый закончил.

Серость моя и незаметность на фоне этого парада новых форм были столь очевидны, что я даже и ночь бессонную проводить не стал, а, напротив, хорошенько выспался и на следующий день хорошенько выспался и уж через недельку примерно объявил матери, как мы с ней дальше будем жить: что будут деньги и будет домик, свой домик с двойным одиночеством, и что для этого всего мне нужно немного, но крепко поработать.

Мать моя книжек довольно много прочитала, пока окончательно не разболелась. И хотя книжки в то время, когда она не болела, продавались все больше сейчас неизвестные — без приключений, людских слабостей и всемирного негодяйства,— она тоже не хотела видеть меня советским мещанином в собственном домике на окраине, тоже ей нужно было от меня чего-нибудь эдакого, такого, ну, в общем, чуть выше, чем папа с мамой жили, поинтереснее и чтоб как-нибудь не так.

Ну, а уж тогда, когда я на заработки поехал, а она осталась в нашем городке, она во мнениях не то чтобы переменилась, а просто, по-моему, их уже не имела, желая, чтобы все стало как-нибудь получше и потише.

Мой поезд уходил вечером, и весь день я угощался и угощал, прощаясь со своими друзьями, которых осталось у меня там не так уж много. И это хорошо, что я о своих друзьях сейчас вспомнил, потому что я люблю своих друзей. Но они — дома, а я — уезжаю, и о чем я буду говорить с ними, когда вернусь? Разверну свиток трагикомических ситуаций геологического типа: про патроны, взрывы, медведей и пресечение незаконных поступков чинами милиции — все те байки, которые рассказывает, вернувшись с Севера, молодой человек моих лет?

Угощался. Угощал. Потом с матерью прощался, крест-накрест целовался, а друзья в коридор вышли покурить — не мешать, а мама все в кровати лежала, болела, а тут встала и на тяжелых ногах вышла на крыльцо, когда я был уже около ворот, и слабо что-то кричала, а я не выдержал и вернулся от ворот назад, когда она уже просто плакала — волос с проседью. «Ну как? Ну почему так?» И я ее еще раз поцеловал крепко, в лоб, и тут почувствовали мои губы, что кожа у нее дряблая и больная — от болезней, от одинокой комнаты, от жизни, в которой есть место не для всех живых...

Вот и рассказал я вам основные положения моей жизни до того момента, когда мать моя осталась там, а я жил на Алдане, тихо жил, пообвыкся, копейку гнал, короче.

Канавы колупал со страшной силой на пару с Федей Александровым — новосибирским бичом. По вечерам дулся в «тысячу», в кинга, читал случайную литературу, например: «У самой границы», «Тайна белого пятна», «Дон-Кихот», «Юность» № 4 и № 5 за 1965 год, разговаривал с Федей насчет мировых проблем, в общем, тихо жил и ни о чем не думал.

Почти все деньги пересылал матери — крупно, оставляя себе лишь на жратву, слабую выпивку и некоторую одежду.

Так вот и жил. Покажется рубль на дне канавном, кайлом его цепляешь да лопатой, а рубль — он то покажется, то исчезнет, а ты, как пес, ковыряешься: все кайлишь да лопатишь, взрываешь да чистишь.

И вот как-то раз обрыдла мне вся хреновина эта, и решил я выбраться в поселок, в цивилизацию, где можно и пивка попить, и кино поглядеть, и в бане помыться, и на почту сходить. Набрал я от начальника денег и прибыл в поселок на казенной машине, утром.

А в поселке тихо. Там кто работает, так тот на работе. Кто пьет, так тот опохмеляется, и пошел я в столовую, где съел яичницу из настоящих яиц, поел, теплым чаем запил и отправился на почту, чтобы оформить очередной перевод домой.

А там уже сидят Даша и Вера — две местные «чувихи с печи»,— листают журнал мод «Рига-66», и неизвестный мужик, которого всего аж трясет с похмелья, и перед ним лежит большой исписанный лист бумаги с различными закорючками, которые являют собой нечто вроде росписи фамилии И. Иванов.

И объяснил мне мужик, заметив, что я очень сочувственно на него смотрю, что он самый и есть Иванов Иван и что «анадысь» он пришел и все заработанные деньги «поклал на аккредитив», а сам был «очень выпимши» и поэтому расписался непонятной закорючкой, которую сегодня он никак повторить не может — уж больно замысловата она, а повторить обязательно нужно — иначе денег «ни грамма» ему не дадут согласно инструкции, хотя он и есть натуральный Иванов Иван и деньгам своим полный хозяин.

Но меня уже не интересовал мужик Иванов, потому что у меня были свои дела, своя жизнь и свой расклад. Мне перевод оформлять надо было, чтоб потом дом покупать на окраине нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

И во время то, когда я заполнял бланк на отправление, пришла мне на ум одна хорошая идея, которую я немедленно стал выполнять. Дай-ка, я думаю, навыписываю-ка я хорошую кучу журналов и газет разного толку, а подписку оформлю на мамашу. На целый год, а то лучше и на два. И ей напишу, чтобы она литературу до странички сохранила. Не подшивала, конечно,— зачем? — а просто так, хранила бы, и все.

А я потом приеду, на диванчик заберусь в нашем домике на окраине, заберусь после легкого рабочего дня на той работе, которую я себе выберу, на которую устроюсь, чтоб меня в тунеядцы не зачислили, заберусь и буду почитывать да покуривать. Ловко? А? А мать в это время будет смотреть телевизор и мне расскажет все, что там происходит, а если что-нибудь будет очень уж такое интересное, так я и сам встану взглянуть, а ужин нам по заказу из домовой кухни принесут, в трех судках.

— На два года,— говорю,— хочется подписаться.
— Только на год,— говорят,— можно.
— А на два нельзя,— говорю,— сразу?
— Нельзя,— говорят.
— А почему? — говорю.
— А мы не знаем,— говорят.
— Ну и ладно тогда,— говорю,— действуйте.

И заказал, так сказать, все ихнее меню.

А потом, покинув почту, я посетил и кино, где мне очень не понравился французский фильм «Бебер-путешественник» — про одного отвратительного и балованного французского ребенка, которого нужно было драть ремнем, а все с ним только и знали, что носились и нянчились. Ну, ладно. К вечеру я был погружен в казенную машину и доставлен к месту работы, чтобы опять взрывать, кайлить, чистить.

И вот на следующий день, угром, сел я перекурить и вижу, что идет Коля Старостин, бич тот самый, что на гулянках всегда засыпает. Другие — шебутятся кто, покоя не знают, а он уже спит в это время, знай храпы выдает. Идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, и стонет жалобно так вот «ой-ой-ой», а это значит, что он опять ночевал не там, где надо.

И стали мы с ним беседы вести, и рассказал Старостин ужасную историю, как он шел домой с собственных именин, которые он справлял не у себя дома, а у буровиков, шел и заснул под крестами, что так и спал он нынче под крестами, которые поставлены в память о погибших топографах в устье ручья, на тропинке, заснул, потому что всегда Старостин на гулянках спит, а пробуждение его было ужасным — звезды небесные, кресты над головой, три штуки, кругом ни души, и филин еще ухает вдобавок...

А я на него смотрю, и в глазах у меня темнеет. Со страху, что ли, от предчувствия ли, черт его знает от чего.

И действительно: подает мне Старостин телеграмму, где черным по белому написано, что мать моя совсем плохая и чтоб я немедленно тут же ехал как можно скорее.

— ...сплю, и все тут,— сообщает Коля.— Ты меня скоро не увидишь. Я скоро где-нибудь совсем замерзну.

...А я вот сейчас расчет возьму и приеду домой, а дома пусто, а я пойду на кладбище, а сейчас — осень, а там ни скамеечки нет, ни оградки, ни кустика, нехорошо, ветер там на кладбище, вороны над церковью кружат, а у меня больше никого нет и никого не будет, а кто же будет со мной газеты и журналы читать? Все, все исчезло начисто, нету никого, ничего нету, никого, ничего и не будет. Никогда.

Забросил лопату.

— Я с тобой, Коля.

— На фига?

— Мать у меня при смерти.

— Помирает?

— Помирает.

— Моя тоже без меня померла. И я помру, и ты помрешь. Эх, Алдан ты мой, Алдан, ха-арошая страна! — запел и закривлялся бич.

— А может, успею? — сказал я.

— Может, и успеешь,— ответил бич.

Как съели петуха

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве постояльца, платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.

Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих квадратных метров собственной или коммунальной жилплощади. Их гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать с места на место, меняя род занятий и деятельности. Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.

Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал, варил и паял. Точил.

Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь за незначительные послевоенные преступления, а в 1954 году его амнистировали.

В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили тыщи. Бродили, ели, спали на чердаках и в подвалах. И через этих бывших зеков жизнь горожан во многом усложнилась. Редкий мирный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что все знали: однажды одна дама вышла на пять минут в девять вечера, а навстречу ей — люди в телогрейках, и они сняли с нее всю верхнюю одежду и часы. А было это в Таракановке около мясокомбината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там светло от фонарей и стоят какие-то люди. Она к ним.

— Граждане! — кричит.— Меня раздели! Ой! Вон! Вон они побежали. Я их запомнила.

— Ты их запомнила? — спрашивают.

— Видела! Видела! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку.

— И как увидишь, то узнаешь?

— Узнаю, узнаю! Как не узнать,— отвечала женщина, не чуя беды.

И тут ее мазнули перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета крови, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавленная женщина ощупью выбралась на проспект Сталина, упала, и там ее кое-кто якобы и видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда «Черная кошка». Сибирь-54.

Или еще рассказывали — поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

— Зачем?

— А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги.

— Что за чушь!

— Вот тебе и «чушь». Говорят тебе, поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересовался и не участвовал. Боже мой! Да он наоборот, он если бы услышал или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично вызвал милицию.

Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николая Ефимыча, он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невиновен. Не знаю. Вина — это такое скользкое и неясное моему уму понятие, что я по вопросу виновности или невиновности Николая Ефимыча никак высказаться не могу, так как не понимаю и не располагаю. Не знаю. Да и не важен в конце концов факт виновности или невиновности в описываемом случае. Важно то, что после амнистии он стал очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производство, желая приложить к нему свои золотые руки.

И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу Демьян.

Сама она была глухая, то есть слышала лишь немногое и произносимое громким голосом прямо ей в ухо.

Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все — и громким голосом произносимое и тихим тоже.

Это сокрытие как-то веселило Николая Ефимыча. Он ее в шутку ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все шло как по маслу: Николай Ефимыч ее ругает, а Демьян не слышит, беседует о том о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он ее матом.

А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдохновения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Надо сказать, что парочка эта была и на вид и по содержанию довольно гнусная.

И я вижу их даже по прошествии стольких лет чрезвычайно четко.

Он — среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная, серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили — кирзовые сапоги, телогрейка, а брюки чтоб заправлены в сапоги, так и Николай Ефимыч. А когда стали продавать брюки-дудочки и многие их купили, то и Николай Ефимыч приобрел.

Обыкновенная одежда — неприметная, серая. Обыкновенный человек — серый, неприметный.

И про Демьяна тоже можно сказать очень просто: что она, поскольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке и не верила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом, выдумкой газет и журналов.

Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы, платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отношение к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кирзовые сапоги тридцать пятого размера. Я в то время носил сапоги тридцать пятого размера и ходил во второй класс начальной школы имени Сурикова.

Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство размером два на три, равняется шести квадратным метрам. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь.

А жили они недружно. Видимо потому, что их обижали имеющиеся друг у друга различные скверные привычки.

Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпирая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовал со всеми, кто соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все заработанные деньги.

Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то варевом, которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправлялось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда-то аккуратно, но плохого качества.

Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовления Демьяном семейной пищи и после.

Ясно, что это обижало Николая Ефимыча.

Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под патефон, выпив водочки, задирая ноги и показывая краешки сиреневых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того, его брала досада, что жена через ларек имеет левые деньги и прячет их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что их, левых, будто бы совсем и нет.

— Такой бы змее еще одну реформу сорок седьмого года,— бормотал Николай Ефимыч. Не понимая, что сберкнижка гарантирует от всех реформ. И деньги Елены, если они у нее есть, не пропадут никогда.

Так они и жили. И временами в отношениях между супругами наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.

На новый, 1956 год Николай Ефимыч говорит:

— Демьян, давай сварим курухана.

А она не слышит.

— Курухана свариймо?! — кричит Николай Ефимыч.

Не слышит.

— Петуха мне свари, падла! Пожрем хоть на Новый год! — орет он ей в ухо.

А она хоть бы хны.

Помолчала, а потом и заявляет:

— Не дам. Будет новый год, и в новом году надо кушать.

От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.

А разговор происходил на кухне. Прыткая и маленькая Демьян проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трахнула им Николая Ефимыча по голове.

Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обстановку и орал. Он тыкался по углам и пинал стены.

— Ох, убью! — рычал Николай Ефимыч.

Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой в подполье. На крышку подполья надвинули для видимости комод. Новый, 1956 год Демьян встретила среди картошек и бочек с капустой.

А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя, что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.

Физиономию ему укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за ряженого.

Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколько же, спрашивается, можно там сидеть? И дождалась она 2 января 1956 года, когда Николай Ефимыч отправился на работу. И решила она, черт с ним, сварить петуха. В свой ларек она не пошла.

А у них был петух. Вернее, у них сначала были и курица и петух. Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята вырастут, станут нести яйца. Демьян будет полной владелицей куриных яиц. Захочет — съест. Захочет — продаст на колхозном рынке как излишки.

Хорошо она прикинула. А ничего, к сожалению, не сладилось. Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке, нахохлившись.

И курица взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно отчего. Гуляла, гуляла по курятнику, потом — лапки кверху. Подергалась, закоченела и стала синеть. Прямо удивительно, до чего быстро умерла курица!

Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому, что и сама толком не понимала: кому и зачем нужно было травить ее курицу.

И остался петух, которого Николай Ефимыч неоднократно просил съесть, но Елена не давала.

Таким образом, 2 января 1956 года она все же решила сварить петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на работу, на то производство, где он трудился по металлу.

Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выколотил молотком, закалил, подправил. После чего весь день ширкал по бывшему кольцу напильником.

— Николай Ефимыч, уж не перо ли ты себе мастеришь в рабочее время? Давай лучше похмелимся после праздничка,— говорили ему друзья-рабочие.

Но Николай Ефимыч, насупившись, ничего не отвечал и продолжал усердно ширкать напильником.

— Брось, Николай Ефимыч. Не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч, ножик этот на себя точишь,— уговаривал его один рассудительный человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту опасался, как бы кто ему не присветил по роже.

Но Николай Ефимыч, увы, никого не слушал. Он твердо решился на крайние меры по избавлению себя от жены.

Николай Ефимыч с загадочной улыбкой отправился домой. Около крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.

— Век свободы не видать,— пробормотал Николай Ефимыч и шагнул в дом.

И увидел, что дома, за фанерной стеной, не воняет жареным желтым салом, что там, за фанерной стеной, очень даже чисто. За фанер-

ной стеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли — пар петуха.

И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и окончательную победу над женой. Что, возможно, и сберкнижка будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия — это чушь и мелочь.

Хмурясь, он сел за стол и заорал:

— Демьян!

Тотчас и она точно как из-под земли.

— Здесь. Я здесь.

Тихая и робкая Елена.

— Садись! Давай выпьем!

И точно — сели, и точно — дали. Выпили. И точно — сели, пили, ели. Выпили поллитру и стали пить вторую. И уже дело дошло до петуха. Он был вынут из кастрюли, и он был прекрасен.

Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Николаю Ефимычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.

И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать, супруги окончательно стали пьяны и завалились спать, не сняв одежд.

Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным квартирам. Демьян и Николай Ефимыч получили однокомнатную в пятом микрорайоне.

Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Да ведь сейчас оно, конечно, и жизнь не та: старые дома поломаны, кругом многоэтажье, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванные, лоджии и горячая вода. Подполья и погреба исчезли, петухов и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и знакомых.

Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Вот так и съели петуха...

Обстоятельства смерти Андрея Степановича

Буду рассказывать, как помер наш завхоз.

Прямо в поле, при исполнении служебных обязанностей, ткнувшись головой в стол с гиревыми весами и амбарной книгой личного забора, на складе, состроенном из лиственничных дерев бичом Парамотом.

Парамот этот, или Промот, был известен всей экспедиции — звонкий был мужичок, что уж тут и говорить. Он зарабатывал в сезон тысячу двести — тысячу пятьсот новыми и проматывал их за неделю, главным образом из-за желания угощать каждого встречного-поперечного и ездить в трех такси: в первом — кепка, во втором — телогрейка, а в третьем — сам Парамот своей собственной персоной, голубоглазый и русый и, так сказать, со следами всех пороков на лице.

Да, да — голубоглазый юноша, русый, со следами всех пороков на лице, что позволяло ему объявлять себя внучатым племянником Сергея Есенина, поэта.

А еще в прошлом году, осенью, летал Парамот на самолете «ИЛ-18» из Якутии в Москву мыться в Сандуновских банях. Взял он с собой также двух друзей, двух бичей — взрывника Ахметдянова и пацанчи-

ка Володю Пучко, которому по паспорту числилось семнадцать лет, а по морде было не менее двадцати пяти.

И сели друзья в быстрокрылый лайнер, и помчал он их прямо в Сандуновские бани, но попался им на пути ресторан «Узбекистан», где, восседая на низеньких пуфах, и провели они день, вечер и кусочек ночи, после чего оказались в Дорогомилове у ласковых московских шлюх, где провели ночи остаток — выпили, тел московских шлюх вкусили и заснули здоровым сном, чтобы утром проснуться на неизвестной улице, в неизвестной подворотне, естественно, и без гроша в кармане.

Тогда они отправились на Ярославский вокзал и, похмелившись водой из искусственного родничка-фонтанчика, забрались в товарный вагон, где уже было немножко угля. И отправились друзья обратно к местам добровольного проживания. Ахметдянов и Володя злились — черные слова они выплевывали в душу Москвы, матери России, а Парамот ничего не боялся и скалил зубы — нравилось ему ужасно, что его девицу звали Римма. Давно он хотел такую. Он даже придумал новый припев к песне, которую знал с детских лет:

Воскресенский мост крутой.
Дом стоит перед горой.
И стоит там дом тридцать четыре.
Фраеров в том доме нет,
Жулик жулику сосед.
И живут по сорок рыл в квартире.
Римма! Краса!!! Аргентина!!!

Слова эти, никчемные, но сладкие и волшебные, он произносил энергично, помогая себе сжатием в кулак пальцев правой руки, и было это очень верно, потому что все в жизни Парамот делал энергично и порывисто, а любимая его фраза произносилась так: «Какая разница! Дело прошлое! Кап-питально!»

Ну, а покойник-завхоз Андрей Степанович считался его задушевным другом, и это совсем не соответствовало истине, потому что встречались они как хорошие знакомые и собутыльники, и только, а сердца их прямой связи между собой не имели.

Но все-таки Парамот был очень огорчен скорой завхозовой смертью, и к огорчению этому примешивалось некоторое количество вины из-за пса Ботьки, из-за пса, из-за которого вышел у Парамота с завхозом спор за день до этого самого прискорбного случая. Пес этот стал к концу лета чрезвычайно хорош, хотя мать его, сука Тайга, отказалась от детеныша вскоре после его рождения, а все из-за того, что к сосцам ее подсунули двух щенят породы лайка. А так как она сама была породы лайка, то полюбила их больше, чем Ботю, который являлся сыном дворняжьего кобеля и к лайкам имел половинное отношение.

Андрей Степанович с утра выпил бутылку «москвича» и, около склада своего стоя, терпеливо целился в небо, а помощник бурового мастера со станка «ЗИФ-600» Харлампиев Коля должен был в это небо кинуть свою собственную фуражку, чтобы Андрей Степанович смог доказать твердость своей руки и меткость своего глаза. Спор был прост: четыре дробинки на фуражку, или в противном случае завхоз обязан выдать Коле литр водки.

Грянул выстрел, и Харлампиев водки не получил. А вот тут-то и явился Парамот — прямо с работы, с канав, которые он взрывал и чистил от лагеря километрах в пяти, недалеко, пришел, а при ноге у него вышеупомянутый Ботя, суки сын.

— Бойся! — крикнул Парамот и тут же пояснил: — Это я шучу, а на самом деле — отбой, гвоздики, какая разница.

И начал было Парамот врать о том, как взрывал медведя аммоналовой шашкой, и как тот за это чуть не разорвал Парамота вместе

с кишками и аппендицитом, когда подошел завхоз и сказал, что он в пса положительно влюбился.

— И ежли ты мне его отдашь, как друг другу, то я сделаю с Боти капитального охотника.

— Глухо. Ага. Глухо,— равнодушно отвечал Парамот.— Я Ботю собственноручно кормил тушенкой и я его самостоятельно пущу на котлеты и суп, потому что душа моя горюет по свеженькому мясцу.

— А ты говядинку бери, говядинка есть у меня на складе, и приличный кусманчик можешь оторвать.

— Твоя говядина синяя, Андрей Степанович, ты ее не красил, а она сама синяя, и ты ее жри собственноручно и сам страдай, а про Ботьку забудь. Его буду есть я, а не ты. И все! Крест! Глухо дело, глухо, как в танке. Какая разница — дело прошлое. Капитально!

Очень он обиделся, завхоз, на Парамота, а Парамот теперь боялся, что завхоз унес обиду эту и в гроб. Вот почему Парамот из кожи вон лез, чтобы сделать что-нибудь приятное хотя бы для тела Андрея Степановича.

Парамот первым заметил Андрея Степановича, когда тот, отягченный земными заботами, прилег соснуть вечным сном на амбарную книгу. Парамот видит — дверь склада открытая, внутри — темь, потому что кругом белым-бело от снега, накануне выпавшего.

И зашел Парамот в склад, где завхоз уже спал вечным сном на амбарной книге, а что вечным, а не по пьянке, видно было хотя бы потому уже, что глаза завхоза приобрели стеклянный блеск и серый цвет и выпуклость, а цвет лица совсем бело-желт стал.

И виднелись в глубине, в амбарном полумраке различные съестные припасы — ящики с тушенкой, сахар, мука, соль, уксус, перец, шоколад, и только водку не мог углядеть Парамот — прятал ее Андрей Степанович так ловко и незаметно, что и сам часто находил не там, где надо.

А Парамоту вдруг сделалось страшно.

И не мертвеца, а того, что его, человека вне места и вне времени, могут засудить за убийство душением из-за водки или по какому другому случаю.

И как карла будешь потом тыщи лет тачки катать ни за фиг!

И он тогда ушел и в мою палатку пришел, а также попросил у меня одеколону, чтоб выпить, но у меня одеколону для него не оказалось, и тогда Парамот намекнул мне, что наш завхоз умер, и я ему полностью поверил, глядя на его физиономию, и пошел взять у маршрутного рабочего Лиды из Иркутска одеколону, а она дала, только не одеколон, а духи «Огни Москвы». Огни эти я и выдал потрясенному до основ Парамоту.

А сам пошел к складу, где уже началась та странная возня, хлопоты, переговоры, плач и опять хлопоты, которые всегда сопровождают похороны, свадьбы, рождение ребенка — явления жизни первые, средние и последние.

Дальше нужно было транспортировать труп на базу, для чего и вызвали по рации шофера Степана с машиной «ГАЗ-51», вызвали, заказав привезти заодно и ящик «москвича» на полевые поминки.

Парамот с духов «Огни Москвы» совершенно и не закосел даже и даже задумчив не стал, зато с необыкновенным проворством стал колотить из пиленых досок гроб, и мысли не допуская, что его приятеля могут повезти без тары, как какую-нибудь мясную тушу.

А повариха Ольга Ивановна, которой в настоящее время уже остригли голову и выслали из Якутии за распутное поведение, а куда неизвестно, она напекла блинов три высокие горки и сварила ведро киселя из концентрата.

И мы подняли кружки в честь завхоза Андрея Степановича Голикова, который ничем, ну ничем совершенно не выделялся среди других: врал, чем-то мелким всегда гордился, а в Якутию попал в неза-

памятные времена за анекдоты, а после реабилитации прижился здесь, различными лавчонками заведовал, приворовывал, попивал, нас обсчитывал по рублевке, а то и по красненькой,— обычный этот человек лежал вот теперь в некрасивом гробу, который сколотил для него Парамот, на все руки бич, в гробу под пихтовыми ветками лежал и больше не волновался.

А то, что снег к тому времени выпал, так я об этом уже писал, но когда заколачивали гроб — на десять шагов мало что можно было различить, потому что новая порция снега с неба поступила, замело, запуржило, и хлопья мохнатые и сечка — все вперемежку на землю под косым углом падает.

Степан за рулем — неторопливый вялый человек, а рядом — Парамот как сопровождающий, такую роль исполняя, а в кузове Андрей Степанович в надежном ящике.

Так вот. Горы крутые в Якутии. Ветер с них дует все вниз. Едут. Парамот, плачем заливаясь, рассказывает равнодушному Степану про достоинства Андрея Степановича.

— Понял,— уныло отвечает Степа, которому все равно, бара-бир, которого ничем не удивишь, который знает и понимает все, что творится вокруг, и в чем он ни малейшего участия даже мыслью принимать не хочет. А Парамот — тот другой, а впрочем, это я уже повторяюсь, вы ведь его уже достаточно хорошо знаете.

И был у них в пути полуответственный подъем, и машина его еле взяла. Казалось, что не едет она, а на месте стоит,— вот до чего крут подъем был.

И они наверху заглушили мотор, выпили немного водки, а потом глядят, а гроб-то и исчез, выпал, что ли, из-за крутизны?

И они тогда, матерясь, пошли вниз по метели и нашли гроб среди вихрей снежных аж по другую сторону ручья.

И поперли они его в гору, гроб, употели, а когда закинули в кузов его, и Парамот стал смотреть на него, то в глазах у него, все увеличиваясь, и больше, и крупнее стала отражаться желтая луна.

— Э-э, Степа, а гроб-то этот что-то вроде как бы не наш,— обмирая, сказал Парамот.

Сплюнул Степа и потащил Парамота в кабину, а Парамот стал вырываться, рвать ворот и дико кричать под лунным светом, освещавшим белую некрасивую землю.

...И казалось, что слышно в метели, как скрипит и стучит тот громадный и безжизненный механизм, которым управляется земля: у-ухи, э-эхи, тук-тук-тук, у-хи, э-эхи...

Котелок походный прохудился

У деды Прони был медный котелок, в котором он варил пшенную кашу и гороховый суп.

Деда Проня очень любил котелок. Он его чистил песком речным, пока в городе не стал кругом асфальт. А потом — пастой «Скаидра» по цене шестьдесят копеек пластмассовая баночка.

И вот надо же — котелок походный прохудился.

Деда Проня налил воды, включил электроплиту, а электроплита зашипела от котелка. И шипела, и шипела, и шипела...

А у деды Прони имелся также телефон. Деда Проня набрал номер под названием «Бюро добрых услуг».

— Але! Але!..

А ему в ответ:

— Бюро добрых услуг.

— У меня... эта... котелок. Надо, видать, лудить,— объяснил деда Проня.

Добрые услуги сильно задумались:

— Как вы сказали?

— Лудить. Надо лудить. Оне... он прохудился. На донышке, видать, дырочка махонькая. Надо лудить.

— То есть вы хотите, дедушка, чтобы мы эту дырочку как бы заштопали,— рассмеялись добрые услуги.

— Ну...

— Мы этого не оказываем. Мы синтетические плащи штопаем, кожгалантерею. Впрочем, ладно. Оставьте телефон. Я позвоню.

Довольный деда Проня, потирая старые руки, сходил к холодильнику и отрезал кусок рыбного пирога, купленного в домовой кухне на углу. Пирог он запил кисло-сладким квасом, приобретенным на том же углу из цистерны.

Покушав, сел у телефона и стал дремать, дожидаясь сигналов.

...Старый дом снесли, выделив однокомнатную квартиру. Старуха давно померла. Дети разъехались по белу свету. Аккуратненький старичок, содержащий себя в полном порядке. Рубашки, трусы — из прачечной. Оттуда же — свежие простыни. Деда Проня сам нашивал свою именную метку под номером ЗС625.

— Ты бы женился, Проня,— говорили ему друзья.— Одному не светит.

— Я не один. Со мною весь народ, и прачечная под боком,— обычно отвечал Проня, и глаза его не туманились.

— Помрешь, и никто не определит,— сулили друзья.

— После смерти моя смерть меня не интересует. Давайте-ка лучше споем.

И они запевали, три друга — Проня, Ваня и Николай.

Течет реченька да по песочичку-у,
Золотишко моет...

...Дзы-ынь!.. Разбудил телефонный звонок.

— Насчет котелка вы звонили? В общем, нигде. Придется вас огорчить. Подобного вида услуг нигде не оказывается.

— И что мне делать?

— А я откуда знаю?.. А вы кастрюлю купите, эмалированную...

— Ты со мной, барышня, такие шутки не шути,— обиделся деда Проня.

— Вы простите, я так... Это старичок звонит,— кому-то шепотом пояснила барышня.— Впрочем, попытайтесь на углу Засухина и Кривцова, там есть один, Сеня его зовут.

— Вас понял. Благодарю. Отбой. Вас понял.

«Я вас давно понял»,— бормотал деда Проня, выходя на улицу. Чистый старик в черном длинном драповом... Укутанный в тепленький шарфик... Черная кепка. Метка рубашки — ЗС625...

В мастерской он сразу сообразил, который из них Сеня. Тот сидел в свободной позе, но вид имел деловой. Толстенький молодой человечек с кудрявыми бачками. Нейлоновая сорочка и яркий синий галстук.

— Сень, а Сень, ты подь сюда,— сказал дедушка.

— Вы меня? — приподнялся Сеня, беседовавший за фанерной загородкой с двумя вальяжными дамочками. Одна из них шутя била Сеню замшевой перчаткой по волосатым пальцам.

— Если ты Сеня, так тебя.

— Ну, Сеня.

Дамочки не смотрели на просителя. Деда Проня только открыл рот, чтобы сказать дело, как тут вдруг совсем рядом дико рявкнул магнитофон и обоеполый голос взвыл:

А я
Жду у моря, жду у моря —
При-хо-дя!

И различные электро- и просто инструменты завыли такими электро- и просто воплями, что у деда зарябило в глазах. Дальнейший его разговор с умельцем Сеней выглядел так:

— Ну!

— Чего?

— Ну вот...

— Чего вот?

— Котелок.

— Ну и чего?

— Надо лудить.

— Не.

— Чего «не»?

— Не можем.

— Денег дам.

— Все дают.

— Выключите вы свиристелок! — заорал деда Проня магнитофонщикам.

Те удивились, но выключили.

— Сеня, будь другом, сделай,— тоскливо заговорил дедушка.— Я в долгу не останусь.

— Да ну правда же, дед. Я тебе без туфты говорю. Я правда не могу. И инструмента у меня на это дело нету.

— Точно?

— Без туфты. Я же говорю.

И деда Проня покинул развеселую мастерскую, где Сеня немедленно продолжил свои ладушки с замшевой перчаткой.

И довольно долго везде ходил, но нигде не добился положительного успеха. Даже и не обещали: на Русаковской штамповали латунные пуговицы для пиджаков, на Еремина — чинили электробритвы, а в Николаевке и вообще — гравировали таблички про покойников.

Деда Проня встал на углу. Народ шел туда и сюда. Мужик нес старый телевизор, завязанный в простыню.

— Ты куда его тянешь? — поинтересовался деда Проня.— В ателье?

— Не,— мужик покачал головой.— Сдавать иду, а доплачу и куплю новый.

— Цветной, что ли?

— Не,— мужик почему-то испугался.— Нам не цветной. Нам на цветной доходы еще незначительные,— нервно засмеялся мужик.

— Наверняка цветной купит, дьявол,— сказал деда Проня, провожая его взглядом.— А что хорошего в цветном? Одно, что цветной, а так — телевизор да и телевизор.

Так сказал деда Проня и отправился на Коммунальный мост.

А Коммунальный мост, ажурное создание из железа и бетона, соединял новую и старую части города, города К., в котором жил деда Проня.

Видны были: широкая панорама развернувшегося до небес строительства, и стадион на десять тысяч мест, и оперный театр, и купола Покровской церкви, и кладбище, и телевышка «Орбита», и бесконечная отступающая тайга, отступающая, тающая, уходящая.

Под мостом тек Енисей. Он был серый. В учебниках было написано, что Енисей тек из Тувы в Ледовитый океан.

— Надо же, столько воды, и вся пойдет на дело,— пробормотал деда Проня и, перегнувшись через перила, выпустил котелок из рук.

Котелок летел вниз. Он летел вниз и, ослепительно сияя на солнце, превращался в точку. Он превратился в точку, но вошел в воду с плеском.

Плесь! И нету котелка...

«Светлый путь»

Из записок путешественника

А меж тем — грустно. Специально прочитал целый номер «Литературной газеты» от 24 августа 1984 года и был поражен изобилующим описанием теневых сторон действительности.

«В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону плохо, с недопустимыми огрехами строят дома. А чтобы представители авторского надзора подписывали акты заведомо негодных объектов, строители... давали им взятки; убытки колхозов и совхозов в Тульской области от падежа скота и бесхозяйственности превысили 5 000 000 рублей; в преступную группу на Ессентукском мясокомбинате входили начальник холодильника, мастер цеха, заведующий приемным пунктом и ряд заготовителей; хищения автозапчастей на Брянском, Мытищинском, Волжском, Горьковском и Ижевском автозаводах, спекуляция и перепродажа бензина; в Московской области 40% грузовиков имели неработающие и неисправные спидометры, в Киеве, в районе только одной из лодочных стоянок за 15 дней было задержано 120 водителей грузовых автомобилей, которые продали 9 тонн бензина, за семь последних лет количество индивидуального транспорта выросло в 2,8 раза, а продажа бензина увеличилась только в 1,2 раза; на станции Мехнат (Узбекистан) 17 суток без охраны стоял вагон с импортным грузом на миллион рублей. Этим воспользовались 32 местных жителя, которые похитили товары на 80 тысяч; недавно в локомотивном депо станции Курск осуждены к длительным срокам заключения 13 машинистов и их помощников, которые совершили 88 хищений на 93 тысячи рублей; не везде достаточно высока ответственность руководителей, особенно низового звена, тем более опасно, если руководитель сам причастен к разбазариванию или стал участником хищения; некоторые спектакли Большого театра, идущие в Кремлевском Дворце съездов, мало пригодны для его сцены; на бытовой почве совершается до 68 процентов убийств (среди убитых каждый четвертый — это родственник, фактический или юридический супруг виновного), треть случаев хулиганства, меры же воздействия надо было принять, как потом часто оказывается, намного раньше, в 15 лет многие подростки вступают из мира детства в большую взрослую жизнь, две трети подростков приобщаются к вину именно за родительским столом, а не под влиянием улицы, к сожалению, немало в общежитиях случаев пьянства, правонарушений. В некоторых из них в дни зарплаты не обходится без вызова милиции; хотя продажа водки в торговле за 2 — 3 последних года несколько сократилась и растут ее нереализованные запасы, дешевые суррогаты вин имеют не меньшее, если не большее, отрицательное воздействие. Кроме того, потребляется большое количество самогона и домашних вин, снижается рождаемость, повышаются заболеваемость и смертность, алкоголизм остается, к сожалению, самым распространенным видом социальной патологии, в ряде городов лишь каждый третий-четвертый человек, нуждающийся в наркологической помощи, может ее получить; в «Пермьсельстрое» среднемесячный заработок постоянных рабочих составил 221 рубль, а шабашника — 725 рублей... Бесконтрольность

здесь создает почву для взяток и хищений при заключении договоров и снабжении строительными материалами. В том же «Пермьсельстрое» за два последних месяца сумма приписок к объему выполненных работ превысила миллион рублей, на два миллиона незаконно отпущено строго фондируемых материалов, в том числе шабашникам. В Алтайском крае одна из таких бригад передала некоторым руководителям Новосибирского метростроя около 30 тысяч рублей в виде взятки за незаконный отпуск материалов; чувствуя кое-где безнаказанность, спекулянты орудуют на вокзалах и рынках, в парикмахерских и магазинах, доставляют «вразнос» товары на дом и в учреждения, используют трудности в обеспечении населения некоторыми видами продуктов питания; введены более строгие санкции за преступления рецидивистов и нарушение режима в колониях; количество транспортных происшествий возрастает, случаи грубости, придирок и даже поборов со стороны некоторых сотрудников ГАИ еще не изжиты, абсолютное большинство пьяных нарушают общественный порядок; в Киеве прошло несколько судебных процессов над работниками торговли, по которым уже осуждено около ста человек, такие же строгие меры по отношению к руководителям торговли приняты в Москве и в Ростове. В продовольственных магазинах действуют еще довоенные, то есть завышенные, нормы усушки и утруски. Часто и хитрить не надо: и без того получаются излишки; в организации медико-генетической службы остается много нерешенных вопросов и трудностей; Вологодский мясокомбинат «не вписался» пока еще в систему РАПО, производит эфемерных бычков; когда жители Винницы открыли поутру краны, вода воняла. Остановились пищевые предприятия, больные бранили санитарок, моющих в больнице пол гнилостной водой, люди бродили по улицам с ведрами; штурмовщина на производстве, никто из пассажиров точно не знает, когда придет автобус, воинствующая демагогия, ставшая у некоторых житейской обыденностью, спекуляция дорогими для нашего общества принципами и правилами, которые не могут не вызвать сочувственный отзвук,— этим все чаще стали пользоваться осовременившиеся мещане, воюя за ничтожные, эгоистические свои интересы...»

Хватит! Нету больше сил! Вот что я вычитал в этой газете за 24 августа 1984 года, хотя были там, конечно же, и другие, более радостные, более оптимистические материалы. Например, передовая Я. Акима о празднике знаний, или статья Л. Васильевой о советской женской поэзии, или подборка воспоминаний участников Первого съезда советских писателей, состоявшегося в том самом 1934 году, со времени которого и началось победное шествие этой литературы по стране и миру, за время которого шествия литература эта достигла такого небывалого расцвета и таких высот, что у всех, кто ее еще читает, захватывает дух, и им просто совершенно нечего сказать в ответ или в свое оправдание, что они живут совершенно не так, как следовало бы.

Воруют, таскают, грабят, режут, берут взятки. Хватит! И я всерьез задумался: действительно ли все так мрачно, и неужели в жизни уже нет места чему-нибудь хорошему, светлому, прекрасному. Я сильно разволновался и задумался, хотя ведь в той же самой газете было написано, что делается

«все, чтобы каждый советский человек спокойно работал на благо Родины, веря в твердый правопорядок и законность которые ему обеспечивает Советское государ-

ство, репертуар Кремлевского Дворца съездов обогатился, например, такими постановками, как опера «Война и мир» С. Прокофьева, балеты «Гаянэ» А. Хачатуряна и «Индийская поэма» У. Мусаева; выступление «Литературной газеты» обсуждено на рабочих собраниях, в цеховых партийных организациях, в трудовых коллективах подразделений домостроительного комбината; развитием Крыма на более длительную перспективу занимаются научные организации республики и Крымский облисполком; ордена получили П. А. Загребельный, С. И. Беглов, издательство «Советский писатель»; Н. Я. Самохину 50 лет, он издал около 20 книг прозы в нашей стране, М. Шагалу 98 лет. Он говорит: «Я лишь знаю, что был честен»; Л. Хеллман завещала часть своего состояния на создание фонда помощи писателям, разделяющим марксистские убеждения; в Швейцарии, в Базельском музее открылась выставка, посвященная творчеству композитора Игоря Стравинского; А. Кушнер мечтает побывать в Армении, Л. Васильева говорит: «Беру прозу, какие радующие имена — В. Белов, В. Распутин, В. Крупин, В. Личутин, А. Проханов, А. Ким, В. Маканин — внушительная картина» и задает вопрос: «Но почему тогда я с жадностью погружаюсь в мир литературных мечтаний и ожидаю — нет, жажду нового писателя?» А Демьян Бедный сказал 29 августа 1934 года: «Большинство того, что собрано в моих 20 томах, это — разного калибра застывшие осколки, которые когда-то были разрывными снарядами. Осколки застыли, заржавели, может быть, но они честно сделали свое революционное дело и имеют право рассчитывать на революционное уважение...»; Таушан Эсенова, народный писатель Туркменистана, вспоминает: «Как же мы все — «дети разных народов» — были молоды, романтично настроены и преданы литературе: Аркадий Кулешов, Анатолий Софронов, Борис Ручьев, Семен Бабаевский, Константин Поздняев, Эди Огнецвет, Микола Нагнибеда, Мирварид Дильбази, Никола Упеник, Александр Яшин и многие другие — около сотни юных рыцарей литературы!»

Думая, я вышел за околицу степного крымского селения А., в котором тогда проживал, и направился к морю.

Немного об А.

Селение это образовалось из небытия лишь два с половиной десятка лет назад. Мрачная и дикая морская красота окружает степное селение: крутой глинистый обрыв, слоеный пирог природы, отвесным уступом рассекает кромку неба и берега, под знойным ветром трепещут ореховые деревья, высаженные рукой советского человека назло природе, сияет огнями новый сельский Дворец культуры и совершенно почти никого нету пьяных. А из недостатков лишь то, что уж который месяц не работает баня и жители ездят на автобусах мыться в Симферополь, страшно матерясь. Еще есть различные недостатки: с планом, поливными землями, дисциплиной. Да я не о том хочу... Не об обыденном, а о хорошем, светлом, прекрасном. Ведь я мучительно ищу светлый путь и хочу, чтоб все его узнали посредством моих сочинений. Чтоб трогательное шествие шагало по этому пути. Шагало, шагало и не останавливалось... Итак, я шел по лунной асфальтобетонной дорожке к морю.

Или — нет. Я волнуюсь, путаюсь, не так это было... Я шел ясным, ослепительным даже, не то что светлым днем, начитавшись «Литературной газеты», и вдруг увидел мертвого дельфина, вернее — дельфиненка.

Сжалось сердце! Я сначала не понял, что это дельфин, вернее —

дельфиненок, а думал, что это какая-нибудь крупная рыба: осетр, белуга, но потом вспомнил, что такие рыбы обитают лишь в Каспийском море, а отнюдь не в Черном, и у меня сжалось сердце! Я понял, что это действительно дельфин, или вернее — дельфиненок. Мертвый!

Мертвый! Как странно и мрачно звучит это слово! Существо жило, игралось в волнах, посылало неведомые сигналы, вызывая догадку у человечества о всеобщем братстве зверей, людей, растений и птиц, и вот теперь оно мертво и лежит, разлагаясь, облепленное до синеватой черноты черными маленькими мушками, с выеденными глазами, ноздрями. У него маленькие свиные ушки, у него остренькое дельфинье рыльце, от него исходит еле уловимое трупное зловоние! Смертельный ужас охватил все мое существо под этим ясным, безоблачным небом, испещренным следами реактивных самолетов, и я побежал вдоль узкой полоски пляжа, имея справа рыжие глинистые уступы, нависающие и готовые в одну секунду ринуться вниз оползнем, сминая меня, выбивая из тела кости, разрывая суставы, кожу, внутренности, а слева — бесконечно уходило вдаль до Сочи и Турции безмятежное Черное море, привыкшее за множество веков и тысячелетий ко всему на свете, в том числе и к моим преувеличенным эмоциям.

Не скажу ничего нового, кроме того, что море меняет свой цвет и дух ежесекундно. Стоит лишь пристально посмотреть на него, как оно то сожмется, то увеличится, то вдруг гамма его цветовая, как гамма до-ре-ми-фа-соль, по всем клавишам... да я не знаю, не о том я, я всегда не о том...

Дельфин, вернее — дельфиненок мой мертвый, разлагающийся под крымским солнцем, весь облепленный мухами! Зачем и почему так? Художник Мурад Богаев сказал, что в газете было написано: киты выбрасываются на берег по неизвестным никому причинам, и когда их втаскивают обратно в море, то они снова выбрасываются на сушу и там наконец погибают, что и заставило старого Мурада подозревать у этих млекопитающих чудовищную тягу к самоубийству, небывалую среди никаких животных, зверей, растений и птиц, а имеющуюся только у человека. Но это — кит, а что же дельфин, вернее — дельфиненок? Рок ли злой выгнал его на сушу иль подлая человеческая рука прибила его, я не знаю. Я ищу светлый путь и думаю только о том, что ищу.

Ночью мне не спалось, и я вышел во двор покурить. Немного еще о крымском селении А. Все жители его в основном работают на виноградниках, выращивая сорта «чаус», «шашла», «матраса» и зарабатывая в бригаде от ста до ста пятидесяти рублей при норме сбора триста шестьдесят килограммов и тринадцатой зарплате. Одна из работниц, чей портрет, выполненный масляными красками, висит на стенке Дворца культуры, многогодно перевыполняла норму на много процентов, за что получила от правительства ордена: Ленина, Дружбы народов, «Знак Почета», а от совхоза — машину «Волга» в личное пользование для семьи, которая иногда помогала ей в уборке. Жители селения чрезвычайно приветливы, они всегда угостят вас тушеными кабачками, помидорами, вином, предоставят ночлег. У женщин — волосы крашены хной, и многие имеют золотые зубы. У них замечательные коттеджи на двух хозяев с двухэтажными квартирами и блочные дома с высокими потолками и подсобными помещениями, стоящие среди выжженной крымской земли, усеянной ореховой шелухой и окурками. В поселке есть лечебно-трудовой профилакторий. Там больные алкоголизмом люди лечатся и одновременно работают на виноградниках и винзаводе. Вот так, не приукрашивая, но и не очерняя, описываю я жизнь селения А. Я был в двух или трех домах селян. Квартиры имеют ковры, паласы, клеенки, красивую добротную мебель, магнитофоны с записями В. Высоцкого, А. Пугачевой, В. Токарева,

А. Розенбаума и других певцов. На кухнях, в лоджиях и сараях — запасы на зиму: грецкие и миндальные орехи, закрутки с помидорами, огурцами, перцами, баклажанами, кабачками. Изрядное количество кукурузы в початках и мешках. «Декабрь в наших местах очень жестокий. С моря летят соленые ледяные брызги, по степи задувает ветер, перекатывая ошметки грязи, снега, ковыля, поэтому мы готовы к зиме»,— говорят жители, уверенно глядя в будущее. В селении действует музыкальная школа, и зачастую на улицах можно встретить детей с нотными папками в руках. Вот идет маленькая Маричка, дочка Тамары Д., муж которой работает сезонным фотографом на пляжах Южного берега Крыма, а до этого был мясником. Смешно подрагивают аккуратно заплетенные косички школьницы. «Куда ты идешь, Маричка?» «О, здравствуйте, дядя Женя! Я иду к врачу на прогревание гланд, а потом в школу. Приходите вечером, я вам сыграю на пианино...» Муж Елены Л. шабашит в Херсонской области. Дома у них чисто, уютно. Две дочери семи и восьми лет учат уроки. По телевизору показывают концерт мастеров искусств Каракалпакии. Хозяйка, тридцатилетняя Елена Л., любит поэзию Антонио Мачадо, сопоставляет его с Сергеем Есениным через строчки стихотворения «мальчик такой сопливый стоит ковыряет в носу», знает наизусть много стихов Габриэлы Мистраль и Эдуарда Асадова.

Но дельфин, вернее — дельфиненок! Ах, не спится! Не спится старому ветерану фронтов художественной литературы! Выкурив папиросу «Ялта» (тридцать копеек двадцать штук), я иду по светлой лунной дорожке к морю, и дивно, таинственно дышит уснувшее, наработавшееся за день селение. В домах и хатах разметались во сне хлопцы, девчата, мужики, бабы, дети, командированные, отдыхающие и другие категории людей. В ночном воздухе мерно раскачивается видавший виды фонарь. «Светлый путь»! Ты устремлен прямо на запад, к Черному морю по асфальтобетонной дорожке, искусно выполненной рабочими города Белгорода, за что дирекция селения позволила им выстроить близ моря пятиэтажный дом пансионата, где они и живут дружно, отдыхая, набираясь сил перед грядущей работой, оглашая окрестную тишину звуками южнорусской речи. Но сейчас и они спят, разметавшись. Днем они пили пиво и играли в футбол. Спокойной, мирной ночи и вам, разметавшиеся парни! Пусть доброе небо нашей родины никогда не огласится звуками военного присутствия армий других стран, и тогда все мы будем счастливы, счастливы, счастливы, и, мерцательно дыша, вглядываясь в будущее через полуопущенные ресницы, мы ровно будем двигаться к счастью, счастью, счастью!..

Страшно ночное море при любой погоде! Даже теперь, когда ночная тишь застыла и не шелохнется волна, все кажется, что море — это затаившееся недоброе чудовище, в любую минуту готовое сожрать нас, нашу действительность и наше счастье, все кажется, что вот сейчас, да, именно сейчас оно вдруг оживет, вспенится, и черная волна высотой в сто пятиэтажных домов с ревом кинется на берег и пройдет по громадной карте от Крыма до Чукотки, разрушая все то хорошее и святое, что накопили мы в теле и душе страны за шестьдесят семь лет жизни народа — и ежеминутное счастье наблюдается хотя бы оттого, что этого не происходит и не может произойти никогда. Фосфоресцировали водоросли, лунная дорожка, продолжая асфальтобетонную, вела все дальше и дальше в море, пищали чайки, и я насторожился в темноте.

Ибо н е ч т о показалось мне весьма странным. Шурша песком, я проходил мимо места гибели дельфина, вернее — дельфиненка, и ноздри мои, обретшие в этом благодатном краю чудесную способность различать все, даже самые сложные, запахи вдруг впервые не уловили привычного дневного зловония, и я вдруг остановился в темноте...

...Как громом пораженный, добавил бы я, коли не был бы столь суеверен. Ибо (и я не вру, потому что исключительно ради описания этой правды и взялся за перо),— ибо в эту минуту небеса, расколотые ослепительно яркой, режущей глаза фиолетовой молнией, вдруг разверзлись, и в слепящей, как свет фотовспышки, направленной прямо в глаза, темноте я вдруг увидел все далеко вокруг и во все стороны пространства и времени: залитую мгновенным безжалостным светом всю родную землю, ее тучные поля, ее грибные перелески, луковки храмов, квадратные километры целинных и залежных земель, просторы Мордовии и Чувашии, тянущиеся к небу этажи блочных домов, оленьи пастбища Чукотки, горы Урала и Грузии, высотные здания Москвы, ракеты Байконура, луга, леса, озера и — самое главное: на том месте берега, которое днем вызвало у меня столько печали, стоял аккуратный фанерный обелиск, крашенный зеленой полевой краской, с маленькой красной звездочкой на вершине пирамидки и надписью черными печатными буквами на желтенькой дощечке:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЕЛЬФИН, ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

И — сомкнулись небеса. В наступившей адской темноте вновь слабо мелькнула лунная дорожка, раздался глухой раскат грома, зашуршали сдвигаемые ветром камни, помело пляжный сор, слабо щелкнула ленивая капля, и пошел дождь.

Он лил и на следующий день и в воскресенье. Старые рыбаки сказали мне, что перспектив на хорошую погоду мало, я подумал-подумал да и покинул гостеприимное селение А. совхоза «Светлый путь» Симферопольского района, Крымской области, Украинской ССР навсегда...

БОРИС ЧИЧИБАБИН

★

ПЕЧАЛЬ МОИХ ПОЭМ

***

Куда мне бежать от бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.

Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.

Лишь воздух полуночи — мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чабрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.

Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не помнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гёте
со мной в непробудном родстве.

Чернигов

Воробьи умолкли, прочирикав.
А про что? Наверно, про Чернигов —
монастырский, княжий, крепостной.
С ним и звездам впору целоваться.
Это воздух древнего славянства.
Это наше детство над Десной.

Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
Он стоит, не зная о Батые,
смотрят ввысь холмы его святые,
золотые реют купола.

Это после будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле:
хошь — молись, а хошь — иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.

От земли веселия и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума,—
но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудят пчелиные дома.

Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пишем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.

Я смотрю с холмов на храмы Божьи.
Позабыть бы все, что будет позже,
братний спор, монголов и Москву,—
и любить до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву.

Судакская элегия

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке.
Она любима, но не богоданна.
Алушта, Симеиз, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.

Я шел по следу горестей и кар,
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу
и все кругом — такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

В который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни, мастер на все руки,

он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы в синий Коктебель,
да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови, как сладкую заразу.

О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питьем в какой-нибудь
клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый эдем —
над синим морем розовый шиповник.

***

Кончусь, останусь жив ли,—
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946.

***

Покуда есть охота,
покамест есть друзья,
давайте делать что-то:
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада
и дни как решето,—
но что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь — в одной горсти,
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то
и — черт нас побери —
поставим Дон Кихота
уму в поводыри!

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне,—
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом,—
стихи мои — и те вот
об этом об одном.

За божий свет в ответе
мы все вину несем,—
неужто все на свете
окончится на сем?

Давайте ж делать то́, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

1980.

***

Сколько вы меня терпели!
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.

Дар, что был нежда́н, непрошен,
у меня в крови сиял он,—
как родился, так и прожил
дураком-провинциалом.

Не командовать, не драться,
не учить — помилуй боже,—
водку дул за-ради братства,
книгам радовался больше.

Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас:
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.

Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,—
между родиной и небом.

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.

Сотня строчек обветша́лых —
разве дело, разве радость?
Бог назначил — я вещал их,
дальше — сами разбирайтесь!

СЕРГЕЙ МАРКОВ
(1906—1979)

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Айсоры

Пусть все ушло в пески и хляби,
Зашло за вечный небосклон:
Евфрат, и Тигр, и Хаммураби —
Ассиро-вавилонский сон.

Но были для пытливых взоров
Открыты верные пути;
В Москве прибежище айсоров —
Пылинка в каменной горсти.

Его Москве недоставало!
Презрев порядок и закон,
Стоял у Пресненского вала,
Шумел московский Вавилон...

Потомки древних чародеев
Дышали дымом нищеты,
У хижин сумрачных халдеев
Сидели черные коты.

Здесь жен проигрывали в карты,
Не дрогнув синевой ресниц,
А жены были как Астарты,
С осанкою крылатых львиц!

И о незримой цепи счастья
Мечтал затерянный народ,
Месопотамские запястья
Передавал из рода в род.

Но над убогостью вчерашней,
Сверкающий оконным льдом,
Поднялся Вавилонской башней
Двенадцатиэтажный дом.

Среди строительных отвалов,
В кустах увядшей лебеды
Сапожных щеток и кинжалов —
Неизгладимые следы.

***

Была метель... Караганда...
Буран шумел вокруг,
И я не зря пришел сюда,
В страну колючих вьюг.

В забоях, у подземных скал,
В расщелинах кривых
Своих товарищей искал,
Но их уж нет в живых.

Их нет... Но в мире есть печаль
И гнев тяжелых лет,
Тоска, могучая, как сталь,
И бесконечный свет.

Пусть мертвецы заговорят,
И пусть им внемлет мир,
И миллиарды киловатт
Промчатся сквозь эфир.

1950.

***

Кто в танке подожженном слеп,
Но люка не открыл врагу,
Кто ел окаменевший хлеб
И спал на вяземском снегу,
Тот яростный солдат страны...

1941.

Публикация Г. П. МАРКОВОЙ.

КЕН КИЗИ

★

НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ*

Роман

Две проститутки едут из Портленда, чтобы взять нас на рыбалку! Трудно было долежать в постели до половины седьмого, когда зажгли свет.

Я первым вышел из спальни, чтобы взглянуть на доску объявлений возле поста: правда ли мое имя есть в списке. Наверху большими буквами было напечатано: ЗАПИСАЛИСЬ НА РЫБАЛКУ,— выше стояла роспись Макмёрфи, а первым номером, сразу за ним, шел Билли Биббит. Третьим был Хардинг, четвертым Фредриксон и так до десятого, где фамилии еще не было. Но моя уже была, последняя, против цифры девять. Я в самом деле еду с двумя проститутками на рыбную ловлю — я повторял это про себя снова и снова, потому что не верилось.

Трое санитаров протиснулись вперед меня, прочли список, водя серыми пальцами, дошли до моего имени и с ухмылками обернулись.

— Хе, кто это записал вождя на дурацкую рыбалку? Индейцы писать не умеют.

— А кто тебе сказал, что они читать умеют?

Час был ранний, крахмал в их белых костюмах еще не обмялся, и руки в белых рукавах шуршали, как бумажные крылья. Они смеялись надо мной, а я прикидывался, будто не слышу и даже не понимаю, в чем дело, но когда они сунули мне щетку поработать за них в коридоре, я повернулся и пошел в спальню. Я сказал себе: ну их к черту. Человек идет в море с двумя проститутками из Портленда — как-нибудь обойдемся без этого удовольствия.

Уходить от них было страшновато, раньше я всегда подчинялся их приказам. Я оглянулся и увидел, что они идут за мной со щеткой. Они, наверно, и в спальню бы вошли и меня догнали, если бы не Макмёрфи он там поднял такой шум, так горланил между кроватями, так хлопал полотенцем над людьми, записавшимися на сегодняшнюю рыбалку, что санитары поостереглись входить в спальню — стоит ли рисковать только ради того чтобы кто-то подмел вместо них часть коридора? Мотоциклетная шапочка была сдвинута у Макмёрфи на самый лоб, по-капитански, и наколки, высовывавшиеся из-под рукавов майки, были сделаны в Сингапуре. Он расхаживал по спальне, словно по палубе корабля, и свистел в кулак, как в боцманский свисток.

— Вставать, всем вставать, или я протащу вас под килем от носа до кормы!

Он забарабанил по тумбочке Хардинга костяшками пальцев.

— Шесть склянок, и на палубе порядок. Так держать. Подъем! Отпустите концы и наверх, молодцы.

Он увидел, что я стою у двери, подлетел ко мне и хлопнул по спине, как по барабану.

— Смотрите сюда, на большого вождя — вот настоящий матрос и рыбак: спозаранку на ногах и копает червей для наживки. А вы, сачки и поносники, бе-

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7, 8, 9 с. г.

рите с него пример. Вставать! Сегодня выходим в море! Кончайте давить тюфяки, все наверх!

Острые ворчали на него и на его полотенце, а хроники проснулись и оглядывались, вертя головами, синими от недостатка крови, потому что их слишком туго перетягивают поперек груди простынями, оглядывались, находили меня слабыми водянистыми глазами и смотрели тоскливо и с любопытством. Лежали и смотрели, как я одеваюсь в теплое для рыбалки, а я стеснялся и чувствовал себя немного виноватым. Они соображали, что из хроников берут на рыбалку одного меня. Они наблюдали за мной — старики, за много лет прикипевшие к каталкам, с катетерами, которые тянутся по ноге, как вьюны, и на весь остаток жизни приростили их к месту,— они наблюдали за мной и чутьем понимали, что я еду. И даже немного завидовали, что не они, а я. Почуять они могли потому, что человеческое в них сильно притухло, и вперед вышел старый животный инстинкт (старые хроники просыпаются по ночам, когда еще никто не знает, что один из нас умер, и воют, закинув головы), а завидовать еще могут потому, что человек в них не совсем кончился и они его помнят в себе.

Макмёрфи вышел взглянуть на список, вернулся и стал зазывать еще когонибудь из острых с нами, ходил, пинал кровати, где еще лежали, зарывшись с головой, расписывал, как это замечательно — ринуться буре прямо в пасть, в седое море, черт его дери, ио-хо-хо и бутылка рома.

— Давайте, лодыри, мне нужен еще матрос в команду, мне нужен еще один доброволец, черт бы вас взял...

Но уговорить никого не мог. Старшая сестра всех напугала своими историями о том, какое бурное сейчас море и сколько утонуло лодок, и похоже было, что последнего члена команды мы так и не найдем, но получасом позже, когда мы ждали открытия столовой, к Макмёрфи в очереди подошел Джордж Соренсен.

Длинный, мосластый, беззубый старый швед, помешанный на чистоте,— санитары прозвали его Джордж Рукомойник — шел по коридору, шаркая ногами и отклонившись далеко назад, так что ноги шли впереди головы (откидывается назад, чтобы лицо было подальше от того, с кем говорит), остановился перед Макмёрфи и пробормотал что-то себе в руку. Джордж был очень застенчивый. Глаз его не было видно потому, что они сидели очень глубоко в черепе, а почти все остальные части лица он закрывал большой ладонью. Тело у него было похоже на мачту, а на верхушке, как воронье гнездо, раскачивалась голова. Он бурчал себе в руку, пока Макмёрфи не отвел ее, чтобы расслышать слова.

— Ну так что ты говоришь, Джордж?

— Черви,— говорил он.— Толк от них вряд ли будет — за чавычей идете.

— Ну? — сказал Макмёрфи.— Черви? Я, может, согласился бы с тобой, Джордж, если бы ты меня вразумил, про каких червей толкуешь.

— Я слышал, ты сказал тут, мистер Бромден копает червей для наживки.

— Да, дед, вспоминаю.

— Вот я и говорю: с червями вам удачи не будет. Как раз в этот месяц чавыча нерестится... ага. Вам сельдь нужна. Ага. Наловите селедок, ими наживите, тогда у вас будет удача.— Каждую фразу он произносил неуверенно, будто спрашивал: будет удача? Длинный подбородок его, с утра уже надраенный так, что кожа слезала, кивнул раза два, а потом повернул Джорджа кругом и повел по коридору к хвосту очереди.

Макмёрфи окликнул его:

— Ну-ка постой, Джордж, ты так говоришь, как будто смыслишь в рыбной ловле.

Джордж повернулся и зашаркал обратно к Макмёрфи с таким дифферентом на корму, что казалось — ноги прямо уплывают из-под него.

— А как же. Двадцать пять лет ходил за чавычей, от бухты Хаф Мун до самого пролива Пьюджит. Двадцать пять лет рыбачил.. и вот каким стал грязным.— Он протянул руки, показывая нам грязь. Все наклонились и поглядели. Грязи я не увидел, зато увидел на белых ладонях шрамы, нарезанные тысячами километров рыболовных снастей. Он дал нам посмотреть с минуту, потом сжал руки в кулаки, убрал их, спрятал в карманы куртки, словно мы могли запачкать их взглядом, и улыбнулся Макмёрфи, показав десны, бледные, как выбеленная в рассоле ветчина.

— У меня была хорошая лодка, всего тринадцать метров, но с осадкой четыре метра, целиком из дуба и тика.— Он качался взад-вперед, прямо не верилось, что пол под ним лежит ровно.— Хороша была лодка, ей-богу!

Он хотел уйти, но Макмёрфи опять остановил его:

— Черт, что же ты молчишь, что был рыбаком? Я тут разоряюсь, строю из себя морского волка, но, по секрету, между нами двоими и этой стенкой, ни на одном корабле я не был, кроме линкора «Миссури», и про рыбу одно знаю: что есть ее лучше, чем чистить.

— Чистить легко, когда правильно научат.

— Нет, ты будешь нашим капитаном, Джордж, а мы твоей командой.

Джордж отклонился назад, мотая головой.

— Эти лодки сделались ужасно грязные... в с е ужасно грязное.

— Плюнь на это. У нас лодка специально стерилизованная, от бака до юта, отшвабрена добела, как собачий зуб. Ты не испачкаешься, Джордж, ты капитаном будешь. Даже крючка наживлять не придется; будешь капитаном, будешь командовать нами, сухопутными крысами,— ну что, тебе это улыбается?

По тому, как Джордж мял себе руки под рубашкой, я понял, что его ввели в большой соблазн, но все-таки он сказал: нет, там опасно — испачкаешься. Макмёрфи уламывал его как мог, а Джордж все мотал головой, и в это время в замок столовой воткнулся ключ, из двери, звякая, вышла старшая сестра со своей корзинкой гостинцев и защелкала по нашей очереди автоматической улыбкой — с добрым утром — каждому по штуке. Макмёрфи заметил, как Джордж откачнулся от нее и насупился. Когда она прошла, Макмёрфи склонил голову к плечу и лукавым глазом взглянул на Джорджа.

— Джордж, а что там сестра говорила насчет волнения на море — это правда, что нам очень опасно ехать?

— Океан может ужасно разгуляться, да, ужасно разойтись.

Макмёрфи поглядел вслед сестре, которая как раз входила в стекляшку, потом опять на Джорджа. Джордж выкручивал себе руки под рубашкой пуще прежнего и оглядывался на людей, молча наблюдавших за ним.

— Ей-богу! — вдруг сказал он.— Думаешь, она меня напугала своими историями? Так думаешь?

— Да нет, наверно. Только я подумал, Джордж, что если ты с нами не пойдешь, а мы на самом деле угодим в какой-то страшный шторм, мы все до одного погибнем в море, понятно? Я тебе сказал: про море ничего не знаю — а теперь еще кое-что скажу: вот две женщины приедут за нами, слышал? Я сказал доктору, что они мои тетки, рыбацкие вдовы. Так вот, если они где и плавали, то только по асфальту. Коснись какое дело, толку от них не больше, чем от меня. Ты нам нужен, Джордж.— Он затянулся сигаретой и спросил: — Между прочим, десятка у тебя найдется?

Джордж помотал головой.

— Нет — так я и знал. Ладно, шут с ним, разбогатеть я уже давно не надеюсь. Вот.— Он вынул из кармана зеленой куртки карандаш, чисто вытер его подолом рубашки и протянул Джорджу.— Будешь нашим капитаном, возьмем тебя за пять долларов.

Джордж снова оглянулся на нас, морща высокий лоб от такого затруднения. Потом вымоченные десны обнажились в улыбке, и он взял карандаш.

— Ей-богу! — сказал он и пошел с карандашом записываться на последней пустой цифре.

После завтрака, проходя по коридору, Макмёрфи остановился у доски и печатными буквами написал после фамилии Джорджа: КАП.

Проститутки запаздывали. Все уже думали, что они не приедут совсем, как вдруг Макмёрфи закричал у окна, и мы побежали смотреть. Он сказал, что это они, но увидели мы не две машины, как рассчитывали, а только одну и всего одну женщину. Когда она остановила машину, Макмёрфи окликнул ее через сетку, и она прямиком через газон пошла к нашему отделению.

Она оказалась моложе и красивее, чем мы думали. Все уже знали, что приедут не тетки, а проститутки, и ожидали самого разного. Кое-кто из религиозных не особенно радовался. Но увидя, как она идет легкой походкой по траве, и глаза

ее, зеленые до самых наших окон, и скрученные на затылке волосы, которые вздрагивали при каждом шаге, словно медные пружины на солнце, все мы только об одном уже могли думать: что она женщина и не одета в белое с головы до ног, будто ее обваляли в инее, а чем она зарабатывает — не важно.

Девушка подбежала прямо к окну, где стоял Макмёрфи, схватилась за сетку и прижалась к ней. Она тяжело дышала от бега, и при каждом вздохе казалось, что она прорвет сетку грудью. Она прослезилась.

— Макмёрфи, черт такой, Макмёрфи...

— Погоди с этим. Где Сандра?

— Она застряла, не смогла вырваться. А ты-то, черт, ты как?

— Застряла!

— Правду сказать...— девушка вытерла нос и хихикнула,— наша Сэнди замуж вышла. Помнишь Арти Гилфилиана из Бивертона? Еще всегда выпендривался на вечеринках: то ужа принесет в кармане, то белую мышь, то еще кого-нибудь. Настоящий псих...

— Вот так номер! — застонал Макмёрфи.— Кэнди, детка, как я запихну десять человек в один паршивый «фордик»? Что же Сандра и этот ужик из Бивертона думали, «форд» резиновый?

У девушки сделалось такое лицо, как будто она обдумывает ответ, но в это время щелкнул громкоговоритель в потолке и голосом старшей сестры сказал Макмёрфи, что если он хочет поговорить со своей приятельницей, пусть она, как положено, пройдет через главный вход, а не беспокоит всю больницу. Девушка отошла от окна и заторопилась ко входу; Макмёрфи тоже отошел от окна, плюхнулся в кресло в углу, свесил голову.

— Тьфу ты ну ты,— сказал он.

Маленький санитар впустил девушку в отделение и забыл запереть за ней дверь (после наверняка получил нагоняй), а девушка упругой походкой пошла по коридору мимо поста, где все сестры попытались заморозить ее упругость объединенным ледяным взглядом, и вошла в дневную комнату — всего на несколько шагов впереди доктора. Он шел к посту с какими-то бумагами, поглядел на нее, потом опять на бумаги, опять на нее — и обеими руками стал искать в карманах очки.

Она остановилась посреди комнаты, со всех сторон на нее уставились мужчины в зеленом, и стало так тихо, что можно было услышать, как ворчат животы и журчат у хроников катетеры.

Пока девушка искала взглядом Макмёрфи, прошла добрая минута, и все успели хорошенько ее рассмотреть. Над ее головой под потолком висел голубой дым: видно, когда она ворвалась сюда, во всем отделении перегорела аппаратура — попыталась подстроиться, замерила электронными датчиками, вычислила, что справиться с таким не может, и просто сгорела, покончила с собой.

На девушке была белая майка, как на Макмёрфи, только гораздо меньше, белые теннисные туфли, джинсы, обрезанные выше колен, чтобы кровь в ногах не застаивалась,— словом, для города материи маловато, учитывая, что под ней приходилось прятать. Наверно, ее видели гораздо больше мужчин и гораздо меньше одетой, но тут она застеснялась, как школьница на сцене. Все смотрели и все молчали. Мартини, правда, шепнул, что можно разглядеть года на монетах в карманах ее штанов, такие они тугие, но он стоял ближе, и ему было виднее.

Раньше всех высказался вслух Билли Биббит — но не словом, а низким, почти горестным свистом, и лучше описать ее внешность никому бы не удалось. Она засмеялась и сказала ему: «Большое спасибо»,— а он так покраснел, что она покраснела вместе с ним и снова засмеялась. Тут все ожили. Острые подходили к ней и пытались заговорить все вместе. Доктор дергал за подол Хардинга и спрашивал, кто она такая. Макмёрфи встал из кресла, прошел к ней сквозь толпу, а она, когда увидела его, бросилась к нему на шею и сказала «Макмёрфи, черт такой!» — потом смутилась и опять покраснела. Когда она краснела, ей можно было дать лет шестнадцать или семнадцать, не больше, честное слово.

Макмёрфи перезнакомил ее со всеми, и она каждому подавала руку. Когда дошла до Билли, еще раз поблагодарила его за свист. Из поста с улыбкой выскользнула старшая сестра и спросила Макмёрфи, как он собирается поместить всех десятерых в одну машину, а он спросил, нельзя ли ему одолжить больничную машину и самому отвезти половину команды, но сестра, как мы и думали,

сослалась на какой-то запрет. Она сказала, что если нет второго водителя, который распишется за нас на отпускном листе, половина людей должна остаться. Макмёрфи сказал, что это встанет ему в полсотни — придется вернуть деньги тем, кто не поехал.

— В таком случае,— сказала сестра,— может быть, вообще отменить поездку и вернуть все деньги?

— Я уже арендовал катер; мои семьдесят долларов у него уже в кармане!

— Семьдесят долларов? Вот как, мистер Макмёрфи? Кажется, вы сказали пациентам, что вам надо собрать на поездку сто долларов, помимо десяти ваших.

— А на заправку машин туда и обратно?

— Но тридцать долларов на это не уйдет, правда?

Она ласково улыбнулась ему и ждала ответа. Он вскинул руки, поднял глаза к потолку.

— Да, вы своего шанса не упустите, госпожа следовательница. Правильно — что осталось, взял себе. Думаю, наши на другое и не рассчитывали. Я решил немного вознаградить себя за хлопоты...

— Но план ваш не удался,— сказала она. Она еще улыбалась ему с большим сочувствием.— Не все ваши маленькие финансовые спекуляции должны удаваться, Рэндл, и вообще я считаю, что вам и так слишком долго везло.— Она как бы задумалась об этом, и я понял, что мы еще услышим продолжение.— Да, каждый из острых больных в нашем отделении дал вам долговую расписку в то или иное время по случаю того или иного вашего «предприятия», и не кажется ли вам, что одна небольшая неудача вас не разорит?

Тут она замолчала. Она увидела, что Макмёрфи перестал ее слушать. Он наблюдал за доктором. А доктор уставился на майку девушки так, словно забыл обо всем на свете. Когда Макмёрфи увидел доктора в таком столбняке, лицо его расплылось улыбкой, он сдвинул шапочку на затылок, подошел к доктору сбоку, положил ему руку на плечо, и доктор вздрогнул от неожиданности.

— Доктор Спайви, вы когда-нибудь видели, как чавыча заглатывает крючок? Ничего свирепей на всех четырех океанах не увидишь. Кэнди, детка, ты бы рассказала нашему доктору о рыбной ловле и об остальном...

Вдвоем они обработали доктора за какую-нибудь минуту, он тут же запер кабинет и вернулся к нам, запихивая в портфель бумаги.

— Бумагами я вполне могу заняться на лодке,— объяснил он сестре и прошел мимо нее так быстро, что она не успела ответить; за ним проследовала наша команда, но медленнее, и каждый ухмылялся ей, минуя дверь поста.

Те, кто не ехал на рыбалку, собрались у дверей дневной комнаты и говорили нам, чтобы нечищеную рыбу мы не приносили, а Эллис оторвал руки от гвоздей в стене, попрощался за руку с Билли Биббитом и велел ему быть ловцом человеков.

А Билли, наблюдая, как подмигивают ему медные заклепки на джинсах девушки, пока она выходила из дневной комнаты, сказал Эллису, что человеков пусть ловит кто-нибудь другой. Он нагнал нас в дверях, маленький санитар отпер нам и запер за нами, и мы очутились на воле.

Солнце пробивалось сквозь облака и красило кирпичи на фасаде в розовый цвет. Слабый ветерок спиливал оставшиеся листья на дубах и складывал стопками под проволочным забором. На него изредка садились коричневые птички; когда ветер бросал пригоршню листьев на забор, птички улетали с ветром. Сперва даже казалось, что листья ударяются о забор, превращаются в птиц и улетают.

Был чудесный осенний день с лиственным дымком, стучали футбольные мячи у мальчишек, жужжали маленькие самолеты, и казалось, только оттого, что ты здесь, на воле, всякий должен быть счастлив. Но доктор пошел за машиной, а мы сбились в кучку и стояли, ни слова не говоря, руки в карманах. Кучкой, ни слова не говоря, наблюдали за горожанами, которые ехали на работу в своих машинах и сбавляли ход, чтобы поглазеть на сумасшедших в зеленом. Макмёрфи заметил, что нам не по себе, попробовал развеселить нас, стал шутить, дразнить девушку, но от этого почему-то стало еще хуже. Каждый думал, как просто было бы вернуться в отделение, сказать, что сестра все-таки права: ветер сильный, и, наверно, волна разгулялась.

Доктор подогнал машину, мы погрузились и поехали: я, Джордж, Хардинг и Билли Биббит — с Макмёрфи и девушкой Кэнди, а Фредриксон, Сефелт, Сканлон, Мартини, Тейдем и Грегори — в машине доктора. Все словно воды в рот набрали. Километра через полтора мы остановились у заправки, доктор тоже. Он вылез первый, заправщик выскочил ему навстречу, улыбаясь и вытирая руки гряпкой. Потом перестал улыбаться, прошел мимо доктора посмотреть, кто же это такие в машинах. Не переставая вытирать руки масляной тряпкой, нахмурился и дал задний ход. Доктор нервно схватил его за рукав, вынул десятку и впихнул ему между ладоней, словно помидорную рассаду.

— Будьте так любезны, заправьте обе машины обыкновенным,— попросил доктор. Видно было, что ему так же неуютно за оградой больницы, как нам.— Будьте добры.

— Эти в форме,— сказал заправщик.— они из больницы у шоссе? — Он оглядывался, нет ли где гаечного ключа или еще чего-нибудь подходящего. В конце концов он отошел к штабелю пустых бутылок из-под содовой.— Вы из сумасшедшего дома.

Доктор порылся, нашел очки и тоже посмотрел на нас, словно только что заметил зеленые костюмы.

— Да. То есть нет. Мы оттуда, но это бригада рабочих, а не больные. Бригада рабочих.

Заправщик прищурился на доктора, на нас и ушел шептаться с напарником, который стоял у колонок. Они поговорили с минуту, потом второй окликнул доктора и спросил, кто мы такие; доктор повторил, что мы бригада рабочих, и оба заправщика рассмеялись. Я понял по их смеху, что они решили продать нам бензин — наверно, он будет слабый, и грязный, и разбавленный водой и заломят двойную цену,— но от этого мне веселее не стало. И я видел, что остальным тоже погано. А от докторского вранья нам стало совсем тошно — не так даже от вранья, как от правды.

Второй с ухмылкой подошел к доктору.

— Вы сказали, вам экстру, сэр? Сейчас. А не проверить ли нам масляные фильтры и дворники? — Он был выше своего приятеля. Он наклонился к доктору, как будто говорил с ним по секрету.— Верите или нет: по статистике восемьдесят восемь процентов машин на дороге нуждаются в новых масляных фильтрах и дворниках.

Улыбка у него была угольная, оттого что много лет вывинчивал свечи зажигания зубами. Доктор ежился от этой улыбки, а заправщик все стоял, наклонившись над ним, и ждал, когда он признает, что загнан в угол.

— А как ваша бригада обеспечена темными очками? У нас есть хорошие «поляроиды».

Доктор понял, что он у них в лапах. Но когда он уже готов был сдаться и открыл рот, чтобы сказать, да, все возьмем, раздалось жужжание и верх нашей машины начал складываться. Макмёрфи терзал и проклинал матерчатую гармошку, пытаясь сложить ее быстрее, чем хотел механизм. По тому, как он рвал и бил медленно уходящий верх, видно было, что он в бешенстве; изругав гармошку на чем свет стоит, забив и затолкав ее на место, он вылез из машины прямо через девушку и через борт, встал между доктором и заправщиком и одним глазом заглянул в черный рот.

— Ты, слушай сюда, мы возьмем обыкновенный, как доктор сказал. Обыкновенный, в оба бака. Все. Остальную дребедень — к черту. И возьмем его с трехцентовой скидкой, потому что экспедиция наша — от правительства, едрена вошь.

Заправщик не поддался.

— Ну? Мне послышалось, профессор сказал, что вы не пациенты?

— Ты что, не допер, дорогой, это он просто по доброте, пожалел вас пугать. Если бы мы были простые пациенты, док так бы и сказал, но мы тут не просто сумасшедшие, все до одного — из палаты невменяемых преступников, едем в Сан-Квентин, там нас могут разместить надежнее. Видишь вон конопатого паренька? Можно подумать, мальчик с журнальной обложки, а он маньяк-мокрушник, троих замочил. А рядом с ним — зовется у нас пахан-дурак, не знаешь, что выкинет, прямо дикий кабан. Большого вон видишь? Индеец, убил шестерых

белых черенком кирки, хотели обсчитать его, когда покупали ондатровые шкуры. Встань покажись, вождь.

Хардинг ткнул меня пальцем в ребра, и я встал в машине. Заправщик сделал из ладони козырек, поглядел на меня и ничего не сказал.

— Компания опасная, не спорю,— сказал Макмёрфи,— но это законная, утвержденная, запланированная и организованная свыше экскурсия, нам положена законная скидка, все равно как если бы мы были из ФБР.

Заправщик смотрел на Макмёрфи, а Макмёрфи зацепил большими пальцами карманы, откачнулся на пятках и смотрел на него поверх шрама. Тот обернулся — на месте ли его приятель,— потом ухмыльнулся в лицо Макмёрфи.

— Так говоришь, рыжий, опасные ребята? А вы, мол, не кобеньтесь, делайте что велят? Скажи мне, рыжий, ты-то там за что? На президента покушался?

— Вот этого, браток, доказать не смогли. На ерунде залетел. Убил одного на ринге, соображаешь? А потом вроде во вкус вошел.

— А, так ты этот, про которых пишут: убийцы в боксерских перчатках — да, рыжий?

— Разве я это сказал? Не, я к вашим подушечкам так и не смог привыкнуть. Не, это по телевизору из дворца не передавали; я больше по задворкам боксирую.

Заправщик передразнил Макмёрфи, зацепил большими пальцами карманы.

— Базаришь ты больше по задворкам, понял?

— А разве я сказал, что не могу побазарить? Но ты вот куда посмотри.— Он поднес руки к лицу заправщика, близко-близко, и медленно поворачивал их то ладонью, то костяшками.— Ты видал когда, чтобы бедные грабки так поранились от базара? Видал, браток?

Он долго держал руки перед лицом заправщика и ждал, что еще тот скажет. Тот посмотрел на руки, на меня, снова на руки. Когда стало ясно, что ничего срочного он сказать не хочет, Макмёрфи отошел к его приятелю, прислонившемуся к холодильнику для газированной воды, двумя пальцами вынул у него из руки докторскую десятку и направился к соседнему продовольственному магазину.

— Вы тут посчитайте за бензин, а счет пришлите в больницу,— крикнул он через плечо.— А на эти деньги я куплю чего-нибудь освежающего для людей. Пойдет вместо дворников и восьмидесятивосьмипроцентных масляных фильтров.

К тому времени, когда он вернулся, все были полны задора, как бойцовые петухи, и выкрикивали приказы заправщикам — проверь давление в запасном колесе, протри окна, будь добр, соскобли птичий помет с капота,— туркали их почем зря. Высокий заправщик не угодил Билли Биббиту, протирая ветровое стекло, и Билли сразу позвал его обратно.

— Ты не вытер это м-место, где м-муха разбилась.

— Это не муха,— угрюмо ответил тот, скребя ногтем по стеклу,— это от птицы.

Мартини из другой машины закричал, что это не может быть птица.

— Если бы птица, тут были бы перья и кости.

Какой-то велосипедист остановился и спросил, почему все в зеленой форме — клуб, что ли? Тут высунулся Хардинг.

— Нет, мой друг. Мы сумасшедшие из больницы на шоссе, из психокерамической, треснутые котелки человечества. Желаете проверить меня на тесте Роршаха? Нет? Вы торопитесь? Ах, уехал. Жаль.— Он повернулся к Макмёрфи.— Никогда не думал, что душевная болезнь придает субъекту некое могущество — могущество! Подумать только: неужели чем безумнее человек, тем он может быть могущественнее? Пример — Гитлер. И красота с ума нас сводит. Есть над чем задуматься.

Билли открыл для девушки банку с пивом и так разволновался от ее веселой улыбки и «спасибо, Билли», что стал открывать банки всем подряд.

А голуби кипятились на тротуаре и расхаживали взад и вперед, заложив руки за спину.

Я сидел в машине, чувствовал себя здоровым и свежим, попивал пиво: мне было слышно, как оно проходит внутрь — зззт, зззт,— так примерно. Я уже за-

был, что бывают на свете хорошие звуки и хороший вкус вроде вкуса и звука пива, когда оно проходит тебе внутрь. Я снова сделал большой глоток и стал озираться — что еще забылось за двадцать лет?

— Ребята! — сказал Макмёрфи, вытолкнув девушку из-за руля и притиснув к Билли. — Вы только поглядите, как большой вождь глушит огненную воду! — И рванул с места, сразу в гущу движения, а доктор с визгом шин помчался за ним.

Он показал нам, чего можно добиться даже небольшой смелостью и куражом, и мы решили, что он уже научил нас ими пользоваться. Всю дорогу до самого берега мы играли в смелость. Перед светофорами, когда люди начинали разглядывать нас и наши зеленые костюмы, мы вели себя в точности как он: сидели прямые, сильные, суровые и с широкой улыбкой смотрели им прямо в глаза, так что у них глохли моторы и слепли от солнца окна, и, когда зажигался зеленый свет, они продолжали стоять в сильном расстройстве оттого, что рядом ватага страшных обезьян, а на помощь звать некого.

И мы, двенадцать, во главе с Макмёрфи ехали к океану.

Макмёрфи, наверно, лучше всех понимал, что кураж у нас напускной — ему до сих пор не удалось никого рассмешить. Может быть, он не понимал, почему мы еще не хотим смеяться, но понимал, что по-настоящему сильным до тех пор не будешь, пока не научишься видеть во всем смешную сторону. И, между прочим, он так старался показать нам смешную сторону вещей, что я даже засомневался: а видит ли он вообще другую сторону, может ли понять, что это такое — обугленный смех у тебя в сердцевине? Может быть, и остальные не могли этого понять, а только чувствовали давление разных лучей и частот, которые бьют в тебя со всех сторон, гнут и толкают то туда, то сюда, чувствовали работу Комбината — я же ее в и д е л.

Перемену в человеке замечаешь после разлуки, а если видишься с ним все время, изо дня в день, не заметишь, потому что меняется он постепенно. По всему побережью я замечал признаки того, чего добился Комбинат, пока меня тут не было,— такие, например, вещи: на станции остановился поезд и отложил цепочку взрослых мужчин в зеркально одинаковых костюмах и штампованных шляпах, отложил, как выводок одинаковых насекомых, полуживых созданий, которые высыпались — фт-фт-фт — из последнего вагона, а потом загудел своим электрическим гудком и двинулся дальше по испорченной земле, чтобы отложить где-то еще один выводок.

Или, к примеру, в пригороде на холмах пять тысяч одинаковых домов, отшлепанных машиной,— прямо с фабрики, такие свеженькие, что еще сцеплены, как сосиски, и объявление: ЮЖНЫЙ УЮТ — ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА, а ниже домов, за проволочной изгородью спортивная площадка и другая вывеска: МУЖСКАЯ ШКОЛА СВ. ЛУКИ — там пять тысяч ребят в зеленых вельветовых брюках, белых рубашках и зеленых пуловерах играют в «хлыст» на гектаре гравия. Цепочка ребят извивалась и гнулась на бегу, как змея стегала хвостом, и при каждом взмахе последний маленький мальчик отлетал к изгороди, словно клубок шерсти. При каждом взмахе. И всегда один и тот же маленький мальчик, снова и снова.

Все эти пять тысяч ребят жили в пяти тысячах домов, где хозяевами были мужчины, сошедшие с поезда. Дома были такие одинаковые, что ребята то и дело попадали по ошибке не в свой дом и не в свою семью. Никто ничего не замечал. Они ужинали и ложились спать. Узнавали только маленького мальчика, который бегал последним. Он всегда приходил такой исцарапанный и побитый, что в нем сразу узнавали чужого. Он тоже был зажат, не мог рассмеяться. Трудно рассмеяться, когда чувствуешь давление лучей, исходящих от каждой новой машины на улице, от каждого нового дома на твоем пути.

— Мы можем даже оказывать давление на конгресс,— говорил Хардинг,— создадим организацию. Национальная ассоциация душевнобольных. Группы толкачей. Большие афиши на шоссе с изображением губошлепа-шизофреника за рычагами стенобитной машины, и крупно, зелеными и красными буквами: НАНИМАЙТЕ БЕЗУМНЫХ. У нас радужные перспективы, господа.

Мы проехали по мосту через Сиуслоу. В воздухе висела водяная пыль, и, высунув язык, я мог почувствовать океан на вкус раньше, чем увидел его глазами. Все знали, что мы уже недалеко, и молчали до самой пристани.

У капитана, который должен был взять нас в море, лысая серая металлическая голова сидела на черном свитере с высоким воротом, как орудийная башня на подводной лодке; он обвел нас дулом потухшей сигары. Он стоял рядом с Макмёрфи на деревянном причале и, говоря с нами, смотрел в море. Позади него и на несколько ступенек выше, на скамье перед магазинчиком, где продавалась наживка, сидели человек шесть или восемь в штормовках. Капитан говорил громко — и для бездельников с той стороны и для Макмёрфи с этой, стреляя своим томпаковым голосом куда-то посередине.

— Не желаю знать. Специально предупредил вас в письме. У вас нет документа, утверждающего мои полномочия, и я в море не пойду.— Орудийная голова вращалась на свитере, целясь в нас сигарой.— Только поглядите. Такая компания в море — да вы можете попрыгать за борт, как крысы. Родственники подадут на меня в суд, разденут до нитки. Я не пойду на такой риск.

Макмёрфи объяснил, что документы должна была выправить в Портленде другая девушка.

Один из бездельников на скамье крикнул:

— Какая другая? А блондиночка не сможет со всеми управиться?

Макмёрфи и ухом не повел, продолжал спорить с капитаном, а девушку эти слова задели. Бездельники противно поглядывали на нее и шептали друг другу на ухо. Это видела вся наша команда, даже доктор, и нам было стыдно, что мы ничего не делаем. Мы уже не были задиристой ватагой, как на заправочной станции.

Макмёрфи понял, что не уломает капитана, и перестал спорить; он оглянулся раз-другой, ероша волосы.

— Какой катер мы наняли?

— Вот этот вот. «Жаворонка». Ни один из вас не ступит на палубу, пока не получу подписанную бумагу о моих полномочиях. Ни один человек.

— Я не для того нанимаю катер, чтобы сидеть весь день и смотреть, как он болтается у причала,— сказал Макмёрфи.— Есть у вас в лавке телефон? Пошли провентилируем это дело.

Они затопали вверх по ступенькам и вошли в магазин, а мы остались одни, кучкой, против лодырей, которые разглядывали нас, делали замечания, ржали и пихали друг друга в бок. Ветер водил лодки у причалов, гер их носами о мокрые автомобильные скаты на пирсе с таким звуком, как будто они смеялись над нами. Вода хихикала под досками, вывеска на двери магазинчика «Морское обслуживание — влад. капт. Блок» скрипела и пищала на ржавых крючьях. Ракушки, облепившие сваи на метр над водой, до уровня прилива, свистели и щелкали на солнце.

Ветер стал холодным, пронизывающим; Билли Биббит снял зеленую куртку, отдал девушке, и она надела ее поверх своей тонкой майки.

Один лодырь все время звал ее сверху:

— Эй, блондиночка, любишь малохольных? — Губы у него были цвета почек, а подглазья, где ветер размял прожилки по поверхности, свекольного цвета.— Эй, блондиночка — снова и снова звал он пронзительным усталым голосом,— эй, блондиночка... эй, блондиночка... эй, блондиночка... эй, ты, блондиночка...

Мы еще теснее сбились на ветру.

— Скажи, блондиночка, тебя-то за что упекли?

— Ее не упекли, Перс, она у них для лечения!

— Он правду говорит, блондиночка? Тебя для лечения наняли? Эй, блондиночка!

Она подняла голову и спросила взглядом, где же ваша лихая ватага, почему за меня не заступитесь. Никто не смотрел ей в глаза. Вся наша лихая сила только что ушла по ступенькам, обняв за плечи лысого капитана.

Она подняла воротник куртки, обняла себя за локти и отошла от нас по причалу как можно дальше. Никто за ней не двинулся. Билли Биббит поежился от холода и закусил губу.

Лодыри на скамейке опять перешепнулись и загоготали.

— Спроси ее, Перс, ну.

— Эй, блондиночка, а ты их заставила подписать документ о твоих полномочиях? Я слышал, если кто из людей на борту упадет и утонет, родственники могут подать в суд. Об этом ты подумала? Может, с нами останешься?

— Давай, блондиночка, мои родственники в суд не подадут. Обещаю. Оставайся с нами, блондиночка.

Мне почудилось, что ноги у меня промокают — причал от стыда тонет в заливе. Мы не годимся для того, чтобы быть среди людей Мне захотелось, чтобы пришел Макмёрфи, обложил как следует этих лодырей и отвез нас назад, туда, где нам место.

С почечными губами закрыл свой нож, встал и отряхнул с колен стружки. Он пошел к лесенке.

— Давай, блондиночка, чего ты возишься с этими лбами?

У края причала она обернулась, посмотрела на него, потом на нас, и видно было, что она обдумывает его предложение, но тут дверь магазинчика распахнулась, вышел Макмёрфи и, чуть не растолкав компанию у скамейки, стал спускаться.

— Грузитесь, команда, все улажено! Баки заправлены, наживка и пиво на борту.

Он шлепнул Билли по заду, исполнил короткий матросский танец и принялся отвязывать канаты.

— Капитан Блок еще звонит по телефону, но как только выйдет, мы отвалим. Джордж, давай-ка попробуем запустить мотор. Сканлон, вы с Хардингом отвяжите тот канат. Кэнди! Что ты там делаешь? Давай сюда, детка, мы отчаливаем.

Мы ввалились на катер, обрадовавшись, что можем наконец уйти от лодырей, стоявших рядком перед магазином. Билли взял девушку за руку и помог перейти на катер. Джордж мурлыкал над приборной доской на мостике, указывал Макмёрфи, какую кнопку нажать, какую ручку повернуть.

— Ага, эти тошнильные катера, тошнилки у нас называются,— сказал он Макмёрфи,— они простые в управлении, как автомобиль.

Доктор замешкался перед тем, как подняться на борт, и поглядел в сторону магазина, где лодыри уже толпились перед лесенкой.

— Вы не думаете, Рэндл, что нам лучше подождать... пока капитан...

Макмёрфи схватил его за лацканы и поднял с пристани прямо на катер, как маленького мальчика.

— Ага, док,— сказал он,— подождем, пока капитан, ч т о? — Он говорил взволнованно и нервно, а тут начал смеяться, как пьяный.— Подождем, пока капитан выйдет и скажет, что телефон я ему дал ночлежки в Портленде? Как же. Джордж, черт тебя дери, принимайся за дело, вывози нас отсюда! Сефелт! Отвяжи конец и лезь сюда. Джордж, поехали.

Мотор зачухал и смолк, снова зачухал, словно прочищал горло, потом взревел на полном газу.

— Ого-го! Поехала. Подбрось в топку, Джордж! Всей команде приготовиться отбивать абордажников!

Белая струя воды и дыма закипела за кормой, дверь магазинчика с грохотом распахнулась, капитанская голова вылетела оттуда и понеслась вниз по ступенькам так, как будто тащила за собой не только его тело, но и тела восьми бездельников. Они с грохотом пробежали по настилу и остановились в языке пены, лизнувшем причал, когда Джордж круто повернул катер в открытое море.

От неожиданного поворота Кэнди упала на колени, а Билли помогал ей встать и одновременно извинялся за то, как мы вели себя на берегу. Макмёрфи спустился с мостика и спросил, не хотят ли они побыть вдвоем, вспомнить былое, и Кэнди посмотрела на Билли, а он сумел только помотать головой и заикнуться. Макмёрфи сказал, что в таком случае они с Кэнди спустятся вниз проверить, нет ли течи, а мы тут пока обойдемся. Он встал в дверях кабины, отдал честь, подмигнул и назначил Джорджа капитаном, а Хардинга первым помощником; потом сказал: «Продолжайте» — и вслед за девушкой скрылся в кабине.

Ветер улегся, солнце поднялось выше и никелировало восточные склоны

длинных зеленых волн. Джордж вел катер полным ходом в открытое море, причал и магазинчик для наживки уплывали все дальше и дальше назад. Когда мы миновали оконечность мола и последний черный камень, я почувствовал, что на меня сходит громадный покой, и чем дальше уплывала от нас земля, тем глубже становился покой.

Несколько минут все взволнованно обсуждали похищение катера, но теперь притихли. Дверь кабины один раз приоткрылась, и рука вытолкнула наружу ящик пива; Билли нашел в снастях открывалку и открыл каждому по одной. Мы пили и смотрели, как земля за кормой погружается в море.

Примерно через милю Джордж сбавил ход до малого рыболовного, как он его назвал, и отправил четверых к четырем удилищам на корме, а мы, остальные, сняв рубашки, разлеглись на солнышке — кто на крыше каюты, кто на носу — и наблюдали, как те налаживают удочки. Хардинг объявил правило: удишь до первой поклевки, потом отдаешь удочку другому. Джордж стоял за штурвалом, щурился в заросшее солью ветровое стекло и выкрикивал указания, как обращаться с катушками и лесками, как наживлять селедкой, далеко ли забрасывать назад, глубоко ли опускать.

— Возьми удочку номер четыре и прицепи грузило двенадцать унций, на карабине... подожди минуту, покажу... и будем брать с тобой большого возле дна!

Мартини подбежал к корме и свесился вниз, посмотрел, куда уходит его леска.

— Ух! Ух ты, боже мой! — сказал он, но нам не было видно, что он разглядел в глубине.

Другие любители на своих катерах ловили вдоль берега, но Джордж к ним не пошел, он правил мимо них в открытое море.

— Ну да,— сказал он.— Мы пойдем к рыбакам, там настоящая рыба.

Волны катились мимо нас, изумрудные с одного боку, никелированные с другого. То гудел, то фыркал мотор в тишине — это волна то открывала, то закрывала выхлоп.— и странно, печально вскрикивали взъерошенные черные птички, которые плавали вокруг и спрашивали друг у дружки курс. В остальном все было тихо. Из наших кто спал, кто смотрел на воду. Мы шли малым ходом почти час, как вдруг удилище Сефелта изогнулось и окунулось в воду.

— Джордж! Ой... Джордж, помоги нам!

Джордж и прикоснуться не желал к удочке, он усмехнулся и велел Сефелту отпустить тормоз, держать удочку стоймя — с т о й м я! — и подтягивать, подтягивать!

— А если у меня начнется припадок? — завопил Сефелт.

— Тогда насадим тебя на крючок и спустим как приманку,— сказал Хардинг.— А ну тащи ее, слушайся капитана и не думай о припадке.

Метрах в тридцати от лодки рыба выскочила на солнце в дожде серебряных чешуек, и при виде ее Сефелт так разволновался, что выкатил глаза и опустил удилище — лопнувшая леска отскочила в лодку, как резинка.

— Говорил тебе, вверх держи! Ты дал ему тянуть напрямую, неужели непонятно? Вверх концом... вверх! У тебя там был здоровенный кижуч, ей-богу.

Белый, с дрожащим подбородком Сефелт отдал удочку Фредриксону.

— Ладно, на... но если поймаешь рыбу с крючком во рту, учти — это моя подлюга!

Я разволновался не меньше их. Удить я не собирался, но когда увидел эту стальную силу на конце лески, слез с кабины и надел рубашку, чтобы ждать своей очереди к удочке.

Сканлон затеял пари на самую большую рыбу и другое — на первую вытащенную, по пятьдесят центов с каждого участвующего, и не успел он положить деньги в карман, как Билли вытащил жуткую тварь, похожую на пятикилограммовую жабу с колючками на спине, как у дикобраза.

— Это не рыба,— сказал Сканлон.— Это за выигрыш не считается.

— Это не п-п-птица.

— Это у вас терпуг зубатый,— сказал нам Джордж.— Хорошая съедобная рыба, когда снимешь с него бородавки.

— Поняли? Значит, тоже рыба. Плати.

Билли отдал мне удочку, забрал деньги и, печально глядя на запертую дверь, сел возле кабины, где был Макмёрфи с девушкой.

— Ж-ж-жалко, на всех не хватает удочек,— сказал он и прислонился к кабине.

Я сидел с удочкой и смотрел, как леска убегает за корму. Я принюхивался к воздуху и чувствовал, что выпитые четыре банки пива закорачивают десятки контрольных проводков внутри меня; никелевые бока волн поблескивали и вспыхивали на солнце.

Джордж пропел нам вперед смотреть, там то, чего мы ищем. Я обернулся, но увидел только бревно в воде и этих черных чаек, которые ныряли и плавали кругом него, словно черные листья, захваченные вихрем. Джордж направил катер туда, где кружили чайки, прибавил ходу, леску у меня потянуло от скорости, и я подумал, что теперь даже не угадаешь, когда клюнет.

— Эти ребята, эти бакланы, они идут за косяком корюшки,— сказал нам Джордж.— Рыба-свечка называется, маленькая беленькая рыбка с палец величиной. Если ее высушишь, горит, как свечка. Съедобная рыба, кормовая. Где большой косяк корюшки, там, будь уверен, кормятся кижучи.

Он вилял в гущу птиц, мимо бревна, и вдруг всюду вокруг меня никелевые склоны волн вскипели от ныряющих птиц и бьющихся рыбешек, и всю эту кутерьму прошили гладкие серебристо-голубые торпедные спины лососей. Я увидел, как одна спина изогнулась, повернула и устремилась к тому месту, метрах в тридцати за кормой, где полагалось быть моему крючку с селедкой. Сердце зазвенело, я собрался, а потом обеими руками почувствовал рывок, словно кто-то ударил по удочке бейсбольной битой, и леска полетела с катушки из-под большого пальца, красная, как кровь.

— Тормоз прижми,— закричал мне Джордж. Но тормоза эти для меня — темный лес, и я просто стал сильнее прижимать большим пальцем, покуда леска снова не стала желтой, потом побежала медленней и совсем остановилась. Я оглянулся, три остальные удочки хлестали вокруг так же, как моя, и все в волнении попрыгали с кабины и — кто во что горазд — мешали рыболовам.

— Подними! Подними! Подними удочку! — кричал Джордж.

— Макмёрфи! Вылезай сюда, посмотри.

— Господи помилуй, Фред, ты поймал мою рыбу!

— Макмёрфи, нам нужна помощь!

Я услышал смех Макмёрфи и краем глаза увидел его самого: он стоял в дверях кабины и даже не думал никуда идти, а я так был занят удочкой, что не мог позвать его на помощь. Все кричали ему, просили что-то сделать, но он не шевелился. Даже доктор, у которого была удочка для глубины, и тот просил Макмёрфи подсобить. А Макмёрфи только смеялся. Хардинг наконец понял, что Макмёрфи ничего не будет делать, сам взял багор и одним точным, ловким движением, так, словно занимался этим всю жизнь, перебросил мою рыбу через борт лодки. Здоровая, как моя нога, подумал я, как заборный столб! Я подумал таких больших на водопаде у нас никто не таскал. Она сигает по дну катера, как взбесившаяся радуга! Мажет кровью и брызжет чешуей, как серебряными монетками, и я боюсь, что она выпрыгнет за борт. Макмёрфи и не думает помогать. Сканлон хватает рыбу и притискивает ко дну, чтобы не выпрыгнула. Девушка выбегает снизу, кричит, что теперь ее очередь, черт возьми, хватает мою удочку и, пока я пытаюсь прицепить ей селедку, три раза втыкает в меня крючок.

— Вождь! Чтоб мне пропасть, если я видела такую копуху! Фу, у тебя палец в крови. Это чудо-юдо тебя укусило? Эй, кто-нибудь, завяжите ему палец — живее!

— Сейчас опять войдем в косяк,— кричит Джордж, и я, спуская леску с кормы, вижу, как блеснувшую селедку стирает стремительная серо-синяя тень лосося, а леска, шипя, бежит в воду. Девушка обнимает удочку обеими руками и стискивает зубы.

— Нет, не смей, черт тебя!.. Не смей!..

Удилище она зажала между ног, обеими руками обнимает его под катушкой, и катушка, раскручиваясь, бьет ее ручкой по телу.

— Не смей!

На ней по-прежнему зеленая куртка Билли Биббита, но катушка распахнула

ее, и все видят, что майки внизу нет, все таращатся, стараются вытянуть своих рыб, увильнуть от моей, которая скачет по всей лодке, а ручка катушки треплет ей грудь с такой быстротой, что сосок расплылся в розовую полоску!

Билли прыгает ей на помощь. Не придумал ничего лучше, чем обхватить ее сзади и еще сильнее прижать удочку к ее груди, и катушка в конце концов останавливается только оттого, что прижата к ее телу. К этому времени девушка так напряжена и грудь ее с виду так затвердела, что кажется, если и она и Билли оба отпустят руки, удочка все равно никуда оттуда не денется.

Такая катавасия продолжается довольно долго — а для моря это какая-нибудь секунда,— люди вопят, возятся, ругаются, хотят одновременно вытащить рыбу и глядеть на девушку; кровавая, шумная битва Сканлона с моей рыбой под ногами у всей компании; лески перепутаны, бегут в разные стороны, докторские очки со шнурком зацепились за леску и висят в трех метрах от кормы, рыба выскакивает на блеск линзы, девушка ругается на чем свет стоит и смотрит теперь на свою голую грудь — одна белая, другая жгуче-красная,— а Джордж перестает смотреть, куда правит, налетает на бревно, и мотор глохнет.

Макмёрфи хохочет. Все дальше и дальше отваливаясь на крышу кабины, оглашает смехом море — смеется над девушкой, над нами, над Джорджем, над тем, что я сосу окровавленный палец, над капитаном, который остался на пирсе, и над велосипедистом, и над заправщиками, и над пятью тысячами домов, и над старшей сестрой, над всеми делами. Он знает: надо смеяться над тем, что тебя мучит, иначе не сохранишь равновесия, иначе мир сведет тебя с ума. Он знает, что у жизни есть мучительная сторона; он знает, что палец у меня болит, что грудь у его подруги отбита, что доктор лишился очков, но не позволяет боли заслонить комедию, так же как комедии не позволяет заслонить боль.

Замечаю, что Хардинг повалился рядом с Макмёрфи и тоже хохочет. И Сканлон на дне лодки. Над собой смеются и над нами. И девушка, хотя смотрит то на белую грудь, то на красную, и в глазах у нее еще саднит,— девушка тоже смеется. И Сефелт, и доктор, и все.

Начиналось это медленно и наполняло, наполняло людей, делало их все больше и больше. Я наблюдал, стоя среди них, смеялся вместе с ними — и в то же время не с ними. Я был не на катере, взлетел над водой и парил на ветру вместе с черными птицами, высоко над собой, я смотрел вниз и видел себя и остальных, видел, как катер качается среди ныряющих птиц, видел Макмёрфи, окруженного десятком его людей, и наблюдал за ними, за нами, и смех наш гремел над водой, расходился кругами, все дальше и дальше, обрушивался на пляжи по всему берегу, на все берега, волна за волной, волна за волной.

Доктор подцепил своим глубинным крючком кого-то у самого дна, и пока вытягивал на поверхность, каждый из нас, кроме Джорджа, успел поймать по рыбе; наконец показалась и его добыча: мелькнуло какое-то белое тело, но, как ни упирался доктор, сразу нырнуло обратно на дно. Он тащил рыбу и подкручивал катушку, упрямо покряхтывая, не принимая ни от кого помощи, но стоило ему вытянуть рыбу наверх, а рыбе — увидеть свет, она тут же уходила на глубину.

Джордж не стал запускать мотор, а вместо этого сошел к нам и показал, как чистить рыбу, чтобы чешуя летела за борт, и выдирать жабры, чтобы не испортился вкус. Макмёрфи привязал к концам метровой бечевки по куску рыбы, швырнул в воздух, и две визгливые птицы закаруселили друг возле дружки: «Пока не разлучит нас смерть»[1].

Вся корма катера и почти все люди были обляпаны кровью и чешуей. Кто-то снимал рубашку и полоскал за бортом. Так мы провели половину дня: помаленьку удили, допили второй ящик пива, кормили птиц, а катер лениво переваливался на волнах, и доктор трудился над своим глубоководным чудищем. Налетел ветер, разбил море на зеленые и серебристые осколки, как поле из стекла и никеля, и катер стало бросать покруче. Джордж сказал доктору, чтобы он или вытаскивал рыбу, или резал леску — идет плохая погода. Доктор не ответил. Он только сильнее потянул удочку, наклонился вперед, выбрал слабину катушкой и снова потянул.

---

[1] Слова из англиканского требника, произносимые во время бракосочетания.

Билли с девушкой перебрались на нос, разговаривали и смотрели в воду. Билли что-то увидел и крикнул нам, мы все бросились туда; на глубине трех или пяти метров в воде вырисовывалось что-то широкое и белое. Странно было наблюдать, как оно поднимается: сперва вода как бы слегка изменила цвет, потом неясные белые очертания, словно туман под водой, и вот они определились, ожили...

— Черт возьми,— закричал Сканлон,— это рыба доктора!

Доктор стоял у другого борта, но по направлению лески мы поняли, что она тянется к этому белому под водой.

— В лодку нам ее не вытащить,— сказал Сефелт.— А ветер крепчает.

— Это палтус,— сказал Джордж.— Иногда они весят сто, полтораста килограммов. Их лебедкой надо поднимать.

— Придется резать леску, док,— сказал Сефелт и обнял доктора за плечи.

Доктор ничего не ответил: пиджак у него между лопатками пропотел насквозь, а глаза, оттого что долго был без очков, сделались ярко-красными. Он продолжал тянуть, пока рыба не появилась у его борта. Когда она приблизилась к поверхности, мы поглядели на нее еще минуту-другую, а потом приготовили веревку и багор.

Даже зацепив рыбину багром, мы провозились целый час, пока втащили ее на корму. Пришлось помогать крючками трех остальных удочек, а Макмёрфи перегнулся вниз, схватил ее за жабры, и рыба, прозрачно-белая, плоская, въехала через борт и шлепнулась на дно вместе с доктором.

— Это было нечто.— Доктор пыхтел на дне, у него не осталось сил, чтобы спихнуть с себя громадную рыбу.— Это было что-то... особенное.

На обратном пути началась сильная качка, катер скрипел, и Макмёрфи угощал нас мрачными рассказами о кораблекрушениях и акулах. У берега волны стали еще больше, с гребней слетали клочья белой пены и уносились по ветру вместе с чайками. У оконечности мола волны дыбились выше катера, и Джордж велел нам надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все прогулочные катера уже на приколе.

У нас не хватало трех жилетов, и начались споры, кто будут те трое, которые поплывут через опасную отмель без них. Выпало Билли Биббиту, Хардингу и Джорджу, который все равно не хотел надевать жилет по причине грязи. Все удивились, что Билли тоже вызвался,— как только обнаружилась нехватка, он сразу снял жилет и надел его на девушку; но еще больше мы удивились тому, что Макмёрфи не захотел быть в числе героев; пока мы препирались, он стоял спиной к кабине, амортизировал ногами, чтобы меньше качало, смотрел на нас и не говорил ни слова. Только смотрел и улыбался.

Мы подошли к отмели и оказались в водяном ущелье; задранный нос катера смотрел на шипящий гребень волны, которая катилась перед нами, а над опущенной кормой громоздилась следующая волна, и все, кто был сзади, цеплялись за поручни, глядя то на водяную гору, гнавшуюся за ними, то на мокрые черные камни мола метрах в десяти слева, то на Джорджа за штурвалом. Джордж стоял, как мачта. Он вертел головой вперед и назад, врубал газ, сбрасывал, снова врубал, постоянно удерживая нас на заднем склоне волны. Он заранее сказал нам, что если перевалим гребень, нас понесет как щепку, потому что руль и винт выйдут из воды, а если наоборот — замешкаемся, нас накроет задняя волна и вывалит в катер десять тонн воды. Никто не острил и не шутил над тем, что он вертит головой туда и сюда, словно она на шарнире.

За молом от волнения осталась только мелкая толчея, а на нашем причале под магазином мы увидели капитана и двух полицейских. Они стояли у воды, а за ними толпились лодыри. Джордж полным ходом несся прямо на них; капитан закричал, замахал руками, а полицейские с лодырями бросились вверх по лестнице. И когда уже казалось, что мы неминуемо развернем носом всю пристань, Джордж крутанул штурвал, дал полный назад и с оглушительным ревом прилепил катер к резиновым шинам, словно в постельку уложил. Пока наш бурун догонял нас, мы уже были на берегу и привязывали катер. Бурун поднял соседние лодки, хлопнулся на причал и разбежался с пеной, словно мы привели сюда море с собой.

Капитан, полицейские и лодыри с топотом побежали обратно, вниз по лестнице. Доктор атаковал их первым: сказал полицейским, что мы не в их юрисдикции, поскольку поездка наша законная и санкционирована правительством; если кто и займется этим делом, то только федеральный орган. Кроме того, если капитан в самом деле заварит кашу, может возникнуть вопрос, почему на борту не хватало спасательных жилетов. Ведь по закону каждый должен быть обеспечен жилетом. Капитану крыть было нечем, поэтому полицейские записали несколько фамилий и, растерянно ворча, ушли. Как только они поднялись с причала, Макмёрфи с капитаном начали спорить и пихать друг друга. Макмёрфи был до того пьян, что до сих пор пытался амортизировать качку и дважды поскальзывался на мокром дереве и падал в океан, прежде чем ему удалось закрепиться на ногах и заехать капитану чуть-чуть мимо лысой головы; на том препирательства и завершились. Все были довольны, и капитан с Макмёрфи вместе ушли в магазинчик за пивом, а мы принялись вытаскивать из катера улов. Лодыри стояли поодаль, наблюдали за нами и курили самодельные трубки. Мы дожидались, чтобы они опять задели девушку, но когда первый из них раскрыл рот, речь пошла вовсе не о ней, а о том, что, сколько он помнит себя, такого большого палтуса на орегонском побережье никогда не вытаскивали. Остальные закивали — истинная правда. И подошли бочком поглядеть на рыбу. Они спросили Джорджа, где он так навострился причаливать катер, и выяснилось, что Джордж не только ловил рыбу, но был еще капитаном сторожевика в Тихом океане и награжден морским крестом.

— Государственную должность мог бы получить,— сказал один из лодырей.

— Очень грязно,— ответил Джордж.

Они почувствовали перемену, о которой большинство из нас только догадывалось, против них была уже не та компания малохольных и слабаков, которую они свободно оскорбляли сегодня утром. Перед девушкой они не то чтобы извинились за прежние разговоры, но попросили ее показать свою рыбу и при этом были вежливые как не знаю кто. А когда Макмёрфи с капитаном вернулись из магазинчика, мы с ними выпили пива перед отъездом.

В больницу мы возвращались поздно.

Девушка спала на груди у Билли, а потом растирала ему руку, потому что он всю дорогу придерживал ее, и рука затекла. Он сказал девушке, что если его отпустят в один из выходных, он хотел бы с ней встретиться, а она сказала, что через две недели сможет навестить его, пусть только скажет, в какое время, и Билли вопросительно поглядел на Макмёрфи.

Макмёрфи обнял обоих за плечи и сказал:

— Давайте в два часа ровно

— В субботу днем? — переспросила она.

Он подмигнул Билли и зажал ее голову рукой.

— Нет. В субботу в два часа ночи. Подкрадешься и постучишь в то же окно, к какому утром подходила. Уговорю ночного санитара, он тебя впустит.

Она хихикнула и кивнула.

— Черт такой, Макмёрфи,— сказала она.

Кое-кто из острых еще не спал, дожидались около уборной, чтобы посмотреть, утонули мы или нет. Мы ввалились в коридор, перепачканные кровью, загорелые, провонявшие пивом и рыбой, неся своих лососей, словно какие-нибудь герои-победители. Доктор спросил, не хотят ли они выйти, поглядеть на его палтуса в багажнике, и мы пошли обратно, все, кроме Макмёрфи. Он сказал, что порядком укатался и, пожалуй, лучше даванет подушку. Когда он ушел, кто-то из острых, не ездивших с нами, спросил, почему Макмёрфи такой вымотанный и усталый, если остальные краснощекие и резвые. Хардинг объяснил это тем, что у Макмёрфи сошел загар.

— Помните, Макмёрфи прибыл сюда на всех парах, закаленный суровой жизнью на вольном воздухе, то есть в колонии, румяный и пышущий здоровьем. Мы просто наблюдаем увядание его великолепного психопатического загара. Больше ничего. Сегодня он провел несколько изнурительных часов в сумраке каюты, между прочим, тогда как мы братались со стихиями, впитывая витамин D. Конечно, и они могли изнурить его до некоторой степени, эти труды в закрытом помещении, вы только представьте себе, друзья. Что касается меня, я устунил

бы часть витамина D в обмен за некоторое такое изнурение. Особенно имея малышку Кэнди в качестве прораба. Или я ошибаюсь?

Вслух я этого не сказал, но подумал, что, может быть, и ошибается. Усталость Макмёрфи я заметил еще раньше, когда возвращались в больницу и он потребовал, чтобы завернули в городок, где прошло его детство. Мы только что распили последнее пиво, выбросили пустую банку в окно перед знаком «Стоп» и отвалились на спинку, чтобы напоследок насладиться днем... Обветренные и пьяненькие, не засыпали мы только потому, что хотелось продлить удовольствие. У меня шевельнулась смутная мысль, что я уже могу увидеть в жизни и что-то хорошее. Кое-чему Макмёрфи меня научил. Не помню, когда еще мне было так хорошо — только в детстве, когда все было хорошо и земля была, как песня ребенка.

Мы возвращались не берегом, а свернули вглубь, чтобы проехать через тот городок, где Макмёрфи прожил дольше всего в своей кочевой жизни. По лицевому склону горы в Каскадной цепи — я уже думал, что заблудились,— мы подъехали к городу величиной раза в два больше, чем наш больничный участок. На улице, куда нас привез Макмёрфи, песчаный ветер задул солнце. Он остановился среди бурьяна и показал на другую сторону дороги.

— Там. Вон тот. Как будто его травой подперли... беспутной юности моей приют убогий.

На сумеречной улице стояли голые деревья, вонзившиеся в тротуар, как деревянные молнии, и там, куда они угодили, бетон растрескался; все — в обруче забора. Перед заросшим двором торчал из земли железный частокол, а дальше стоял большой деревянный дом с верандой и упирался дряхлым плечом в ветер, чтобы его не укатило по земле за два квартала, как пустую картонную коробку. Ветер принес капли дождя, замки на цепи перед дверью громыхнули, и я увидел, что глаза у дома крепко зажмурены.

А на веранде висела японская штука из бечевок и стекляшек, которые звенят и бренчат от самого слабого ветерка; в ней осталось всего четыре стекляшки. Они качались, стукались и отзванивали мелкие осколочки на деревянный пол.

Макмёрфи включил скорость.

— Был здесь один раз... черт знает когда — когда мы с корейской заварухи возвращались. Навестил. Папаша и мать еще были живы. Дома было хорошо — Он отпустил сцепление, тронулся с места и снова затормозил.— Господи,— сказал он,— посмотрите туда, видите платье? — Он показал назад.— Вон, на суку? Тряпка желтая с черным?

Я поглядел: над сараем высоко среди сучьев трепалось что-то вроде флага.

— Вот это самое платье было на девчонке, которая затащила меня в постель. Мне было лет десять, а ей, наверно, меньше — тогда казалось, что это бог знает какое большое дело, и я спросил, как она думает, как считает — надо нам об этом объявить? Ну, например, сказать родителям: «Мама, мы с Джуди теперь жених и невеста». И я это серьезно говорил, такой был дурак: думал, раз это произошло, ты теперь законно женат, прямо вот с этого места — хочешь ты или не хочешь, но правило нарушать нельзя. И эта маленькая падла — восемь-девять лет от силы — наклоняется, берет с пола платье и говорит, что оно мое, говорит: «Можешь его где-нибудь повесить, я пойду домой в трусах — вот и все тебе объявление, они сообразят». Господи, девяти лет от роду,— сказал он и ущипнул Кэнди за нос,— а знала про это побольше иных специалисток.

Она засмеялась и укусила его за руку; он стал разглядывать след от зубов.

— Словом, ушла домой в трусах, а я темноты ждал, вечера, чтобы выкинуть незаметно чертово платье... но чувствуете — ветер? — подхватил платье, как воздушного змея, и унес за дом неизвестно куда, а утром, ей-богу, вижу, висит на этом дереве.— думал, весь город теперь будет останавливаться и глазеть.

Он пососал руку с таким несчастным видом, что Кэнди рассмеялась и поцеловала ее.

— Да, флаг мой был поднят, и с того дня до нынешнего я честно старался оправдать свое имя — Рэнди, верный любви [2],— а виновата во всем, ей-богу, та девятилетняя девчонка.

---

[2] **Одно из значений слова** randy (Randy — уменьшительное от Randle) — **похотливый** *(англ.)*.

Дом проплыл мимо. Макмёрфи зевнул и подмигнул.

— Научила меня любить, спасибо ей, мяконькой.

Тут — он еще говорил — хвостовые огни обгонявшей машины осветили лицо Макмёрфи, и в ветровом стекле я увидел такое выражение, какого он никогда бы не допустил, если бы не понадеялся на темноту, на то, что его не увидят,— страшно усталое, напряженное и отчаянное, словно он что-то еще должен сделать, но времени не осталось...

А голос лениво и благодушно рассказывал о жизни, которую мы проживали вместе с ним, о молодых шалостях и детских забавах, о собутыльниках, влюбленных женщинах и кабацких битвах ради пустячных почестей — о прошлом, куда мы смогли бы вмечтать себя.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На другой день после рыбалки старшая сестра начала новый маневр. Идея родилась у нее два дня назад, когда она говорила с Макмёрфи о том, какой барыш он получил с рыбалки, и о других его маленьких предприятиях в таком же роде. За ночь она разработала идею, рассмотрела со всех сторон, решила, что дело беспроигрышное, и весь следующий день подбрасывала намеки, чтобы слух возник как бы сам по себе и хорошенько распустился к тому времени, когда она заговорит об этом прямо.

Она знала: люди устроены так, что раньше или позже непременно отодвинутся от того, кто дает им больше обычного, от дедов морозов, от миссионеров, от благотворителей, учреждающих фонды для добрых дел, и призадумаются: а ему-то какая выгода? Криво улыбнутся, когда молодой адвокат принесет в местную школу мешочек орехов — перед самыми выборами, гусь лапчатый,— и скажут друг другу, этому палец в рот не клади.

Она знала: немного надо, чтобы люди призадумались, чего ради, собственно говоря, Макмёрфи тратит столько времени и сил, устраивая рыбалки, игры в лото, тренируя баскетболистов. С чего это он землю носом роет, когда все привыкли сидеть смирно, играть в «тысячу» и читать прошлогодние журналы. С чего этот лесоруб, этот ирландский буян, севший за азартные игры и драку, повязывает голову платочком, воркует, как старшеклассница, и битых два часа на потеху всем острым учит Билли Биббита танцевать, выступая за партнершу. С чего этот жук, этот ярмарочный артист, этот прожженный игрок, привыкший всю жизнь считать свои шансы, рискует надолго застрять в сумасшедшем доме, вступив в войну с женщиной, от которой зависит его свобода.

Чтобы они призадумались, сестра вытащила отчет о финансовых делах пациентов за последние месяцы: наверно, копалась в записях не один час. Капитал у всех острых неуклонно таял — кроме одного. У него он рос с самого дня поступления.

Острые стали шутить с Макмёрфи, что руки у него тут, похоже, не зябнут,— а он не отпирался. И не думал даже. Наоборот, хвастался, что если проживет в больнице годик, то выйдет отсюда обеспеченным человеком и уйдет на покой, поселится во Флориде. При нем они тоже смеялись над этим, но когда его уводили на ЭТ, ТТ или ФТ, когда сестра вызывала его к себе для нагоняя и на ее застывшую пластмассовую улыбку он отвечал своей нахально-ленивой,— тогда они не особенно смеялись.

Они спрашивали друг друга, с чего это он такой хлопотун последнее время, так колбасится из-за пациентов — то воюет с правилом, что пациенты, если куда идут, должны ходить терапевтическими группами по восемь человек («Билли тут опять грозится взрезать себе вены,— сказал он на собрании, когда спорил против этого правила по восемь.— Так кто из вас, ребята, хочет к нему в восьмерку, чтобы сделать это терапевтично?»), то подбивает доктора, который очень сблизился с пациентами после рыбалки, подписать нас на «Плейбой», «Наггет» и «Мэн» и избавиться от старых номеров «Макколлз», которые таскал из дома толстолицый по связям с общественностью и складывал кипами в отделении, а полезные для нас статьи отчеркивал зелеными чернилами. Макмёрфи даже послал петицию кому-то в Вашингтон, чтобы там разобрались, почему в государственных

больницах до сих пор лечат лоботомией и электрошоком. Не пойму, говорили друг другу наши, ему-то какая от этого выгода?

После того как этот вопрос погулял с недельку по отделению, сестра попыталась перейти в атаку на собрании группы; первый раз она попыталась, когда на собрании был Макмёрфи и он не дал ей даже толком развернуться для начала (для начала объявила группе, как она удручена и оскорблена развалом в отделении: до чего мы дошли, оглядитесь вокруг, я вас умоляю: на стенах вырезки из грязных книжонок, самая настоящая порнография — кстати, она собиралась предложить в главном корпусе, чтобы там вплотную занялись г р я з ь ю, принесенной в больницу. Она откинулась в кресле, приготовилась говорить дальше, указать, кто виноват и в чем, и в молчании, наступившем после ее угрозы, две-три секунды сидела как на троне, но тут Макмёрфи нарушил все волшебство — он оглушительно захохотал и сказал ей: конечно, только напомните в главном корпусе, пусть захватят свои зеркальца, когда пойдут вплотную заниматься),— поэтому в следующий раз она решила атаковать, когда Макмёрфи не будет на собрании.

Ему звонили по междугородному из Портленда, и он сидел с одним санитаром в вестибюле у телефона, дожидаясь повторного звонка. Ближе к часу мы начали переносить вещи, готовить дневную комнату к собранию, и маленький санитар спросил сестру, не надо ли сходить за Макмёрфи и Вашингтоном, но она сказала: нет, ничего страшного, пусть ждут — а, кроме того, кое-кто из пациентов, возможно, будет рад случаю обсудить нашего мистера Рэндла Патрика Макмёрфи, когда над ними не тяготеет его сильная личность.

Собрание началось с того, что стали рассказывать смешные истории про него и про его выходки, поговорили о том, какой он замечательный малый, а она сидела тихо, ждала, когда они выпустят пар. А потом стали появляться вопросы: что с Макмёрфи? чего ради он себя так ведет и такое выкидывает? Некоторые сомневались: может быть, эта история, как он симулировал драки в колонии, чтобы его отправили сюда,— вовсе не анекдот и он на самом деле сумасшедший, а не прикидывается.

Тут старшая сестра улыбнулась и подняла руку.

— Сумасшедший, как лиса,— сказала она.— Вы это хотите сказать?

— В каком смысле? — спросил Билли. Макмёрфи был его ближайшим другом и героем, и ему не особенно понравилось, что похвала эта — на какой-то непонятной подкладке.— Что значит «как лиса»?

— Это просто наблюдение, Билли,— любезно ответила сестра.— Посмотрим, кто сможет объяснить вам мои слова. Вы, мистер Сканлон?

— Она имеет в виду, что Мак — малый не промах.

— А кто г-говорил, что н-н-нет! — Чтобы вышибить последнее слово, Билли ударил кулаком по креслу.— Но мисс Гнусен намекала...

— Нет, Билли, я ни на что не намекала. Я просто заметила, что мистер Макмёрфи не из тех, кто рискует без причины. С этим вы согласны? Правда ведь, все согласны?

Все молчали.

— И тем не менее,— продолжала она.— он совершает такие поступки, как будто совсем о себе не думает, будто он мученик или святой. Станет ли кто-нибудь утверждать, что мистер Макмёрфи святой? — Она знала, что спокойно может улыбаться слушателям и ждать ответа.— Нет, не святой и не мученик. Вот. Рассмотрим его филантропию в разрезе? — Она вынула из корзины лист желтой бумаги.— Посмотрим на эти дары, как их, вероятно, назовут поклонники Макмёрфи. Первый дар — ванная комната. Но его ли это дар? Потерял ли он что-нибудь, забрав ее под казино? С другой стороны, сколько, по-вашему, он заработал за то короткое время, когда исполнял обязанности крупье в своем маленьком больничном Монте-Карло? Сколько вы проиграли, Брюс? Вы, мистер Сефелт? Полагаю, вы примерно представляете себе, сколько каждый из вас проиграл, но знаете ли вы, чему равен его общий выигрыш, если судить по вкладам в нашу сберегательную кассу? Почти триста долларов.

Сканлон присвистнул, но остальные продолжали молчать.

— Если вас интересует, у меня тут список его пари, включая те, которые связаны с попытками вывести из равновесия персонал. Все эти азартные меро-

приятия в корне противоречат лечебному процессу, и каждый из вас, имевших с ним дело, понимал это.

Она снова посмотрела на лист, потом положила его в корзину.

— А недавняя рыбалка? Какую, по-вашему прибыль получил мистер Макмёрфи от этого предприятия? Насколько мне известно, ему был предоставлен автомобиль доктора, даже деньги доктора на бензин и, насколько мне известно, другие льготы — сам же он не истратил ни цента. Именно как лиса, иначе не скажешь.

Билли хотел перебить, но она подняла руку.

— Билли, поймите меня, пожалуйста: я не осуждаю подобную деятельность — я просто хочу, чтобы мы не заблуждались относительно его мотивов. Но так или иначе, мне кажется, нечестно обвинять человека за глаза. Вернемся к теме нашей вчерашней дискуссии.. Что это было? — Она стала листать бумаги в корзине.— Доктор Спайви, вы не помните, что это было?

Доктор вскинул голову.

— Нет... подождите... мне кажется...

Она вытащила лист из папки.

— Да, вот. Мистер Сканлон... его отношение к взрывчатым веществам Отлично. Сейчас мы займемся этим, а о мистере Макмёрфи побеседуем в другой раз, когда он будет с нами. И все же, по-моему, вам следует подумать о том, что сегодня говорилось. Итак, мистер Сканлон...

Позже в тот день ввосьмером или вдесятером мы собрались перед дверью нашей лавки, ждали, когда санитар украдет наконец флакон масла для волос, и некоторые опять завели этот разговор. Они сказали, что вообще-то не согласны со старшей сестрой, но, черт возьми, кое-что старушка верно подметила. И все равно, черт возьми, Мак все-таки хороший парень... нет, правда.

В конце концов Хардинг заговорил напрямик.

— Друзья мои, вы слишком шумно протестуете, чтобы повёрить в ваш протест. В глубине своих скупых душонок вы верите, что все сказанное сегодня о Макмёрфи нашим ангелом милосердия совершенно справедливо. Вы знаете, что она права, и я это знаю. Так зачем отрицать? Будем честны и отдадим этому человеку должное, вместо того чтобы втихомолку критиковать его капиталистические таланты. Так ли уж плохо, что он имеет небольшой барыш? Каждый раз, когда он стриг нас, мы получали за свои деньги удовольствие, правда? Он оборотистый малый и не прочь зашибить лишний доллар. Он не маскирует своих побуждений, правда? Так нам зачем себя морочить? Плутовство его самого здорового и честного свойства, и я целиком за него, так же как за нашу милую старую капиталистическую систему свободного частного предпринимательства, товарищи,— за него, за его простодушную и несгибаемую наглость, за святой наш американский флаг, и за линкольновский мемориал, и за все прочее. Помните «Мэн», Ф. Т. Барнума и Четвертое июля[4]. Я обязан вступиться за честь моего друга как коренного звездно-полосатого стопроцентного американского афериста. Хороший парень! Держи карман шире. Макмёрфи смутился бы буквально до слез, узнай он, какими наивными мотивами мы объясняем его предприятия. Он воспринял бы это как оскорбление своему ремеслу.— Хардинг полез в карман за сигаретами, сигарет не нашел, одолжил одну у Фредриксона, закурил, картинно чиркнув спичкой, и продолжал: — Признаюсь, сначала и я пребывал в заблуждении. Разбил стекло — ого, я подумал, вот, кажется, человек на самом деле хочет остаться в больнице, не бросает друзей и всякое такое, а потом понял, что причина не та: Макмёрфи просто не хочет отказываться от выгодного дела. Ведь он здесь время даром не теряет в буквальном смысле. А ухватки дроволома пусть вас не обманывают — это ловкий делец с холодным умом. Понаблюдайте: каждый шаг у него рассчитан.

Билли не собирался так легко сдаваться.

— Ну? А зачем он учил меня т-танцевать? — Он сжимал кулаки у бедер: я увидел, что ожоги от сигарет почти зажили, а вместо них появились татуиров-

[4] Линкор «Мэн» в 1898 году был подорван в Гаванской бухте. Это стало поводом к американо-испанской войне, а «Помни «Мэн»!» — боевым кличем американцев. Барнум Финиас Т.— американский предприниматель в области зрелищ. Ему принадлежит известный афоризм: каждую минуту на свет рождается разиня. 4 июля — День независимости.

ки, сделанные чернильным карандашом.— А это зачем, Хардинг? Он з-з-заработал на том, что учил меня танцевать?

— Не расстраивайся, Уильям,— сказал Хардинг.— Но и с выводами не спеши. Давайте спокойно подождем и посмотрим, как он это повернет.

Кажется, только мы двое продолжали верить Макмёрфи — Билли да я. И в тот же вечер Билли переметнулся на сторону Хардинга — когда Макмёрфи вернулся после еще одного междугородного разговора, сказал Билли, что о свидании с Кэнди условлено, и, переписывая для него адрес, добавил, что неплохо было бы выслать ей капусты на дорогу.

— Капусты? Денег? С-с-сколько? — Он посмотрел на Хардинга — тот улыбался ему.

— Ну... знаешь... пожалуй, ей десятку и десятку...

— Двадцать! Автобус оттуда с-столько н-не с-с-стоит.

Макмёрфи посмотрел на него из-под шапки, лениво улыбнулся, а потом потер горло и высунул сухой язык.

— Ой-ё-ёй, страшная жажда. А через неделю, да к воскресенью, еще страшнее станет. Билли, браток, ты же не будешь ее ругать, если она привезет мне глоточек?

И посмотрел на Билли так простодушно, что Билли против воли рассмеялся, мотнул головой и ушел в угол взволнованно обсуждать планы на будущее воскресенье — с человеком, которого, наверно, считал котом

Я все равно держался прежнего мнения, что Макмёрфи — гигант, спустившийся с неба, чтобы спасти нас от Комбината, который затягивает всю землю медным проводом и стеклом, что не будет он беспокоиться из-за такой ерунды, как деньги, слишком он большой для этого, но потом и я стал наполовину думать, как остальные. А случилось вот что. Перед собранием группы он помогал таскать столы в ванную и увидел, что я стою возле пульта.

— Ей-богу, вождь,— сказал он,— сдается, после рыбалки ты еще подрос на четверть метра. Нет, ты только посмотри на свою ногу — большая, как железнодорожная платформа!

Я посмотрел вниз — такой большой ноги у себя я еще не видел, как будто от одних только слов Макмёрфи она выросла вдвое.

— А рука! Вот это я понимаю — рука индейца и бывшего футболиста. Знаешь, что я думаю? Я думаю, пора тебе маленько потрогать этот пульт, проверить, как идут дела.

Я покачал головой и ответил «нет», а он сказал, что мы заключили сделку и я обязан попробовать проверить, как действует его система роста. Делать было нечего, и я пошел к пульту — просто показать ему, что не смогу. Я нагнулся и взял его за рычаги.

— Ай да молодец! Теперь только выпрямись Подбери под себя ножки... так, так. Теперь не спеша... выпрямляйся. Ого-го! Теперь опускай его на палубу.

Я думал, он будет разочарован, но, когда отпустил рычаги и посмотрел на него, он улыбался во весь рот и показывал вниз: пульт отошел от гнезда в фундаменте сантиметров на десять.

— Поставь его на место, чтобы никто не узнал. Пока что им знать не надо.

Потом после собрания, болтаясь возле картежников, он завел разговор о силе, о твердости духа и о пульте в ванной. Я думал, он хочет им рассказать, как помог мне вырасти до прежнего размера,— тогда они убедятся, что он не все делает ради денег.

Но про меня он молчал. И рассуждал до тех пор, пока Хардинг не спросил, хочет ли он еще разок примериться к пульту; он сказал — нет, но если он не может поднять, это не значит, что никто не может. Сканлон сказал, что кран, наверно, может, а человек ни за что не поднимет, а Макмёрфи кивнул и сказал: может быть, может быть, но в таких делах угадать трудно.

Я наблюдал, как он заманивает их, подводит к тому, чтобы они сами сказали: нет, черт возьми, никакому человеку это не под силу — и сами предложили бы спор. Я смотрел, с какой неохотой он идет на спор Он давал им повышать ставки, затягивал их все глубже и глубже, пока не добился пяти к одному от каждого на верном деле, а некоторые ставили по двадцать долларов. И даже не обмолвился, что я при нем поднял пульт.

Всю ночь я надеялся, что он не станет доводить дело до конца. А на другой день во время собрания, когда сестра объявила, что рыболовы должны будут принять специальный душ — подозревают, что у них насекомые,— я надеялся, что она ему как-нибудь помешает, сразу погонит нас в душ или еще что-нибудь — что угодно, лишь бы мне не поднимать пульт.

Но сразу после собрания, пока санитары не успели запереть ванную, он повел нас туда, заставил меня взяться за рычаги и поднять пульт. Я не хотел, но ничего не мог сделать. Получалось, что я помог ему выманить у них деньги. Они держались с ним дружелюбно, когда платили проигрыш, но я понимал, что они чувствуют — они как бы потеряли опору. Я поставил пульт на место и сразу выбежал, даже не взглянув на Макмёрфи. Убежал в уборную, мне хотелось побыть одному. Я увидел себя в зеркале. Он сделал, что обещал: руки у меня опять стали большие, большие, как в школе, как у нас в поселке, а грудь и плечи — широкие и твердые, и пока я смотрел на себя, вошел он. Протянул пять долларов.

— Вот тебе, вождь, на жвачку.

Я помотал головой и пошел прочь. Он схватил меня за руку.

— Вождь, это просто знак благодарности. Если считаешь, что твоя доля больше...

— Нет! Убери, я не возьму.

Он отступил на шаг, засунул большие пальцы в карманы и, наклонив голову набок, посмотрел на меня снизу. Смотрел довольно долго.

— Так,— сказал он.— В чем дело? Что это вы все нос воротите?

Я не ответил.

— Сделал я, как обещал? Большим тебя сделал? Так с чего я вдруг стал плохой? Вы себя так ведете, как будто я изменник родины.

— Ты всегда... все... выигрываешь!

— Все выигрываю! Олень дурацкий, в чем ты меня обвиняешь? Был уговор, я его выполняю, и только. Так чего разоряться?..

— Мы думали, ты не для того, чтобы выигрывать...

Я чувствовал, что подбородок у меня дрожит, как бывает, когда собираешься заплакать,— но я не заплакал. Я стоял перед ним, и подбородок у меня дрожал. Макмёрфи открыл рот, хотел что-то сказать и раздумал. Он вынул руки из карманов, двумя пальцами взялся за переносицу, словно ему жали очки, и закрыл глаза.

— Выигрывать, елки зеленые,— сказал он с закрытыми глазами.— Слыхал? Выигрывать.

Поэтому, наверно, я больше всех виноват в том, что случилось под конец дня в душе. И загладить вину я мог только так и никак иначе — тут уж не приходилось думать об осторожности, о хитрости, о наказании, раз в кои веки не приходилось беспокоиться ни о чем постороннем, а только о том, что надо сделать, и делать, что надо.

Только мы вышли из уборной, как появились трое черных санитаров и стали собирать нас для специального душа. Маленький санитар засеменил вдоль плинтуса и, корявой рукой, черной и холодной, как гвоздодер, отдирая от стенки прислонившихся к ней больных, сказал, что старшая сестра назвала это профилактическим обмыванием. На катере мы были в таком обществе, что нам надо пройти обработку, пока мы не разнесли какую-нибудь дрянь по всей больнице.

Мы выстроились нагишом вдоль кафельной стенки, и тут входит санитар с черным пластмассовым тюбиком, выдавливает с пуканьем вонючую жидкость, густую и липкую, как яичный белок. Сперва в волосы, потом — повернись, нагнись, раздвинь щечки!

Острые ворчали, шутили, паясничали, старались не смотреть друга на друга и на плавающие в воздухе грифельные маски, лица-негативы из дурного сна, целящиеся в нас из дурного сна мягкими жомкими стволами. Они дразнили санитаров: «Эй, Вашингтон, а как вы развлекаетесь остальные шестнадцать часов?», «Эй, Уильямс, можешь увидеть, что я ел на завтрак?»

Все смеялись. Санитары стискивали зубы и не отвечали; такого не было, пока не появился этот рыжий гад.

Когда Фредриксон раздвинул щеки, раздался такой звук, что я думал, маленького санитара отнесет к другой стенке.

— Внемлите! — Хардинг приставил ладонь к уху.— Нежный голос ангела.

Все смеялись, ржали, дразнили друг друга, пока санитар не подошел к следующему человеку,— тут в комнате наступила мертвая тишина. Следующим был Джордж. И в эту секунду, когда смех, шутки и жалобы смолкли, когда Фредриксон уже выпрямлялся рядом с Джорджем и поворачивался, а большой санитар уже собирался сказать Джорджу, чтобы он нагнул голову, и выдавить на нее вонючую жижу,— в эту самую секунду все мы догадались, что сейчас произойдет, и почему должно произойти, и как мы ошиблись насчет Макмёрфи.

Мылом Джордж никогда не мылся. Он даже не брал полотенце из чужих рук. Санитары из вечерней смены, которые устраивали нам душ по вторникам и четвергам, поняли, что настаивать себе дороже, и не приставали к Джорджу. Так повелось с давних пор. И все санитары это знали. Но теперь все знали — даже Джордж, который откинулся назад, мотал головой и закрывался руками, словно двумя дубовыми листьями,— что этот санитар с разбитым носом и прогорклым нутром и оба его дружка, дожидавшиеся сзади, такого случая не упустят.

— Да нагни же ты голову, Джордж...

Остальные уже поглядывали на Макмёрфи, он стоял третьим или четвертым от Джорджа.

— Ну давай, Джордж...

Мартини и Сефелт стояли под душем не шевелясь. Решетки у них в ногах отрывистыми глотками забирали воздух и мыльную воду. Джордж посмотрел на решетку, словно она с ним разговаривала. Он глядел, как она глотает и давится. Потом опять посмотрел на тюбик в черной руке, на то, как выдавливается слизь из дырочки и ползет по чугунному кулаку. Санитар придвинул тюбик еще ближе, и Джордж еще больше откинулся назад, мотая головой.

— Нет... этого не надо.

— Обязательно надо, Рукомойник,— сказал санитар как бы жалея его.— Обязательно надо. Нельзя же, чтобы по больнице ползали насекомые. Почем я знаю, может, они в тебя уже на сантиметр вгрызлись!

— Нет! — сказал Джордж.

— Брось, Джордж, ты сам мог не почувствовать. Эти букашки, они очень, очень крохотные — меньше булавочной головки. Они что делают — садятся тебе на курчавый волос, и висят, и буровятся в тебя, Джордж.

— Нет букашек! — сказал Джордж.

— Ты послушай меня, Джордж, я видел случаи, когда эти жуткие букашки прямо...

— Ладно тебе, Вашингтон,— сказал Макмёрфи.

Шрам на разбитом носу санитара был как неоновая загогулина. Санитар знал, кто с ним говорит, но не обернулся; а если бы он не замолчал и не провел длинным серым пальцем по шраму, заработанному в баскетбольной игре, можно было бы подумать, что он и не слышал. Он потер нос, а потом, растопырив пальцы, поднес руку к лицу Джорджа.

— Вошка, Джордж, видишь? Вот — видишь? Ты же знаешь, как она выглядит? Ясно, ты набрался вошек на лодке. Нельзя, чтобы они буровились в тебя, правильно, Джордж?

— Нет вошек! — закричал Джордж.— Нет! — Он стоял прямо и даже голову поднял, так что мы увидели его глаза.

Санитар отступил. Остальные двое над ним засмеялись.

— Что-то не получается, Вашингтон? — спросил большой.— Что-то задерживает процедуру с той стороны?

Он опять подошел ближе.

— Джордж, говорю тебе, нагнись! Или ты нагнешься и тебя намылят — или я возьмусь за тебя рукой! — Он опять поднял руку; она была большая и черная, как болото.— Возьмусь за тебя этой черной! грязной! вонючей! рукой!

— Не надо рукой! — сказал Джордж и поднял кулак, как будто хотел размозжить этот грифельный череп, разбрызгать шестерни, болты и гайки по всему полу. Но санитар ткнул Джорджа тюбиком в пупок, выдавил, и Джордж, беззвучно охнув, согнулся пополам. Санитар выдавил мыло на его легкие белые волосы,

а потом растер ладонью, измазал ее чернотой всю голову Джорджа. Джордж обхватил себя руками за живот и закричал.

— Нет! Нет!

— Ну-ка повернись, Джордж...

— Браток, я сказал, хватит.

Теперь санитар обернулся на его голос. Я увидел, что он с улыбкой глядит на голого Макмёрфи — ни шапки, ни ботинок, ни карманов, даже пальцы засунуть некуда. Санитар с ухмылкой водил по нему глазами.

— Макмёрфи,— сказал он и покачал головой,— знаешь, я уж начал думать, что мы с тобой никогда не разберемся.

— Ты, хорек вонючий,— сказал Макмёрфи, но в голосе было больше усталости, чем злобы. Санитар ничего не ответил. Макмёрфи заговорил громче.— Гуталиновая морда!

Санитар помотал головой, захихикал и обернулся к дружкам.

— К чему это он ведет такие разговоры, как думаете? Может, чтобы я первый начал? Хи-хи. Не знает, что нас учили не обращать внимания, когда нас грубо оскорбляют сумасшедшие?

— Паскуда! Вашингтон, ты просто...

Вашингтон повернулся к нему спиной, опять принялся за Джорджа. Джордж еще стоял согнувшись, задыхался от удара мазью в живот. Санитар схватил его за руку и повернул лицом к стене.

— Ну все, Джордж, раздвинь-ка щечки.

— Не-е-ет!

— Вашингтон,— сказал Макмёрфи. Он глубоко вздохнул, шагнул к санитару и оттолкнул его от Джорджа.

— Всё, Вашингтон, всё...

Мы услышали в голосе Макмёрфи беспомощное отчаяние загнанного человека.

— Макмёрфи, ты заставляешь меня обороняться. Заставляет?

Дружки кивнули.

Он аккуратно положил тюбик на скамейку возле Джорджа и, размахнувшись оттуда же, неожиданно ударил Макмёрфи по скуле. Макмёрфи чуть не упал. Удар отбросил его к цепочке голых; они его поймали и толкнули обратно, навстречу улыбающемуся грифельному лицу. Только получив второй удар, в шею, он примирился с мыслью, что это все-таки началось и не остается ничего другого как действовать. Он перехватил руку, снова метнувшуюся к нему, как черная змея, поймал запястье и потряс головой, чтобы прочистить мозги.

Так они качались секунду-другую, пыхтя вместе с пыхтящим стоком; потом Макмёрфи оттолкнул санитара, принял низкую стойку, поднял широкие плечи, чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками виски, пошел кругом санитара.

И ровная молчаливая цепочка голых людей превратилась в орущее кольцо, тела и конечности сплелись в ограждение ринга.

Черные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекали кровь изо лба и щек. Негр танцевал перед Макмёрфи. Он был выше, руки длиннее, чем красные толстые лапы Макмёрфи, удары резче, и он издали тесал Макмёрфи голову и плечи. Макмёрфи шел вперед тяжелым, твердым шагом, опустив лицо и щурясь между татуированными кулаками, покуда не прижал санитара к кольцу голых людей и не въехал кулаком точно в середку белой крахмальной груди. Грифельное лицо дало розовую трещину, язык, похожий на клубничное мороженое, пробежал по губам. Негр ушел нырком от танковой атаки Макмёрфи и успел ударить еще раза два, прежде чем татуированный кулак достал его снова. Рот открылся пошире — красная больная клякса.

Плечи и голова у Макмёрфи были в красных пятнах, но он этого как будто не чувствовал. Он шел вперед, получая десять ударов за один. Так они кружили по душевой, и санитар уже пыхтел, спотыкался и занят был по большей части тем, чтобы не попасть под эти красные кувалды. Больные кричали: «Макмёрфи, уложи его!» Макмёрфи действовал не спеша.

От удара в плечо санитар развернулся и взглянул на дружков-зрителей.

— Уильямс... Уоррен... где же вы, гады!

Второй большой санитар раздвинул толпу и сзади обхватил Макмёрфи. Макмёрфи стряхнул его, как бык обезьяну, но тот опять навалился.

Поэтому я поднял его и бросил в душ. Он был полон радиоламп, он весил килограммов пять, не больше.

Маленький санитар поглядел налево, направо, повернулся и побежал к двери. Пока я смотрел на него, другой вышел из душа и взял меня борцовским захватом — просунул руки мне под мышки и сцепил на шее,— и мне пришлось задом вбежать в душевую кабину, садануть его о кафель, а пока я лежал под душем и наблюдал, как Макмёрфи продолжает выбивать Вашингтону ребра, тот, что лежал подо мной с борцовским захватом, начал кусать меня за шею, и мне пришлось разорвать захват. Тогда он затих, и крахмал вымывался из его формы в пыхтящий сток.

К тому времени, когда маленький санитар прибежал обратно с ремнями, наручниками, мокрыми простынями и еще четырьмя санитарами из буйного, все уже одевались, жали руку мне и Макмёрфи, говорили, что так им и надо, и какая замечательная была драка, и какая потрясающая победа. И продолжали так говорить, подбадривали нас и поддерживали — какая драка, какая победа! — пока старшая сестра помогала санитарам из буйного надеть на нас мягкие кожаные наручники.

В буйном вечный пронзительный механический грохот, тюремная мастерская штампует номера для автомашин. А время отмеряют только ди-док, ди-док на столе для пинг-понга. Люди ходят по личным тропам, до стены, крен на плечо, кругом и обратно, до другой стены, крен на плечо кругом и обратно, короткими быстрыми шагами протаптывают крест-накрест тропы на кафельном полу, вид — словно в клетке, и пить не дают. Паленый запах людей, испуганных вдрызг, до осатанения, а по углам и под столом для пинг-понга твари скрежещут зубами — врачи и сестры их не видят, санитары не могут убить дезинфекцией. Когда дверь отделения открылась, я почуял этот запах паленого и услышал скрежет зубов.

Санитары ввели нас, а навстречу — длинный костлявый старик, подвешен на проволоке, привинченной между лопаток. Оглядел нас желтыми чешуйчатыми глазами и покачал головой.

— Я умываю руки от этих делов,— сказал он одному из цветных санитаров, и проволока утащила его по коридору.

Мы пошли за ним в дневную комнату; Макмёрфи остановился в дверях, расставил ноги и откинул голову, чтобы всё оглядеть; он хотел засунуть большие пальцы в карманы, но наручники не пускали.

— Та еще картина,— шепнул он сквозь зубы.

Я кивнул. Все это я уже видел.

Двое шагавших по комнате остановились и поглядели на нас, а костлявый старик опять подъехал, умывая руки от этих делов. Сперва на нас почти не обратили внимания. Мы остались у двери, а санитары ушли на сестринский пост. Глаз у Макмёрфи заплыл, как будто он все время подмигивал, и я видел, что улыбаться ему больно. Он поднял связанные руки, поглядел на шумную мельтешню и глубоко вздохнул.

— Фамилия Макмёрфи, ребята,— сказал он с ковбойской растяжкой,— и желаю знать, кто у вас покерный дятел в этом заведении.

Пинг-понговые часы часто затикали и затихли на полу.

— Стреноженный, я не так хорошо банкую в очко, но в покер, точно говорю, я маг и волшебник.

Он зевнул, вздернул плечо, потом нагнулся, прокашлялся и выплюнул что-то в мусорную корзину метра за два от него; в корзине брякнуло, а он снова выпрямился и, улыбнувшись, лизнул кровавую дырку на месте зуба.

— Внизу не поладили. Мы с вождем имели крупный разговор с двумя мартышками.

К этому времени грохот штамповки прекратился, и все смотрели на нас. Макмёрфи притягивал к себе взгляды, как ярмарочный зазывала. Рядом с ним я тоже был обязан выглядеть солидно, люди смотрели на меня, и мне пришлось выпрямиться во весь рост. Заболела спина — ушибся в душе, когда падал с са-

нитаром,— но я не подал виду. Один, с голодным взглядом, черноволосый и лохматый, подошел ко мне, протягивая руку, как будто просил подать. Я попробовал не замечать его, но куда бы ни повернулся, он забегал спереди, как маленький мальчик, и протягивал мне ладонь чашечкой.

Макмёрфи рассказывал о драке, а спина у меня болела все сильнее и сильнее: столько лет просидел, скрючившись, в своем кресле в углу, что не мог теперь надолго выпрямить спину. Я обрадовался, когда пришла маленькая сестра, японка, и увела нас на пост, там можно было сесть и передохнуть.

Она спросила, успокоились ли мы, можно ли снять наручники, и Макмёрфи кивнул. Он мешком сполз в кресле, понурил голову, свесил руки между колен, вид у него был измученный, и только тут я понял, что ему так же трудно было стоять выпрямившись, как и мне.

Сестра — ростом с короткий конец пустяка, состругаиного на нет, как сказал о ней потом Макмёрфи,— сняла с нас наручники и дала Макмёрфи сигарету, а мне резинку. Она, оказывается, помнила, что я жую резинку. А я ее совсем не помнил. Макмёрфи курил, а она окунала маленькую руку с розовенькими, как именинные свечи, пальцами в банку с мазью и смазывала ему ссадины, дергалась каждый раз, когда он дергался, и говорила ему «извините». Потом взяла его руку обеими руками, повернула и смазала разбитые суставы.

— С кем это вы? — спросила она, глядя на кулак.— С Вашингтоном или с Уорреном?

Макмёрфи поднял на нее глаза.

— С Вашингтоном,— сказал он и ухмыльнулся.— Уорреном занимался вождь.

Она отпустила его руку и повернулась ко мне. Я мог разглядеть хрупкие косточки в ее лице.

— Вы что-нибудь ушибли?

Я помотал головой.

— А что с Уорреном и Уильямсом?

Макмёрфи сказал ей, что в следующий раз она их может встретить в гипсовых украшениях. Она кивнула и потупилась.

— Не совсем похоже на ее отделение,— сказала она.— Похоже, но не совсем. Военные сестры пытаются устроить военный госпиталь. Они сами немного больные. Я иногда думаю, что всех незамужних сестер в тридцать пять лет надо увольнять.

— По крайней мере всех военных незамужних сестер,— добавил Макмёрфи. И спросил, долго ли мы сможем пользоваться ее гостеприимством.

— Боюсь, что не очень долго.

— Б о и ш ь с я, что не очень долго? — переспросил Макмёрфи.

— Да. Иной раз я предпочла бы оставить людей у себя, а не отсылать обратно, но она выше меня по положению. Нет, возможно, вы недолго пробудете... я имею в виду... как сейчас.

Кровати в буйном все расстроены — эти сетки слишком тугие, те слишком слабые. Кровати нам дали рядом. Простыней меня не привязали, но оставили рядом слабый свет.

Посреди ночи кто-то закричал:

— Я начинаю вертеться, индеец! Смотри меня, смотри меня!

И прямо перед собой, посередине темноты, увидел длинные желтые зубы. Это он подходил ко мне с протянутой рукой.

— Я начинаю вертеться! Пожалуйста, смотри меня!

Двое санитаров схватили его сзади и уволокли из спальни, а он смеялся и кричал: «Я начинаю вертеться, индеец!» Потом только смеялся. Он повторял это и смеялся всю дорогу, пока его тащили по коридору; в спальне стало тихо, и я услышал, как тот, другой сказал:

— Нет... я умываю руки от этих делов.

— Да-а, дружок у тебя тут было появился,— шепнул мне Макмёрфи и отвернулся спать.

А мне уже не спалось до утра. Я видел эти желтые зубы и голодное лицо, просившее: смотри меня, смотри меня! А потом, когда я все-таки уснул, просило молча. Это лицо — желтая изголодавшаяся нужда — надвигалось из темноты,

хотело чего-то... просило. Я не понимал, как может спать Макмёрфи, когда его обступает сотня таких лиц, или две сотни, или тысяча.

В буйном пациентов будили сигналом. Не просто включали свет, как у нас внизу. Этот сигнал звучит как гигантская точилка для карандашей, скоблящая что-то страшное. Мы с Макмёрфи, когда услышали его, подскочили на кроватях, потом собрались уже лечь, но громкоговоритель вызвал нас обоих на пост. Я вылез из постели с занемевшей спиной и едва мог нагнуться; по тому, как ковылял Макмёрфи, я понял, что и у него спина занемела.

— Что они для нас приготовили, вождь? — спросил он.— Испанский сапожок? Дыбу? Хорошо бы что-нибудь не очень утомительное, а то уж больно я измочалился!

Я сказал ему, что неутомительное, но больше ничего не сказал — сам не был уверен, пока мы не пришли на пост; там сестра, уже другая, сказала:

— Мистер Макмёрфи и мистер Бромден? — И дала нам по бумажному стаканчику.

Я заглянул в свой, там были три красные облатки.

Дзинь несется у меня в голове, и не могу остановить.

— Постойте,— говорит Макмёрфи.— Это сонные таблетки, да?

Сестра кивает, оглядывается, есть ли кто сзади; там двое со щипцами для льда пригнулись, рука об руку.

Макмёрфи возвращает ей стаканчик, говорит:

— Нет, сестра, предпочитаю без повязки на глазах. Но от сигареты не отказался бы.

Я тоже возвращаю стаканчик, она говорит, что должна позвонить, и, не дожидаясь нашего ответа, ныряет за стеклянную дверь, снимает трубку.

— Извини, вождь, что втянул тебя в историю,— говорит Макмёрфи, а я едва слышу его за свистом телефонных проводов в стенах. Мысли в панике несутся под гору.

Мы сидим в дневной комнате, вокруг нас лица, и тут входит сама старшая сестра, слева и справа от нее, на шаг сзади — два больших санитара. Съеживаюсь в кресле, прячусь от нее — но поздно. Слишком много народу смотрит на меня; липкие глаза не пускают.

— Доброе утро,— говорит она с прежней улыбкой.

Макмёрфи говорит «доброе утро», а я молчу, хотя она и мне громко говорит «доброе утро». Смотрю на черных санитаров: у одного пластырь на носу и рука на перевязи, серая кисть свисает из-под бинтов, как утопший паук, а второй двигается так, как будто у него ребра в гипсе. Оба чуть-чуть ухмыляются. Со своими повреждениями могли бы, наверно, сидеть дома — но разве упустят такое? Я ухмыляюсь им в ответ, чтоб знали.

Старшая сестра мягко и терпеливо укоряет Макмёрфи за его безответственную выходку, детскую выходку — разбушевался, как капризный ребенок, неужели вам не стыдно? Он отвечает, что, кажется, нет, и просит ее продолжать.

Она рассказывает о том, как вчера вечером на экстренном собрании наши пациенты согласились с персоналом, что ему, вероятно, должна принести пользу шоковая терапия — если он не осознает своих ошибок. Ему надо всего-навсего признать, что он не прав, продемонстрировать готовность к разумным контактам, и лечение на этот раз отменят.

Лица вокруг смотрят и ждут. Сестра говорит, что слово за ним.

— Да ну? Мне надо подписать бумагу?

— Нет, но если это вам кажется необхо...

— Так раз уж вы этим занялись, может, заодно и еще кое-что вписать: ну, например, я вступил в заговор, чтобы скинуть правительство, или считаю, что слаще жизни, чем у вас в отделении, сам черт не найдет отсюда до Гавайев... ну и всякую такую дребедень?

— По-моему, в этом нет...

— Я подпишу, и за это вы мне принесете одеяло и пачку сигарет от Красного Креста. У-у-у, дамочка, китайцы в том лагере могли бы у вас поучиться.

— Рэндл, мы пытаемся вам помочь.

Но он уже на ногах, скребет живот, проходит мимо нее и отпрянувших санитаров к карточным столам.

— Так-так-так, ну, где тут у вас покерный стол, ребята?

Старшая сестра смотрит ему в спину, потом уходит на пост звонить.

Два цветных санитара и белый санитар с курчавыми светлыми волосами ведут нас в главный корпус. По дороге Макмёрфи болтает с белым санитаром как ни в чем не бывало.

На траве толстый иней, а два цветных санитара пыхтят паром, как паровозы. Солнце расклинило облака, зажигает иней, вся земля в искрах. Воробьи, нахохлившись, скребут среди искр, ищут зерна. Срезаем по хрусткой траве, мимо сусличьих нор, где я видел собаку. Холодные искры. Иней уходит и в норы, в темноту.

Я чувствую этот иней у себя в животе.

Подходим к той двери, за ней шум, как в разбуженном улье. Перед нами двое, шатаются от красных облаток. Один голосит, как младенец.

— Это мой крест, спасибо, Господи, больше ничего у меня нет, спасибо. Господи...

Другой дожидающийся говорит:

— Мяч крепко, мяч крепко.

Это спасатель из бассейна. И тихонько плачет.

Я не буду кричать и плакать. При Макмёрфи — ни за что.

Техник просит нас снять туфли, а Макмёрфи спрашивает, распорят ли нам штаны и побреют ли головы. Техник говорит: хорошего понемножку.

Железная дверь глядит глазами-заклепками.

Дверь открывается, всасывает первого. Спасатель упирается. Луч, как неоновый дым, вылетает из черной панели в комнате, захватывает его лоб с ямами от шипов и втаскивает, как собаку на поводке. До того, как закрылась дверь, луч поворачивает его три раза, лицо его — болтушка из страха.

— Блок раз,— кряхтит он.— Блок два! Блок три!

Слышу, поднимают ему лоб, как крышку люка, скрежет и рычание заклинившихся шестерен.

Дым распахивает дверь, выкатывается каталка с первым, он граблит меня глазами. Его лицо. Каталка въезжает обратно и вывозит спасателя. Слышу, дирижеры болельщиков выкрикивают его имя.

Техник говорит:

— Следующая группа.

Пол холодный, заиндевелый, хрустит. Наверху воет свет в длинной белой ледяной трубке. Чую запах графитной мази, как в гараже. Чую кислый запах страха. Одно окно, маленькое, под потолком, вижу через него воробьи нахохлились на проводе, как коричневые бусины. Зарыли головы в перья от холода. Что-то гонит воздух над моими полыми костями, сильнее и сильнее.

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

— Не ори, вождь...

— Воздушная тревога!

— Спокойно. Я пойду первым. У меня череп толстый, им не прошибить. А если меня не прошибут, то и тебя не прошибут.

Сам влезает на стол и раскидывает руки точно по тени. Реле замыкает браслеты на его запястьях, щиколотках, пристегивает его к тени. Рука снимает с него часы — выиграл у Сканлона,— роняет возле панели, они раскрываются, колесики, шестеренки и длинная дряблая пружина подпрыгивают к боку панели и намертво прилипают.

Он как будто ни капли не боится. Улыбается мне.

Ему накладывают на виски графитную мазь.

— Что это? — спрашивает он.

— Проводящая смазка,— говорит техник.

— Помазание проводящей смазкой. А терновый венец дадут?

Размазывают. Он поет им, и у них дрожат руки.

— Крем «Лесные коренья» возьми...

Надевают штуки вроде наушников, венец из серебряных шипов на покрытых графитом висках. Велят ему прикусить обрезок резинового шланга, чтобы не пел.

— ...и ва-алшебный ланолин...

Повернуты регуляторы, и машина дрожит, две механические руки берут по паяльнику и сгибаются над ним. Он подмигивает мне и что-то говорит со шлангом

во рту, пытается что-то сказать, произнести, резина мешает, а паяльники приближаются к серебру у него на висках... вспыхивают яркие дуги, он цепенеет, выгибается мостом, только щиколотки и запястья прижаты к столу, через закушенную черную резиновую трубку звук вроде у-х у-х у! и весь заиндевел в искрах.

А за окном воробьи, дымясь, падают с провода.

Его выкатывают на каталке, он еще дергается, лицо белое от инея. Корррозия. Аккумуляторная кислота.

Техник поворачивается ко мне:

— Осторожней с этим лбом. Я его знаю. Держи его!

Сила воли уже ни при чем.

— Держи его! Черт! Не будем больше брать без снотворного.

Клеммы вгрызаются в мои запястья и щиколотки.

В графитной мази железные опилки, царапает виски.

Он что-то сказал мне, когда подмигнул. Что-то хотел сказать.

Человек наклоняется надо мной, подносит два паяльника к обручу на голове.

Машина сгибает руки.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА.

С горы поскакал, под пулю попал. Вперед не бежит и назад не бежит, погляди на мушку и ты убит, убит, убит.

Выходим по тропе через тростник к железной дороге. Прикладываю ухо к рельсе, она обжигает щеку.

— Ничего,— я говорю,— ни с той, ни с другой стороны на сто километров...

— Хм,— говорит папа.

— Разве мы бизонов так не слушали — воткнешь нож в землю, рукоятку в зубы, стадо слышно далеко?

— Хм,— говорит он опять, но ему смешно. За железной дорогой длинный бугорок пшеничной мякины с прошлой зимы. Под ней мыши, говорит собака.

— Пойдем по железной дороге вправо или влево, сынок?

— Пойдем на ту сторону, так собака говорит.

— Собака рядом не идет, не слушается.

— Пойдет. Там птицы, собака говорит.

— А отец говорит, пойдем охотиться вдоль насыпи.

— Лучше за дорогу, к мякине, собака говорит.

Через дорогу... и не успели оглянуться, вдоль всей дороги люди, палят по фазанам кто во что горазд. Кажется, собака забежала слишком далеко вперед и подняла всех птиц с мякины.

Собака поймала трех мышей.

...человек, Человек, ЧЕЛОВЕК. Ч Е Л О В Е К... высокий и широкоплечий, мигает, как звезда.

Опять муравьи, у, черт, сколько их, кусачие мерзавцы. Помнишь, мы попробовали, они оказались на вкус как укропные зернышки? Э? Ты сказал, не похоже на укроп, а я сказал, похоже, а твоя мама услышала и задала мне взбучку: учишь ребенка есть букашек!

Кхе. Хороший индейский мальчик сумеет прокормиться чем угодно и может съесть все, что не съест его раньше.

Мы не индейцы. Мы цивилизованные, и запомни это.

Ты сказал мне, папа: когда умру, пришпиль меня к небу.

Фамилия мамы была Бромден. И сейчас Бромден. Папа сказал, что родился с одним только именем, родился сразу на имя, как теленок вываливается на расстеленное одеяло, когда корова хочет отелиться стоя. Ти А Миллатуна, Самая Высокая Сосна на Горе, и я, ей-богу, самый большой индеец в штате Орегон, а может, и в Калифорнии и Айдахо. Родился прямо на имя.

Ты самый большой дурак, если думаешь, что честная христианка возьмет такое имя — Ти А Миллатуна. Ты родился с именем — хорошо, и я родилась с именем. Бромден. Мэри Луиза Бромден.

А когда мы переедем в город, говорит папа, с этой фамилией гораздо легче получить карточку социального обеспечения.

Этот гонится за кем-то с клепальным молотком и догонит, если постарается Снова вижу вспышки молний, цвета сверкают.

Не моргай. Не зевай, не моргай, тетка удила цыплят, гуси по небу летят... В целой стае три гуся... летят в разные края, кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом... Гусь тебе кричит: ВОДИ... два-три, выходи[4].

Это нараспев говорила бабушка, мы играли в игру часами, когда сидели у решеток с вяленой рыбой и отгоняли мух. Игра называлась «Не зевай, не моргай». Я растопыривал пальцы, и бабушка отсчитывала их, по слогу на палец.

Не зевай, не моргай (шесть пальцев), тетка удила цыплят (тринадцать пальцев, черной рукой, похожей на краба, отстукивает по пальцам каждый такт, и каждый мой ноготь смотрит на нее снизу, как маленькое лицо, хочет оказаться этим гусем, что летит над кукушкиным гнездом).

Я люблю игру и люблю бабушку. Не люблю тетку, которая удит цыплят. Не люблю ее. Люблю гуся, который летит над кукушкиным гнездом. Его люблю и бабушку, пыль в ее морщинах.

В следующий раз я увижу ее мертвой посреди Даллз-сити на тротуаре, вокруг стоят в цветных рубашках индейцы, скотоводы, пахари Везут ее в тележке на городское кладбище, валят красную глину ей в глаза.

Помню жаркие дни, предгрозовое затишье, когда зайцы забегали под колеса дизельных грузовиков.

Джой Рыба в Бочке после контракта имел двадцать тысяч долларов и три «кадиллака». И ни на одном не умел ездить.

Вижу игральную кость.

Вижу ее изнутри, я на дне. Я свинчатка, заряжен в кость, чтобы всегда выпадала та сторона, которая надо мной. Зарядили кость, чтобы всегда выпадал змеиный глаз, единица, а я груз, шесть бугорков вокруг меня, как белые подушки, та грань, на которую она ложится всякий раз, когда он кинет. Как зарядили другую кость? Тоже, конечно, на единицу. Змеиные глаза. Играет с жуликами, а они мной зарядили.

Берегись, бросаю. Ой, дамочки, в загашнике пусто, а девочка хочет новые подочки. Ух ты!

Оплошал.

Мокро. Лежу в луже.

Змеиные глаза. Опять его надули. Вижу одно очко над головой: не может он выиграть замороженными костями за фуражной лавкой в переулке... в Портленде.

Переулок-тоннель холодный, потому что солнце спускается к закату. Пусти меня... проведать бабушку. Пусти, мама.

Что же он сказал, когда подмигнул?

Кто из дому, кто в дом.

Не стой у меня на дороге.

Сестра, черт, не стой у меня на дороге, Дороге, ДОРОГЕ!

Мне бросать. Ух ты Черт. Опять прокатили Змеиные глаза.

Учительница сказала, у тебя светлая голова. мальчик, кем-нибудь станешь...

Кем стану, папа? Ковершиком, как дядя Б. и П. Волк? Корзинщиком? Или еще одним пьяным индейцем?

Слушай, механик, ты индеец, что ли?

Да, индеец.

А говоришь, между прочим, вполне грамотно.

Да.

Ладно... простого бензина на три доллара.

Они бы не так важничали, если бы знали, что у меня с л у н о й. Не простой индеец, черт возьми ..

Тот, кто... откуда это? ...идет не в ногу, слышит другой барабан.

Опять змеиные глаза. Черт, эти кости прямо мертвые.

После того как бабушку похоронили, папа, я и дядя Бегучий и Прыгучий Волк выкопали ее. Мама с нами не пошла; в жизни о таком не слышала. Повесить мертвого на дерево! Подумать тошно.

За осквернение могил дядя Б. и П. Волк и папа двадцать дней просидели в вытрезвителе, играли в рамс.

---

[4] Перевод Андрея Сергеева.

Это ведь наша мать, черт возьми!

Никакой разницы, ребята. Не имели права выкапывать из могилы. Когда же вы поумнеете, чертовы индейцы? Ну, где она? Скажите лучше.

А, иди ты в..., бледнолицый, сказал дядя Б. и П., свертывая самокрутку. Ни за что не скажу.

Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне. на помосте она считает ветер старой рукой, считает облака со старой присказкой: ...в целой стае три гуся...

Что ты сказал мне, когда подмигнул?

Оркестр играет. Смотри... какое небо, сегодня Четвертое июля.

Кости остановились.

Опять они ко мне с машинкой... интересно...

Что он сказал?

...интересно, как это Макмёрфи снова сделал меня большим.

Он сказал: «Мяч крепко».

Они там. Черные в белых костюмах писают на меня из-под двери, потом придут и обвинят меня, что я промочил под собой все шесть подушек! Шесть очков. Я думал, комната — кость. Одно очко, змеиный глаз, наверху, кружок, белый свет в потолке... вот что я видел... в этой комнате-кубике, значит, уже вечер. Сколько часов я был без сознания? Туманят полегоньку, но я не нырну, не спрячусь туда. Нет... больше никогда...

Я стою, встал медленно, между лопатками занемело. Белые подушки на полу изолятора промокли, я писал на них, пока был без сознания. Я не все еще мог вспомнить, но тер глаза ладонями и хотел, чтобы в голове прояснилось. Я старался. Раньше никогда не старался из этого выбраться.

Поплелся к круглому, забранному сеткой окошку в двери и постучал в него. Увидел: по коридору ко мне идет с подносом санитар — и понял, что на этот раз я их победил.

Бывало, что после шока я целых две недели ходил полуобморочный, жил в этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна, этот серый промежуток между светом и темнотой, или между сном и явью, или между жизнью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, какой сегодня день, и кто ты, и зачем вообще возвращаться.. по две недели. Если тебе не для чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке, но если тебе очень надо, то выкарабкаться из него, я понял, можно. На этот раз я выкарабкался меньше чем за день, так быстро мне еще не удавалось.

И когда туман в голове рассеялся, чувство было такое, как будто я вырвался на поверхность после долгого глубокого нырка, провел под водой сто лет. Это был последний электрошок в моей жизни.

А Макмёрфи за ту неделю сделали три. Только он придет в себя и подмигивать станет четко, является с доктором мисс Гнусен и спрашивают, готов ли он одуматься. отдать себе отчет в своем поведении и вернуться для долечивания. А он надувался, зная, что все эти голодные лица в буйном обращены к нему, и говорил сестре: мне жаль, что могу пожертвовать для страны только одной жизнью, и пусть она поцелует его в розовый зад, если он сойдет с проклятого мостика. Вот так!

Потом вставал, отвешивал два-три поклона улыбающимся зрителям, а сестра уводила доктора на пост к телефону — звонить в главный корпус за разрешением на еще одну процедуру.

Однажды, когда она уходила, он ущипнул ее сквозь юбку так, что лицо у нее сделалось краснее его волос. Думаю, что если бы рядом не стоял доктор, с трудом прятавший улыбку, она закатила бы ему пощечину.

Я уговаривал его подыграть сестре, чтобы его оставили в покое, а он только смеялся и говорил мне: черта лысого, всего делов-то, что заряжают ему аккумулятор за бесплатно. «Когда я отсюда выйду, первая женщина, которая подберет рыжего Макмёрфи, десятикиловаттного психопата, эта женщина засветится, как игральный автомат, и просыплется серебряными долларами. Нет, не боюсь я их-ней слабенькой зарядки».

Он говорил, что ему хоть бы хны. И даже не принимал облаток. Но каждый

раз, когда громкоговоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, а лицо становилось бледным, худым, испуганным — каким я видел его в ветровом стекле по дороге с рыбалки.

В конце недели меня перевели из буйного в наше отделение. Многое хотел я ему сказать до ухода, но он только что вернулся с процедуры и сидел, наблюдая за пинг-понгом так, словно глаза его были привязаны к шарику. Цветной санитар и санитар-блондин отвели меня вниз, впустили в наше отделение и заперли за мной дверь. После буйного здесь было ужасно тихо Я пошел к нашей дневной комнате и почему-то остановился в дверях; все лица повернулись ко мне с таким выражением, какого я еще не видел. Лица осветились, как будто смотрели на ярко освещенную платформу с ярмарочными артистами.

— Почтеннейшая публика,— заводит Хардинг,— перед вами краснокожий, который сломал руку санитару! Смотрите, смотрите!

Я улыбнулся им и понял, что должен был чувствовать все эти месяцы Макмёрфи, когда их лица кричали ему.

Они окружили меня и стали спрашивать обо всем, что произошло: как он себя там вел? что делал? правду ли говорят в физкультурном зале, что ему каждый день делают электрошок, а с него как с гуся вода и он заключает пари с техниками, сколько продержится с открытыми глазами после включения.

Я все рассказал, и никто, кажется, даже не удивился, что я разговариваю с людьми,— человек, которого столько лет считали глухонемым, и вдруг разговаривает и слушает, как любой из них. Я сказал им, что все эти истории — правда, и подбросил кое-что от себя. Над некоторыми его разговорами с сестрой они так смеялись, что даже два овоща улыбнулись и запыхтели под своими мокрыми покрывалами, будто поняли.

На другой день, когда сестра поставила перед группой вопрос о пациенте Макмёрфи и сказала, что по неизвестной причине он как будто совсем не поддается лечению электрошоком и, чтобы достигнуть контакта с ним, требуются более радикальные средства, Хардинг ответил:

— Возможно, оно и так, мисс Гнусен, да... Но, судя по тому, что я слышал о ваших встречах с Макмёрфи на верхнем этаже, он достигал контакта с вами без всяких затруднений.

Это сбило ее с панталыку, вся комната захохотала, и больше этот разговор не заводили.

Она понимала, что пока Макмёрфи наверху и наши не видят, как она его обстругивает, он вырастает еще больше, вырастает чуть ли не в легенду. Человека нельзя представить слабым, если его не видят, решила она и задумала вернуть его в свое отделение. Тогда, решила она, наши сами увидят, что он уязвим, как любой из них. Какой из него герой, когда он целый день будет сидеть в комнате, остолбенелый после шока.

Наши разгадали и это и то, что здесь, в отделении, у них на глазах она будет устраивать ему один шок за другим, только успевай опомниться. И вот Хардинг, Сканлон, Фредриксон и я решили убедить его, что самое лучшее для всех нас — если он сбежит из отделения. И к субботе, когда его привели — он вскочил в дневную комнату, как боксер на ринг, пританцовывая, сцепив руки над головой, и объявил, что чемпион возвращается,— план у нас был уже готов. Дождемся темноты, подожжем матрац, а когда явятся пожарные, быстро выпустим его за дверь. От такого прекрасного плана, решили мы, он никогда не откажется.

Но мы не подумали о том, что как раз в этот день он задумал провести в отделение к Билли девушку Кэнди.

Его вернули в отделение часов в десять утра.

— Прикуривай от меня, ребята; мне проверили свечи, мне зачистили электроды, искрю, как катушка зажигания на «форде-Т». Никто из вас не освещал ей тыквенную голову? Вззз! Та еще потеха.

И двинул по отделению, большой как никогда, опрокинул под дверью поста ведро с грязной водой, маленькому санитару незаметно положил кубик масла на белую замшевую туфлю и весь обед давился смехом, пока оно таяло и окрашивало мысок в «сомнительнейший желтый цвет», как сказал Хардинг... большой как никогда, и, стоило ему пройти мимо сестры-стажерки, она ойкала, закатывала глаза и семенила прочь, потирая бок.

Мы рассказали ему наш план побега, а он ответил, что спешки нет, и напомнил нам, что у Билли свидание.

— Братцы, разве можно огорчать нашего Билли? Когда он решил покончить со своим девичьим прошлым. И если не промахнемся, у нас будет прекрасная вечеринка, считайте, моя прощальная вечеринка.

Субботнее дежурство взяла старшая сестра — хотела присутствовать при его возвращении — и решила, что нам надо собраться и кое-что обсудить. На собрании она опять завела разговор о более радикальных средствах и требовала, чтобы доктор подумал о такой мере, «пока еще не поздно помочь пациенту». Но Макмёрфи вертелся юлой и так мигал, зевал, рыгал во время ее речи, что ей в конце концов пришлось замолчать, и тогда он просто уморил и доктора и больных, сказав, что согласен с каждым ее словом.

— Знаете, док, похоже, она права, сами видите, много ли мне пользы принес этот жалкий десяток вольт. Вот если бы они удвоили напряжение, я, может, стал бы принимать восьмой канал, как Мартини; мне надоело лежать в постели и бредить по четвертому одними новостями да погодой.

Сестра откашлялась, пытаясь снова овладеть собранием.

— Я предлагала подумать не о новом электрошоке, мистер Макмёрфи...

— Да?

— Я предлагала... подумать об операции. В сущности, так просто. И мы уже имели положительные результаты, когда удавалось снять агрессивные тенденции у некоторых враждебно настроенных больных...

— Враждебно? Мадам, да я дружелюбный, как щенок. Две недели, считайте, не выбивал бубну из санитара. Так что резать меня причин нету, верно?

Она выставила улыбку, показывая, как она ему сочувствует.

— Рэндл, резать ничего не пред...

— И вдобавок,— продолжал он,— ну, отхватите вы их, а что толку? У меня еще пара в тумбочке.

— Еще... пара?

— Одно большое, док, как бейсбольный мяч.

— Мистер Макмёрфи! — Она поняла, что над ней глумятся, и улыбка ее лопнула, как стекло.

— Да и второе ничего себе, можно сказать, нормального размера.

Он не унимался до самого отбоя. Настроение в палате было праздничное, как на большой ярмарке, все перешептывались о том, что если девушка привезет спиртное, мы устроим гулянку. Каждый хотел переглянуться с Билли и, когда это удавалось, подмигивал ему и улыбался. А когда мы выстроились за лекарствами, подошел Макмёрфи и попросил у маленькой сестры с распятием и родимым пятном штуки две витамина. Она поглядела на него удивленно, сказала, что не видит причин для отказа и дала ему несколько пилюль величиной с воробьиное яйцо. Он положил их в карман.

— Вы не собираетесь их принимать? — спросила она.

— Я? Нет, мне витамины ни к чему. Я взял для Билли. В последнее время он что-то осунулся — видно, кровь подкисла.

— Тогда... почему же вы их не отдаете?

— Отдам, детка, отдам, но я решил подождать до ночи, когда они больше всего понадобятся.

Он обнял Билли за порозовевшую шею и пошел к спальне, по дороге подмигнув Хардингу, а меня ткнув в бок большим пальцем; сестра смотрела ему вслед выпученными глазами и лила воду себе на ногу.

А про Билли вот что надо сказать: хотя на лице у него были морщины, а в волосах седина, выглядел он мальчишкой — ушастым, конопатым, с заячьими зубами, мальчишкой из тех, которые носятся босиком по календарям, волоча по пыли кукан с рыбешками. На самом-то деле он был совсем не такой. Когда он стоял рядом с другими мужчинами, ты всегда удивлялся, что ростом он не меньше любого, и не был он ни лопоухим, ни конопатым, если приглядеться, и зубы у него не торчали, и лет ему было на самом деле за тридцать.

Я только раз слышал от него, сколько ему лет,— по правде сказать, подслушал, когда он разговаривал с матерью в вестибюле. Плотная, упитанная дама, она работала там регистраторшей и за несколько месяцев успевала сменить цвет

волос с белого на голубой, потом на черный и снова на белый; по слухам, соседка старшей сестры и близкая подруга. Каждый раз, когда нас выводили на воздух, Билли был обязан остановиться перед ее столом и наклонить к ней покрасневшую щеку, чтобы его чмокнули. Мы стеснялись этого не меньше, чем сам Билли, и его никто не дразнил, даже Макмёрфи.

Однажды днем, давно, не помню когда, нас повели на улицу, но по дороге мы задержались, сели кто в вестибюле на больших, обитых пластиком диванах, кто на дворе под двухчасовым солнцем, и один санитар стал звонить букмекеру, а мать Билли, воспользовавшись случаем, вышла из-за стола, взяла своего мальчика за руку и уселась с ним на траве неподалеку от меня. Она сидела выпрямившись, туго обтянутая на сгибе, вытянув перед собой короткие круглые ноги в чулках, цветом похожих на колбасные шкурки, а Билли лег рядом, положил ей голову на колени, и она стала щекотать ему ухо одуванчиком. Билли говорил о том, что надо подыскать жену и поступить когда-нибудь в колледж. Мать щекотала его и смеялась над этими глупостями.

«Милый, у тебя еще сколько угодно времени. У тебя вся жизнь впереди».— «Мама, мне т-т-тридцать один год!» Она засмеялась и повертела у него в ухе травинкой. «Милый, похожа я на мать взрослого мужчины?» Она сморщила нос, раскрыла губы, чмокнула, и я про себя согласился, что она вообще не похожа на мать. Мне все равно не верилось, что ему тридцать один год, пока я не подобрался как-то раз к нему поближе и не поглядел год рождения у него на браслете.

В двенадцать часов ночи, когда Гивер, еще один санитар и сестра ушли, а на дежурство заступил цветной старик мистер Тёркл, Макмёрфи и Билли уже поднялись — принимать витамины, решил я. Я вылез из постели, надел халат и пошел в дневную комнату, где они разговаривали с мистером Тёрклом. Хардинг, Сканлон, Сефелт и кое-кто еще тоже вышли. Макмёрфи объяснял мистеру Тёрклу, как вести себя, когда появится девушка, вернее, напоминал — похоже было, что все это они уже обсудили заранее, недели две назад. Макмёрфи сказал, что впустить ее надо в окно, а не вести через вестибюль, там можно налететь на ночного дежурного. А потом отопрем изолятор Ага, чем не шалаш для милых? Очень изолированный. («Б-брось, М-Макмёрфи»,— пытался сказать Билли.) И не зажигать свет. Чтобы дежурный не заглянул. И закрыть двери спальни, чтобы не перебудить бормотунов-хроников. И чтобы т и х о — не будем их беспокоить.

— Да брось, М-М-Мак,— сказал Билли.

Голова у мистера Тёркла моталась, он клевал носом. Когда Макмёрфи сказал: «Кажется, обо всем условились,» — мистер Тёркл ответил:

— Нет... не совсем.

Сидит в своем белом костюме, улыбается, и лысая желтая его голова плавает на конце шеи, как воздушный шарик на палочке.

— Кончай, Тёркл. Внакладе не останешься. Пару бутылок она привезет.

— Уже теплее,— сказал мистер Тёркл. Голова у него кренилась и падала. Похоже было, что он с трудом одолевает сон. Я слышал, что днями он работал в другом месте, на ипподроме.

Макмёрфи обернулся к Билли.

— Билли, мальчик, Тёркл набивает себе цену. Сколько ты дашь, чтобы стать мужчиной?

Пока Билли запинался на первом слове, мистер Тёркл помотал головой.

— Не это. Не деньги. Она ведь не только бутылку с собой привезет, ваша малютка? Ты же не только на бутылку нацелился, так? — Он с ухмылкой оглядел компанию.

Билли чуть не лопнул, пытаясь выговорить, что только не с Кэнди, не с его девушкой! Макмёрфи отвел его в сторону и сказал, чтобы он не волновался за свою девушку, девушки не убудет: когда Билли освободится, Тёркл, наверно, будет такой пьяный и сонный, что не сможет и морковку положить в корыто.

Девушка опять опоздала. Все в халатах, мы сидели в дневной комнате и слушали, как Макмёрфи и мистер Тёркл рассказывают друг другу армейские анекдоты, по очереди затягиваясь сигаретой мистера Тёркла; курили они странно — задерживали дым, покуда у них глаза на лоб не вылезали.

Хардинг спросил, что это у них за сигарета, с таким аппетитным запахом, а мистер Тёркл ответил высоким задыхающимся голосом:

— Сигарета как сигарета. Хи-хи. Дать затянуться?

Билли все больше нервничал, боялся, что девушка не приедет, и боялся, что приедет. Все время спрашивал, почему мы не ложимся, сидим здесь в темноте и в холоде, как собаки, ждем объедков со стола, а мы ему только улыбались. Ложиться никто не хотел, и холодно вовсе не было — наоборот, было спокойно и приятно сидеть в полутьме и слушать, как Макмёрфи с мистером Тёрклом травят байки. Никто как будто не хотел спать и даже не волновался, что идет третий час ночи, а девушки все нет. Тёркл сказал, что в отделении темно, она не видит, куда идти и, наверно, поэтому опаздывает; Макмёрфи сказал, что в этом все и дело, и оба они стали бегать по коридорам и зажигать все лампы подряд, хотели даже включить большие будильные лампы в спальне, но Хардинг сказал им, что тогда мы поднимем из постели остальных людей и надо будет со всеми делиться. Они согласились и вместо этого зажгли весь свет в кабинете доктора.

В отделении стало светло, как днем, и тут же в окно постучали. Макмёрфи подбежал к окну и прижался к нему носом, заслонив ладонями глаза от света. Потом с улыбкой повернулся к нам.

— Пришла и ночь красотой осветила,— сказал он. Потом взял Билли за руку и подтащил к окну.— Отопри ей, Тёркл. Спусти на нее этого бешеного жеребца.

— Подожди, М-М-Макмёрфи, послушай.— Билли упирался, как мул.

— Билли, мальчик, брось свои «Ма-ма-мёрфи». Поздно отступать. Прорвешься. Слушай, спорим на пять долларов, что ты ее укатаешь,— идет? Отпирай окно, Тёркл.

В темноте стояли две девушки — Кэнди и та, которая не приехала на рыбалку.

— Сила! — сказал Тёркл, помогая им влезть.— На всех хватит.

Мы бросились на помощь: чтобы перелезть через подоконник, им пришлось задрать узкие юбки до самых бедер.

Кэнди сказала:

— Макмёрфи, черт такой! — И так принялась его обнимать, что чуть не разбила обе бутылки, которые держала за горлышки.

Ее порядком качало, и волосы, собранные на макушке, все время распадались. На рыбалке они у нее были закручены на затылке, и это ей больше шло. Она показала бутылкой на вторую девушку, как раз влезавшую в окно.

— И Сэнди со мной. Взяла и бросила своего маньяка из Бивертона — вот ненормальная, а?

Девушка влезла в окно и поцеловала Макмёрфи.

— Привет, Мак. Извини, что в прошлый раз не приехала. Но с этим — все. Сколько можно терпеть его шутки — то белые мыши в наволочке, то черви в банке с кремом, то лягушка в лифчике.— Она мотнула головой и покачала перед собой ладонью в воздухе, словно стирала воспоминания о бывшем муже, любителе живности.— Господи, что за маньяк.

Обе были в юбках, свитерах и нейлоновых чулках, без туфель, обе разрумянились и обе хихикали.

— Приходилось спрашивать дорогу,— объяснила Кэнди,— в каждом баре.

Сэнди озиралась, широко раскрыв глаза.

— Ой, Кэнди, куда мы попали? Это правда? Неужели мы в больнице? Дела!

Она была крупнее Кэнди, лет на пять старше и соорудила из своих каштановых волос модный узел на затылке, но волосы не держались, падали прядями вдоль упитанных сливочных щек, и похожа она была на скотницу, которая хочет сойти за светскую даму. Плечи, грудь и бедра у нее были слишком широкие, а улыбка слишком открытая и простоватая, чтобы назвать ее красавицей, но она была миловидной, она была здоровой, и на одном пальце у нее висела четырехлитровая бутыль красного вина, качалась возле ноги, как сумка.

— Кэнди, Кэнди, почему, почему, почему с нами случаются такие дикие истории? — Она еще раз повернулась кругом и замерла, расставив босые ноги и хихикая.

— Эти истории не случаются,— торжественно сказал ей Хардинг.— Такими историями ты грезишь по ночам, когда лежишь без сна, а потом боишься рас-

сказать их твоему психиатру. Вас тут на самом деле нет. Вина этого нет, н и ч е г о этого не существует. А теперь пойдемте отсюда.

— Здравствуй, Билли,— сказала Кэнди.

— Вот так штучка,— сказал Тёркл.

Кэнди неловко протянула Билли одну бутылку.

— Я привезла тебе гостинец.

— Это не истории, а грезы специально для психотерапевта! — сказал Хардинг.

— Мама! — сказала девушка Сэнди.— Вот так влипли!

— Тссс,— сказал Сканлон и оглядел их, насупясь.— Не кричите так, разбудите остальных паразитов.

— Ну и что, жадина? — Сэнди хихикнула и опять начала озираться...— Боишься, что на всех мало будет?

— Сэнди, так и знал, что привезешь этот дешевый портвейн.

— Ух ты! — Она перестала поворачиваться и смотрела на меня.— Кэнди, а этот каков! Прямо людоед.

Мистер Тёркл сказал:

— Сила! — и запер сетку.

А Сэнди еще раз сказала:

— Ух ты!

Мы все сбились в кучку посреди дневной комнаты, смущенно топтались друг возле друга, говорили какую-то ерунду — не знали, что делать дальше, никогда в таком положении не были, и эта смущенная, взволнованная, суматошная болтовня, и смех, и топтание продолжались бы неизвестно сколько, но тут во входной двери звучно щелкнул замок, и все вздрогнули, словно сработала электрическая сигнализация.

— Господи боже мой,— сказал мистер Тёркл и хлопнул себя по лысой макушке,— это дежурная, вышибут меня под черный зад коленкой.

Мы убежали в уборную, выключили свет и замерли в темноте, слушая дыхание друг друга. Потом услышали, что дежурная бродит по отделению и громким тревожным шепотом зовет мистера Тёркла. Она боялась повысить голос, но в нем слышался испуг:

— Мистер Тёркл? Мистер Тёркл?

— Куда он, к черту, делся? — шепнул Макмёрфи.— Почему не отвечает?

— Не волнуйся,— ответил Сканлон.— В сортир она не заглянет.

— Но почему не отвечает? Задвинулся, что ли?

— О чем ты говоришь? Задвинулся с такого маленького косячка? — Голос мистера Тёркла раздавался где-то рядом, в темной уборной.

— Тёркл, а ты-то что тут делаешь? — Макмёрфи старался говорить строго, а сам с трудом сдерживал смех.— Иди узнай, чего ей надо. Что она подумает, если не найдет тебя?

— Конец нам,— сказал Хардинг и сел.— Аллах, будь милостив.

Тёркл открыл дверь, выскользнул наружу и встретил дежурную в коридоре. Она хотела выяснить, почему везде горит свет, для какой цели включены все лампы в отделении. Тёркл сказал, что не все включены, что в спальне не горят и в уборной тоже. Она сказала, что это не оправдание для иллюминации в остальных местах — по какой причине ее устроили? Тёркл не мог придумать ответ, и в наступившем молчании я услышал, как рядом со мной в темноте передают из рук в руки бутылку. А там, в коридоре, она повторила вопрос, и Тёркл сказал, что он, ну, убирался, наводил порядок. Тогда она поинтересовалась, почему именно в уборной темно, хотя как раз там ему положено убирать по штату. Мы ждали, что он ответит, а бутылка опять пошла по рукам. Дошла до меня, и я выпил. У меня была сильная потребность. Даже отсюда было слышно, как Тёркл глотает слюну в коридоре, мекает, бекает и не может придумать ответ.

— Совсем вырубился,— прошипел Макмерфи.— Кто-то должен выйти помочь.

Рядом со мной спустили воду, открылась дверь, и коридорный свет упал на Хардинга — он выходил, подтягивая брюки. При виде него дежурная ахнула, а он попросил извинения — не видел ее, очень темно.

— Не темно.

— Нет, в уборной. Я всегда выключаю свет — для перистальтики. Понимаете ли, зеркала: когда горит свет, кажется, что зеркала заседают надо мной, как судьи, определяют наказание, если у меня не получится.

— Но санитар Тёркл сказал, что убирал там...

— И отлично справился с работой, осмелюсь заметить,— учитывая сложности, обусловленные темнотой. Не угодно ли взглянуть?

Хардинг приоткрыл дверь, и полоска света легла на кафельный пол. Я увидел, как попятилась дежурная, говоря, что не может принять его предложение, ей надо продолжать обход. Я услышал, как отперлась входная дверь в начале коридора и дежурная вышла. Хардинг крикнул вдогонку, чтобы не забывала нас надолго, и тут все вывалились в коридор поздравлять его, жать ему руку и хлопать по спине.

Мы стояли в коридоре, и вино опять пошло по рукам. Сефелт сказал, что принял бы водки, если бы было чем ее разбавить. Он спросил мистера Тёркла, нет ли чего-нибудь такого в отделении, а Тёркл сказал, ничего, кроме воды. Фредриксон спросил: а что, если микстурой от кашля?

— Мне иногда давали из двухлитровой банки в аптечной комнате. На вкус ничего. Тёркл, у тебя есть ключ от комнаты?

Тёркл сказал, что ночью ключ от аптеки только у дежурной, но Макмёрфи уговорил его позволить нам поковыряться в замке. Тёркл ухмыльнулся и сонно кивнул. Пока они с Макмёрфи ковырялись скрепками в замке, остальные вместе с девушками побежали на пост и стали открывать папки и читать записи.

— Смотрите,— сказал Сканлон, размахивая папкой.— Всё как есть. Тут даже мой табель за первый класс. О-о, паршивые отметки, просто паршивые.

Билли читал с девушкой свою историю болезни. Она отступила на шаг и оглядела его.

— Столько всего, Билли? Шизо такой и психо сякой? Не подумаешь, что у тебя столько всякого разного.

Другая девушка открыла нижний ящик и подозрительно спрашивала, зачем сестрам столько грелок, прямо тысяча, а Хардинг сидел за столом старшей сестры и наблюдал за нами, качая головой.

Макмёрфи с Тёркломоткрыли дверь аптеки и вытащили из холодильника бутыль густой вишневой жидкости. Макмёрфи посмотрел ее на просвет и вслух прочел этикетку:

— Ароматическая эссенция, пищевая краска, лимонная кислота. Инертных веществ — это, наверно, вода — семьдесят процентов, алкоголя двадцать процентов — прекрасно! Кодеина десять процентов. Осторожно, наркотик может вызвать привыкание.— Он отвинтил пробку, попробовал жидкость на вкус, закрыл глаза. Потом провел языком под губами, еще раз глотнул и снова прочел этикетку.— Так,— сказал он и щелкнул зубами, как будто их только что наточили,— если добавить немного в водку, будет то, что надо. Тёркл, браток, как у нас со льдом?

Смешали в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном, и получился сироп, по вкусу похожий на детский напиток, а крепостью на кактусовую водку, которую мы покупали в Даллзе,— прохладный и мягкий, пока глотаешь, обжигающий и свирепый в животе. Мы выключили свет в дневной комнате и сели пить. Первые два стаканчика приняли как лекарство, в серьезном молчании, оглядывая друг друга — не умрет ли кто. Макмёрфи и Тёркл переключались с вина на сигареты Тёркла и обратно на вино и вскоре опять начали хихикать — когда заговорили о том, что было бы, если бы маленькая сестра с родимым пятном не сменилась в двенадцать часов, а осталась с нами.

— Я бы испугался,— сказал Тёркл,— что она отхлещет меня своим большим крестом на цепочке. В такой переплет попасть, а?

— А я бы испугался,— сказал Макмёрфи,— что когда я к ней подкачусь, она зайдет с тыла и вставит мне термометр!

Тут все захохотали. Хардинг перестал смеяться и подхватил разговор.

— Или еще хуже,— сказал он.— Ляжет в постель и с ужасно сосредоточенным видом скажет тебе... ой, не могу!.. скажет, какой у тебя пульс!

— Уй, хватит... уй, не могу...

— Или еще хуже, ляжет и вычислит тебе и пульс и температуру сразу — без инструментов!

— Ой, перестаньте, гады...

Мы катались по кушеткам и креслам, задыхались от смеха и плакали. Девушки до того ослабли, что только со второй или третьей попытки могли подняться на ноги.

— Мне надо... подинькать,— сказала большая, захихикала и пошла к уборной, но ошиблась дверью и ввалилась в спальню.

Мы все затихли, прижали пальцы к губам, а потом оттуда донесся ее визг и старый полковник Маттерсон заорал:

— Подушка — это... лошади! — И вылетел за ней из спальни на инвалидном кресле.

Сефелт откатил полковника обратно в спальню и лично отвел девушку в уборную — сказал ей, что вообще-то уборная только для мужчин, но он встанет в дверях и будет охранять ее покой, отразит любое вторжение, черт возьми. Она чинно поблагодарила его, пожала ему руку, потом они отдали друг другу честь, но только она вошла, снова выехал полковник на своей колеснице, и Сефелту пришлось туго. Когда девушка появилась в дверях, он ногой отражал колесные атаки, а мы стояли вокруг поля боя и подбадривали то одного, то другого. Девушка помогла Сефелту уложить полковника в постель, а потом они отправились в коридор танцевать вальс под музыку, которой никто не слышал.

Хардинг пил, смотрел и качал головой.

— Этого не может быть. Это совместное произведение Кафки, Марка Твена и Мартини.

Макмёрфи с Тёркл забеспокоились, что света все-таки слишком много, и принялись выключать все лампы в коридоре, даже маленькие ночные светильники на уровне колен; в отделении сделалась кромешная тьма. Тёркл достал фонари, мы стали играть в салки на запасных инвалидных креслах и очень веселились, пока не услышали припадочный крик Сефелта — он лежал и дергался рядом с большой девушкой, Сэнди. Девушка сидела на полу, отряхивала юбку и смотрела на Сефелта.

— Такого со мной никогда еще не было,— сказала она с благоговейным страхом.

Фредриксон стал рядом с другом на колени, засунул ему кошелек между зубов, чтобы он не прикусил язык, и застегнул на нем пуговицы.

— Как ты, Сеф? Ничего, Сеф?

Сефелт глаз не открыл, но поднял слабую руку и вынул изо рта кошелек. Он улыбнулся мокрыми губами.

— Ничего,— сказал он.— Дайте мне лекарство и пустите к ней.

— Сеф, тебе правда нужно лекарство?

— Лекарство.

— Лекарство,— бросил через плечо Фредриксон, не поднимаясь с колен.

— Лекарство,— повторил Хардинг и, шатаясь, пошел с фонариком к аптеке.

Сэнди смотрела ему вслед остановившимися глазами. Она сидела рядом с Сефелтом и растерянно гладила его по голове.

— Пожалуй, и мне что-нибудь захвати,— пьяным голосом крикнула она Хардингу.— Даже ничего похожего со мной в жизни не было.

В коридоре раздался звон стекла, и Хардинг вернулся с двумя горстями таблеток; он посыпал ими Сефелта и девушку, словно крошил в кулаке первый ком земли над могилой.

— Всемилостивый боже,— Хардинг поднял глаза к потолку,— прими двух бедных грешников в свои объятия. И оставь в двери щелку для нас, остальных, потому что ты наблюдаешь конец, абсолютный, непоправимый, фантастический конец. Теперь я понял, что происходит. Это наш последний взбрык. Отныне мы обречены. Должны собрать в потный кулак все мужество, чтобы встретить грядущую гибель. Нас всех до единого расстреляют на рассвете. По сто кубиков каждому. Мисс Гнусен поставит нас к стенке и мы заглянем в черное дуло ружья, заряженного торазинами! милтаунами! либриумами! стелазинами! Взмахнет саблей и — б а б а х! Транквилизирует нас до полного небытия.

Он привалился к стене и сполз на пол, и таблетки запрыгали из его рук во все стороны, как красные, зеленые и желтые блохи.

— Аминь,— сказал он и закрыл глаза.

Девушка, сидя на полу, разгладила юбку на длинных рабочих ногах, посмотрела на Сефелта, который все еще скалился и подергивался рядом с ней под лучами фонариков, и сказала:

— Ничего даже наполовину похожего со мной в жизни не было.

Речь Хардинга если и не отрезвила людей, заставила их осознать серьезность того, что мы творим. Ночь шла на убыль, и пора было вспомнить о том, что утром придут сестры и санитары. Билли Биббит и его девушка напомнили нам, что уже пятый час и, если мы не против, они попросили бы мистера Тёркла отпереть изолятор. Они удалились под аркой лучей, а мы пошли в дневную комнату подумать, не придет ли в голову какая мысль насчет уборки. Тёркл, отперев изолятор, вернулся оттуда почти без памяти, и мы заткнули его на инвалидном кресле в дневную комнату.

Шагая за ними, я вдруг с удивлением подумал, что пьян, по-настоящему пьян, блаженствую, улыбаюсь и спотыкаюсь впервые после армии. Пьян вместе с шестью-семью другими ребятами и двумя девушками — и где! У старшей сестры в отделении! Пьян, и бегаю, и смеюсь, и озорничаю с девушками в самой неприступной твердыне Комбината! Я вспомнил сегодняшнюю ночь, вспомнил, что мы творили,— все казалось чуть ли не выдумкой. Я должен был повторять себе, что это на самом деле произошло, и произошло по нашей воле. Нам пришлось только отпереть окно и впустить это, как впускаешь свежий воздух. Может быть, Комбинат не такой уж всесильный? Теперь мы знаем, на что способны,— и кто нам помешает повторить? Или сделать что-нибудь другое, если захотим. Мысль была до того приятная, что я завопил, набросился сзади на Макмёрфи и девушку Сэнди, подхватил их, каждого одной рукой, и побежал с ними в дневную комнату, а они кричали и брыкались, как дети. Вот до чего мне было хорошо.

Снова поднялся полковник Маттерсон, ясноглазый и переполненный премудростями, и Сканлон откатил его обратно к кровати. Сефелт, Мартини и Фредриксон сказали, что, пожалуй, тоже лягут. Макмёрфи с Хардингом, девушка, я и мистер Тёркл остались, чтобы прикончить микстуру от кашля и подумать насчет уборки в отделении. Похоже было, что кавардак беспокоит только нас с Хардингом; Макмёрфи и Сэнди сидели себе рядышком, прихлебывали микстуру и распускали руки в потемках, а мистер Тёркл то и дело засыпал. Хардинг изо всех сил старался заинтересовать их этой задачей.

— Вы не сознаете к'тичности с'жившегося положения,— сказал он.

— Ерунда,— сказал Макмёрфи.

Хардинг хлопнул по столу.

— Макмёрфи, Тёркл, вы не сознаете, что сегодня произошло. В отделении для душевнобольных. В отделении мисс Гнусен! П'следствия будут... касатрофическими!

Макмёрфи куснул девушку за мочку.

Тёркл кивнул, открыл один глаз и сказал:

— Это точно. Завтра она заступает.

— У меня, однако, есть план,— сказал Хардинг. Он встал на ноги. Он сказал, что Макмёрфи в его состоянии, очевидно, не способен совладать с ситуацией и кто-то должен взять руководство на себя. С каждым словом он как будто все больше выпрямлялся и трезвел. Он говорил серьезно и настойчиво, и руки обрисовывали то, что он говорил. Я был рад, что он взял на себя руководство.

План у него был — связать Тёркла и изобразить дело так, будто Макмёрфи подкрался к нему сзади, связал его, ну, хотя бы разорванными простынями, отобрал ключи, с ключами проник в аптеку, разбросал лекарства, переворошил все папки назло сестре — в э т о она поверит,— а потом отпер сетку на окне и сбежал.

Макмёрфи сказал, что это похоже на телевизионный фильм и такая глупость не может не удасться, и похвалил Хардинга за то, что у него ясная голова. Хардинг объяснил достоинства плана: сестра не будет преследовать остальных, Тёрк-

ла не выгонят с работы, а Макмёрфи выйдет на свободу. Девушки могут отвезти Макмёрфи в Канаду или в Тихуану, а захочет — так и в Неваду, и он будет в полной безопасности; за больничными дезертирами полиция гоняется без особого азарта: девять из десяти через несколько дней возвращаются сами, пьяные, без денег, на дармовую еду и бесплатную койку. Мы поговорили об этом и прикончили микстуру от кашля. Договорились до тишины. Хардинг сел на место.

Макмёрфи отпустил девушку, посмотрел на меня, потом на Хардинга, и на лице у него снова появилось непонятное усталое выражение. Он спросил: а что же мы, почему бы нам не одеться и не удрать вместе с ним?

— Я еще не вполне готов,— сказал ему Хардинг.

— А с чего ты взял, что я готов?

Хардинг посмотрел на него молча, потом улыбнулся и сказал:

— Нет, ты не понял. Через несколько недель я буду готов. Но хочу выйти самостоятельно, через парадную дверь со всеми онерами и формальностями... Чтобы жена сидела в машине и в назначенный час забрала меня. Чтобы всем стало ясно, что я могу выйти таким образом.

Макмёрфи кивнул.

— А ты, вождь?

— А я что, я здоров. Только еще не знаю, куда мне хочется. А потом, если ты уйдешь, кто-то должен остаться на несколько недель, проследить, чтобы всё не пошло по-прежнему.

— А Билли, Сефелт, Фредриксон, остальные?

— За них не могу говорить,— ответил Хардинг.— У них пока свои сложности, как и у всех нас. Во многих отношениях они еще больные люди. Но в том-то и штука: больные л ю д и. Уже не кролики, Мак. И, может быть, когда-нибудь станут здоровыми людьми. Не знаю.

Макмёрфи, задумавшись, глядел на свои руки. Потом поднял глаза на Хардинга.

— Хардинг, в чем дело? Что происходит?

— Ты об этом обо всем?

Макмёрфи кивнул.

Хардинг покачал головой:

— Вряд ли я сумею тебе ответить. Нет, я мог бы назвать тебе причины с изысканными фрейдистскими словечками, и все это было бы верно до известной степени. Но ты хочешь знать причины причин, а я их назвать не могу. По крайней мере в отношении других. А себя? Вина. Стыд. Страх. Самоуничижение. В раннем возрасте я обнаружил, что... как бы это выразиться помягче? Видимо, более общим, более хорошим словом. Я предавался определенному занятию, которое в нашем обществе считается постыдным. И я заболел. Не от занятия, надо думать, а от ощущения, что на меня направлен громадный, страшный указующий перст общества — и хор в миллион глоток выкрикивает: «Срам! Срам! Срам!» Так общество обходится со всеми непохожими.

— И я непохожий,— сказал Макмёрфи.— Почему же со мной такого не случилось? Сколько помню себя, люди привязывались ко мне то с одним, то с другим, но я не от этого... я от этого не спятил.

— Да, ты прав. Спятил ты не от этого. Я не выдавал свою причину за единственную причину. Правда, раньше, несколько лет назад, в мои тонкошеие года, я думал, что порка, которой тебя подвергает общество,— это единственное, что гонит по дороге к сумасшествию, но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Человека, сильного человека вроде тебя, мой друг, может погнать по этой дороге и кое-что другое.

— Да ну? Учти, я не согласен, что я на этой дороге, но что же это за «другое»?

— Это мы.— Рука его описала в воздухе мягкий белый круг, и он повторил: — Мы.

Макмёрфи без особой убежденности сказал:

— Ерунда,— и улыбнулся. А потом встал, подняв за собой девушку. Прищурясь, поглядел на тусклый циферблат часов.— Скоро пять. Мне надо покемарить перед отвалом. Дневная смена придет только через два часа; не будем пока трогать Билли с Кэнди. Я оторвусь часов в шесть. Сэнди, детка, может быть, ча-

сок в спальне нас протрезвит. Что скажешь? Путь у нас завтра неблизкий — в Канаду ли, в Мексику или еще куда.

Тёркл и мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядком шатались, были порядком пьяны, но опьянение подернулось мягкой печалью. Тёркл сказал, что через час вытурит Макмёрфи и девушку из койки.

— И меня разбуди,— сказал Хардинг.— Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать: «Кто это скачет от нас во всю прыть?»

— Иди ты к черту. Ложитесь-ка вы оба спать, глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял?

Хардинг улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил. Макмёрфи протянул руку, и Хардинг пожал ее. Макмёрфи отклонился назад, как ковбой, вывалившийся из салуна, и подмигнул.

— Большой Мак линяет, и ты, браток, опять можешь быть главным психом.

Он повернулся ко мне и нахмурил брови.

— А кем тебе быть, вождь, не знаю. Придется тебе самому решать. Может, устроишься на телевидение, играть бандитов. Главное, не суетись.

Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмёрфи велел Тёркл у нарвать простыней и подумать, какими узлами он хочет, чтобы его связали. Тёркл сказал, что подумает.

Когда я лег в постель, в спальне уже светало; Макмёрфи с девушкой тоже залезли в постель. Я ощущал тепло во всем теле, но тело было как чужое. Я услышал, как мистер Тёркл открыл дверь бельевой в коридоре и с громким, долгим вздохом-отрыжкой затворил ее за собой. Глаза мои привыкли к сумраку, и я увидел, что Макмёрфи и девушка уткнулись друг другу в плечо, умостились как два усталых ребенка, а не как взрослые люди, которые легли в постель для любви.

Так и застали их в половине седьмого санитары, когда пришли зажигать в спальне свет.

Я много думал о том, что произошло после, и, наверно, это должно было произойти так или иначе, раньше или позже — даже если бы мистер Тёркл поднял и выпустил Макмёрфи и девушек, как мы задумали. Старшая сестра все равно бы дозналась о том, что было, догадалась бы, например, по лицу Билли, и сделала бы то, что сделала, и при Макмёрфи и без него. И Билли сделал бы то, что сделал, а Макмёрфи узнал бы об этом и вернулся.

Должен был вернуться, потому что не мог он гулять на воле, играть в покер в каком-нибудь Рино или Карсон-сити и допустить, чтобы последнее слово, последний ход остался за сестрой, так же как не мог этого допустить, сидя в больнице. Словно подписался довести игру до конца и уже не мог нарушить договор.

Едва мы встали и разбрелись кто куда, шепоток о том, что у нас было ночью, пополз по отделению, как низовой пожар в лесу. «Что у них было?» — спрашивали те, кто не участвовал. «Проститутка? В спальне? Вот это да!» Не только она, говорили им наши, но и попойка несусветная. Макмёрфи хотел выпустить ее до прихода дневной смены, но проспал. «Что ты мне мозги крутишь?» «Не кручу — от первого до последнего слова святая правда. Я сам при этом был».

Остальные участники ночного гуляния рассказывали о нем со сдержанной гордостью и изумлением, как очевидцы пожара в большой гостинице или прорыва плотины — очень серьезно и уважительно, потому что жертвы еще не сосчитаны,— но чем дальше шел рассказ, тем меньше оставалось у них уважительности. Каждый раз, когда старшая сестра и ее расторопные санитары набредали на что-нибудь новенькое вроде пустой бутылки из-под микстуры или дивизиона инвалидных кресел, выстроившихся в конце коридора на манер свободных тележек в Луна-парке, тут же вытаскивалось еще одно ночное происшествие — тем, кто не участвовал, послушать, а тем, кто участвовал, посмаковать. Всех — и хроников и острых — санитары согнали в дневную комнату, они перемешались там и взволнованно толклись друг возле друга. Два старых овоща сидели, утонув в своих подстилках, хлопали глазами и деснами. Все были в пижамах и тапках, кроме Макмёрфи и девушки; она только обуться не успела, и нейлоновые чулки висели у нее на плече, а он был в черных трусах с белыми китами. Они сидели рядышком на диване, держась за руки. Сэнди опять задремала, а Макмёрфи привалился к ней с сонной и сытой улыбкой.

Тревога наша непонятно почему сменилась радостью и весельем. Когда сестра нашла кучу таблеток, которыми Хардинг посыпал Сефелта и девушку, мы стали фыркать и с трудом удерживались от смеха, а уж когда в бельевой обнаружили мистера Тёркла и он вышел, кряхтя и моргая, замотанный в сто метров рваных простыней, как похмельная мумия,— загоготали во весь голос. Старшая сестра восприняла наше веселье даже без тени ее всегдашней приклеенной улыбки; каждый наш смешок становился у нее поперек горла, и казалось, она с минуты на минуту лопнет, как пузырь.

Макмёрфи забросил голую ногу на край кушетки, стащил на нос шапочку, чтобы свет не резал воспаленные глаза, и все время облизывался — язык у него словно отлакировали микстурой от кашля. Вид у него был больной и страшно усталый, он все время зевал и сжимал ладонями виски, но при этом продолжал улыбаться, а раза два, после очередных находок сестры, даже захохотал.

Когда сестра ушла звонить в главный корпус насчет отставки мистера Тёркла, Тёркл и девушка Сэнди воспользовались удобным случаем, отперли сетку на окне, помахали нам на прощание и вприпрыжку побежали к дороге, спотыкаясь и оскальзываясь на сырой, искрящейся под солнцем траве.

Хардинг сказал Макмёрфи:

— Оно не заперто. Беги. Беги за ними!

Макмёрфи закряхтел и открыл один глаз, кровавый, как насиженное яйцо.

— Издеваешься? Я голову сейчас не просуну в окошко, не то что тело.

— Друг мой, ты, кажется, не вполне сознаешь...

— Хардинг, пошел ты к черту со своими умными словами; сейчас я одно сознаю — что я еще наполовину пьян. Меня тошнит. И между прочим, думаю, что ты тоже пьяный. А ты, вождь, ты еще пьяный?

Я сказал, что в носу и щеках у меня нет никакой чувствительности, если только это можно считать признаком.

Макмёрфи кивнул и снова закрыл глаза; он обхватил себя руками, съехал в кресле, опустил подбородок на грудь. Потом чмокнул губами и улыбнулся, как будто задремывал.

— Братцы,— сказал он,— все мы еще пьяные.

Хардинг никак не мог успокоиться. Он долбил, что Макмёрфи надо поскорее одеться, пока ангел милосердия звонит доктору и докладывает о бесчинствах, а Макмёрфи отвечал, что волноваться не стоит: положение его хуже не стало, правильно?

— Всем, чем могли, меня уже угостили,— сказал он.

Хардинг развел руками и ушел, пророча гибель.

Один санитар заметил, что сетка не заперта, запер ее, ушел на пост и вернулся с большой папкой; он повел пальцем по списку, сперва прочитывая фамилию одними губами, а потом уже вслух и отыскивая взглядом человека с этой фамилией. Список составлен в обратном алфавитном порядке, чтобы запутать людей, и поэтому он добрался до «Б» только под самый конец. Он оглядел комнату, не снимая пальца с последней фамилии в списке.

— Биббит. Где Билли Биббит? — Глаза у него сделались большими. Он испугался, что Билли улизнул у него из-под носа и теперь его не поймаешь.— Вы, балбесы, кто видел, как ушел Билли Биббит?

Тут люди стали вспоминать, где Билли; снова послышалось шушуканье и смех.

Санитар ушел на пост и сказал об этом сестре. Она бросила трубку на рычаг и выскочила в коридор, а санитар за ней следом; прядь волос выбилась у нее из-под белой шапочки и упала на лицо, как мокрая зола. Между бровей и под носом выступил пот. Она грозно спросила у нас, куда сбежал новобрачный. Ответом ей был общий смех, и глаза ее стали рыскать.

— Ну? Он сбежал, верно? Хардинг, он еще здесь... в отделении, верно? Говорите. Сефелт, говорите!

При каждом слове она вонзалась взглядом в чье-нибудь лицо, но яд ее на людей не действовал. Они встречали ее взгляд; они ухмылялись, передразнивая ее былую уверенную улыбку.

— Вашингтон! Уоррен! Идемте со мной обыскивать комнаты.

Мы встали и пошли за ними, а они отперли лабораторию, потом ванную комнату, потом кабинет доктора...

Сканлон, улыбаясь и прикрывая рот жилистой рукой, прошептал:

— Ох, будет сейчас комедия с нашим Билли.— Мы кивнули.— А если подумать, не с одним Билли — помните, кто там еще?

Сестра с санитарами подошли к двери изолятора в конце коридора. Мы сгрудились сзади и вытянули шеи, чтобы увидеть из-за их спин, как она открывает дверь. Комната была без окна, темная. В темноте послышался писк и возня, сестра протянула руку и включила свет: на полу на матрасе Билли и девушка моргали, как две совы в гнезде. Сестра даже не обратила внимания на гогот, раздавшийся за спиной.

— Уильям Биббит! — Она очень старалась говорить холодно и строго.— Уильям... Биббит!

— Доброе утро, мисс Гнусен,— сказал Билли и даже не подумал встать и застегнуть пижаму.— Он взял девушку за руку и улыбнулся.— Это Кэнди.

В костлявом горле у сестры что-то заклокотало:

— Билли, Билли... как мне стыдно за вас.

Билли еще не совсем проснулся и слабо воспринимал ее укоры, а девушка, теплая и вялая после сна, возилась, искала под матрасом свои чулки. Время от времени она прекращала свою сонную возню, поднимала голову и улыбалась сестре, которая стояла над ними с ледяным видом, скрестив руки; потом проверяла пальцами, застегнута ли кофточка, и опять принималась дергать чулки, прижатые к кафельному полу матрасом. Оба они двигались как толстые кошки, напившиеся теплого молока, разомлевшие на солнце; мне показалось, что они тоже еще не протрезвели.

— Ах, Билли,— разочарованно, чуть ли не со слезами в голосе сказала сестра.— Такая женщина! Продажная! Низкая! Размалеванная...

— Куртизанка? — подхватил Хардинг.— Иезавель? — Сестра повернулась и хотела пригвоздить его взглядом, но он все равно продолжал: — Не Иезавель? Нет? — Он задумчиво поскреб голову.— Ну, тогда Саломея? Славилась своей порочностью. Может быть, вы хотели сказать — демимонденка? Я просто хочу помочь.

Она опять повернулась к Билли. Он был занят тем, что пытался встать на ноги. Он перевернулся на живот, подобрал под себя колени, поднял зад, как корова, потом разогнул руки, потом оперся на одну ногу, потом на обе и выпрямился. Он был доволен своим успехом и как будто не замечал, что мы столпились в дверях, поддразниваем его и кричим: «Ура!»

Громкие голоса и смех захлестнули сестру. Она оторвалась от Билли и девушки и перевела взгляд на нашу стаю. Эмалево-пластмассовое лицо разваливалось. Она закрыла глаза и старалась унять дрожь. Она поняла, что этот миг настал: ее приперли к стенке. Когда она открыла глаза, они были совсем маленькие и неподвижные.

— Беспокоит меня, Билли,— сказала она, и я услышал перемену в ее голосе,— как это перенесет ваша бедная мать.

На этот раз ее слова произвели нужное действие. Билли дернулся и приложил ладонь к щеке, будто ее обожгло кислотой.

— Миссис Биббит всегда гордилась вашим благоразумием. Мне это известно. Она ужасно расстроится. Билли, вы знаете, что с ней бывает, когда она расстраивается, вы знаете — бедняжка сразу заболевает. Она очень чувствительна. Особенно в том, что касается ее сына. Она всегда говорила о вас с гордостью. Она все...

— Нет! Нет! — Он открывал и закрывал рот. Он мотал головой, умолял ее.— Н-не н-н-н-надо!

— Билли, Билли,— сказала она.— Мы с вашей мамой старые подруги.

— Нет! — закричал он. Его голос оцарапал белые голые стены изолятора. Он поднял подбородок и кричал прямо белой лампе-луне в потолке.— Н-н-нет!

Мы перестали смеяться. Мы смотрели, как складывается Билли, чтобы лечь на пол: голова откинулась назад, колени подогнулись. Он тер ладонью зеленую брючину, вверх-вниз. Он мотал головой в панике — мальчишка, которому пообе-

щали немедленную порку, сейчас только срежут розгу. Сестра тронула его за плечо, успокаивая. Он вздрогнул, точно от удара.

— Билли, я не хочу, чтобы мама о вас так думала... но что мне самой прикажете думать?

— Н-н-не г-говорите, м-м-м-мисс Гнусен. Н-н-не...

— Билли, я обязана сказать. Я просто не верю своим глазам — но что еще прикажете думать? Я нахожу вас на матрасе с женщиной такого сорта...

— Нет! Это н-не я. Я н-не...— Он опять поднес ладонь к щеке, и ладонь прилипла.— Это она.

— Билли, девица не могла затащить вас силой.— Она покачала головой.— Поймите, мне бы хотелось думать иначе... ради вашей бедной мамы.

Рука поехала вниз по щеке, оставляя длинные красные борозды.

— За-за-затащила.— Он огляделся.— И М-М-Макмёрфи! Он! И Хардинг! И остальные! Они д-д-дразнили меня, обзывали!

Теперь его лицо было прикреплено к ее лицу. Он не смотрел ни налево, ни направо, только прямо, на ее лицо, как будто вместо черт там был закрученный спиралью свет, гипнотизирующий вихрь сливочно-белого, голубого и оранжевого. Он сглатывал слюну и ждал, что она скажет, но она молчала; ее смекалка, эта колоссальная механическая сила, снова к ней вернулась — просчитала ситуацию и доложила ей, что сейчас надо только молчать.

— Они м-м-меня з-заставили! Правда, м-мисс Гнусен, она за-за-за...

Она убавила луч, и Билли уронил голову, всхлипывая от облегчения. Она взяла Билли за шею, притянула его щеку к своей накрахмаленной груди и, гладя его по плечу, медленно обвела нас презрительным взглядом.

— Ничего, Билли. Ничего. Теперь вас никто не обидит. Не бойтесь. Я объясню маме.

А в это время продолжала свирепо глядеть на нас. И ее голос, мягкий, успокоительный, теплый, как подушка, не вязался с твердым фаянсовым лицом.

— Ничего, Билли. Пойдемте со мной. Вы можете подождать в кабинете у доктора. Нет никакой нужды держать вас в дневной комнате и навязывать вам общество этих... друзей.

Она повела его в кабинет, поглаживая по склоненной голове и приговаривая: «Бедный мальчик, бедный мальчик»,— а мы тихо убрались из коридора и сели в дневной комнате, не глядя друг на друга и ничего не говоря. Макмёрфи уселся последним.

С той стороны прохода хроники перестали толочься и разместились по своим гнездам. Я украдкой поглядывал на Макмёрфи. Он сидел в своем углу — минутный отдых перед следующим раундом, а раундов еще предстояло много. То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой.

С поста опять звонили по телефону, и приходило начальство знакомиться с уликами. Когда появился наконец сам доктор, они посмотрели на него так, как будто это он все устроил или по крайней мере разрешил или простил. Он бледнел и дрожал под их взглядами. Ясно было, что он уже слышал почти обо всем, но старшая сестра рассказала ему еще раз в подробностях, медленно и громко, чтобы мы тоже слушали. Слушали, как надо, на этот раз — серьезно, не шушукаясь и не хихикая. Доктор кивал, теребил очки, хлопал глазами — такими влажными, что, казалось, он ее обрызгает. Под конец она рассказала о Билли — по нашей милости он пережил трагедию.

— Я оставила его у вас в кабинете. Состояние его такое, что вам надо немедленно с ним поговорить. Он перенес ужасные страдания. Мне страшно подумать, какой вред причинен несчастному мальчику.

Она подождала, пока доктору тоже не стало страшно.

— По-моему, вы должны пойти к нему и поговорить. Он очень нуждается в сочувствии. На него смотреть жалко.

Доктор опять кивнул и пошел к кабинету. Мы провожали его глазами.

— Мак,— сказал Сканлон.— Ты не думай, что мы этой ерунде поверили, слышишь? Дело худо, но мы знаем, кто виноват... тебя мы в этом не виним.

— Да,— сказал я,— тебя никто не винит.— И захотелось язык себе вырвать — так он на меня посмотрел.

Он закрыл глаза и обмяк в кресле. Словно чего-то ждал. Хардинг встал, подошел к нему, хотел что-то сказать и только открыл рот, как в коридоре раздался вопль доктора и вбил во все лица одинаковый ужас и догадку.

— Сестра! — завопил он.— Боже мой, сестра!

Она побежала, и трое санитаров побежали — туда, где еще кричал доктор. А из больных никто не встал. Нам оставалось только сидеть и ждать, когда она вернется в комнату и объявит о том, без чего, мы знали, дело уже обойтись не может.

Сестра подошла прямо к Макмёрфи.

— Он перерезал себе горло.— Она подождала, что он ответит. Макмёрфи не поднял головы.— Билли открыл стол доктора, нашел там инструменты и перерезал себе горло. Бедный, несчастный, непонятый мальчик убил себя. Он и сейчас сидит в кресле доктора с перерезанным горлом.

Она опять подождала. Но Макмёрфи все равно не поднял головы.

— Сперва Чарльз Чесвик, а теперь Уильям Биббит! Надеюсь, вы наконец удовлетворены. Играете человеческими жизнями... играете на человеческие жизни... как будто считаете себя богом!

Она повернулась, ушла на пост и закрыла дверь, оставив за собой пронзительный, убийственно холодный звук, который рвался из трубок света у нас над головами.

У меня сразу мелькнула мысль остановить его, уговорить, чтобы он взял все выигранное прежде и оставил за ней последний раунд. но эту мысль немедленно смела другая, бо́льшая. Я вдруг понял с невыносимой ясностью, что ни я, ни целая дюжина нас остановить его не сможем. Ни Хардинг своими доводами, ни я руками, ни старый полковник Маттерсон своими поучениями, ни Сканлон своей воркотней, ни вместе все — мы его не остановим.

Мы не могли остановить его, потому что сами принуждали это делать. Не сестра, а наша нужда заставляла его медленно подняться из кресла, заставляла упереть большие руки в кожаные подлокотники, вытолкнуть себя вверх, встать и стоять — как ожившего мертвеца в кинофильмах, которому посылают приказы сорок хозяев. Это мы неделями не давали ему передышки, заставляли его стоять, хотя давно не держат ноги, неделями заставляли подмигивать, ухмыляться, и ржать и разыгрывать свой номер, хотя все его веселье давно испеклось между двумя электродами.

Мы заставили его встать, поддернуть черные трусы, как будто это были ковбойские брюки из конской кожи, пальцем сдвинуть на затылок шапочку, как будто это был четырехведерный «стетсон», и всё — медленными, заученными движениями, а когда он пошел по комнате, слышно стало, как железо в его босых пятках высекает искры из плитки.

Только под конец, после того как он проломил стеклянную дверь и она повернула лицо — с ужасом, навек заслонившим любое выражение, какое она захочет ему придать,— и закричала, когда он схватил ее и разорвал на ней спереди всю форму, и снова закричала, когда два шара с сосками стали вываливаться из разрыва и разбухать все больше и больше, больше. чем мы могли себе представить, теплые и розовые под лампами,— только под конец, когда начальники поняли, что трое санитаров не двинутся с места, будут стоять и глазеть и борьбу придется вести без их помощи, и все вместе — врачи, инспектора, сестры — стали отрывать красные пальцы от ее белого горла, словно пальцы эти были костями ее шеи, и, громко пыхтя, оттаскивать его назад,— только тогда стало видно, что он, может быть, не совсем похож на нормального. своенравного, упорного человека, исполняющего трудный долг, который надо исполнить во что бы то ни стало.

Он закричал. Под конец, когда он падал навзничь и мы на секунду увидели его опрокинутое лицо, перед тем как его погребли под собой белые костюмы, он не сдержал крика.

В нем был страх затравленного зверя. ненависть. бессилие и вызов — и если ты когда-нибудь гнался за енотом. пумой. рысью. ты слышал этот последний крик загнанного на дерево. подстреленного и падающего вниз животного, когда на него уже набрасываются собаки и ему ни до чего нет дела, кроме себя и своей смерти.

Я оставался там еще недели две, хотел посмотреть, что будет. Все менялось. Сефелт и Фредриксон вышли вместе под расписку вопреки совету медиков; два дня спустя выписались еще трое острых, а шестеро перевелись в другое отделение. Было долгое следствие о ночной попойке и о смерти Билли, доктору сообщили, что он может уволиться по собственному желанию, а он сообщил начальству, что пусть уж идут до конца и вышибают его, но сам он не уйдет.

Старшая сестра неделю провела в медицинском корпусе, а у нас за старшую была маленькая сестра-японка из буйного; это позволило нашим многое изменить в распорядке. К тому времени, когда вернулась старшая сестра, Хардинг добился даже открытия ванной комнаты и банковал там, своим тонким вежливым голосом пытаясь изобразить аукционерский рев Макмёрфи. Он как раз сдавал, когда она вставила в скважину ключ.

Мы вышли из ванной и двинулись навстречу ей по коридору, чтобы спросить о Макмёрфи. Когда мы подошли, она отскочила на два шага, и я подумал, что она убежит. Лицо у нее с одной стороны было синее и распухшее до бесформенности, глаз полностью заплыл, на горле толстая повязка. И новая белая форма. Некоторые ухмылялись, глядя на ее перед: хотя форма была теснее прежней и накрахмалена еще туже, она уже не могла скрыть того, что сестра — женщина.

Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с Маком.

Она вынула из кармана блокнотик с карандашом и написала: «Он вернется»,— а потом пустила листок по кругу. Бумажка дрожала у нее в руке.

— Вы уверены? — спросил Хардинг, прочтя листок.

Мы слышали всякие рассказы: что он сшиб двух санитаров в буйном, отобрал у них ключи и сбежал, что его отправили обратно в колонию и даже что сестра, оставшаяся за главную, пока не подыскали нового врача, назначила ему особое лечение.

— Вы вполне в этом уверены? — переспросил Хардинг.

Сестра снова вынула блокнот. Движения давались ей с трудом, и рука ее, еще более белая, чем всегда, ползла по блокноту, как у ярмарочных цыганок, которые за денежку пишут тебе судьбу. «Да, мистер Хардинг,— написала она.— Если бы не была уверена, не говорила бы. Он вернется».

Хардинг прочел листок, потом разорвал и бросил обрывки в нее. Она вздрогнула и заслонила рукой распухшую сторону лица.

— Хватит за... нам мозги, мадам,— сказал ей Хардинг.

Она посмотрела на него долгим взглядом, рука ее подрожала над блокнотом, но потом она повернулась и, засунув блокнот в карман, ушла на сестринский пост.

— Хм,— сказал Хардинг.— Кажется, беседа получилась несколько бессвязная. А впрочем, если тебе говорят: хватит ... нам на мозги,— что ты можешь написать в ответ?

Она попыталась навести в отделении порядок, но легко ли этого добиться, если Макмёрфи все еще топает взад и вперед по коридорам, хохочет на собраниях, распевает в уборных. Она не могла прибрать нас к рукам, тем более что одной рукой приходилось писать на бумажке. Она теряла больных одного за другим. После того как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевелся в другое отделение, нас, побывавших на рыбалке, осталось только трое: я, Мартини и Сканлон. Я пока не хотел уходить: уж больно уверенный у нее был вид; похоже было, что она ожидает еще одного раунда, а если так, я хотел, чтобы это произошло при мне. И однажды утром, когда Макмёрфи отсутствовал уже три недели, она начала последнюю партию.

Дверь отделения открылась, и санитары ввезли каталку с карточкой в ногах, где жирными черными буквами было напечатано: МАКМЁРФИ, РЭНДЛ П. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ. А ниже чернилами: ЛОБОТОМИЯ.

Ее ввезли в дневную комнату и оставили у стены рядом с овощами. Мы подошли к каталке, прочли карточку, потом посмотрели на другой конец, где в подушке утонула голова с рыжим чубом и на молочно-белом лице выделялись только густые лилово-красные кровоподтеки вокруг глаз.

После минутного молчания Сканлон отвернулся и плюнул на пол.

— Фу, что она нам подсовывает, старая сука? Это не он.

— Нисколько не похож,— сказал Мартини.

— Совсем за дураков нас держит?

— А вообще-то неплохо сработали,— сказал Мартини, перейдя к изголовью и показывая пальцем.— Смотрите. И нос сделали сломанный и шрам... даже баки.

— Конечно,— проворчал Сканлон,— но какая липа!

Я протиснулся между другими пациентами и стал рядом с Мартини.

— Конечно, они умеют делать всякие шрамы и сломанные носы,— сказал я.— Но вид-то подделать не могут. В лице же ничего нет. Как манекен в магазине, верно, Сканлон?

Сканлон опять плюнул.

— Конечно, верно. Эта штука, понимаешь, п у с т а я. Всякому видно.

— Смотрите сюда,— сказал кто-то, отвернув простыню,— татуировка.

— А как же,— сказал я,— и татуировки умеют делать. Но руки, а? Руки-то? Этого не сумели. У него руки были большие!

Весь остаток дня Сканлон, Мартини и я высмеивали эту штуку — Сканлон звал ее дурацкой куклой из ярмарочного балагана; но шли часы, опухоль вокруг глаз у него начала спадать, и я заметил, что больные все чаще и чаще подходят и смотрят на тело. Они делали вид, будто идут к полке с журналами или к фонтанчику для питья, а сами поглядывали на него украдкой. Я наблюдал за ними и пытался сообразить, как поступил бы он на моем месте. Одно я знал твердо: он бы не допустил, чтобы такое вот, с пришпиленной фамилией, двадцать или тридцать лет сидело в дневной комнате и сестра показывала бы: так будет со всяким, кто пойдет против системы. Это я знал твердо.

Ночью я ждал до тех пор, пока звуки в спальне не сказали мне, что все уже спят, и покуда санитары не кончили со своими обходами. Тогда я повернул голову на подушке, чтобы видеть соседнюю кровать. Я уже много часов прислушивался к дыханию — с того времени, когда привезли каталку и переставили носилки на кровать, слушал, как запинаются и перестают работать легкие, потом начинают снова, и надеялся, что они перестанут совсем,— но не поглядел туда еще ни разу.

В окне стояла холодная луна и лила в спальню свет, похожий на снятое молоко. Я сел на кровати, и моя черная тень упала на него, разрезала его тело поперек между плечами и бедрами. Опухоль вокруг глаз спала, и они были открыты; они смотрели прямо на луну, открытые и незадумчивые, помутневшие оттого, что долго не моргали, похожие на два закопченных предохранителя. Я повернулся, чтобы взять подушку, глаза поймали это движение, и уже под их взглядом я встал и прошел метра полтора или два, от кровати до кровати.

Большое, крепкое тело упорно цеплялось за жизнь. Оно долго боролось, не хотело ее отдавать, оно рвалось и билось, и мне пришлось лечь на него во весь рост, захватить его ноги своими ногами, пока я зажимал лицо подушкой. Мне показалось, что я лежал на этом теле много дней. Потом оно перестало биться. Оно затихло, содрогнулось раз и затихло совсем. Тогда я скатился с него. Я поднял подушку и увидел, что пустой, тупиковый взгляд ни капли не изменился, даже от удушья. Большими пальцами я закрыл ему веки и держал, пока они не застыли. Тогда я лег на свою кровать.

Я лежал, накрывшись с головой, и думал, что все обошлось без особого шума,— но ошибся.

Сканлон зашептал со своей кровати:

— Спокойно, вождь. Спокойно. Все правильно.

— Замолчи,— прошептал я.— Спи.

Стало тихо; потом он опять зашептал:

— Все кончено?

Я сказал ему:

— Да.

— Господи,— сказал он.— она догадается Ты же понимаешь? Конечно, никто ничего не докажет... всякий может загнуться после операции, бывает сплошь и рядом... но она — она догадается.

Я ничего не ответил.

— На твоем месте, вождь, я бы рвал отсюда. Беги, а я скажу, что видел, как он встал и ходил после твоего побега, и на тебя не подумают. Правильная идея, скажи?

— Ну да, как все просто. Попрошу открыть дверь и выпустить меня.

— Нет. Один раз он тебе показал как — вспомни. В первую же неделю. Помнишь?

Я ему не ответил, и он больше ничего не сказал, в спальне опять было тихо. Я полежал еще несколько минут, потом встал и начал одеваться. Когда оделся, залез в тумбочку Макмёрфи, вынул его шапку и попробовал надеть. Она была мала, и мне вдруг стало стыдно, что примеряю ее на себя. Я бросил ее в постель к Сканлону и вышел из спальни.

Он сказал мне вдогонку:

— Спокойно, браток.

Лунный свет, протискивавшийся сквозь сетки на окнах в ванной комнате, очерчивал тяжелый приземистый пульт, блестел на хромированных деталях и стеклах приборов — такой холодный, что, казалось, слышишь, как он щелкает, падая на металл. Я набрал полную грудь воздуха, нагнулся и схватил рычаги. Я напряг ноги и почувствовал, как под махиной что-то хрустнуло. Снова натужился и услышал, как выдираются из пола провода и муфты. Вскинул пульт на колени и сумел обхватить одной рукой, а другой поддеть снизу. Метал холодил мне скулу и шею. Я встал к окну спиной, потом развернулся, на половине оборота выпустил пульт, и он по инерции с протяжным треском прорвал сетку и окно. Стекло расплескалось в лунном свете, словно холодной искристой водой окропили, окрестили спящую землю. Я перевел дух, подумал о том, чтобы вернуться за Сканлоном и кое-кем еще, но тут в коридоре послышался беглый писк санитарских туфель, и я, опершись рукой на подоконник, выскочил вслед за пультом — под лунный свет.

Я побежал по участку в ту сторону, куда бежала когда-то собака — к шоссе. Помню, что бежал громадными скачками, словно делал шаг и долго летел, пока нога не опускалась на землю. Мне казалось, что я лечу. Свободен. Никто не гоняется за беглыми, я знал это, а Сканлон сумеет ответить на любые вопросы о мертвом — незачем так бежать. Но я не остановился. Я пробежал без остановки много километров, а потом взошел по откосу на шоссе.

Меня подсадил шофер-мексиканец, гнавший на север грузовик с овцами, и я загнул ему такую историю насчет того, что я профессиональный борец-индеец и гангстеры упрятали меня в сумасшедший дом, что он тут же остановился, отдал мне кожаную куртку прикрыть мой зеленый наряд и одолжил десять долларов на еду, пока буду добираться на попутных до Канады. На прощание я попросил его написать свой адрес и сказал, что как только подработаю, сразу вышлю деньги.

В Канаду я, может быть, и правда отправлюсь, но по дороге, наверно, заеду на Колумбию. Покручусь вокруг Портленда, у реки Худ и у Даллз-сити — вдруг встречу наших из поселка, таких, кто еще не спился. Хотелось бы посмотреть, что они делают с тех пор, как правительство захотело купить у них право быть индейцами. Я слышал даже, что некоторые из племени стали строить свои хилые деревянные мостки на гидроэлектрической плотине и острожат рыбу в водосливе. Дорого бы дал, чтоб на это посмотреть. А больше всего охота посмотреть наши места возле ущелья, вспомнить, как они выглядят.

Я там долго не был.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС СЛУЦКИЙ

★

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В феврале 1977 года, через неделю после смерти жены и за два с половиной месяца до болезни, отрезавшей его от поэзии, от творчества, Борис Абрамович, попросив помочь в составлении тома избранных стихотворений для издательства «Художественная литература», сказал мне:

— Вот только не знаю, как его собирать. По темам — не будет ли читателю скучно читать об одном и том же подряд? По книгам — та же война окажется разбросанной по всей книге.

— Но есть же третий принцип, хронологический,— нашелся я.

— Я никогда не ставил дат под стихами, разве что иногда — камуфляжные.

То же он писал в «Помете под стихотворением» (книга стихов «Сроки»): «...магия места происшествия входит, словно оркестр в состав полка, в ритуал восхождения или шествия до тех пор, восходишь ты пока... А когда твои книги всегда в продаже, почему-то становится всем все равно, что тебя вдохновило, какие пейзажи и недавно написано или давно».

Сейчас, листая рабочие тетради поэта, я вижу, что даты под стихами действительно крайне редки. В ранних тетрадях их нет совсем, в поздних существуют лишь для того, чтобы напомнить самому себе обстоятельства, сопровождающие появление стихотворения на свет: «тогда-то, после звонка такой-то» или «тогда-то, в 4 часа утра, за 25 минут».

Так что будущим исследователям определить точные даты написания стихов вряд ли удастся. И даже приблизительные: год, пятилетие — нелегко.

О стихах, вошедших в эту публикацию, можно с определенностью сказать, что бóльшая их часть написана до середины 60-х годов; только «Памятник старины», «Чаеторговцы» и «Слепой просит милостыню у попугая...» поэт давал мне для перепечатки в 70-е годы, остальное — много раньше.

Можно предположить, что стихотворение «Про евреев» написано в пору антиеврейской кампании конца 1952 — начала 1953 года, «Современные размышления» и «Всем лозунгам я верил до конца...» — между мартом 1953 и февралем 1956-го (то есть датой работы XX съезда и знаменитого доклада Н. С. Хрущева), «Лакирую действительность...» — явно связано с подготовкой и изданием первой книги Слуцкого «Память» (1957), а «Обе стороны письменного стола» — порождено временем, когда беззакония сталинских лет вновь стали уходить в зону умолчания и скрытности. Мемуаристы и исследователи когда-нибудь обоснуют или оспорят эти догадки.

***

Романы из школьной программы,
На ваших страницах тощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Публикация и предисловие ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу семью,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, значит, не крепко держался
За старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!».

С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И кроме старинных томов
Иных мне не надо домов.

***

Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды — не праздник, а труд!

Проводы правды оркестров не требуют:
музыка — брезгует, живопись — гребует.

В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
бреют, стригут или укорачивают:

молча работают, словно прядут,
тихо шумят, словно варежки вяжут.

Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.

Современные размышления

В то утро в Мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен — прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
наедине с Москвой
и вот что думал, верно,
как парень с головой:
эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
у штурмовавших небо.
Перемотать портянки
присел на час народ,
в своих ботинках спящий
невесть который год.

Нет, я не думал этого,
а думал я другое:
что вот он был — и нет его,
гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
неистово мели,
как будто рвали корни и
скребли из-под земли,
как будто выдирали из перезябшей почвы
его приказов окрик, его декретов почерк:
следы трехдневной смерти
и старые следы —
тридцатилетней власти
величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
все, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

***

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

Про евреев

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Чаеторговцы

Боткины, Высоцкие, Поповы!
Попрекну, замечу и попомню
заводил, тузов былой Москвы.
Экий чай заваривали вы!

Выдавая дочерей за гениев,
посылая младших сыновей
то в друзья к Толстому и Тургеневу,
то в революционный ветровей.

Крепок сук был тот, где вы сидели.
Только все наследники — при деле:
ни на миг не покладая рук,
весело рубили этот сук.

Чай индийский, чай цейлонский, чай японский.
Царского двора поставщики.
Споры, и открытия, и поиски.
Революции вестовщики.

Где же ты сегодня, чай спитой,
молодым и незнакомым племенем
до последней черной запятой
вываренный?
А также временем.

Есть старухи, гордые, как павы,
продавшие все и до конца
вплоть до обручального кольца —
Боткины, Высоцкие, Поповы.

***

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума —
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,
Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

***

Лакирую
действительность —
Исправляю стихи.
Перечесть — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.

Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам!

Обе стороны письменного стола

Все выходят на пенсию — обе стороны, эта и та,
и вопросы на следствии и ответы на следствии,
и подводится жирная окончательная черта
стародавнего бедствия,
постарения общего вследствие.

У обеих сторон уже нету зубов —
и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.
Обе стороны в вихре обычных забот
продвигаются в сторону естественной гибели.

По ту сторону зла и, конечно, добра,
по ту сторону ненависти, равно как и совести,
обе стороны движутся. Кончилось время, пора:
постарели они и давно одряхлели их новости.

Настоящее брезгует прошлым своим,
а грядущее с полок
покуда
его не снимает,
и последние тайны, которые глухо таим,
никого уже более
и покамест еще
не занимают.

Ключ

У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
в эту комнату знакомых водил.

Мои товарищи жили с тещами
и с женами, похожими на этих тещ,—
слишком толстыми,
слишком тощими,
усталыми, привычными,
как дождь.

Каждый год старея на год,
рожая детей (сыновей, дочерей),
жены становились символами тягот,
статуями нехваток и очередей.

Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаще и чаще:
— Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?

Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
с глазами,
в которые,
раз погружен,
падаешь,
падаешь,
словно камень.

А я был брезглив (вы, конечно, помните),
но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я — давал.

Месса по Слуцкому

Мало я ходил по костелам.
Много я ходил по костям.
Слишком долго я был веселым.
Упрощал, а не обострял.

Между тем мой однофамилец,
бывший польский поэт Арнольд
Слуцкий
вместе с женою смылись
за границу из Польши родной.

Бывший польский подпольщик,
бывший
польской армии офицер,
удостоенный премии высшей,
образец, эталон, пример —

двум богам он долго молился,
двум заветам внимал равно.
Но не выдержал Слуцкий. Смылся.
Это было довольно давно.

А совсем недавно варшавский
ксендз
и тамошний старожил
по фамилии пан Твардовский
по Арнольду мессу служил.

Мало было во мне интересу
к ритуалу. Я жил на бегу.
Описать эту странную мессу
и хочу я и не могу.

Говорят, хорошие вирши
пан Твардовский слагал в тиши.
Польской славе, беглой и бывшей,
мессу он сложил от души.

Что-то есть в поляках такое!
Кто, с отчаянья, двинул в бега,
кто, судьбу свою успокоя,
пану богу теперь слуга.

Бог — большой, как медвежья полость.
Прикрывает размахом крыл
все, что надо — доблесть и подлость,
а сейчас — Арнольда прикрыл.

Простираю к вечности руки,
и просимое мне дают.
Из Варшавы доносятся звуки:
по Арнольду мессу поют!

Памятник старины

Все печки села Никандрова — из храмовых кирпичей,
из выверенных временами развалин местного храма.
Нет ничего надежнее сакральных этих печей:
весь никандровский хворост без дыма сгорит до грамма.

Давным-давно религия не опиум для народа,
а просто душегрейка для некоторых старух.
Церковь недоразваленная, могучая, как природа,
успешно сопротивляется потугам кощунственных рук.

Богатырские стены
богатырские тени
отбрасывают вечерами
в зеленую зону растений.
Нету в этой местности
и даже во всей окрестности
лучше холма, чем тот,
где белый обрубок встает.

Кирпичи окровавленные
устремив к небесам,
встает недоразваленный,
на печки недоразобранный.
А что он означает,
не понимает он сам,
а также его охраняющие
местные власти и органы.

А кирпичи согревают — в составе печей — тела,
как прежде — в составе храма — душу они согревали.
Они по первому случаю немного погоревали,
но ныне уже не думают, что их эпоха — прошла.

***

СЛЕПОЙ ПРОСИТ МИЛОСТЫНЮ У ПОПУГАЯ —
старинный Гюбера Робера сюжет
возобновляется снова,
пугая,
как и тогда,
тому двести лет.

Символ, сработанный на столетья,
хлещет по голому сердцу плетью,
снова беспокоит и гложет,
поскольку слепой — по-прежнему слеп,
а попугай не хочет, не может
дать ему даже насущный хлеб.

Эта безысходная притча
стала со временем даже прытче.

Правда, попугая выучили
тайнам новейшего языка,
но слепца из беды не выручили.

Снова
протянутая рука
этого бедного дурака
просит милостыню через века.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. АЙЗЕРМАН

★

ТРЕВОЖИТЬСЯ И ДУМАТЬ

Из заметок словесника

Несколько лет назад на экзаменационном сочинении по литературе в 10-м классе я отобрал записку, посланную одним из учеников другому, который не знал, как и что писать на данную тему: «Потом начинаешь петь дифирамбы современным комсомольцам — активным участникам борьбы за мир. Хвалишь нашу молодежь и нашу партию. Ругаешь Запад. Клянешься бороться за мир и счастливое будущее человечества. 2—3 цитатки из Леонида Ильича напоследок. И сочинение готово. Трояк гарантирую. А может, и четверку». Можно, конечно, негодовать на этого ученика, говорить о цинизме и холодной расчетливости. Мудрее — предъявить счет себе.

Когда я смотрел фильм «Легко ли быть молодым», то больше всего меня задел, взволновал один эпизод с ребятами, которые в форме латышских стрелков несут почетную вахту у памятника героям революции. Может быть, и потому, что вахту эту я видел своими глазами, когда вместе со своим классом ездил на осенние каникулы в гости к ученикам одной из латышских школ Риги. Через несколько месяцев в интервью Юриса Подниекса я прочел, что этот эпизод был для него принципиален. Напомню эту сцену.

Автор фильма. Ты можешь представить их себе как живых людей?

Юрис. Как живых людей? Нет. Нашему поколению это уже ничего не говорит.

Автор. А о чем ты думаешь, когда участвуешь в этой церемонии?

Юрис. Задача одна — лучше прошагать. Чтобы быть на уровне. Хотя иногда думаю: чего мы тут притворяемся?

Комментируя этот эпизод, режиссер говорил, что нарушена нравственная основа передачи опыта одного поколения другому. Связь нарушена утратой веры, обесцениванием идеалов. В этом причина кризиса взаимопонимания.

А я думал при этом о школе вообще, о преподавании литературы в частности. Обстоятельства таковы, что учителя больше волнует, что и как его ученик отвечает и пишет в сочинении (именно по этому судят о результатах его, как говорят в школе, учебно-воспитательной работы), нежели то, что он думает и чувствует. Не забуду то жуткое чувство, которое испытал однажды, сидя на экзаменах в 8-м классе ассистентом. Незадолго до того два восьмиклассника обчистили табачный ларек и теперь находились под следствием. Но на экзамене они спокойно писали на присланную министерством тему «Родина, будь спокойна: дети отцов достойны».

Самое горькое в том, что многих в школе такое положение устраивает. Лишь бы петух прокукарекал, а утро хоть не наступай. Больше того. Нередко именно искреннее, честное, идущее от души вызывает в школе боязнь, раздражение, сопротивление.

Я не могу упрекнуть себя в том, что поощряю на своих уроках пустословие, в том, что не борюсь с бесчувствием и бездумностью. Но вот лет десять тому назад на выпускном вечере теперь уже моя бывшая ученица сказала мне, что мои уроки в 9-м классе, где изучается русская классическая литература XIX века, были гораздо интереснее, чем в 10-м уроки по советской литературе. И об этом я слышал от своих учеников еще не раз.

Не один год думал я над этими горькими для меня и в чем-то справедливыми словами. Я многое пересмотрел, старался уходить от заданных учебником и методическими руководствами однолинейности, одноцветности, упрощенности. И все-таки...

На одной из учительских конференций, предшествующих съезду учителей, преподаватель литературы бросила в зал: «Ответьте на вопрос «как?». Как надо учить сегодня? Ч е м у учить я знаю, а вот к а к?» Думаю, что это одно из самых распространенных заблуждений. Все дело именно в том, ч е м у учить, ч т о говорить на своих уроках о нашей истории, нашем обществе, нашей жизни, нашей современности и наших людях. Пора в этой связи подумать и о перестройке преподавания советской литературы в школе. Ведь речь идет о передаче духовных ценностей социализма молодому поколению. Нужно ли говорить, сколь ответственна эта тема?

«Жизнь идет вперед противоречиями, а живые противоречия во много раз богаче, разностороннее, содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется» (В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 219).

Живые противоречия. Их богатство и разносторонность. Живые противоречия и живое познание, познание многостороннее. Бездна оттенков всякого рода. А как порой все это преподносится на уроках литературы?

Передо мной книга «Изучение русской советской литературы в X классе» (М. «Просвещение». 1983). Это скрепленное грифом «Рекомендовано Министерством просвещения РСФСР» официальное руководство. Приведу лишь два характерных примера, по которым, как говорится, хорошо просматриваются те ориентиры, на которые нацеливает такое пособие учителя.

Речь идет об изучении в 10-м классе очерка М. Горького «В. И. Ленин». Вынужден привести обширную цитату:

«Характеризуя целенаправленность в отборе наиболее типичных, ярких фактов, обратим внимание на эпизод, рисующий отношение Ленина к искусству. Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая Добровейна, сказал: «Ничего не знаю лучше Apassionata, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной думаю: вот какие чудеса могут делать люди!»

Учитель сообщит, что Добровейн в этот вечер прекрасно исполнял и другие музыкальные произведения, но в центре воспоминаний Горького оказалась именно «Апассионата», так как с ней были связаны высказывания Ленина об искусстве, о величии человеческого гения».

Казалось бы, что тут возразить? Действительно все так. Но, «характеризуя целенаправленность в отборе наиболее ярких фактов» в пособии, продолжим цитату из очерка Горького: «И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и делать и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно — хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Гм-гм,— должность адски трудная!»

В этом эпизоде одна из самых драматических тем очерка: «Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта».

К этой теме неизбежности насилия и вместе с тем его вынужденности со стороны людей, которые в идеале против всякого насилия над личностью, не раз будет обращаться советская литература. Но есть у нее и другой поворот: абсолютизация насилия, которое из инструмента борьбы с врагами превращается в универсальный способ воздействия на своих же. Можно ли без этого понять, скажем, Макара Нагульнова из шолоховской «Поднятой целины»? И можно ли не говорить об этом на уроках литературы? Естественно, куда проще свести все к отношению Ленина к искусству.

Или вот рекомендация по работе над рассказом «Судьба человека». Как вы помните, автора потрясают глаза Андрея Соколова: «Видели вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?» А потом сам Андрей Соколов скажет: «Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: „За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что исказнила?"»

Но нужно ли сосредоточивать внимание нашей юности, которую мы должны воспитывать в духе оптимизма, бодрости, жизнерадостности, на горьком, на трагическом?

Стоит ли взывать к состраданию, сочувствию, милосердию, лишний раз говорить об ужасах войны? Или рассказывать о том, как относились у нас к бывшим военнопленным тогда, когда появился рассказ Шолохова, чтобы теперешние читатели могли оценить гражданское мужество писателя?

А зачем, в самом деле, все это? «Показав, что произведение Шолохова стоит в одном ряду с произведениями прогрессивной современной мировой литературы, в которых как бы синтезируется тема войны и проблема послевоенного мироустройства, нужно подчеркнуть, что этот рассказ является своеобразным протестом, ярко выраженным несогласием с концепциями западных литератур, утверждающих, что человек, вернувшийся с войны, безнадежно оторван от окружающего, чужд ему и не в состоянии стать активным участником послевоенной жизни со всеми ее новыми сложностями и требованиями. Эстетизации безгеройности в рассказе противопоставлено героическое начало. Человек, прошедший через горнило страшнейшей из войн, понимающий, что его «исказнила», «искалечила» судьба, не ощущает себя жертвой социально-исторической стихии, а находит силу стать активным участником исторического процесса». И здесь вроде бы нечего возразить. Ведь действительно в духовной несломленности, человеческой стойкости Андрея Соколова смысл рассказа. Можно было бы, конечно, напомнить, что у «активного участника послевоенной жизни со всеми ее новыми сложностями и требованиями» отобрали шоферскую книжку и сейчас он пока что без работы и без дома, да не в этом в конце концов дело. Ведь написал же ему приятель, «что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку».

Но, на мой взгляд, так бестрепетно, казенно, трескуче говорить об Андрее Соколове и так учить говорить о нем десятиклассников, превращая человека трагической судьбы в безликого «активного участника исторического процесса», не только неточно, но и попросту кощунственно.

А мы еще удивляемся, что у определенной части молодежи аллергия на книги и фильмы о войне. И что самое обидное: речь ведь идет о произведении, которое волнует, берет за душу. Но наша казенная методика умудряется обескровить даже живое и полнокровное явление искусства.

На XX съезда комсомола М. С. Горбачев говорил о том, как важно написать историю родины, партии: «Это должна быть честная, мужественная, увлекательная книга, раскрывающая героический путь страны и партии во всем его величии — путь первопроходцев. Книга, не обходящая драматизма событий и человеческих судеб, в которой не было бы белых страниц, субъективистских предпочтений и антипатий и ценность которой не зависела бы от конъюнктурных поветрий».

Будем надеяться, что такая история будет написана. Но не следует забывать, что эта история во многом уже написана и продолжает писаться на наших глазах советской литературой. Весь вопрос в том, как мы ее доносим до своих учеников. Вот один пример. Школьная программа по литературе выделяет в 10-м классе для изучения лишь две главы из поэмы Твардовского «За далью — даль»: только приподнято-пафосные «Две кузницы» и «На Ангаре». (Прославление и поэтизация трудового подвига советского народа в поэме А. Т. Твардовского «За далью — даль» — так представлена поэма в экзаменационных билетах.) И дело не в том, что на перекрытие Ангары можно сегодня посмотреть и под другим углом зрения (вспомним «Прощание с Матёрой» Распутина), и об этом тоже нужно сказать сегодняшнему школьнику. Искусственно вычленяя из поэмы две мажорных главы и делая вид, что в ней нет страниц, посвященных трагическим событиям нашей истории, мы искажаем и смысл самой поэмы, даем одностороннее освещение пройденного страной пути.

Я предвижу возражения. Главная задача школы, скажут мне,— раскрыть исторические завоевания социализма. Эта задача для меня бесспорна. Скажу больше: именно сегодня, когда из выступлений руководителей страны, из газет, журналов, передач радио и телевидения наши ученики узнают о многих тяжелых, горьких, как теперь говорят, негативных явлениях нашей жизни, особенно важно укрепить силу их духа, нравственную несгибаемость, твердость убеждений. А это невозможно без опоры на идейные, духовные, нравственные ценности нашего общества, в том числе нашей истории. Но вот что необходимо к этому добавить.

Начну с самого простого. На экранах — «Покаяние» Абуладзе, «Тема» Панфилова, «Легко ли быть молодым» Подниекса. В журналах — «По праву памяти» Твардовского, «Реквием» Ахматовой, «Пожар» Распутина, «Печальный детектив» Астафье-

ва, «Плаха» Айтматова, «Ночевала тучка золотая» Приставкина, «Новое назначение» Бека, «Дети Арбата» Рыбакова, «Зубр» Гранина. Так возможно ли, чтобы то, что волнует общество, проходило мимо школы, то, над чем бьется наша мысль, не стыковалось с тем, над чем думает ученик на уроке? Возможно ли при такой расстыковке доверие к школе, учителю? Но дело не только в этом.

Когда же мы рисуем картины нашей прошлой и нынешней жизни дистиллированно, как выразился Михаил Ульянов, когда изображаем нашу жизнь упрощенно, однолинейно, так, что из нее уходит сложность противоречий, объемность, светотень, многоцветность, то может произойти (а часто и происходит) прямо противоположное тому, к чему мы стремимся: возникает сомнение в реальности того самого света, ради утверждения которого старательно ретушируются картины жизни и убираются все тени. Воистину «одна неправда нам в убыток и только правда ко двору».

Что же касается глубоких травм юношеской души, то травмируют ее двуличие, ложь, разрыв слова и дела, но не правда. С особой силой я убедился в этом, когда мы вместе со старшеклассниками обсуждали фильм «Покаяние».

«Когда кончился фильм, мое состояние можно было назвать действительно одним словом — потрясение», «Потрясающее впечатление. Неделю все время возвращался к фильму», «Посмотрев фильм, я был ошеломлен силой и глубиной этого произведения» — так говорили почти все. Я спросил, а нужно ли возвращаться к таким страницам истории. Нужно — ответили все. «Нужно, чтобы больно отозвалось в душах тех, кто помнит это, и чтобы боль пришла к нам, новому поколению». «Чтобы не повторился этот кошмар, ничего нельзя забывать».

В финале картины старая женщина спрашивает, ведет ли эта дорога к Храму. Узнав, что это улица Варлама и что к Храму она не ведет, она поражена: зачем она тогда нужна? Старшеклассники хорошо понимают: Храм здесь — символ правды, чистоты, истины, справедливости.

«То, что в финале говорится о дороге, которая не ведет к Храму,— сказала одна из десятиклассниц,— как и весь фильм в целом, лишний раз свидетельствует о его безнадежности».

Ей возражали, возражали страстно: «Если не эта дорога ведет к Храму, то это вовсе не значит, что нет дороги к нему. Есть, но это другая дорога», «Молчание — преступление перед памятью погибших. Фильм трагичен, но он утверждает свет», «То, что этот фильм появился, говорит о том, что идет очищение от наследия Варлама и Авеля. Уже его выход на экран утверждает надежду и веру». «Неравнодушие фильма — посыл к нам, его пафос. Дорога Варлама не привела к Храму. Приведет ли к Храму наша дорога?» — спросил один из старшеклассников.

Мы знаем, что наше время родило много надежд и ожиданий. Но мы не должны скрывать, что приходится слышать, в том числе и среди юных, голоса сомнения. И это естественно. Преодолеть сомнения можно только на пути утверждения на деле, в реальной практике наших идей, принципов, идеалов.

Что же касается школы, то уже сам открытый, откровенный разговор с учениками о жизни, ее радостях, болях и тревогах — одно из тех реальных дел, которые утверждают наш курс.

Осенью 1968 года, как только появился на экранах фильм Шатрова и Карасика «Шестое июля», в 10-х классах шести школ учителя провели сочинение на тему «Что нового в Ленине и революции открыл мне фильм „Шестое июля"» (перед этим все ученики посмотрели картину). Так вот некоторые десятиклассники писали, что вообще вряд ли возможно говорить об открытии и обогащении применительно к этой теме: «Трудно открыть что-нибудь новое в образе, который тебе глубоко понятен, о чем знаешь с детства», «Трудно писать о новом в образе Ленина и революции, так как в основном все об этом мне было ранее известно».

В те самые дни, когда я знакомился с этими сочинениями, пришел десятый номер «Нового мира», и в «Зимнем перевале» у Елизаветы Драбкиной я прочитал: «Снова и снова гляжу я на длинный ряд томов в синих переплетах, выстроившихся на моей книжной полке, читаю и перечитываю страницу за страницей. Снова и снова напрягаю память, чтобы вспомнить все, связанное с Лениным, все, что я видела, слышала, о чем мне рассказывали, вчитываюсь в воспоминания его родных, друзей, соратников. И сколько бы ни читала, сколько бы ни думала и ни вспоминала, я всегда узнаю что-

то новое, неожиданное, что берет за сердце, заставляет по-новому увидеть окружающий мир».

Итак, Елизавета Драбкина, знавшая Ленина, прошедшая с нашей страной ее путь, каждый раз открывает для себя в Ленине что-то новое, неожиданное, а наш десятиклассник убежден, что он уже все знает с детства. И пусть это не все десятиклассники. Но даже среди писавших их не единицы.

Интереснее сочинения тех десятиклассников, которые фильм Михаила Шатрова и Юрия Карасика восприняли как художественное открытие. Необычайная сложность, напряженность, накал политической, идейной борьбы — вот то новое, что открыл им фильм. Выпускники увидели, как необходимо политическому деятелю «острое понимание текущего момента и дальнозоркость» и что вообще государственная деятельность — это «огромная умственная работа». «В этом фильме Ленин предельно сосредоточен, напряжен, поглощен анализом быстро меняющейся ситуации, в которой от каждого решения зависит судьба народа».

Приведу выдержку из одной школьной работы: «Мне кажется, что победа революции, победа Ленина выглядит более весомой, более убедительной, чем в других фильмах, потому что враги революции показаны более сильными, умными, решительными, чем прежде. Очень сильное впечатление произвела на меня Мария Спиридонова, лидер левых эсеров, роль которой исполнила Алла Демидова, и исполнила просто блестяще. Это человек, преданный своему делу, своим идеям, умеющая зажечь людей. Необыкновенно эмоциональная, горячая ее речь на V съезде Советов заставила многих склониться на сторону левых эсеров. Надо себе представить, какой силой мудрости должна быть полна речь Ленина, выступившего вслед за Спиридоновой, чтобы переубедить делегатов V съезда Советов, заставить понять их то, что заключение Брестского мира в данный момент необходимо. Борьба Владимира Ильича и Спиридоновой на съезде — это кульминация фильма. И в этой борьбе Ленин одерживает победу над своим серьезным политическим противником».

В идейном воспитании всякого рода упрощенчество особо опасно, ибо оно всегда снижает воздействие воспитания, а часто сводит его на нет, более того — может оказать и противоположное влияние. Зато как благотворно влияет на молодого человека вдумчивое, серьезное, без упрощений, полное драматизма, но страстное и убеждающее решение идейных споров, в которых он, молодой человек, будь то на уроке, в зале кинотеатра или один на один с книгой, не просто посторонний зритель, а полноправный участник поисков истины. И в этом я еще раз убеждался, читая тогда, в 1968 году, сочинения выпускников о «Шестом июля».

«Впервые в этом фильме о Ленине я увидела такую ожесточенную борьбу за существование революции, такую титаническую работу Ленина». «Мы привыкли считать, что для Ленина все было ясно и понятно, что на все трудные вопросы у него всегда был готов ответ. Но здесь мы видим Ленина думающим, волнующимся за свои решения». Это симптоматичные высказывания. Увы, ученики наши плохо представляют, ценой каких исканий оплачены найденные политические решения, как труден путь к истине, когда речь идет о судьбах страны и революции.

Вот над чем размышлял тогда я, читая сочинения десятиклассников. Прошло восемнадцать лет. Осенью 1986-го фильм «Шестое июля» впервые появился на телеэкране. И вновь я попросил знакомых учителей литературы предложить своим ученикам тот же самый вопрос, который задавался в 1968 году. Передо мной на сей раз оказались работы шести классов: двух 9-х и четырех 10-х. Часть старшеклассников и сегодня хорошо чувствует, что фильм этот не из ряда тех, в которых «наши с криком «ура!» всегда побеждают». Здесь, отмечают они, показано гигантское напряжение того времени и то, как советская власть оказалась на волосок от гибели.

Вновь я читал о том, как поражает изображение в фильме идейных противников Ленина: «Нам всегда говорили, что все другие партии, кроме большевиков, были контрреволюционными, трусливыми и безыдейными. Из фильма я узнала, что в организацию не большевистскую, а левых эсеров входили люди честные, преданные своему делу, целеустремленные, готовые отстаивать свои взгляды ценой жизни», «Я понял, что после революции не вся страна единодушно стояла за большевиков, понял значение Брестского мира, понял, что противники большевиков были не какими-то врагами народа, а что среди них было очень много людей, служащих народу, которые по-своему были правы в своих суждениях. Взять тот же Брестский мир. Ведь действительно его

условия были позорны. И можно понять эсеров, призывавших разорвать его. Но большевики оказались мудрее».

И именно потому, что история предстала перед ними в картине во всем своем драматизме, старшеклассники «открыли для себя Ленина заново»: «Я впервые увидела Ленина как человека, попавшего в смертельно опасное положение и отчетливо это понимающего», «Я никогда не думала, что Ленин может находиться в замешательстве».

И такое изображение не снижало величия вождя революции, а, наоборот, раскрывало его с особой силой. «В картине еще раз подтвердилась гениальность и дальновидность Ленина. Но самым трудным для него и его соратников был шаг против своих же бывших товарищей, с которыми вместе сражались на баррикадах, которые мужественно выносили тяжелые ссылки, и было ужасно обидно и больно, что они оказались с разных сторон в революции».

Но подобным образом в 1986 году писал лишь каждый четвертый. Восемнадцать лет назад — большинство. Не берусь делать широкие обобщения. Но могу сказать (и не только основываясь на сопоставлении школьных сочинений), что за эти два десятилетия интерес старшеклассников к историко-революционной теме ощутимо снизился, как и вообще к искусству социального исследования прошлого и настоящего.

Возможно ли преодоление этого опасного равнодушия, возможно ли пробудить подлинный интерес к книгам, фильмам открытого социально-политического звучания? Да, возможно, особенно сегодня. Обсуждая со своими учениками фильм «Шестое июля» после его демонстрации по телевидению или беседуя с ними о спектакле «Революционный этюд», поставленном Марком Захаровым по другой пьесе того же Шатрова («Синие кони на красной траве»), я убедился в этом.

Наибольшее воздействие на моих учеников оказал спектакль Театра имени Ленинского комсомола. «Мы дышали воздухом истории»,— сказала одна из десятиклассниц. «Такое чувство, будто говорила с Лениным, вот честное слово»,— написала в своем сочинении другая школьница. Спектакль волновал «вписанностью в ткань дня сегодняшнего. Он весь как бы соткан из нитей, соединяющих день минувший с днем сегодняшним. И мы оглядываемся назад не только для того, чтобы отдать дань памяти. Из опыта прошлого берется все самое важное, нужное, имеющее истинное значение».

Об уроках истории, их значении для дня нынешнего и шла речь на занятиях по литературе. Ограничусь таким примером. Ленин говорит в одной из сцен молодому журналисту слова, которые стали прямым посылом в наше время и касаются всех нас, сидящих в зале: «А одно лишь знание, без морали, порождает то, что Маркс называл „профессиональным кретинизмом"».

Спектакль заставлял думать о проблемах истории и современности. Он отвечал на вопросы и рождал новые вопросы. Он тревожил, беспокоил, воспринимался как призыв оглянуться вокруг и всмотреться в себя. Но ведь так и должно быть. И пусть не смутят нас запальчивость юношеских суждений, свойственная молодости крайность мнений. Ведь самое страшное — равнодушие, бездумная заученность, обкатанность мысли, штампованность слов. Спектакль о Ленине и молодежи двадцатого года рождал мысли о сегодняшнем дне и о себе: есть ли более высокая мера, которой может быть соизмерена действенная активность искусства? и есть ли лучший способ обращения к наследию человека, который в том самом зале, где сегодня сидели мои ученики, сказал: «...чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано».

Так получилось, что спектакль о дне, который предшествовал выступлению Ленина на III съезде комсомола, мы обсуждали на уроке литературы за несколько дней до открытия XX съезда ВЛКСМ.

«В который уж раз поражаешься наивности комсомольцев тех лет. Ну еще бы! Какие глупые: любовь долой до полной победы мировой революции! Смешно. Но ведь за этим стоит нечто большее — вера, горячая убежденность, ощущение собственной правоты. Нелепостей в разное время хватало, не они же суть. Отчего же у многих сидящих теперь в зале тусклые глаза и скептическая усмешка, намертво прилипшая к лицу? Отчего мы утратили способность бороться, сопротивляться, искать и, самое главное, в е р и т ь? И опять возникает вопрос перед зрителями. Актер словно бы говорит: „А вы на себя взгляните! Подумайте... Давайте вместе подумаем!"»

«Пусть они были наивны, безграмотны, во многом смешны. Но в большинстве своем они были честны и отважны, их отличали целеустремленность и необыкновен-

ный задор, прямолинейность в суждениях, но и наивность в выводах. У них не было факультативов по литературе, они пели смешные и зачастую пошловатые частушки, а потом умирали на фронтах гражданской войны. Они верили. И ради этой веры готовы были пожертвовать жизнью. Среди нас верят многие, но много и тех, кто не верит. Потому что мы как слепые котята. Зарываемся в мелочах. Наше образование — это какие-то обрывки знаний о каких-то обрывках существующей объективности. Мы не в состоянии точно представить объемную картину. Каждый как может, так и склеивает обрывки. Если склеит неправильно, неправильно живет, от этого мучается, а мучаясь, не может понять причины...»

«Комсомол должен получить второе рождение, измениться, стать другим, сегодняшним. Но где гарантия, что слова не только останутся словами или не превратятся в новый кодекс формальных решений и законов?»

Как секретарь партийной организации школы, каким я являюсь не один год, слишком хорошо знаю, как в недавнем прошлом «били» ребят за такие вот рассуждения! Но ведь в этих рассуждениях куда больше веры и убежденности, чем в бестрепетной гладкописи иных писаний о комсомоле. В том же зале и в той же речи были сказаны слова, которые все мы так хорошо знаем, но которыми далеко не всегда руководствуемся: «Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги».

Одна из десятиклассниц жестоко и во многом несправедливо сказала о своем поколении: «Не хочется да и разучились мы мыслить в масштабах всей страны». Я же не раз убеждался: размышляя на уроках литературы о произведениях наших современных авторов (если, конечно, эти вещи находили живой отклик в сердцах), они как раз и учатся «мыслить в масштабах всей страны».

Посмотрев «Дядю Ваню» Чехова в Художественном театре, директор императорских театров Теляковский в тот же день записал в своем дневнике: «Появление таких пьес — большое зло для театра. Если их еще можно писать, то не дай бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век... На таких пьесах публику театр не воспитывает, а развращает, потому что к массе неразрешенных и жгучих вопросов прибавляются еще и новые... У наших родителей были воспитанием подготовлены, может быть, и тупые, но определенные ответы, при этих готовых ответах человек был спокоен, имел ничем не смущенную волю».

Этой философии покоя, готовых ответов и бездумности всегда противостояла тревожная и тревожащая русская литература, литература вопросов и проблем. Эту традицию русской литературы продолжают лучшие произведения советского искусства. Выступая в марте этого года на встрече с читателями в Останкинской телестудии, Чингиз Айтматов говорил, что видит свою задачу не в том, чтобы давать готовый рецепт, а в том (я тогда же записал его слова), «чтобы заставить вас тревожиться и думать».

Но нередко читатель и зритель на книги и фильмы, зовущие тревожиться и думать, не откликается. Больше того — предпочитает вообще не читать и не смотреть их. Это проявляется во вкусах, симпатиях, антипатиях юных читателей и зрителей.

Весной 1967 года, работая в Московском городском институте усовершенствования учителей, я предложил провести в 9—11-х классах сочинение на тему «Какое произведение современной советской или зарубежной литературы мне больше всего понравилось и почему». Я прочел тогда 1139 работ. Можно понять мое желание вернуться к этой теме через двадцать лет. Весной 1985 года по моей просьбе учителя 9-х и 10-х классов разных школ Москвы предложили такой же вопрос своим ученикам. На этот раз мы решили сосредоточить свое внимание только на современной советской литературе. К тому же пришлось ограничиться 350 сочинениями.

Двадцать лет назад подавляющее большинство книг, которые были в центре внимания общественной мысли, оказались в зоне повышенного внимания школьников. Сегодня из числа таких книг старшеклассниками были выделены лишь немногие. 353 школьника назвали 132 произведения 102 авторов. Между тем многие подлинные достижения нашей литературы, книги, глубоко и полно исследующие глубины народной жизни, упоминались немногими или вообще не назывались. Пятеро упомянули произведения В. Распутина, четыре ученика — роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день», два — «Царь-рыбу» В. Астафьева, по одному — Ф. Абрамова, В. Белова, Г. Бакланова, В. Тендрякова, Ю. Трифонова.

Конечно, иной раз все упирается в недостаток информированности, в то, что ту или иную книгу трудно достать. Но не только в этом дело. Мы часто говорим о воздействии литературы и искусства на человеческую натуру, но есть и обратная закономерность: восприятие литературы, кино, способность откликнуться на их зов зависят от личности человека, его отношения к жизни, к себе.

«Мне чуждо стремление изображать жизнь легче, чем она есть на самом деле, скрывать ее трудности, заблуждения, ошибки. Есть книги, которые горько читать, есть эпизоды, которые терзают душу и причиняют боль. Но они учат воспринимать жизнь по-настоящему», «Можно ли назвать книгу прекрасной, если она заставляет страдать? Я не сплю, я расстраиваюсь, я устаю — нужна ли мне такая взбучка, такое перенапряжение?» — за этими цитатами из школьных сочинений не только два разных отношения к искусству — две разные жизненные позиции.

Приходится признать, что отсутствие вкуса и интереса к серьезным книгам и умным фильмам стало явлением распространенным, в том числе среди молодежи. Первооснова и первопричина здесь — в снижении интереса к общественным делам, в социальной пассивности, в том, что на страницах «Коммуниста» очень точно обозначил Михаил Ульянов: «Началась атрофия общественных нервов».

Однако мы были бы глубоко не правы и несправедливы, если бы видели только это во вкусах и эстетических пристрастиях взрослого и молодого читателя и зрителя.

В этом учебном году в 9-м и 10-м классах я провел сочинение на тему «Песни мои и не мои, певцы мои и не мои». Сейчас нет возможности рассказать обо всем, о чем говорили старшеклассники. А говорили они и о советском и зарубежном роке, в том числе так называемом тяжелом, и о нашей и заграничной эстраде, и об Алле Пугачевой, и о группе «Модерн токинг», и о многом другом. Но первенство было отдано Булату Окуджаве и Владимиру Высоцкому. И очень важно, что́ о них было сказано.

Булат Окуджава. «Он заставляет думать о жизни в главном смысле этого слова», «Вся моя жизнь наполнилась смыслом, я сама стала думать и рассуждать», «Песни Окуджавы заставляют думать. Когда их слушаешь, чувствуешь, что ты не одна на свете, что ты связана с десятками людей одной неразрывной связью», «А сколько раз в пыльном шлеме комиссара гражданской склонялся он над нами, когда оглушающий мир взрослых одолевал нас своей категоричностью, бесцеремонностью или излишней опекой», «Нелегко, наверное, сохранять веру в людей, когда видишь, что многие из них стали злее, скупее на добро и жадней на деньги и что даже на чувства распространяется жестокий рационализм. А Окуджава все равно верит. Его песни предъявляют человеку строгий счет: а так ли ты живешь на этом свете? любишь ли ты? А ведь это так важно, потому что мы очень редко стали задавать себе такие вопросы»...

Владимир Высоцкий. «Песни Высоцкого заставляют думать и переживать, требуют сильнейшего духовного напряжения. Его песни живы и нужны нам, потому что он писал о нашей жизни, говорил о ней честно и открыто, тем самым заставляя нас неуютно чувствовать себя в своих благоустроенных гнездышках», «Высоцкий видел омертвление в душах людей и кричал об этом во весь голос. Сегодня Высоцкий для нас — символ неравнодушного отношения к жизни. Нужно, чтобы каждый относился к жизни, как Высоцкий: ярко, не щадя себя», «Для меня он остался идеалом, эталоном гражданственности, преданности родине, беспокойной неудовлетворенности всем происходящим», «Для меня Высоцкий более чем любимый певец. Он — моя душа, мои мысли, мой взгляд на жизнь. О чем бы он ни пел: о войне, о горах, о самых разных людях,— все это мое, наболевшее. Меня душит бессильный гнев, когда в жизни я сталкиваюсь с тупым равнодушием людей к страшной прошедшей войне, к родине, к своему городу, к тем, кто живет рядом. Песни Высоцкого — одно из важнейших средств борьбы с ними»...

Обратите внимание на слово «думать», к которому, словно сговорившись, обращаются старшеклассники. Обратите внимание на то стремление к высокому, настоящему, которое пронизывает их мысли и чувства!

Есть у Новеллы Матвеевой стихотворение о пожарном, которому «хотелось ночью красно-розовой кого-нибудь из пламени спасти». Броситься в огонь пожарному так и не довелось: «В том краю как раз пожаров не было: там жил предусмотрительный народ». Так и не сбылась мечта о подвиге.

А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

Не замечали часто и юные. Или скажем точнее: приучены были не замечать. Теперь, после «Пожара» Распутина в литературе и реального пожара в Чернобыле, а главное, после поворота нашего общества к истине, правде, социальной зоркости, мы как никогда обязаны не только лучше все видеть в жизни сами, но и учить видеть детей наших. Мы призваны показать им, сколь опасно и социально и нравственно отвернуться от боли, тревог времени и как возвышает человека растревоженность души и сердца, рождающая поступок, действие.

Сегодня, когда активное выступление против любых проявлений нравственных деформаций стало важнейшим направлением нашей жизни, особо важно учить юность не только душевной стойкости, но и нравственной непримиримости. Отмечу в связи с этим интересный факт. Когда десятиклассники писали сочинение на тему «Маяковский накануне XXI века», то многие выделяли сатиру поэта и его драматургию как особо близкие нам и нашему времени.

«Еще когда в глазах рябило от красных флагов и блеска сабель, Маяковский уже видел, как вылезает «из-за спины РСФСР мурло мещанина». Он уж тогда понимал это социальное бедствие сегодняшнего времени — губительное равнодушие, мещанство, бумагомарание, бюрократизм. Не случайно Ленин, не совсем понимавший остальную поэзию Маяковского, высоко оценил его стихотворение «Прозаседавшиеся». «Одного боюсь, чтоб не обмелели наши души». Это главное и современное всегда. «Есть и сейчас те, кто смотрит ,,устрицей из раковины вещей", есть и те, у которых ,,чиновность в мозгах паутину... свила"». К сожалению, остались и проблемы бюрократизма, пустозвонства. И теперь «обдают дождем дела бумажные». «Его сатирические стихи — пример для нас, как критиковать зло и гневно, но не со стороны, не холодно подмечая недостатки, а делая все, чтобы этих недостатков не было. Вступая в жизнь, человек должен видеть в ней и ,,что такое хорошо, и что такое плохо"».

И все-таки, и все же. Да, роман не журнал мод, кинофильм не поваренная книга, спектакль не рецептурный справочник, песня не инструкция, стихотворение не циркуляр. Воспитательное воздействие искусства не может быть сведено к сумме примеров и добродетелей. Мы знаем, что рассказ о мертвых душах помог сформировать живые души. Все это так. Но вспомним поразительную по емкости формулу Маяковского — «Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого». Да, именно в юности обдумывание житья сопряжено прежде всего со стремлением найти «делать жизнь с кого». Не о бездумном преклонении перед кумирами идет здесь речь. «Делать жизнь с кого», обязательно при этом о б д у м ы в а я житье, в том числе и житье того, на кого равняешься. «В моем возрасте, когда завтра вступаешь в большую жизнь,— пишет десятиклассница,— становится особенно важно уяснить для себя, с кого следует брать пример в жизни (ведь без этого нельзя!) и с кем бороться. Вернее, не уяснить, а найти подтверждение своим размышлениям, а может, и опровержение». Обратите внимание на это, на мой взгляд, абсолютное для юности — «ведь без этого нельзя!».

Нельзя не заметить при этом, что за двадцать лет сам тип положительного героя, которому отдают свои симпатии старшеклассники, в чем-то изменился. Тогда многим был близок герой, который открыто вступает в борьбу со всем, что он не принимает в жизни. Характерные тому примеры — Крылов из «Иду на грозу» Даниила Гранина, Бахирев из «Битвы в пути» Галины Николаевой, Венька Малышев из «Жестокости» Павла Нилина. Сегодня больше пишут о доброте, совестливости, отзывчивости, неравнодушии, умении остаться самим собой под ударами судьбы.

«Буранный Едигей живет так, как подсказывает ему сердце и совесть. Он не боится быть честным. Едигей, по-моему, образец современного человека, в нем много того, чего так не хватает сейчас людям: любви ко всем, ко всей земле, неравнодушия к недостаткам».

Думаю, что сегодня с новой силой возникает в жизни и литературе потребность в герое наступающем. Но, естественно, неверно было бы сводить все воспитательное воздействие искусства к силе примера только такого героя.

Вот уже более десяти лет в 9-м классе после уроков, посвященных творчеству Чехова, я обращаюсь к «Обмену» Юрия Трифонова. Знаю, что после «Обмена» Трифонов пошел дальше. Но «Обмен» доступнее девятикласснику, его герои — люди, которых он видит вокруг себя.

Каждый год весной накануне министерского сочинения в 9-м и экзаменационного в 10-м я раздаю ребятам тетради с их сочинениями. Но все сочинения, которые

каждый из них пишет в течение года об одном из произведений современной советской литературы, хранятся в школе. И вот в этом году я перечитал все работы, посвященные «Обмену», за последние десять лет. Вместе с нынешними их оказалось чуть больше 80. В большинстве из них — беспощадность и бескомпромиссность суждений. Старшеклассники пишут, негодуя, кляня, обвиняя: «Никакой совести, никакой чести, никакой нравственности. Просто нет человека. Образ Дмитриева — это трагедия духа, но нравственное разложение его настолько отвратительно, что предостерегает каждого читателя от размена своей нравственности на внешнее благополучие, на измену самому себе», «После смерти матери у Дмитриева сделался гипертонический криз. Это предательство, «обмен» не прошли ему даром. Но это не имеет значения — как досталось предательство предателю, мучился он, совершая подлость, или нет. И к Дмитриеву нет никакого сострадания. К этому человеку чувствуешь только презрение».

Должен сказать, что в течение многих лет эти страстные прокурорские интонации мне импонировали. И я не сразу понял, что трактовал «Обмен» на своих уроках односторонне. Перечитав сейчас страницы, посвященные «Обмену» в своей книжке «Уроки нравственного прозрения», я хорошо это почувствовал.

Прежде всего такая трактовка не соответствует авторской позиции, а ведь задача учителя литературы — раскрыть перед учениками авторское отношение к героям и к изображаемому миру. Наталья Иванова в книге «Проза Юрия Трифонова», проанализировав критическую литературу об «Обмене», очень точно диагностировала: «От писателя требовали н е т е р п и м о с т и». Эта нетерпимость преобладала, как я сейчас убедился, перечитывая сочинения прошлых лет, в оценках школьников и, очевидно, в том, что говорил на уроках я.

И вот что еще в этой связи важно. Как я уже говорил, готовясь к уроку в этом году, я перечитал сочинения прошлых лет. И читал я эти сочинения об «Обмене», уже зная о тех «обменах», через которые прошли некоторые из вчера еще страстно негодовавших и проклинавших. И я как никогда остро почувствовал: обвиняя и кляня, юные авторы отстраняли изображенное от себя, а за тем, что мне казалось лишь нравственным максимализмом юности, стояло и другое: нежелание заглянуть в себя и с себя спросить.

Во многих сочинениях хорошо было увидено, что «самоуспокоение Дмитриева — вид самозащиты от совести». «Дмитриев понимает свою вину, понимая подсознательно какими-то остатками себя прежнего, что совершает предательство, пытается перед собой себя оправдать, обелить». «Дмитриев заглушает в себе голос своей совести, успокаивает и тем обманывает себя. Обман. Мне кажется, что тут не случайно близкое звучание этих слов. Обмен. Обман. Где обмен — там и обман».

Это действительно так. Помню, как на одном из уроков кто-то хорошо сказал: «Раскольников в «Преступлении и наказании» — это кровь по совести. Рыбак в «Сотникове» — это предательство по совести. Дмитриев в «Обмене» — это обмен по совести»...»

Высокая нравственность прозы Трифонова («Эта повесть, как и вся проза Трифонова, высвечивает нам ориентиры в запутанном жизненном лабиринте») не в беспощадности обвинительных интонаций, а в беспощадности требовательности к человеку, который не имеет права обманывать себя и должен быть честным перед самим собой. Как раз в те дни, когда я готовился к уроку по «Обмену», я прочитал опубликованные в «Литературной России» размышления самого писателя: «Мы пишем не о дурных людях, а о дурных качествах. Потому что это должно быть про всех, а не только про злокозненных мещан: это должно быть про читателей, про близких автора, про него самого. Не надо, увидев ярлычок, с облегчением отмахиваться: «А, опять про каких-то мещан! Разоблачают...» Нет, читатель, не про каких-то, а про нас с вами».

И, перечитывая сегодня сочинения, написанные за прошедшее десятилетие, я почувствовал, что мне ближе те работы, в которых и смятение, и тревога, и понимание мучительности вопросов, которые ставит жизнь.

«„Обмен" я прочитала быстро, никаких особых эмоций он не вызвал. Потом книгу куда-то забросила — сказалась привычка не усложнять свою жизнь. Не знаю как и почему, но через некоторое время я стала повесть перечитывать и ужаснулась: господи, да здесь же все, все до мельчайших черточек жизнь... Всегда легко рассуждать, стоя в стороне. А если, к примеру, решается сейчас судьба р о д н о й

дочери и умирает чужой человек? Что вы выберете? Я честно сказать себе, что я выберу, не могу, не знаю, и дай бог, чтобы не пришлось выбирать».

Те гневно прокурорские сочинения выглядят нравственнее. Эти честнее перед собой и уже поэтому нравственнее по своей сути. Не оправдание компромиссов, обменов и самообманов вижу я в них, а понимание трудности выбора, сложности жизни. Продолжу выписку из только это процитированного сочинения: «Иногда Дмитриеву казалось, что все еще впереди, а все уже позади. С облегчением ловлю себя на мысли: ну у меня-то действительно все впереди. А если прочитать «Обмен» лет через сорок... От действительности можно прятаться, не замечать ее. И вдруг однажды прочитаешь свою жизнь, жизнь в 120 страниц. «Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел»,— скажет Дмитриеву Ксения Федоровна. Он обменялся с самим собой. Рука не поднимается назвать его извергом. Он сам себя обрекает на гибель. Он надеялся спасти остатки себя, у него не осталось душевных сил на выбор, и он это знает. Вокруг нас в большинстве своем живут милые, хорошие люди, уважаемые на работе и любимые в семье. Но вот жизнь поворачивается к ним иной стороной, и одни обмениваются со своей совестью, а другие нет».

В этой возможности другого пути самое важное, что прочитано в повести и увидено в жизни. Но это увиденное потому и весомо, что не воспринято как готовый итог, а выстрадано собственной душой и мыслью.

Девять лет назад я прочел сочинение, которое начиналось личностно, страстно и горько: «Это страшно, но мы постепенно привыкаем, что кто-то заключает выгодный брак, а кто-то срочно выгодно меняет квартиру. Переступаются человеческие чувства. Ломаются судьбы людские. И эти «кто-то» —понятие не отвлеченное. Они живут рядом с нами. Мы с ними говорим, что-то обсуждаем, дружим. Порой произносим привычную уже фразу: «Умеют же люди жить! Не то, что... (приводится сравнение). «Умеет жить» — каждый вкладывает в эту фразу смысл, близкий ему. Чаще всего «умеет жить» — выгодно и удобно устраиваться, не важно где: с квартирой ли, с мужем ли, с работой ли... Удивительно, но мы не находим ничего сверхъестественного, тем более ужасного в этих окружающих нас обменах... Редко удивляемся, возмущаемся еще реже. Откуда это в нас — «умение жить»? Пережиток прошлого? Или мы, дети XX века, вечно спешащие, снующие, как челноки, любить и чувствовать спешим? Издерганные, со своими нерешенными проблемами, мы не разговариваем, а кричим или огрызаемся, не думаем, а прикидываем, не любим, а привыкаем. Век «рацио» разменивает чувства на привязанности, обязанности, привычки. Все можно выгодно выменять — себя, ближних, мать...»

Прошел год, и эта ученица, окончив школу, подала заявление в один из московских вузов. «Ты-то уж наверняка поступишь,— сказала ей одноклассница за два дня до начала вступительных экзаменов,— ведь у тебя на кафедре бабушка». На другой день девушка забрала из института свои документы и подала в другой. Конечно, поступок импульсивный, неблагоразумный. И все же он делает честь человеку.

Надо быть осторожным в категорических выводах и обобщениях. Но я уверен, что истинная нравственность начинается с честного взгляда на жизнь и себя. Не всегда, естественно, такой взгляд и такое отношение к окружающим и себе воплощается в поведение и поступки. Но всегда честная жизнь строится на честном самосознании, а бесчестная всегда замешивается на лжи, обманах и обменах.

В этом важнейший нравственный смысл прозы Ю. Трифонова. То, что на первый взгляд кажется просто бытом, лишь повседневностью, открывается в прозе Трифонова как драма и трагедия бытия. И наиболее вдумчивые из юных читателей видят это: «Эта сторона жизни — превращение самого трагического в самое обычное — особенно сильно звучит в повести», «Писать о таких, как Дмитриев, ведь это так обыденно. Но в том-то и заслуга Трифонова, что он сумел бытовые детали поднять до общечеловеческих», «Писатель сумел увидеть важные проблемы и вопросы там, где мы их не замечаем, мимо которых просто проходим мимо. Кроме писательского, это еще и «человеческий талант» — видеть ненормальное, неправильное там, где мы привыкли считать все нормальным и само собой разумеющимся».

И тут мы подошли к самому трудному. Для большинства старшеклассников история Дмитриева — это история человека, который под напором своей жены Лены, ее родителей, их жизненных принципов постепенно отступал, сдавался и в итоге окончательно обменялся и разменялся. Вот характерное рассуждение: «Дмитриев удивлен: рука Лены раньше была (или казалась ему) легкой, прохладной, а теперь она

давила немалой тяжестью. Рука Лены давит на него? Нет. Он задавлен самой Леной, ее энергией и напором».

И лишь немногие (приблизительно каждый пятый) видят, что Трифонов пишет не только и не столько о натиске Лены, сколько о давлении потока жизни, ее всеобщих изменениях, о самом изменяющемся времени, в глубинах которого он ощущает неблагополучие. Сегодня, когда в материалах январского Пленума мы прочитали о том, как под воздействием социальной коррозии как-то незаметно подтачивались высокие нравственные ценности, особенно остро понимаешь, как зорок был Юрий Трифонов. Ибо о чем же его повесть «Обмен» как не об этих деформациях, коррозиях, утратах и обменах? Но увиденное писателем было увидено не всеми читателями (да и критиками тоже). Отдадим же должное тем старшеклассникам, которые поняли: «Все меняется, меняется и он». «Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукьянилось — окончательно и безнадежно». Как частица этого «всего» меняется и сам Дмитриев — внук старого революционера, сын Ксении Федоровны, брат Лоры. Меняется жизнь. Люди больше имеют и живут лучше. Строятся новые дома и новые радиусы метро. Но рушатся некие нравственные нормы, потому что материальное благоустройство — эта важная, но преходящая ценность, а есть незыблемые ценности, о которых нельзя забывать: совесть, уважение к людям, сострадание. Самое страшное, что показывает автор,— то, почему смиряется Дмитриев. «Привык от того, что увидел, что то же у всех, и все — привыкли». «Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности». Это уже норма жизни. «В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста так, что нельзя найти следов».

Последнее процитированное мной сочинение написано в этом году десятиклассником. Но шесть—восемь лет назад наиболее вдумчивые из девятиклассников хорошо видели, что дело не только в Лене, мире Лукьяновых,— в олукьянивании жизни. «Какие-то замечательные человеческие качества вымирают, как древние ящеры: уходят в прошлое». (Сейчас, вновь перечитав это место, я сразу же вспомнил гранинского «Зубра»: в этом образе и мощь и вместе с тем реликтовость.) «Добропорядочность мешает нормальному существованию нормального человека, умеющего жить на всю катушку, беря от жизни все что можно, человека, давно забывшего, что такое хорошо, а что такое плохо, заменившего их на выгодно и невыгодно. Да что там мучиться, выдумывать какие-то нравственные проблемы. Сама жизнь такая несправедливая штука, бывает, негодяю — все, а хорошего, умного человека ему и в подметки не ставят». Людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели. Значит, могут полюбить даже пороки в одном человеке, возненавидеть добродетели — в другом. Так где же тут истина?! Все возможно в наш рациональный, до ужаса практичный век, и я ни чуточки не удивлюсь, если однажды среди множества объявлений увижу такое: «Меняю любого интеллигентного ханжу на приспособленное, умеющее жить «недочеловекое». Условия: плыть по течению, не сопротивляться, зарубить себе на носу «все так делают». «Олукьянивание» обеспечено. Возможны варианты. Тел...»

Перечитывая сейчас эти написанные в прошлые годы сочинения, я с особой силой понимаю, как же трудно было входить в жизнь видящим, слышащим, думающим. Но потому и возможно обновление и воскресение, что всегда были видящие, слышащие, думающие.

Заканчивая урок, обращаюсь к интервью с Валентином Распутиным. «Коль поступки человека продиктованы обстоятельствами, стало быть, он не всегда волен в своих поступках?»— спросил журналист. «Да — в том смысле, что во многом обстоятельства определяют человека,— ответил писатель.— Нет — в том смысле, что это ни в коей мере с него ответственности не снимает. За поступки свои человек ответствен полностью. Это — драма. Но это высокая, духовная драма, переживать которую дано лишь человеку. Здесь — истинная нравственность».

В утверждении такой нравственности и состоит смысл уроков литературы, которые Твардовский так точно назвал уроками нравственного прозрения.

Заканчивая с девятиклассниками разбор «Войны и мира», я предложил им назвать пять любых сцен из романа, в которых изображена история. 28 человек пере-

числили 140 эпизодов: сражение под Аустерлицем, Бородинская битва, пожар Москвы, совет в Филях, встреча Наполеона и Александра, Шенграбенское сражение, спор Пьера Безухова и Николая Ростова в эпилоге романа... И только четыре человека обратились к четырем иного характера сценам: именины Ростовых, первый бал Наташи Ростовой, Андрей Болконский и девочки, рвущие сливы в барской оранжерее, смерть старого графа Безухова. Когда я прочел последнее из названного здесь, кто-то воскликнул: «Ну что в истории изменилось оттого, что умер старый граф Безухов?»

Между тем для Толстого (сошлюсь на исследования С. Бочарова, Я. Билинкиса, В. Лакшина, Е. Маймина) в «Войне и мире» вообще невозможно отделить частных людей и частное в людях от истории. Частное бытие — неотъемлемая часть истории, и она не может быть освоена без проникновения в души обыкновенных людей. Да и сами исторические деятели (Наполеон, Александр, Кутузов, Ростопчин) проходят испытания мерой частного человека как единственно обязательной для всех. Ведь и главные герои романа Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, княжна Марья, и многие, многие другие не неизвестные исторические имена, а частные лица. Но в них выражено движение историй, народа, нации.

Все, здесь сказанное, имеет принципиальное значение не только для понимания романа Толстого. На мой взгляд, мы прикоснулись сейчас к одной из самых важных проблем формирования молодого поколения вообще.

Закончив занятия по «Войне и миру», я на уроке внеклассного чтения обращаюсь к повести Василя Быкова «Знак беды». Поскольку в прошлом году о ней в 9-м классе мы почти не говорили, одновременно урок на ту же тему — в 10-м.

Повесть В. Быкова была воспринята как трагедия: «Эта повесть показывает жизнь, полную адской, невыносимой, ни на минуту не прекращающейся боли. Самое страшное в книге — бесконечность страданий и боли. Такие книги о войне необходимы. После них видишь ее другими глазами. В этих негромких книгах больше истинного пафоса, чем в сотнях трескучих фраз». И вместе с тем как книга, утверждающая несломленность человеческого духа: «Люди, оставшиеся людьми. Люди, которые в минуты смерти обрели высшую духовную силу непримиримого противодействия злу. Надежды нет. Единственное, что осталось,— остаться людьми. И в этом — последняя сила. Невозможность измены себе, своим принципам. И крест как символ жертвенности. За бескомпромиссность надо платить. Но есть и другой мотив — в потерях и бедах сохранить достоинство, сохранить совесть. Даже когда уже нет надежды. А тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом». Слышна перекличка с «Судьбой человека» Шолохова: пройдя сквозь все страдания, остаться человеком. Мы забыли об этой скрытой войне. «„Был на оккупированной территории" — долгие годы это было минусом в анкете. Быков же воскресил эту страницу войны. Он остался верен себе. Это снова рассказ о проверке совести и достоинства человека. В войне «невоенной», вроде бы незаметной, но не менее страшной, чем любая война».

Почему я обратился на уроке внеклассного чтения после «Войны и мира» к «Знаку беды?» Не только потому, что здесь (об этом писал А. Адамович) стремление увидеть войну глазами невоенного человека, о чем мы говорили, когда анализировали картины Бородина в романе Толстого. Не только потому, что нам уже знакомо по «Войне и миру», война объясняется миром, вбирает в себя всю прежнюю жизнь. «Повесть, как художественное целое,— цитирую на уроке статью Игоря Дедкова,— сосредоточена на... обдумывании, осмелюсь сказать, и с т о р и ч е с к о г о смысла и итога изображаемой человеческой жизни...

Пишем, помним о великих событиях, но внутри их всегда бьется малая жизнь, великое множество наших малых жизней; у великих событий — обычный человеческий состав, но на популярном языке многозначных цифр это невыразимо».

И дело не только в том, что на этом конкретном уровне события становятся понятнее и ближе. Понимание обычного человеческого состава великих исторических событий необходимо для осознания самого себя как исторического человека.

В былое время в городских квартирах и деревенских домах на стенах висели фотографии родственников, родных, близких. В деревне обычай этот сохранился на несколько десятилетий дольше. Но и оттуда фотографии перекочевали в альбомы (в лучшем случае), а чаще в коробки, картонки, папки, пакеты. И ныне слова «генеалогическое древо», «родословная», «семейный архив» чаще всего прописываются нами лишь по дворянскому ведомству.

Но может ли быть пережита и осознана истина «никто не забыт и ничто не забыто», если действие ее распространяется на самый близкий и самый первый круг бытия? А может быть, подобно тому как родина начинается с трех берез и лишь потом осознается как страна большая, и история должна входить в сознание и чувства с семейных хроник и домашних преданий?

В последние годы в декабре месяце, когда отмечается очередная годовщина битвы за Москву, я провожу в 9-м классе сочинение на тему, как война прошла через семьи, через дома моих учеников. Задание это у части девятиклассников вызывает растерянность и порой возражение: этим ученикам кажется, что от них обязательно требуют написать о героических подвигах и великих свершениях. И мне нелегко бывает объяснить, что каждая крупица жизни тех лет — это живое и необходимое нам свидетельство истории.

Я привожу маленькую цитату из написанной прежде работы: «Когда дед приехал домой по дороге на фронт из госпиталя буквально на час, то там он увидел следующее: дети худые, голодные, жена усталая, на ногах не стоит. Мой отец рассказывает, что, хотя он и был маленький, он запомнил в тот день одно: когда деда посадили за стол и дали ему щи из лебеды, то он ел, хвалил, а у самого текли слезы, когда он смотрел на детей. Он говорил: «Как вкусно...» А сам плакал». Разве это не подлинный исторический документ эпохи?

Автор другого сочинения рассказывала о том, как в 6-м классе ей задали домашнюю работу о войне и она обратилась к бабушке. «Что было самое сильное: одна из миллионов тех, кто для нашего поколения только история.— моя бабушка. Понимаете, моя. Бабушка — это что-то домашнее, необходимое, доброе. И неминуемо поднадоевшее, как надоедает что-то постоянное, однородное, сильно любящее с вечным: «Поешь, Анечка! Надень теплую шапку. Помой руки — я видела, что ты не мыла». И вдруг я слышу от нее почти те же слова, что читали мы в учебниках, книгах, журналах. Там нет «труда в тылу» или «ковать победу». Они неумелые, растерянные, эти слова, чуть виноватые даже: «Внучке сочинение задали, а подвигов-то не было». И в горле появляется почему-то посторонний какой-то ком, и очень не хочется его обнаружить: откуда, по какому случаю такие эмоции?»

Я привел эту цитату, потому что в ней очень хорошо выражено то, ради чего я и давал это сочинение. Мне хотелось, чтобы мои ученики не только поняли — ощутили, почувствовали, что история — это не только учебник, школьные уроки, книги, кинофильмы, что история — это жизнь людей, человеческие судьбы и что проходит она через каждый дом и через каждую семью. Личностное прикосновение к истории невозможно без сознания самого себя как субъекта истории.

«Для меня народная песня,— прочел я в сочинении одной десятиклассницы,— звучит совершенно по-иному, становится как-то ближе и роднее, когда ее тихо и немного фальшивя поет мой дед. Особенно я люблю вот эту:

Во солдаты меня мать провожала.
Тут и вся моя родня набежала:
Ах, куда ты, паренек, ну куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.
В Красной Армии не таки, чай, найдутся,
Без тебя большевики обойдутся...
Поклонился я родне у порога —
Не скулите вы по мне, ради бога!
Кабы были все таки ротозеи
Что бы сталося с Москвою, с Расеей!

А дед до сих пор в свои семьдесят пять лет уверен, что без него не обойдется. А я удивляюсь и завидую. Ко мне такое чувство приходит редко».

Многое стоит за этим горестным признанием десятиклассницы. Одной из самых тяжелых нравственных потерь, порожденных явлениями застоя и социальной коррозии, являются получившие немалое распространение настроения равнодушия и безразличия, падение интереса к общественным делам, утрата чувства личной причастности к общей жизни. Все это не могло не сказаться и на школе. Между тем преодоление этой социальной апатии, философии, психологии «а что я могу сделать?» — необходимое условие преобразовательной деятельности партии, и начинается это преодоление в школе.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. ПОСЛЕДНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ

Стихи. Письма. Воспоминания о поэте

СЛУШАЯ МАНДЕЛЬШТАМА

В 1932—1933 годах Осип Эмильевич Мандельштам жил в Москве, на Тверском бульваре, 25, то есть в Доме Герцена, на первом низком этаже правого от ворот флигеля. В то время он плохо переносил одиночество, даже на улицу предпочитал выходить с сопровождающим. В утренние часы, когда его жена уходила из дому, он просто метался. Я тогда работала в редакции газеты, помещавшейся на улице Коминтерна (ныне часть проспекта Калинина). В дни, когда работа у нас начиналась поздно, я нередко заезжала по утрам к Мандельштаму. Иногда мы выходили в скверик во дворе, иногда сидели на скамейке Тверского бульвара.

В один из таких дней мы обсуждали новый сборник Бориса Пастернака «Второе рождение». Конечно, говорил один Мандельштам, но это не был монолог. Это особая разновидность его способов общения — диалог с молчащим собеседником. Нужно только было давать ему легонькие толчки в виде коротких реплик, и беседа как будто бы лилась. Он начинал с бормотанья, бросал отрывистые фразы, постепенно переходящие в связную речь. А ты сидишь рядом и только присутствуешь при том, как рождается его мысль.

Осип Эмильевич, давно написавший: «Пастернака почитать — горло прочистить»,— с удовольствием повторявший «знаменитый», по его словам, каламбур Сельвинского о «пастернакипи и мандельштампе», теперь много думал о Борисе Леонидовиче. Он часто говорил, что Пастернака нельзя себе представить вне Москвы. На этот раз он добавил, что Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом, тогда как он, Мандельштам, вообще не пишет, а как бы высекает на камне (тут он напомнил и о заглавии своего первого сборника стихов «Камень»). Затем он опять стал бормотать, кажется, что-то об орнаментальности, может быть, о перегруженности стихов «Второго рождения», пока у него не вырвалось искомое определение — «советское барокко».

С тех пор как он поселился в Доме Герцена, у него часто бывал Сергей Антонович Клычков, живший в том же Доме, в левом флигеле. Кстати говоря, дружба их продолжалась и тогда, когда оба переехали в писательский кооперативный дом в Нащокинском переулке.

Разные писатели, направляясь в Дом Герцена по своим делам, мелькали перед окнами Мандельштама. Это его раздражало, с некоторыми из них он был в ссоре. Заходили к нему немногие, чаще других Иннокентий Александрович Оксенов и Виктор Борисович Шкловский. Оксенов, как известно, был эрудитом во многих областях знания. Однажды при мне он застал Мандельштама за чтением Палласа[1] и долго говорил с ним по этому поводу о не совсем понятных мне материях. После его ухода Мандельштаму всегда хорошо думалось. Лоб его светлел и как будто делался больше, преображаясь в «понимающий купол», движения становились тихими и пластичными.

В один из моих приходов я застала Осипа Эмильевича одного, сидящим посреди комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы. «Вот самое

---

[1] Паллас Петр Симон (1741—1811) — естествоиспытатель, академик Петербургской Академии наук, автор сочинения «Флора Россия».

гениальное стихотворение Блока!— вскричал он и прочел по книге:—„Как тяжело ходить среди людей /И притворяться непогибшим/ И об игре трагической страстей/ Повествовать еще не жившим". Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетичной интонации Мандельштама («И об игре трагической страстей»). У него вообще был свой мотив. Однажды у меня дома будто какой-то ветер поднял неожиданно его с места и занес к роялю, он заиграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией... Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. Вероятно, тут все дело было в необычно быстром темпе и фразировке.

А вот другое мое утреннее посещение Мандельштама. Помолчали. Внезапно, именно внезапно, он прочел: «И осень, дотоле вопившая выпью, прочистила горло; и поняли мы, что мы на пиру в вековом прототипе — на пире Платона во время чумы»; схватил с полки «Второе рождение», открыл «Лето», пробежал скороговоркой, не докончив ее, следующую строфу («Откуда же эта печаль, Диотима...»), опять залился на свой мотив:

И это ли происки Мэри арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.—

с возгласом: «Гениальные стихи!» — захлопнул книгу и победоносно взглянул на меня.

Если стихи были настоящие, он гордился Поэзией, сам он или другой поэт был автором стихотворения, ему было все равно. Как жаль, что невозможно сделать нотную запись его чтения, чтобы передать звучанье третьей строки, эту раскатывающуюся волну первых двух слов («и арфой шумит»), вливающуюся как растущий звук органа в слова «ураган аравийский» чтобы здесь уже разгуляться во всю свою силу.

Когда Мандельштам сам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым — кто подвернется. Весенним утром зашли мы с Евгением Яковлевичем Хазиным к Мандельштамам. Осип Эмильевич вышел из дому и, стоя у двери, читал в зеленеющем и благоухающем дворе только что законченного «Батюшкова»: «Словно гуляка с волшебною тростью...» Он вел стихи как мелодию от форте к пиано, с повышениями: «Ни у кого этих звуков изгибы» — и пониженьями: «И никогда этот говор валов...» Начиная со слов «Ты, горожанин, и друг горожан», строфа звучала как баркарола.

Еще некоторые строки стихов Мандельштама я запомнила навсегда звучащими его голосом, например глубоко резонирующий звук «о» в слове «соприродные», поддержанный первым односложным «так». В чтении Мандельштама эта строфа из «Фаэтонщика» звучала как обрамленная двумя гласными — стаккато «а» и растянутым «о»:

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Удивительные у него были обертоны на нижних регистрах.

А как он подчеркивал ритм фехтования в «Ламарке»! Напоминая эту строфу, я напишу для ясности одну строку лесенкой:

И от нас природа отступила,
Так,
как будто
мы ей не нужны.
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

Особенно богатой интонационной игрой отличалось в его чтении стихотворение «Полюбил я лес прекрасный» из цикла «Стихи о русской поэзии» Начинал он вкрадчиво, почти жеманно и так вел до конца второй строфы чтобы грозно «щелкнуть» словом «правды»[2]. Затем ускорял темп, который все нарастал и нарастал до самого конца стихотворения за исключением двух передышек· строку «Ротозейство и величье» он так раскачивал голосом как будто развалившись в кресле. сладко потягивался. А любование молоденькими грибками в лесу передавалось паузой в строке

[2] «И когда захочешь щелкнуть — Правды нет на языке».

«Так... немного погодя». Это замедление позволяло смаковать последние слова с таинственным лукавством — а я, мол, подсмотрел самый момент появления грибов волнушек под мелким дождем. Затем темп и интонация становились стремительнее и резче, пока это нарастание не разрешалось финалом, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании: «До чего аляповаты, до чего как хороши!»

Он умел завершать свое чтение апофеозом. Незабываемы для меня «Стихи о неизвестном солдате», впервые услышанные от Мандельштама. Это было уже в совсем другую эпоху, в 1937 году, когда он вернулся в Москву из Воронежа (ненадолго).

В один из первых вечеров в Нащокинском переулке, на пятом этаже Осип Эмильевич стоял возле тахты, собираясь лечь, и глядел в окно. Но, забыв лечь, стал говорить. Москва его тревожила. Чего-то он здесь не узнавал. Многих старых знакомых уже не было. Недоуменно, бурно он рассказывал о своих московских встречах. Помолчав, снова заговорил в раздумье: «И люди изменились... все какие-то...— он шевелил губами, подыскивая определение,— все какие-то... какие-то... поруганные». С такой грустью он это сказал, от самого сердца.

И другой вечер. Я застала его в пижаме, на тахте. Жена его уходила, мы остались вдвоем. Он весь светился и прочел целиком своего «Солдата». Потом попросил меня записывать под его диктовку. «Знаки препинанья можете не ставить, все само станет на свое место».

Он сидел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки, и начал диктовать Фрагмента со строками «Сквозь эфир десятичноозначенный», «— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо» и прочими тогда еще не было; возможно, Мандельштам считал, что он перегружает поэму.

Когда дошел до строк «Ясность ясеневая, зоркость яворовая», перебил сам себя: «Ах, как хорошо! Какой полет...» Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном матраце, повторяя:

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем ..

Закончил всю поэму концертно, бравурно, прямо глядя мне в глаза:

.. В ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Весь текст он попросил меня прочитать вслух. Проверив себя, остался доволен. Между прочим, заметил: «Вы хорошо читаете»,— и мне не хочется это забывать. Авторизовал список: «В<оронеж>. Май. 1937. О. М.» — и отдал мне со словами: «Это будет окончательная редакция».

К несчастью список пропал у меня во время войны. Но Осип Эмильевич продолжал, по-видимому, работать над этой поэмой. Мне говорила Анна Андреевна Ахматова, что, когда он еще позднее читал ей «Стихи о неизвестном солдате», там были, как она припоминала, эти строки:

...— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое...

Как современно звучат эти стихи сегодня. Мандельштам был провидцем.

Эмма ГЕРШТЕЙН.

Стихи о неизвестном солдате

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Подготовка текста и комментарий *И. М. СЕМЕНКО*.

Настоящая публикация основывается на фотокопии автографа из семейного архива поэта. Впервые стихотворение было напечатано в журнале «Литературная Грузия» (1967, № 1) с рядом текстологических неточностей.

До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,—
Безымянная манна его,—
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры....

Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.

И за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем,
Весть летит светопыльной обновою
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной обновою:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте,—
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей —

За тобой, за тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

Хорошо умирает пехота
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека —
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска —
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья — Шекспира отец...

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Это слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
— Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,

Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

«Стихи о неизвестном солдате» — одно из наиболее трудных для понимания стихотворений О. Мандельштама. Разумеется, общий гуманный смысл стихотворения, его антивоенный пафос очевидны. Однако смысл этот реализуется в образах неожиданных и нетрадиционных, отличающихся сугубой многозначностью, сложной метафоричностью.

Вкратце — о текстологии стихотворения. Окончательный текст не был определен поэтом. Сохранилось несколько ранних редакций (в ЦГАЛИ, ИРЛИ и семейном архиве), а также несколько списков. Произведение создавалось с конца февраля по конец марта 1937 года. Самая первая из известных редакций (ЦГАЛИ, ф. 1983, оп. 2, ед. хр. 1) помечена 1 марта и состоит из следующих 17 строк:

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Безымянная манна его —
Сострадательный, темный, владетельный,
Океан без души, вещество...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево
Начинающих смерть скоростей —
Это зренье пророка подошвами
Протоптало тропу в пустоте —
Доброй ночи! всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте.

В процессе дальнейшей работы шла перегруппировка и, главное, наращивание фрагментов за счет расширения уже имеющихся образов и подхвата возникающих у поэта ассоциаций, за счет формирования на этой основе новых метафорических сюжетов. В частности, дает новые побеги тема Наполеона, уже присутствовавшая во фрагменте «Аравийское месиво, крошево...» и направлявшая мысль к первой в новой истории войне «мирового» типа (Аравийская пустыня упоминается в связи с походом Наполеона в Египет):

Там лежит Ватерлоо — поле новое,
Там от Битвы Народов светло:
Свет опаловый наполеоновый
Треугольным летит журавлем.
Глубоко в черномраморной устрице
Аустерлица забыт огонек,
Смертоносная ласточка шустрится,
Вязнет чумный Египта песок.

Даже у Мандельштама мало метафор со столь зашифрованным значением, как «черномраморная устрица»; эти два стиха второго четверостишия могли бы быть идеальным образцом поэтики загадки. «Черномраморная устрица», в которой «Аустерлица забыт огонек»,— гробница Наполеона (черный цвет, удлиненная форма, значение оболочки, раковины, нечто содержащей). В последующих редакциях последние четыре стиха этого фрагмента были изъяты, а первые переработаны.

Вместе с появлением фрагмента «Для того ль должен череп развиться...» стихотво-

рение начинает приобретать черты славословия человеку. На одном полюсе все более подробно изображаются силы, ему угрожающие, на другом — расширяются метафоры громадности и высоты человеческого гения. В последних строфах воспроизведенной выше стадесятистрочной редакции «Стихов о неизвестном солдате» выражается тревога не только за судьбы людей, но и за судьбу всего мироздания, самих «звезд» с их «ясностью» и «зоркостью». Поэт не знал еще об атомных бомбардировках, но в сложных и фантастических образах намекнул на возможности космических сдвигов и катаклизмов. Можно предположить, что источником для этих образов послужила недавно выдвинутая тогда астрономическая теория «красного смещения» *.

Себя самого поэт представляет идущим вместе с «гурьбой и гуртом» — одним из бесчисленной толпы «неизвестных солдат». Однако эта «неизвестность» — своего рода метафора. «Земляне» здесь трактуются с гуманностью и демократизмом, доведенными до абсолюта. Безымянные герои окопов, Швейк, Дон Кихот, Лермонтов, Шекспир выстроены в один ряд землян, жизнь их тела и духа драгоценна поэту, к их огромной толпе и судьбе он относит и себя. Предельно детализованный антивоенный сюжет «неизвестного солдата» имеет, таким образом, и обобщающее, расширительное значение — осуждения всяческой вражды и ненависти, скорби о всяческих страданиях и гибелях.

О к е а н б е з о к н а — вероятно, здесь навеянный рядом философских представлений образ человека как «монады без окна», образ состоящего из этих монад «всеядного и деятельного» человеческого «океана», судя уже по первой строке, парадоксально совмещен с лермонтовским образом «воздушного океана» из поэмы «Демон».

Л е с и с т ы е к р е с т и к и — кресты на могилах; «лесистые» означает и то, что они деревянные, и то, что их много.

О к е а н и л и к л и н б о е в о й — метафора мест сражений и массовых гибелей. Клин — старинный боевой порядок, но здесь присутствует и значение клина — надела земли. Совмещение различных ассоциаций в одном слове очень характерно для мандельштамовской поэтики.

Б е з р у л я и к р ы л а — опять-таки реминисценция лермонтовского «Демона» («На воздушном океане без руля и без ветрил...»). Тема Лермонтова (см. начало следующей строфы) появляется в «Стихах о неизвестном солдате» на последних этапах работы, но предпосылки для нее были с самого начала уже благодаря соседству слов «воздух» и «океан».

Д е с я т и ч н о о з н а ч е н н ы й — простирающийся на расстояния, исчисляемые цифрами со множеством нулей и преодолеваемые со скоростью света. Опасность расширения «поля» битвы (см ниже: «И за полем полей поле новое...») — такой «вести», «обновы» (новости) страшится поэт.

Я г у б а м и н е с у с ь в т е м н о т е — метафора поэтического творчества (ср. со строкой о флейтисте-поэте в стихотворении «Флейты греческой мята и йота...»: «...Вспоминающих топотом губ»).

Ч е п ч и к с ч а с т ь я — Ш е к с п и р а о т е ц...— человеческая голова, череп ассоциируется у Мандельштама с Шекспиром как безусловнейшим примером ценности человека. Черепные швы метафоризованы в «звездном рубчике» З в е з д н ы м р у б ч и к о м ш и т ы й...— это, возможно, также и перенос признака (Шекспир на известном портрете — в кружевном воротнике).

---

* *Примечание редакции* Для понимания «Стихов о неизвестном солдате» небесполезно знать еще об одном весьма вероятном их источнике. О. Ронен в статье «К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама» (Slavica Hierosolymitana, 1979, vol. 4) возводит этот «сюжет» к когда-то, по его словам, «весьма популярному, а теперь почти забытому научно-мистико-фантастическому тексту... Это книга Фламмариона «Рассказы о бесконечном» (1872), характерно сочетающая метафизику и этику Платона с физикой и астрономией XIX века, а космическую фантазию с решительно пацифистской тенденцией, в частности с резким осуждением Наполеона. После 1917 года она в России не переиздавалась, но была хорошо известна по сжатому извлечению в «Занимательной физике» Я. И. Перельмана, выдержавшей в 20—30-е годы 12 изданий». В книге Фламмариона один из участников философского диалога, Люмен, описывает, как он в своем «посмертном существовании», летя от земли со скоростью, превышающей скорость света, становится свидетелем мировой истории. «Световой луч,— продолжает он,— можно сравнить с курьером, с которым отправлены самоновейшие известия о положении дел в какой-нибудь стране. Если курьер пробудет в пути 72 года, то он привезет с собой известие о том положении, в котором находилась страна в минуту его отъезда, то есть 72 года назад». Исследователь предлагает сравнить этот пассаж с соответствующим местом «Стихов о неизвестном солдате»: «Весть летит светопыльной обновою и от битвы вчерашней светло...» За настоящую справку редакция благодарит М. О. Чудакову.

И сознанье свое затоваривая... (см. также выше: «Словно обморока-ми затоваривая оба неба с их тусклым огнем») — метафора «крупных оптовых смертей» проходит через все стихотворение, порождая новый причудливый смысловой по-бег: «затоваривание» человеческого сознания.

ИЗ ПИСЕМ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА РОДНЫМ

<Февраль — март 1929 года>

Дорогой папочка [1]!

За это время случилось столько событий, что не знаешь, о чем писать. Во-первых, я страшно по тебе тоскую и при первой возможности вырвусь в Петербург. Впрочем, как увидишь дальше, возможно, что мы тебя пригласим пожить в Киеве... История Надиной [2] операции тебе, наверно, известна от Лившица [3]. Похоже, что здесь, в Киеве, по-ложен конец застарелой медицинской ошибке. Как только мы приехали, даже еще в до-роге начались обычные боли и температура. Я обратился к женщине-хирургу проф<ессо-ру> Гедройц [4]. Это моя старая знакомая, случайно оказавшаяся в Киеве царскоселка, член «цеха поэтов», в давние времена придворный хирург. Когда-то оперировала Выру-бову [5]. Теперь ей простили прошлое и сделали здесь профессором. Около месяца она продержала Надю в постели, подготовляя к операции. Сразу сказала: аппендицит, но была уверена, что есть и туберкулез, до того была уверена, что перед самой операцией предупредила меня: если очень далеко зашло, то отростка удалять не будем, а вскроем и зашьем. Не стоит повторять, что тебе уже известно. Скажу только, что Надя проявила такую редкую силу воли, такое спокойствие и самообладание, что красота была смотреть. Все в клинике ее полюбили. Редкая больная. Они только таких уважают. Сначала все шло хорошо. Потом, на 7-й день, вдруг сильный жар. Перепу-гались осложнений, но через три-четыре дня прошло. Видно, заразили гриппом. Девять дней назад Надя вернулась домой, проведя 17 дней в клинике. Всего, вместе с домаш-ним лежанием, она пролежала 6 недель. Мне приходилось очень круто. Денег почти не было. Родители Нади [6] люди совсем беспомощные и нищие. В квартире у них холод, запущенность, связей никаких. Мать очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, ка-кую я таскал в больницу, давалась мне с бою. У меня был постоянный пропуск в кли-нику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ноче-вал, заменяя сестру и санитара. Самое трудное было подготовить Надино возвраще-ние домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть на хозяйство, на прислугу. В силь-нейший мороз я привез Надю. Она была такая слабенькая, еле ходила, но теперь ее не узнать. Силы прибывают. Жизненный подъем. Здоровый аппетит. Только шов еще по-баливает. Мы с ней гуляем, немного, пешком, конечно. У нас довольно уютно. Обеспе-чены вперед недели на три, т. е. на весь период выздоровления, температура нормаль-ная. В Киеве до самой операции мы работали над М<айн>Ридом, и за минуту до отъезда в клинику Надя сложила и упаковала сама рукопись. Лежа в постели, она по-могала мне: составляла примечания, рылась в научных книгах, переводила. Вот это по-мощница! Настоящий человек!

Зиф, как тогда летом в Ялте, не хотел выслать денег [7]. Но мерзавцы все же вы-слали. Это оказался последний гонорар. Договор, ты знаешь, расторгнут. Вернее, Ионов объявил его расторгнутым, попроси Лившица показать тебе копию письма, которое я отправил этому самодуру. Ты поймешь, что я затеял серьезную борьбу. Дело не в М<айн>Риде, которого мы, должно быть, бросим, но я — обвинитель. Я требую ре-организации всего дела и достойного применения своих знаний и способностей Возмож-но, мы с Лившицем начнем судебный процесс, или же дело решится в общественном и

Публикация *Е. П. ЗЕНКЕВИЧ*. Подготовка текста и комментарий *Е. П. ЗЕНКЕВИЧ и П. М. НЕРЛЕРА*

Редакция пользуется случаем поблагодарить П. М. Нерлера за помощь, оказанную при подготовке других мандельштамовских материалов этого номера.

Публикуемые здесь письма 1920—1938 годов находятся в архиве Е. Э. Мандель-штама и являются частью обширной в значительной мере сохранившейся переписки поэта с родными и близкими (родителями братьями женой).

Неавторский текст — косвенные датировки писем и раскрытие сокращений — дается в угловых скобках. Текст, зачеркнутый автором, дается в прямых скобках. Пунк-туация приведена в соответствие с современными нормами.

профессиональном порядке. Скажу только, что я глубоко спокоен, уверен в себе как никогда. Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я это знаю. Я первый поднимаю вопрос о безобразиях в переводном деле — вопрос громадной общественной важности — и, поверь, я хорошо вооружен[8].

Но, милый папочка, все это уже потеряло для меня насущную остроту. Выяснилось, что можно бросить эту каторгу и перейти на живой человеческий труд. Сам не верю — но это так. Я приехал в Киев — чужой город. Маленькая русская газетка и больше ничего[9]. Ради 5 червонцев пришлось устроить вечер[10], и представь: есть друзья, есть какие-то корни, зацепки, есть преданные люди. Проживающий здесь писатель Бабель свел меня с громадной украинской кинофабрикой Вуфку[11]. Он умолял меня бросить переводы и не глушить больше мысли и живой работы. Пользуясь интересом, который вызвал мой труд, и теплыми заметками в местных газетах, Бабель, очень влиятельный в Кино человек, вызвался определить меня туда редактором-консультантом. Сегодня от него пришла записка: директор фабрики дал принципиальное согласие. Он уехал на 2 дня в Харьков. Вернется и оформит. Это будет очень легкая и чистая работа: выезжать на 2—3 часа ежедневно на фабрику, на Шулявку, в загородном трамвае и что-то писать (кажется, отзывы о сценариях) в своем кабинете. Жалования рублей 300. Мы с Надей боимся верить такому счастью. Конечно, останемся в Киеве. Здесь чудесная весна и лето. В мае переедем на дачу, поближе к кинофабрике, может, в Святошино[12]. Съездим в отпуск на лиманы, куда зовут на баснословную дешевку новые знакомые. Кроме того, по моей мысли киевские литературные организации затеяли единственный на Украине русский журнал[13]. Его должна разрешить центральная власть в Харькове. Не желая прослыть дельцом, я только издали направляю это дело; сегодня составил для них докладную записку, которую сам н е п о д п и ш у. Киевский партийный центр поддерживает. На меня очень рассчитывают как на литерат<урного> редактора: намечают рублей 200 в месяц. Вот, папочка, какие дела. Как видишь, я не боюсь житейских невзгод. А в Москву все-таки по делу Зифа съезжу на несколько дней: подать в суд, в Р. К. И.[14] и поднять газетную кампанию.

---

[1] Отец поэта Эмилий Вениаминович Мандельштам (1856—1939) родился в местечке Жагоры Двинской губернии, в патриархальной еврейской семье. В детстве он тайком от ортодоксально-религиозного отца изучает языки, читает книги. Из-за отсутствия средств не закончив высшего иудейского духовного училища в Берлине, занялся ремеслом. В 1891 году он получает диплом мастера перчаточного дела и сортировщика кож. Стремясь дать сыновьям хорошее образование, он через несколько лет переезжает в Петербург (звание купца первой гильдии дало ему, еврею, право на жительство в этом городе). Под старость, уже не будучи в состоянии работать, Эмилий Вениаминович поселился в семье своего младшего сына Евгения, где и жил до конца дней.

Отношения старшего сына Осипа с отцом были неровные. В своих неопубликованных воспоминаниях Евгений Мандельштам пишет: «...очень важно для характеристики Осипа сказать, что с юности в нем совершился постепенно полный пересмотр его отношений к отцу. Взамен отчужденности и полного отсутствия интереса к духовному миру отца пришло глубокое, возраставшее с годами желание большей близости. Отец в последние годы жизни писал нечто вроде философского трактата. Писал крайне неразборчиво, по-немецки. Осип проявлял большой интерес к этой работе и взял ее себе для расшифровки и обсуждения с отцом. К сожалению, после ареста брата эта рукопись исчезла».

Евгений Эмильевич Мандельштам (1898—1979) — младший брат поэта, врач по образованию. В 20-е годы работал в Ленинградском отделении Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПИКе), позже реорганизованном во Всероссийское общество (ВСЕРОСКОМДРАМ). Трижды его сажали в тюрьму и трижды выпускали ввиду необоснованности обвинений. В 30-е годы, почувствовав осложнившуюся атмосферу, порывает с литературной средой и уходит на работу врача-гигиениста. Всю войну он провел на фронте врачом-эпидемиологом. Демобилизовавшись, начинает работать в области научно-популярной кинематографии, сначала редактором студии, затем сценаристом.

[2] Н а д я — Надежда Яковлевна Мандельштам, урожденная Хазина (1899—1980), жена поэта; художница, филолог и мемуаристка.

[3] Л и в ш и ц Б. К. (1876—1939) — поэт и переводчик, в 20-х годах был дружен с Мандельштамом, был шафером на его свадьбе в Киеве. (См. прим. 7).

[4] Г е д р о й ц В. И. (1870—1931) — поэтесса, участник Первого Цеха поэтов, печаталась под псевдонимом Сергей Гедройц.

[5] В ы р у б о в а (урожденная Танеева) А. А. (1884—1918) — фрейлина императрицы Александры Федоровны, доверенный друг царской семьи.

[6] Отец Н. Я. Мандельштам — Яков Аркадьевич Хазин (умер в феврале 1930 года), киевский адвокат; ее мать — Вера Яковлевна (умерла в 1939 году), домохозяйка.

[7] Речь идет о конфликте О. Э. Мандельштама и Б. К. Лившица с издательством «Земля и фабрика», которым в 1928—1929 годах заведовал И. Ионов. Конфликт возник

после незаконного расторжения Ионовым договоров с Лившицем и Мандельштамом на переводы из Майн Рида. (См. письмо О. Э. Мандельштама М. А. Зенкевичу — Государственный литературный музей, ф. 247, оп. 6146/1).

[8] 7 апреля 1929 года в «Известиях» появилась статья Мандельштама «Потоки халтуры», посвященная серьезным недостаткам в организации и практике художественного перевода и открывшая широкую дискуссию о переводческом деле в стране (см., например, «Литературную газету», 29 апреля 1929 года, стр. 3). Усилиями Д. И. Заславского, извратившего возникший в результате издательской оплошности и полностью исчерпанный к этому времени конфликт 1928 года между Мандельштамом и переводчиками «Тиля Уленшпигеля» А. Г. Горнфельдом и Д. Н. Карякиным, эта дискуссия переросла в травлю самого Мандельштама. См. также статьи Мандельштама «Жак родился и умер» («Красная газета», вечерний выпуск, 3 июля 1926 года; с сокращениями перепечатано в «Журналисте», 1927, № 6, стр. 30—31) и «О переводах» («На литературном посту», 1929, № 12, стр. 42—45).

[9] Очевидно, имеется в виду газета «Киевский пролетарий», где Мандельштам напечатал 25 января 1929 года статью «Веер герцогини». На русском языке выходила также газета «Вечерний Киев».

[10] Вечер О. Мандельштама в Киеве состоялся 22 января 1929 года в Доме врача; были прочитаны стихотворения («Век», «1 января 1924 года») и отрывки из повести «Египетская марка». (См. отчеты о вечере в газетах «Пролетарская правда», 25 января 1929 года, и «Вечерний Киев», 29 января 1929 года.)

[11] Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) существовало в Киеве с 1926 года. В издаваемом ВУФКУ журнале «Кіно» на украинском языке была напечатана (1929, № 6) рецензия Мандельштама на фильм «Кукла с миллионами». (См «Памир», 1986, № 10, стр. 166—170, публикация С. В. Василенко, Б. С. Мягкова и Ю Л. Фрейдина.)

[12] С в я т о ш и н о — дачное место под Киевом (ныне в черте города).

[13] Неточность: с 1927 года в Харькове на русском языке выходил журнал «Красное слово».

[14] Р К И — Рабоче-Крестьянская инспекция.

<Апрель 1931 года>

Дорогой папочка! Отвечаю тебе сразу на все твои письма — и мне и Шуре[1] — с таким чувством, будто они пришли только сегодня утром. Я только что все их снова внимательно перечел, и теперь, чтобы поговорить с тобой, я отодвигаю всю гору суеты, ложного беспокойства, все грубые хлопоты, на которые мы обречены. Ты говоришь об отвратительном себялюбии и эгоизме своих сыновей. Это правда, но мы не лучше всего нашего поколения. Ты моложе нас: пишешь стихи о пятилетке, а я не умею. Для меня большая отрада, что хоть для отца моего такие слова, как коллектив, революция и пр., не пустые звуки. Ты умеешь вычитывать человеческий смысл в своей Вечерней Газете, а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших книгах мировой литературы.

Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь. Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее.

А семейный чайный стол мы, пожалуй, все-таки соорудим, как он ни устарел. 99% шанса на квартиру превращаются мало-помалу в периодическую дробь (99,9999). История с квартирой такова: наши знакомые выезжают в новый дом, и в деревянном флигельке, недалеко от центра освобождается квартирка в 3 комнаты с кухней. Первый этаж, окна в палисадник (одно дерево). Еще год назад некоторые руководящие работники надумали обеспечить меня квартирой. Но где ее взять, они сами не знали. И вот мы сами же указали им на эту крошечную квартирку, больше похожую на уездную идиллию, чем на Москву. Три месяца мы ждали, пока старые жильцы откажутся от квартиры и вернут свою площадь Руни[2]. Руни было сделано соответствующее внушение, нам условно всё обещали, любезно морочили и не далее как третьего дня, когда мы вооружились справочками, бумажками и привели в Руни старую хозяйку, возвращавшую площадь... с площадью, так сказать, на руках, скромный, но упрямый зав<ведующий> Руни неожиданно отказал в выдаче ордера, ссылаясь на 2 тысячи красноармейцев, ожидающих очереди на площадь. Не вступая ни в какие пререкания с жилищными работниками, мы сообщили о таком повороте авторитетным товарищам, которые полагают, что я по-своему тоже мобилизован и тоже в какой-то очереди состою. Там от благого почина не отступились. В настояниях своих идут дальше, нажимают, звонят по телефону. Со сдачей площади наши знакомые, к счастью, могут повременить, так как не

готовы еще к переёзду. В ближайшие 2—3 дня недоразумение разъяснится, а здесь безусловно недоразумение.

С Наденькой мы все время жили врозь: я у Шуры, она у брата Евг<ения> Я<ковлевича>[3]. Как ни странно, Шуру с Лелей[4] я почти не видал. В девять они исчезали на службу, а приходил я всегда к ночи, когда они уже спали. Старался поменьше их стеснять. Леля нервно переутомлена. Постоянный гость для них — сущая мука... Недавно я перебрался на Страстной б<ульвар> к Евг<ению> Я<ковлевичу> (жена его Лена[5] уехала на две недели). Шура с Лелей собираются в месячный отпуск. Только что они приехали домой (пишу у Шуры). Уже взяты билеты на Ростов (потом на море куда-нибудь или в деревню на Сев<ерный> Кавказ). Билеты Шуры на 23 число.

С нашим приездом 1 мая разладилось из-за квартиры, развязка с которой пришлась на май, а также из-за глубокого безденежья. На этом фронте, скажу прямо, скверно. Денег — только на завтрашний обед. Есть ли планы? виды? Конечно есть.. Я познакомлю тебя с моими литературными мытарствами Большой цикл лирики, законченный на днях, после Армении[6], не принес мне ни копейки. Напечатать нельзя **ничего**. [Журналы крехтят и не решаются.] Хвалят много и горячо. Сел я еще за прозу, занятие долгое и кропотливое,— но договоров со мной по той же причине — не заключают и авансов не дают[7]. Все это выяснилось с полуслова. Я вполне примиряюсь с таким положением, ничего никуда не предлагаю, ни о чем нигде не прошу... Главное, папочка, это создать литературные вещи, а куда их поставить, безразлично... Пера я не сложу из-за бытовых пустяков, работать весело и хорошо.

Друзья мои, люди более смелые и с более широкими взглядами, чем издательские завы, сумеют определить меня на службу. Лишь бы квартира удалась. Не исключена также возможность и получения издательских договоров, месячных выдач от Гиза и т. д. Спасибо за справку Гиза (она не та, между прочим: я просил состояние **общего** счета, а не данный текущий договор, но сейчас уже не к спеху). С 40% лопается[8]. Отказывают... Надя до последних дней была здорова Нынче опять начались схватки в кишечнике, тошноты, слабость, похудание... Мама ее В<ера> Як<овлевна> одна-одинешенька в Киеве, голодает, беспомощна... Когда получим квартирку, возьмем и ее к себе. Да всю мебель и утварь оттуда же перевезем. Лишнее продадим. Там еще сохранились остатки хазинской обстановки: кровати, столы, буфет, кастрюли, занавеси, стулья... На перевозку и чтоб Надю послать за мамой нужно рублей 500... Где взять? Уповаю на друзей и благожелателей. Мы здесь не так одиноки, как в Ленинграде С людьми водимся, к себе пускаем тех, кто нам мил или интересен, и в гости выходим... Итак, в квартирке нашей (а я в нее верю) — три комнаты: твоя, Веры Як<овлевны> и наша с Надей. Там и летом хорошо. Рядом большой парк Армии и Флота...

Впрочем, рано я, дурак, размечтался... Как бы не подвела проклятая периодическая дробь...

Лично я, получив ордер и первые же деньги, моментально перекидываюсь в Ленинград — побыть с тобой и Женей. Танюше[9] привет. Татку[10] целую. Славный ты ей подарил стих. На племянничка хочу поглядеть .. Напиши, как Юрик[11] растет... О пятилетке не просто, а глубоко и сильно — при всей старомодности, которую я люблю... Милый папочка, чтобы нам скорее зажить вместе, сделай вот что: упроси Женю выхлопотать мне у Старчикова[12] 40%... В них спит все наше с тобой скромное богатство... Пиши мне, дорогой папочка, не скучай...

С молчаньем кончаю твой Ося.

---

[1] Ш у р а — средний брат поэта Александр Эмильевич Мандельштам (1892—1942), библиограф и издательский работник.

[2] **РУНИ** — Районное управление народного имущества. Квартира, о которой пишет Мандельштам, получена им не была.

[3] Х а з и н Е. Я (1893—1974) — брат Н. Я Мандельштам, писатель и очеркист.

[4] Л е л я — Элеонора Самойловна Гурвич (р 1903), жена А. Э. Мандельштама, художница.

[5] Л е н а — Елена Михайловна Фрадкина (1902—1981), жена Е. Я. Хазина, художница.

[6] В марте — апреле 1931 года были написаны или закончены стихотворения: «После полуночи сердце ворует...», «Я скажу тебе с последней прямотой...», «За гремучую доблесть грядущих веков.. », «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...», «Жил Александр Герцович...», «Ночь на дворе Барская лжа. » «Нет не спрятаться мне от великой муры...», «Я с дымящей лучиной вхожу. », «Я пью за военные астры...», «Рояль», «— Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый .». В декабре 1930 — январе 1931 года в Ленинграде были написаны стихотворения «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»,

«С миром державным я был лишь ребячески связан...» и «Мы с тобой на кухне посидим...» «Арменией» Мандельштам называет 12 стихотворений цикла «Армения» и 8 примыкающих к ним стихотворений, написанных в октябре — ноябре 1930 года в Тифлисе.

[7] Имеется в виду «Путешествие в Армению» (закончено в 1932 году, опубликовано в «Звезде», 1933, № 5).

[8] По-видимому, речь идет о выплатах по двухтомному собранию сочинений О. Мандельштама в ГИХЛе (договор № 19/Х — см. темпланы на 1932—1933 годы.— ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 11, л. 23).

[9] Танюша — Татьяна Григорьевна Григорьева (1901—1981), вторая жена Е. Э. Мандельштама, энтомолог.

[10] Татка (Наташа) — дочь Е. Э Мандельштама от первого брака с Надеждой Дмитриевной Дармолатовой (1920—1943); умерла в блокадном Ленинграде.

[11] Юрик — Юрий Евгеньевич Мандельштам (р. 1930), сын Е. Э. Мандельштама от второго брака.

[12] Старчиков А. О. (1892—1938) — критик и журналист, с января 1932 года руководитель Ленинградского отделения ГИХЛа. (Сообщено А. А. Морозовым.)

<Вторая половина декабря 1932 года>

Дорогой папа!

Прежде всего спасибо за твое замечательное письмо или послание, которое мне дал Шура. Не так давно жил я в Узком[1] с поэтом Сельвинским и говорю ему: получил от отца замечательное письмо, в котором он призывает меня к социалистической перестройке,— и в нем есть места большой силы А Сельвинский отвечает: если когда-нибудь это будет напечатано, то обратится в слишком сильное оружие против вас самих. Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего именно в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. Это доходит до смешного: я, например, копаюсь сейчас в естественных науках — в биологии, в теории жизни[2], т. е. повторяю в известном смысле этапы развития своего отца. Кто бы мог это подумать?

Это письмо я пишу на подмосковной станции Переделкино, из дома отдыха Огиза[3], где осенью жил Шура. До этого мы месяц провели в Узком и лишь неделю между тем и другим домом на Тверском бульваре. Нам бы не хотелось возвращаться в Дом Герцена. Сейчас мы книжки свои сложили в сундук и пустили жить у себя Клычкова. Кирпичную полку Надиной постройки разобрали, о чем я очень жалею.

Постройка нового дома неожиданно остановилась. Снаружи все готово: кирпичные стены, окна, а внутри провал: ни потолков, ни перегородок,— ничего. Теперь говорят, что въедем в апреле, в мае. Нам отвели квартиру не в надстройке, а в совершенно новом лучшем здании, но на пятом этаже. Общая площадь — 48 метров — 2 комнаты (33 метра), кухня, ванна и т. д.[4]. При этом из нас выжали еще одну дополнительную тысячу, которую пришлось внести из гонораров ГИХЛа.

9 января кончается наш срок в Переделкине. Сильно пошатнувшееся было в Москве Надино здоровье: резкая худоба, температура, слабость — сейчас восстановилось. Она прибавила 15 ф<унтов> веса, тяготеет к лыжам и конькам. Все это далось нам не легко — с неизбежной помощью сверху[5] — иначе не получили бы ничего, ни Узкого, ни Переделкина. Каждый шаг мой по-прежнему затруднен, и искусственная изоляция продолжается. В декабре я имел два публичных выступления[6], которые организация вынуждена была мне дать, чтобы прекратить нежелательные толки. Эти выступления тщательно оберегались от наплыва широкой публики, но прошли с блеском и силой, которых не предвидели устроители Результат — обо всем этом ни слова в печати. Все отчеты сняты, стенограммы спрятаны, и лишь несколько вещей напечатаны в Литгазете[7], без всяких комментариев. Вот уже полгода как я продал мои книги в ГИХЛ, получаю за них деньги, но к печатному станку не подвигается[8]. Да еще непосредственно после моей читки ко мне обратился некий импресарио, монопольно устраивающий литературные вечера, с предложением моего вечера в Политехническом музее и повторением в Ленинграде[9]. Этот субъект должен был зайти на следующий день, но смылся и больше о нем ни слуху ни духу. Тем не менее я твердо решил приехать в Ленинград в январе с Надей. Чтобы всех вас повидать и вообще, т<ак> ск<азать>, на побывку на родину, без всяких деловых видов. Должен тебе сказать, что все это время мы довольно серьезно помогали Шуре. О более широких планах, если мне позволено их иметь, я расскажу тебе лично, когда приеду. Вот что еще — нельзя ли нам снять на месяц комнату в Ленинграде, по возможности

в центре? Очень прошу узнать и поискать, если можно. Деньги вышлю телеграфом, как только комната найдется (получаю в начале января). Из этой же получки вышлю тебе.

Целую дорогого папу и всех родных.

Ося.

Как Татя и Юрка? Напишите.

<Приписка Н. Я. Мандельштам>

Милый деда[10]! Я толстею и внезапно обнаружила, что могу читать по-немецки. Когда приеду в Ленинград, буду вашей чтицей. Очень скучаю. Хочу вас видеть.

Целую. Надя. Привет Тане, детям и всем!

---

[1] У з к о е — санаторий, подведомственный Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Мандельштам отдыхал здесь и раньше, в октябре — ноябре 1928 года.

[2] Этот интерес, запечатленный как в стихах, так и в прозе Мандельштама, особенно усилился благодаря знакомству и дружбе с молодым биологом Б. С. Кузиным и его кругом.

[3] П е р е д е л к и н о — дом отдыха ОГИЗа, ныне Дом творчества Союза писателей СССР.

[4] Получение ордера и вселение в квартиру в доме в Нащокинском переулке (д. 5, кв. 34) состоялось в июле — августе, а окончательный переезд в ноябре — декабре 1933 года.

[5] Намек на хлопоты Н. И Бухарина.

[6] Имеется в виду вечер Мандельштама в редакции «Литературной газеты» в Доме Герцена 10 ноября 1932 года По сообщению Н. И Харджиева, на вечере присутствовало около 30 человек, в том числе Б. Пастернак, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Д. Мирский, М. Зенкевич, П. Маркиш, В. Тренин, Я. Смеляков, С. Кирсанов, А. Крученых, А. Жаров, М. Левидов, Л. Горнунг.

[7] «Литературная газета» напечатала 23 ноября 1932 года три стихотворения Мандельштама: «Ленинград», «Полночь в Москве» и «К немецкой речи».

[8] В авторской карточке О Э Мандельштама в ГИХЛе значатся договоры: № 243 от 8 сентября 1932 года на книгу «Стихи» и № 313 от 31 января 1933 года на книгу «Избранное» (ЦГАЛИ. ф 613, оп. 1, ед. хр. 5287, л. 37 об.).

[9] Два вечера Мандельштама в Ленинграде состоялись 22 февраля и 2 марта 1933 года (в Доме печати и в Капелле) Вечер Мандельштама в Политехническом музее состоялся 14 марта. Со вступительным словом на нем выступил Б. М. Эйхенбаум (см. «День поэзии 1967». М. 1967. стр 167—168) 3 апреля вечер Мандельштама состоялся также в московском Клубе художников (Сообщено Л. В. Горнунгом.)

[10] Д е д а — семейное прозвище Э. В. Мандельштама.

12 декабря 1936 г<ода>

Дорогой папочка!

Давно я так не радовался, как получив твою записочку, радовался твоему почерку, твоим словам. Кому другому — а тебе я не хочу жаловаться: мы с тобой старики и понимаем оба, как мало человеку нужно и в чем вообще суть. Больше всего на свете хочу тебя видеть, зову к себе Но зимой дорога трудная. Боюсь, ты простудишься. Весной — другое дело. Благодари Таню за ее посылку. Все вещи подошли. Я знаю, что они были подобраны с хорошим чувством, как привет... Как твои глаза? Бережешь ли их? Нам с тобой без глаз худо. Я всегда люблю тебе хвастать (старая привычка). И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи[1]. Очень упорно. Сильно и здорово Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испански[2] (книги взял здесь в университете). Но довольно хвастовства.

Положение наше просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнаю приметы 85-летнего возраста. Я очень бодрый старик. Недалеко от дома с палочкой и женой могу еще ходить. Так хочу очутиться в твоей комнате с зеленым диваном и нашим шкапчиком[3].

Но скорее ты приедешь ко мне, чем я к тебе. Целую тебя, мой дорогой отец. Обещаю часто писать Жду твоего письма.

Милой Тане, Наташе, племяннице моей — очень гордой и хорошей девчушке, труженику Юрке и М<арии> Н<иколаевне>[4] сердечный привет.

Твой Ося.

---

[1] Началом декабря помечено начало работы Мандельштама в Воронеже сразу над несколькими стихотворениями, вошедшими в так называемую «Вторую Воронежскую тетрадь»: «Гудок», «Рождение улыбки», «Мой щегол, я голову закину...», «Когда щегол

в воздушной сдобе...», «Ныне день какой-то желторотый...», «Я в сердце века, путь неясен...», «Не у меня, не у тебя,— у них...» К моменту написания письма были завершены лишь «Гудок» и «Когда щегол в воздушной сдобе...».

[2] О желании читать испанских поэтов Мандельштам писал также С. Б. Рудакову (ИРЛИ, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 15).

[3] Ср. описание отцовского кабинета в главе «Книжный шкап» в «Шуме времени».

[4] М. Н.— Мария Николаевна Дармолатова.

<Двадцатые числа октября 1938 года>

Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ[1], 11-й барак.

Получил 5 лет за к. р. д.[2] по решению ОСО[3]. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую вас. Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни ходили на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом.

[1] С В И Т Л (УСВИТЛ) — Управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. Мандельштам находился в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком.

[2] К. р. д.— контрреволюционная деятельность.

[3] О С О — Особое совещание.

Н. Е. ШТЕМПЕЛЬ

МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ

...Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Григорьевна Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный.

Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам. Мы стояли у стола и почему-то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были первые месяцы его «свободы».

В мае 1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна на лето поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом; в окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха.

День промелькнул необыкновенно быстро, вечером я обещала мужу вернуться в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обещала — Борис будет ждать. «Дадим ему телеграмму, что приедете утром»,— весело сказал Осип Эмильевич. Так и сделали.

Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать[1]. Стихи пропали при последнем обыске и аресте. На-

[1] Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные — и, конечно, прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, которую Осип Эмильевич не принимал и не оправдывал ни при каких обстоятельствах. Кажется, хотя я в этом не уверена, у Мандельштама на эту тему был спор в Союзе писателей, как будто с Лупполом. Осип Эмильевич всегда забывал о своем положении. Осторожность не была ему свойственна.

дежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было. Можно надеяться только на чудо, на то, что они сохранились где-нибудь в архиве НКВД,— но бывает ли такое?

Когда мы вернулись среди ночи домой, Надежда Яковлевна уже постелила на полу постель, отдельно каждому стлать было нечего, и мы все легли, как говорится, вповалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало.

Утром Мандельштамы проводили меня на вокзал, а затем более поздним поездом тоже приехали в Москву.

Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его поклонницей. Яхонтов не раз приезжал в Воронеж. Я не пропускала ни одного концерта. Помню прекрасную композицию «Чиновники» («Медный всадник» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Белые ночи» Достоевского); огромное впечатление произвела на меня и вторая композиция «Поэты путешествуют» — Пушкин и Маяковский: стихи, письма, документы, факты из биографий. И третий концерт: Владимир Николаевич читал отдельные произведения, среди них был отрывок из «Идиота», когда Рогожин приезжает за Настасьей Филипповной и она бросает деньги в камин: рассказы Зощенко, Есенин: «Собаке Качалова», «Черный человек»,— тут же «Моцарт и Сальери» Пушкина и восхитительный «Граф Нулин».

Прекрасный голос, исключительное внешнее обаяние, предельно скупые и выразительные жесты — все это слагалось в неповторимый облик актера. Мы много раз говорили с Осипом Эмильевичем о Яхонтове. Мандельштам хорошо его знал и любил, вернее, они взаимно любили друг друга.

Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было непонятно. Манера чтения была у них совершенно разная. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости или подвывания, подчеркивая ритмическую сторону стихотворения. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление

Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина. Мы с мужем немного опоздали. Нас все же впустили в зал, мы сели на свои места Мандельштамов не было. И вдруг, когда кончилось первое отделение, Осип Эмильевич, увидев нас, спрыгнул со сцены прямо в партер. Он был за кулисами После концерта мы вчетвером, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяева, очевидно, были на даче).

* * *

Осипу Эмильевичу хотелось познакомить меня со своими друзьями, ведь в Воронеже он был лишен этой возможности.

Прежде всего Мандельштамы повели меня к Шкловским. По словам Надежды Яковлевны, это была едва ли не единственная семья, которая не боялась принимать ее во время воронежской ссылки Осипа Эмильевича. Шкловские жили в Лаврушинском переулке, в доме № 17, одном из первых писательских домов Квартира огромная, да и семья состояла из шести человек. Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня несколько шокировало. Но действительно жара стояла невыносимая. Первое впечатление от Виктора Борисовича: веселый круглый человечек, круглая, очень круглая голова, круглые глаза, а веселость так и брызжет, искрится. Он все время острил Я почувствовала себя у них сразу хорошо Мне очень понравилась Василиса Георгиевна, жена Шкловского От нее веяло мудростью, спокойствием, грустные большие серые глаза смотрели на вас с сочувственным вниманием, а главное, меня поразила какая-то высокая простота и естественность И — сияющая Варя, дочь Шкловских; таких сияющих глаз, кажется, я ни у кого не видела, они освещали все лицо. Так бы и смотрел на нее и невольно улыбался сам.

Это первое впечатление сохранилось навсегда. Шкловские были в лучшем смысле слова интеллигентные люди.

Впоследствии, после смерти Осипа Эмильевича, я часто бывала у них. Там всегда, как в своей родной семье, останавливалась Надежда Яковлевна.

В то далекое и счастливое лето я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмильевичем, и мы пошли в Третьяковскую галерею, она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел.

Зная мое восхищение стихами Пастернака, Осип Эмильевич решил повести меня к Борису Леонидовичу (которого очень любил). Но Пастернака в Москве не оказалось. Тогда пошли к Николаю Ивановичу Харджиеву. Он жил в деревянном двухэтажном доме барачного типа, не помню, на какой улице (кажется, в Марьиной Роще). У него была одна комната на первом этаже. Целую стену от пола до потолка занимал огромный стеллаж. Это было замечательное собрание поэтов начала XX века. Кого тут только не было: и символисты, и акмеисты, и футуристы, и имажинисты. Кроме того, было много журналов: «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и еще какие-то, не помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями, фотографиями, письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изданию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Харджиева, читать рукописи Хлебникова невероятно трудно. Во время нашего разговора и чтения Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями.

Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде всего заядлого холостяка. Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он относился с большой теплотой.

Познакомил меня Осип Эмильевич и с известной пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, об этой встрече у меня осталось смутное воспоминание, помню только, что Осип Эмильевич очень любил ее исполнение классической музыки[2]. Восторженно говорил он о Михоэлсе. Мы собирались к нему в еврейский театр, но театр в это время, как оказалось, не работал, и Михоэлса тоже не было в Москве.

Мне было очень интересно посещать с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной их друзей и знакомых или просто бродить по Москве, но отсутствие у них здесь своей крыши над головой, постоянного пристанища создавало ощущение неприкаянности, какой-то ненастоящей, временной жизни. В Воронеже хоть было жилье, а тут ни жилья, ни работы. И все-таки радостная, с ворохом впечатлений я вернулась домой, в Воронеж.

* * *

На зимние каникулы я снова на несколько дней поехала к Мандельштамам. Они жили в Калинине на окраине города.

Вспоминаю занесенные снегом улицы, большие сугробы, опять почти пустую холодноватую комнату без намека на уют. У обитателей этой комнаты, очевидно, не было ощущения оседлости. Жилье и местожительство воспринимались как временные, случайные. Не было и денег — ни на что, кроме еды. А главное — равнодушие к вещам, одежде, отсутствие которых, мне кажется, не портило настроения.

Помню, в этот мой приезд на Осипе Эмильевиче был серый костюм совершенно не по росту, кто-то ему его подарил, вернее отдал, кажется, Катаев. Беспокойство доставляли брюки: они оказались очень длинны. Осип Эмильевич вынужден был их несколько раз подвернуть, они все время разворачивались, так что приходилось время от времени останавливаться и снова их подвертывать. Но это не раздражало и делалось автоматически. Почему-то никому и в голову не приходило, что можно их подрезать и подшить. Мой приезд, как мне казалось, радовал Мандельштамов. Здесь они жили так же уединенно, как и в Воронеже.

Надежда Яковлевна послала нас на рынок купить мяса. Идея эта была довольно фантастической. В те времена я совершенно не занималась хозяйством, мяса никогда не покупала, сырое мясо вызывало у меня отвращение. Осип Эмильевич в этом вопросе был умудрен не более.

Мы довольно долго ходили по рынку вдоль прилавков, на которых кусками лежало мясо, в полной растерянности, не зная, что купить. Осипу Эмильевичу, по-видимому, это занятие надоело, я не заметила, как он исчез. Оглядываюсь по сторонам. «Наташа, Наташа, идите скорее сюда!» — закричал он. Подхожу, он стоит сияющий около какой-то женщины, которая продает восковых утят: красных, зеленых, желтых. «Давайте купим всех утят». Проблема с мясом решена. Денег больше нет, и мы, счастливые, веселые и гордые своей покупкой, отправились домой.

---

[2] До этого Мария Вениаминовна специально добивалась гастролей в Воронеже, чтобы увидеться с Мандельштамом. Она не побоялась прийти к нему в гости и играла для него в свободное от концертов время.

Надежда Яковлевна нас не ругала и не омрачила нашей радости. Понравились ли ей утята, не помню

К вечеру захотелось есть. Тут уж нам не доверили денег, и мы втроем пошли в ближайший гастроном или просто лавку. Что-то купили на ужин и сварили кофе.

Из Калинина поехали на день в Москву. И, вероятно, желая доставить мне удовольствие, Осип Эмильевич повел меня к Яхонтову.

Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особняке в центре Москвы (кажется, в Столешниковом переулке). Когда мы вошли, Владимир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер, который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные туфли. Очевидно, он репетировал. Яхонтов кинулся к Осипу Эмильевичу, не дав ему раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть. Один изящный, элегантный, а другой в нелепой, с чужого плеча меховой куртке мехом наружу, высокой шапке и галошах.

Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности своего хозяина. На маленьком столике стоял какой-то комнатный цветок почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и игрушками. По комнате летали два попугая: голубой и зеленый. Клетки не было, и они сидели, где им хотелось.

Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашивал меня о Воронеже, показывал нам, как он работает над своими композициями Мне запомнились очень длинные, в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины. Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день, что-то ели. Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею.

Несмотря на оживленный разговор, у меня было ощущение, что все мы здесь случайные люди, как в гостинице, и от этого становилось грустно.

* * *

Я сообщила Осипу Эмильевичу, что разошлась с Борисом, он очень расстроился. Упрекал меня, что я не сказала об этом сразу, изъявлял желание поговорить с ним (непонятно, о чем в таких случаях можно говорить?!), потом успокоился и сказал, что ему ясно, почему мы разошлись: «Борис не способен на праздник, который вы несете».

Но, очевидно, Осип Эмильевич успокоился не совсем. Позже, оказавшись дома, я начала получать почти каждый день телеграммы; содержания их не помню, кажется, Мандельштамы предлагали приехать в Воронеж. Какая-то телеграмма была подписана, помимо Мандельштамов, Ахматовой и Рудаковым.

Продолжалось это до тех пор, пока не взмолилась мама и не попросила меня прекратить все это: ведь телеграммы приносили чуть ли не в пять утра (тогда телеграммы носили и ночью). Осип Эмильевич отправлял их, наверное, в одно и то же время, поздно вечером.

* * *

...Из Москвы мы вернулись опять в Калинин Не думала я, что это моя последняя встреча с Осипом Эмильевичем. Мы много гуляли, несмотря на большие морозы. Осип Эмильевич сказал мне: знайте, если вам будет плохо, достаточно телеграммы, и где бы мы ни были, мы сейчас же приедем.

Так на всю жизнь запомнилась зима 1938 года, занесенный снегом Калинин, совершенно необыкновенный поэт и человек и верная его подруга Надежда Яковлевна. В мой калининский приезд она была особенно грустна — такой она не была и в Воронеже, как будто чувствовала близость трагической развязки.

* * *

1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путевки Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, Мандельштам был вторично арестован.

Надо сказать, что по Советскому Союзу в это время не один Осип Эмильевич был взят повторно.

Как выяснилось позднее, 9 сентября (то есть через четыре месяца) Осип Эмильевич был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сейчас же, но Осип Эмильевич ничего получить не успел. Деньги и посылка вернулись с пометой: «За смертью адресата».

Надежда Яковлевна сообщила мне об этом в письме. Боже мой, как я плакала! Я никогда не плакала так горько. Тогда я оплакивала его как человека. Я не думала о нем как о поэте, жизнь которого насильственно оборвали в тот период, когда он так много писал и многое еще было незавершено... Я не могла вообще представить себе Осипа Эмильевича без Надежды Яковлевны. Он был так беспомощен в жизни Сердце у меня сжималось от горя и жалости. Я поняла, что потеряла друга, бесконечно преданного,— даже независимо от того, стали бы мы встречаться или нет и как бы долго не виделись. Во мне неосознанно жило ощущение, что он есть. Достаточно было знать лишь это: он есть и живет. А вот теперь его нет и никогда, никогда не будет, и некого позвать...

В письме, где Надежда Яковлевна сообщала мне о смерти Осипа Эмильевича, некоторые слова как-то бессмысленно были подчеркнуты красными чернилами, это делалось и в последующих письмах.

* * *

Я поехала к Надежде Яковлевне в Калинин. Она жила уже в крошечной комнате, в которой умещались только кровать и небольшой стол. В углу была гора выточенных из дерева небольших круглых коробочек. Надежда Яковлевна их расписывала в русском стиле (она работала надомницей на какой-то фабрике); в комнате сильно пахло красками.

Времени в моем распоряжении было очень немного: я отпросилась в середине учебного года. Я пришла к директору техникума и сказала, что должна на несколько дней уехать: у моей близкой приятельницы большое несчастье, если вы не отпустите, я все равно уеду,— и он отпустил.

Всю ночь напролет мы проговорили, подкрепляя силы черным кофе. Надежда Яковлевна попросила меня съездить в Ленинград к Анне Андреевне Ахматовой (писать ей она боялась) и рассказать все, а на обратном пути опять заехать в Калинин, что я и сделала. С Анной Андреевной я не была знакома и никогда раньше ее не видела. Стихи Ахматовой я знала и очень любила, у меня были «Четки», «Белая стая», «Anno Domini».

Я пришла в «фонтанный дом», каменный, длинный, четырехэтажный, он стоял в глубине сада, мне запомнились старые липы, но дом мне показался мрачным. С волнением поднялась на четвертый этаж, позвонила. Мне открыла дверь немолодая некрасивая женщина, напомнившая классную даму из романов Чарской. Позднее я узнала, что это была бывшая жена Пунина, в то время мужа Ахматовой. Я спросила Анну Андреевну. Не сказав в ответ ни единого слова, женщина удалилась. Я стояла в коридоре довольно растерянно, не зная, что мне делать. Но через несколько минут появилась Анна Андреевна. Я не могла оторвать от нее глаз. Высокая, стройная, длинноногая, с небольшой гордой головой, с русалочьими грустными глазами, а челка и заложенные сзади косы придавали ей девичий вид. Черный атласный халат с огромным серебряным драконом плотно облегал ее прекрасную фигуру.

Она провела меня в какую-то узкую, загроможденную старой мягкой мебелью комнату. Комната казалось нежилой, и сама она как будто тоже была здесь случайной гостьей. Мы просидели несколько часов. О стихах не было речи, слишком трагические были обстоятельства и у нее и у меня как вестницы Надежды Яковлевны. Ахматова просила меня прийти на другой день, но вечером я должна была уехать.

* * *

И опять Воронеж, мой родной город, привычный и неощутимый как воздух. Но так больно теперь его прикосновение; без Мандельштама он стал для меня мертвым.

Единственное утешение — вечером встретиться с милым, чудным Павлом Лео-

нидовичем[3], бродить по темным пустынным улицам и без конца говорить об Осипе Эмильевиче, вспоминая все до мелочей.

Павел Леонидович, мне кажется, все понимает и сам чувствует потребность в том же, поэтому с ним легче.

Как же, как все началось?

* * *

В начале февраля 1936 года моя давнишняя приятельница Люся попросила меня как-нибудь вечером зайти к ней. Она хотела познакомить меня «с очень интересным молодым человеком». Это был Сергей Борисович Рудаков, вместе с которым Люся лежала в инфекционной больнице,— ленинградец, высланный в Воронеж (ссыльных в то время в Воронеже было много). Выслали его за социальное происхождение: его отец, генерал царской армии, близкий друг К. Р.[4], и его старший брат были расстреляны во время революции.

Сергей Борисович, филолог по образованию, превосходно знал и самозабвенно любил поэзию, помнил наизусть сотни стихов, даже поэтов XVIII века. Писал и сам стихи.

Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица: резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз — он был очень красив. Недаром Ахматова говорила о «рудаковских глазах». Человек он был эмоциональный, горящий Сразу, с первого вечера нашего знакомства, мы подружились, захлебываясь, говорили о любимых поэтах и композиторах. Вкусы сходились. От Сергея Борисовича я впервые услышала воронежские стихи Мандельштама. Он читал мне их очень часто[5] Об Осипе Эмильевиче Рудаков говорил с восторгом. Когда я как-то спросила, какой он, Сергей Борисович воскликнул: «Ну, чудный!»

И вот в осенний яркий день (это было в начале сентября 1936 года), страшно волнуясь, я поднялась по лестнице большого каменного дома на углу улицы Фридриха Энгельса и Итээровского переулка[6] (ныне улицы Чайковского) и позвонила. Мне открыла дверь хозяйка квартиры и сказала, что Мандельштамы в Задонске, но на днях возвратятся.

Не знаю, как хватило у меня смелости пойти второй раз. Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно — очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли — и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. «Ах, вот кого он прятал!» — лукаво и весело воскликнул Мандельштам. И сразу стало легко и непринужденно. Помню, я с увлечением рассказала о своих летних впечатлениях, о Хреновском конесовхозе, где гостила у знакомых, о чудных орловских рысаках и былинных белых першеронах, которые жили на воле в степи, о потомственных конюхах, ведущих свою родословную от крепостных графа Орлова; о своеобразных традициях и легендах; об очень симпатичном москвиче директоре совхоза, который каждый год собирается возвратиться в Москву, но с грустью говорит, что от лошадей уйти невозможно. Осип Эмильевич слушал меня с большим интересом. Потом рассматривали осенние акварели Надежды Яковлевны, разложив их в два ряда вдоль всей комнаты прямо по полу. Запомнилось золото

---

[3] У меня был замечательный учитель, ему я безгранично обязана своим литературным вкусом и симпатиями,— Павел Леонидович Загоровский, профессор Воронежского университета.

[4] К. Р.— великий князь Константин Константинович, русский поэт, взявший эти инициалы в качестве псевдонима.

[5] Стихи Мандельштама я знала давно, пожалуй, с первого курса университета. Он был в числе любимых поэтов, наряду с Пастернаком, Ахматовой, Гумилевым и Цветаевой, которую я представляла тогда по «Верстам» Помню, мы, молодежь, небольшая группа по сравнению с остальной студенческой массой, жестоко спорили, кому отдать пальму первенства: Мандельштаму или Пастернаку Я и мои сторонники считали стихи Мандельштама глубже по мысли не говоря уж о совершенно невиданной стройности, чеканности формы, классической скульптурности стиха «Молодой Державин», по по определению Марины Цветаевой! В то время я знала «Камень» «Tristia», прекрасную подборку в антологии «Русская поэзия XX века» под редакцией Ежова и Шамурина, позднее — сборник «Стихотворения» 1928 года. И вдруг этот замечательный поэт в Воронеже, просто невероятно!

[6] По современной нумерации: ул. Ф. Энгельса, д. 13, подъезд 5, кв. 39.

деревьев и синева Дона. Осип Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. «Прочитайте, пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов»,— сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не знаю, почему я прочитала из «Камня»: «Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы...». Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощение гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: «Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!» Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: «Не виновата же я, что вы его написали». Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: «Ося, не смей обижать Наташу».

Она усадила меня на свою кровать, стала гладить, как маленькую, по голове и подарила альбом французских импрессионистов. Перед этим мы разговаривали о них, и оказалось, что и я и она их очень любим.

Мандельштамы настойчиво приглашали меня приходить к ним. Но, как ни странно, на второй визит у меня не хватило смелости. Я думала, что меня зовут из вежливости. Тогда я еще не знала Осипа Эмильевича и не понимала, что он никогда не станет что-то делать или говорить из вежливости. Это был человек предельной искренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему состоянию. Мандельштам часто забывал о своем положении ссыльного и поднадзорного. Помню, в пушкинские дни мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в университетскую фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» выброшены организаторами выставки строчки: «Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судия: он ждет; он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед». Осип Эмильевич устроил настоящий скандал и успокоился только тогда, когда директорша библиотеки обещала восстановить пропущенный текст.

И еще случай. Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен. Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна Андреевна: «В Воронеже его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: „Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых". (Говоря о мертвых, Осип Эмильевич имел в виду Гумилева.— *Н. Ш.*) На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: „Тоска по мировой культуре"».

Так вот, недели через две после первого свидания с Мандельштамами я случайно встретила их в Первомайском саду во время антракта на гастролях московского театра, кажется, имени Немировича-Данченко. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна подошли ко мне, и мы тут же условились, когда мне прийти. Я начала бывать у Мандельштамов очень часто, и вскоре мы стали видеться почти ежедневно. Дома я восторженно говорила об Осипе Эмильевиче и его стихах.

И вот однажды мама сказала: «Наташа, ты очень часто бываешь у Мандельштамов. Ты хорошо представляешь, какие могут быть последствия?» Я промолчала. Все это было очень грустно. Аресты действительно принимали массовый характер, и мы с мамой не раз прислушивались ночью, где остановилась машина[7]. На душе было

---

[7] События захватывали и близких мне людей, не общественных деятелей, не политиков, а самых обыкновенных.

Ту Люсю, которая познакомила меня с Рудаковым, тоже постигла общая беда: арестовали ее мужа, агронома Сахаротреста, человека, интересовавшегося только своей специальностью и работой, через несколько дней взяли ее брата и невестку, а маленького ребенка отправили в детский дом, отказавшись отдать родственникам Люсю со старушкой матерью и сынишкой в январе в страшные морозы выгнали из квартиры, выкинули во двор все вещи. Я видела, как они валялись в снегу Люся была безучастна, больше волновалась я, деваться ей было некуда, она пришла к нам.

И вот второй случай.

У моей сослуживицы Маруси, преподавательницы, активной комсомолки, из пролетарской семьи, в течение недели произошло сразу три несчастья Муж ее старшей сестры Николай Иванович был начальником политотдела в Хреновском конесовхозе. Он

смутно, я очень любила мать, она всегда была для меня другом, нет, она была для меня всем, а главное — мысль о брате, не подведу ли его?! Но не бывать у Мандельштамов я не могла, мне даже стыдно было об этом подумать. Испугаться!!

И я продолжала ходить к ним, но дома ничего не говорила. Меня не спрашивали, лгать не приходилось. Через некоторое время мама говорит: «Девочка, я знаю, что ты бываешь у Мандельштамов, ты напрасно молчишь и мучаешься, я поступила бы точно так же на твоем месте. Я просто считала своим долгом тебя предупредить, зови их к нам».

С этого времени Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна начали бывать у нас. Больше этот вопрос никогда не возникал и никого не волновал. Маме всегда хотелось угостить их, она вообще была необыкновенно гостеприимна, любила людей. В доме у нас бывало всегда много народу. Помимо моих старых друзей, товарищей и просто знакомых, к нам как-то случайно попадали и ссыльные: Андрей Азанчевский из Киева, Евгений Оттонович Пиотрковский, Хаим Соломонович Лифшиц из Москвы и другие. Все они были люди незаурядные, интересные. Они получали минус шесть, девять или двенадцать[8] и выбирали Воронеж.

Осип Эмильевич неоднократно говорил: «Наташа владеет искусством дружбы». Я же думаю, дело было не во мне, а в маме: трудно сказать, к кому приходили люди, даже мои сверстники, и с кем они больше дружили, со мной или с мамой.

Мандельштамам мама очень сочувствовала, понимая хорошо их положение. Но накормить Осипа Эмильевича было трудно, он был равнодушен к еде, точно так же как и к вещам. Отсутствие их, скудость не портили ему настроения. Ел он очень мало, я не помню, чтобы Осип Эмильевич спокойно сидел за обеденным столом. Что-то схватит на ходу, как мне казалось, автоматически, не замечая что, или со стаканом чая бегает вокруг стола, читает стихи и спрашивает маму: «Вам нравится, Мария Ивановна?» Так же он ел и дома. Обязательно одновременно чем-то занимался. Но любил, когда появлялись деньги, пойти в лучший магазин, конечно, вместе с Надеждой Яковлевной и купить всяких вкусных вещей, а потом мы устраивали «пир».

* * *

Вскоре Мандельштамы перешли на другую квартиру. В маленьком одноэтажном каменном домике они снимали комнату у театральной портнихи, которая жила вместе со старушкой матерью и сыном Вадей, учеником второго класса. Удобств никаких не было, отопление печное. Но расположен дом был очень живописно. Он находился в тупике на улице 27 февраля, в трех минутах ходьбы от проспекта Революции[9]. Перед домом была большая площадка с огромным тополем, разбросавшим во все стороны свои могучие ветви, а за домом был спуск (начиналась Неёловская улица), открывался вид на речную даль. И вблизи никаких домов не было. Даже не верилось, что это центр города. Через площадку и дорогу в угловом здании бывшей женской гимназии в то время находились междугородная телефонная станция и городской автомат. Тогда их в Воронеже было очень мало. Мы не раз часами, чаще всего поздно вечером, просиживали на станции в ожидании Москвы. Утешало то, что мы почти всегда были единственными посетителями: можно разговаривать, читать стихи, думать — никто не мешал.

отправил под каким-то предлогом жену и маленькую дочку в Воронеж к бабушке и повесился, написав письмо на имя Сталина.

Через несколько дней приехал брат Маруси Виктор (он был секретарем райкома, кажется, в Борисоглебске), остановился у своего друга, секретаря парткома завода имени Дзержинского. А на другое утро, когда хозяева ушли, застрелился, оставив записку: «Извините за беспокойство». А еще через несколько дней арестовали ее старшего брата Андрея. Во время империалистической войны он был в плену у немцев.

Я была единственным человеком, кому Маруся все рассказала. Боясь лишиться работы, она вынуждена была скрывать свое горе. От этих трех разбитых семей остались дети примерно одного возраста, они ходили в детский сад, жили у бабушки, Марусиной матери. Однажды со слезами на глазах Маруся рассказала мне, как они хором повторяли: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство».

[8] Высылаемому разрешалось выбрать местожительство по своему усмотрению за исключением шести, девяти или двенадцати городов, таких, как Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Одесса, Севастополь и другие.

[9] Главная улица в Воронеже.

Теперь на месте домика, где жили Мандельштамы, большой дом и сад работников обкома партии. Все заасфальтировано, тополь, конечно, уничтожен: слишком он привольно жил.

В комнату Мандельштамов можно было попасть через маленькую покосившуюся переднюю. Налево вела дверь к ним, а прямо — к хозяевам. Комната была темноватая, два небольших окна в глубоких нишах освещали ее плохо, а тут еще затенял тополь. Одно окно выходило на площадку, другое во двор, и Осипа Эмильевича по утрам изводил петух, который с ранней зари начинал кукарекать прямо в окно (окна были на полметра от земли). Петух настолько надоедал Осипу Эмильевичу, что он даже об этом писал Надежде Яковлевне, уехавшей по делам в Москву: «Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые...»

Во втором письме, написанном через несколько дней,— опять петух: «Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: она приняла на свой счет. Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу нападения курицы на маму. Никакой царапины нет. Шрам заживает. Черт знает какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..»

Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный черный шкаф, очевидно, книжный, и старая, обитая дерматином кушетка, которая стояла почему-то почти посередине комнаты. На ней всегда было холодно и неуютно. Так как стол был единственный, то на нем лежали и книги и бумаги, стояли дымковские игрушки (их любила Надежда Яковлевна) и кое-какая посуда. В шкафу действительно хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Помню старинное издание на итальянском языке его любимой «Божественной комедии» Данте в кожаном переплете с застежками, сонеты Петрарки, тоже в подлиннике; на немецком языке Клейст, о котором написано замечательное стихотворение «К немецкой речи» [10], стихи Новалиса, альбомы живописи и архитектуры и еще какие-то книги.

Мы рассматривали с Осипом Эмильевичем эти альбомы, и как-то под впечатлением готических соборов Реймса и Лиона Мандельштам написал стихотворение:

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке...

Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна пришли ко мне в лабораторию, где я работала, и Мандельштам прочитал его мне. Читать мне (больше и некому было) только что написанное стихотворение стало для Осипа Эмильевича привычкой. Если не приходила я, они приходили сами ко мне домой или на работу. Помимо своих стихов, Осип Эмильевич часто читал мне стихи любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Я не знала языка, но впечатление было непередаваемое: изумительный голос поэта, его манера чтения и музыка стихов создавали иллюзию полного понимания текста. Одним из любимых русских поэтов Осипа Эмильевича был Батюшков. Нередко он читал мне его стихи. В чудном стихотворении «Батюшков», написанном Мандельштамом еще в 1932 году, он говорит о нем как о своем современнике, ощущая его присутствие:

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму...

---

[10] Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Это и понятно, учителями Батюшкова были Торквато Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности неслыханное у нас до него благозвучие, «итальянская гармония» стиха,— все это, конечно, очень близко Осипу Эмильевичу.

В этом же стихотворении он так характеризует «русского Тассо»:

Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов!..

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Как-то попался Осипу Эмильевичу томик Никитина в серии библиотечки поэта. Он с удовольствием читал его лирические пейзажные стихи и восторгался отдельными строфами.

Из своих современников Мандельштам больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. Надежде Яковлевне он говорил, что так много о нем думает, что даже устал.

В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку:

«Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены,— рвалась дальше к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» — еще не «все».

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего» [11].

В одну из поездок в Москву Надежда Яковлевна показала Пастернаку вторую «Воронежскую тетрадь» Мандельштама. Новые стихи понравились Борису Леонидовичу. Он подробно говорил о них Надежде Яковлевне и написал записку Осипу Эмильевичу:

«Дорогой Осип Эмильевич! Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе разбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства. «Где я, что со мной дурного...» в этом смысле головокружительно по подлинности и выражению.

Пусть Надежда Яковлевна расскажет Вам все, что говорилось нами о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предрешить не может...

Но говорить только хочется об «Осах», «Ягненке гневном» и других Ваших перлах, и на словах (с Надеждой Яковлевной) это вышло лучше и проще, на бумаге же ложится таким Саводником, что лучше бросить» [12].

* * *

Я хорошо помню первое впечатление, которое произвел на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: «Генерал идет!» Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм, выглядевший на нем элегантно. Вид независимый и непринужденный. Он, безусловно, останавливал на себе внимание — он был рожден поэтом, другого о нем ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, точнее,

[11] Письмо опубликовано в журнале «Литературное обозрение» (1986. № 9).

[12] Из семейного архива Б. Л. Пастернака. «Где я, что со мной дурного...» — строка из стихотворения Мандельштама «Эта область в темноводье...». Саводник Владимир Федорович (1874—1940) — историк литературы, автор учебников для средней школы.

убеждение, что таких людей, как он, нет. Он и сам писал: «Не сравнивай: живущий несравним...» Я смотрела на него всегда с удивлением, и острота новизны не исчезала. Осип Эмильевич никогда не жаловался на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.—
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен...

15—16 января 1937.

* * *

Как-то сочувственно я рассказала о жалобах Сергея Борисовича на то, что так неудачно сложилась у него жизнь, что при других условиях он много мог бы написать. Неожиданно для меня Осип Эмильевич взорвался. «Ерунда,— резко сказал он,— если вам есть что сказать, скажете при всех обстоятельствах и вместо десяти нудных томов напишете один».

У него не было мелких повседневных желаний, какие бывают у всех. Мандельштам и, допустим, машина, дача или полированный гарнитур — совершенно неправдоподобно, несовместимо.

Но он был богат, богат, как сказочный король: и «равнины дышащее чудо», и чернозем «в апрельском провороте», и земля, «мать подснежников, кленов, дубков»,— все принадлежало ему.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще, воронежских холмов —
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Он мог остановиться зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и с мольбой в голосе попросить: «Надюша, купи!» А когда Надежда Яковлевна начинала отбирать отдельные цветы, с горечью воскликнуть: «Все или ничего!» «Но у нас ведь нет денег, Ося»,— напоминала она.

Так и не были куплены ирисы. Что-то детски-трогательное и грустное было в этом эпизоде.

Мне так хотелось подарить Осипу Эмильевичу все цветы, но у меня тоже не было денег.

* * *

Жили Мандельштамы в абсолютной изоляции, кроме меня, у них никто не бывал, так же как и они бывали только у нас. Позднее я привела к ним Павла Леонидовича Загоровского, профессора Воронежского пединститута [13], по специальности психолога, человека широко образованного, страстно любящего и превосходно знающего поэзию. Он был кумиром воронежской поэтической молодежи и всегда окружен ею. Павел Леонидович был человек необыкновенный и по внешнему облику, и по манерам, и по характеру. Его движения, походка отличались изяществом. Очень быстрый взгляд и вдруг — опущенные ресницы, какая-то удивительная живость, внезапный смех, как бы вызванный своими мыслями, высокий звук голоса, а главное, удивительная деликатность, безукоризненная воспитанность, столь редкая сейчас,— все это поражало, приковывало к нему людей. Недаром Осип Эмильевич называл его «бархатный профессор». Тонкий, остроумный и в то же время очень мягкий удивительно скромный, он никогда не подчеркивал своей буквально энциклопедической образованности. Память у него была феноменальная. Это был безупречно порядочный человек по-настоящему мужественный, не побоявшийся поставить под удар и себя, и семью, и свое положение (он был не только профессором и завкафедрой, но и проректором)

[13] К этому времени педфак университета выделился в самостоятельный институт

Как-то я предложила Павлу Леонидовичу познакомиться с Осипом Эмильевичем. Он согласился.

В условленный час мы пошли к Мандельштамам и уже почти дошли до дома, как вдруг Павел Леонидович говорит, что сегодня не пойдет. Я возмутилась: «Боитесь?» «Нет, просто я не в форме»,— ответил он. Я не поверила и пошла одна, решив, что больше, конечно, навязывать ему это знакомство не буду. Через несколько дней Павел Леонидович сам попросил меня пойти с ним к Осипу Эмильевичу. Симпатия между ними возникла сразу, как будто они были давно знакомы. Наконец-то Осип Эмильевич обрел равного себе собеседника. Я сидела на кушетке, вжавшись в угол, и тихо радовалась, молча слушая их оживленный разговор,— они буквально дорвались друг до друга и, казалось, забыли обо всем на свете.

С этого времени Павел Леонидович не очень часто, но систематически бывал у Мандельштамов. Заходили и они к нему на несколько минут, обычно днем, чтобы не бросалось в глаза. Павел Леонидович по возможности помогал опальному поэту: страшно смущаясь, он совал в руку Надежде Яковлевне деньги.

Решив расширить круг знакомых Осипа Эмильевича, я хотела привести к нему профессора Бернадинера (философа, или, как он сам себя тогда называл, диаматчика). Он был еще молодым человеком, интересовался литературой, стихами, часто бывал у нас. Но мое предложение резко отверг. На тот же вопрос: «Боитесь?» — «Да, боюсь»,— ответил он прямо.

* * *

Как-то ранней весной в самых первых числах марта, когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая.

В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон.

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной,
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный.
В сбрую красных углей запряженный...
. . . . . .
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона...

Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на другой день.

* * *

Я приходила к Мандельштамам чаще всего из техникума, днем или вечером, и почти всегда заставала их обоих на кроватях.

Надежда Яковлевна лежа читала или писала. Она превосходно знала английский язык и переводила конечно, под чужим именем, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ведь жить было совсем не на что. Осип Эмильевич сидел в обычной для него позе около спинки своей кровати, часто с потухшей папиросой. Мой приход вносил оживление. Я рассказывала техникумовские новости, а однажды пришла в полном смятении, надеясь получить от Осипа Эмильевича совет.

На уроке русского языка во время диктанта на вопрос учащихся, как пишется «в полдень», я ответила: «Вместе», имея в виду существительное «полдень». Все тридцать человек написали «полдень» слитно с предлогом «в». Что делать? Эта ошибка меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы). Осип Эмильевич рассмеялся и вместо совета взял карандаш и написал две эпиграммы:

Если бы проведал бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы, ради бога,
Уберите педагога.

И вторая:

Наташа, как писать «балда»,
Когда идти на бал, то «да»,
А «в полдень», если день, то вместе,
А если ночь, то не скажу по чести.

Иногда я укладывалась рядом с Надеждой Яковлевной, и мы тихонько разговаривали, чтобы не мешать своей болтовней Осипу Эмильевичу, ведь комната была одна. Мне всегда было у них хорошо, все мои тревоги, заботы куда-то уходили. Иногда втроем мы шли гулять, но были случаи, когда с порога вынуждены были возвратиться домой. Первые месяцы моего знакомства с Мандельштамами Осип Эмильевич не мог выйти из дома один, без Надежды Яковлевны, а часто и ее присутствие не помогало. У него начиналось удушье, рука инстинктивно тянулась к воротнику рубашки, ему хотелось его разорвать, расстегнуть, он задыхался; не знаю, возникало ли у него ощущение страха, но видеть это было очень тяжело.

Несколько позднее Осип Эмильевич мог ходить уже со мной и однажды, когда я была в техникуме, пришел один, я даже глазам своим не поверила, он сиял.

* * *

Мы много гуляли, особенно когда ненадолго уезжала в Москву Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич очень тосковал без нее и писал ей замечательные письма. Вот одно из них:

«Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут, или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя — сонную, уставшую или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам.

Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва, и Рим, и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю. И ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау, Наденька!» (28 апреля 1937 года)

Как-то на время ее отъезда приехала мать Надежды Яковлевны Вера Яковлевна. Об этом в письме просил сам Мандельштам:

«Дорогая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к Вам с просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте Наденьке спокойно съездить в Москву по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я Вас об этом прошу? Сейчас объясню. Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное нервно-физическое заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. Дыхание всегда затруднено. Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать — я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя...

Бытовые условия будут хорошие. Уютная комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с Вами поедем».

Вера Яковлевна — маленькая, худенькая старушка, очень живая и остроумная. Мне казалось, что она относилась к Осипу Эмильевичу как к большому ребенку. Он тоже платил ей хорошим отношением. И когда в ресторане мы ели испанские апельсины, один из них он принес своей теще и положил тихонько ей под подушку. Она уже, конечно, спала.

В письме из Воронежа Вера Яковлевна писала дочери, как она живет со своим зятем:

«Дорогая Наденька! Особенных событий за день не было. Мы гуляем, делаем покупки — у нас вооруженный нейтралитет. В хозяйственных взглядах мы не сходимся. Ося уверен, что он такой же хороший хозяйственник, как и поэт. Он любит все более дорогое, я тоже, но я заглядываю в кошелек и даю обет воздержания... Он не сдается, но бывает покорен, когда увидит дно кошелька».

В конце апреля мы пошли в парк культуры, который воронежцы по старой привычке называли Ботаническим садом. Было пустынно, ни одного человека, только в озерах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие бугры. Так возникло замечательное стихотворение:

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков...

А еще позднее, в середине мая, мы гуляли по проспекту Революции. Осип Эмильевич читал стихи, небо было высоким и синим, все благоухало. Мы сели на мрамор-

ные ступеньки нового, помпезного здания обкома партии, потом пошли вдоль Кольцовского сквера. У меня было непередаваемое ощущение какой-то внутренней свободы: все повседневные обязанности, заботы, огорчения и радости отступили, их не существовало Мне казалось, что мы в Италии, и ослепительный весенний день усиливал это ощущение. Да, так можно себя чувствовать только в совсем чужом, но прекрасном городе, где ты ни с кем и ни с чем не связан.

Я робко сказала об этом Осипу Эмильевичу. К моему удивлению, он ответил, что у него такое же ощущение.

На другой день он прочитал мне прекрасное стихотворение, которое сразу уничтожил. «Оно слишком автобиографично»,— сказал он. Я до сих пор жалею, что не решилась защитить это стихотворение.

* * *

Не раз мы втроем посещали наш музей изобразительных искусств. Приятно было бродить по чуть холодноватым пустынным залам, хотя вряд ли что-нибудь особенно пленяло Осипа Эмильевича. Помню, он останавливался перед маленькой картиной Дюрера (она и сейчас там висит); вообще зал западноевропейской живописи его интересовал больше И всегда с удовольствием рассматривал превосходную коллекцию греческих ваз. Может быть, под этим впечатлением написаны стихи:

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды —
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном, и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

И второе:

Гончарами велик остров синий...

И наконец чудное третье стихотворение — «Флейты греческой мята и йота...». Последнее стихотворение было связано не только с вазами, а и с арестом замечательного музыканта Карла Карловича Шваба, с которым Мандельштам был лично знаком. Карл Карлович играл на нескольких инструментах. В музыкальном училище он преподавал по классу фортепиано, а в воронежском симфоническом оркестре играл на флейте. Не раз он играл специально для Осипа Эмильевича.

Очень любил Осип Эмильевич и живопись, об этом говорят его стихи — «Импрессионизм» (1932) и воронежские: «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...» или «Как светотени мученик Рембрандт...». Надежда Яковлевна считала, что в «Рембрандте» Мандельштам говорит о себе («резкость моего горящего ребра») и о своей голгофе, лишенной всякого величия.

Стихотворение «Улыбнись, ягненок гневный...» Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет Быть может, по какой-то ассоциации Осип Эмильевич вспомнил репродукцию с картины Рафаэля «Мадонна с ягненком». Там есть и ягненок, и «складки бурного покоя» на коленях преклоненной мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.

Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому «Фаусту» (как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал).

Бывали мы также и на симфонических концертах нашего воронежского оркестра и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Москвы и Ленинграда. Музыку Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение «За Паганини длиннопалым...». Во второй строфе Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей,—

На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка...

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинорецензий. В одной из них («Шпигун» [14], 1929) Мандельштам писал: «Чем совершеннее киноязык, чем ближе он к тому еще не осуществленному мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с ее могучим синтаксисом,— тем большее значение получает в фильме работа оператора».

Сильное впечатление, которое произвела на Осипа Эмильевича одна из первых звуковых картин — «Чапаев», отразилось в стихотворении «От сырой простыни говорящая...».

С большим интересом мы смотрели картину Чарли Чаплина «Огни большого города». Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им кинофильмы. Так появилось стихотворение:

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости...

И дальше о Чаплине:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли,—

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницею...

Очень высокую оценку этому стихотворению дал И. Г. Эренбург. «Я много лет прожил во Франции,— пишет он,— лучше, точнее этого не скажешь...» («Люди, годы, жизнь»).

* * *

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности его личной судьбы не являлись препятствием для напряженной творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Мне тогда казалось, что Осип Эмильевич создавал свои стихи легко, они шли потоком, появлялись варианты, а отдельные строчки, образы неожиданно возникали совсем в другом стихотворении, даже в эпиграмме. Но над «Неизвестным солдатом» Осип Эмильевич работал долго и мучительно. Он не давал ему покоя, напряжение было страшное. Я не любила это стихотворение, пожалуй, боялась его, толком не понимая, но интуитивно чувствуя его страшный пророческий смысл.

Отношение к «Неизвестному солдату» у меня, к стыду моему, осталось юношеское, хотя я прекрасно понимаю его значение, глубину и то, что, очевидно, это одно из сильнейших произведений Мандельштама. По крайней мере несомненно, что Осип Эмильевич придавал ему большое значение. Мне кажется, в какой-то степени оно явилось итогом целого периода — воронежского — творчества поэта.

* * *

Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами. Новые стихи были праздником, победой, радостью.

Наверное, нечасто выпадает такое счастье — быть свидетелем (нет, это не то слово) такого торжества духа надо всем. Воронежский период — это новое слово, сказанное Мандельштамом в русской поэзии XX века, подобного еще не было. Об этом же говорила и Анна Андреевна Ахматова: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем несвободен: „И в голосе моем после удушья звучит земля — последнее оружье"». Да он и сам прекрасно понимал это и прямо выразил в письме, написанном

[14] Это была рецензия на фильм режиссера Шпиковского «Шкурник» (ныне опубликована в журнале «Памир», 1986, № 10). Шпигун — фамилия главного лица фильма.

из воронежской ссылки Юрию Тынянову, на которое, кстати, не получил ответа. С этого письма я тогда сняла копию по просьбе Осипа Эмильевича. Она сохранилась в бумагах Надежды Яковлевны. Вот это письмо:

«21 января 1937 года.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш Осип Мандельштам».

Это письмо интересно и как самооценка.

* * *

Очень много Осип Эмильевич читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил еще до нашего знакомства. Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в библиотеках столичных. Вот и еще была радость в его жизни — общение с книгами.

Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернется будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало все. Помню, как волновали его испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро на моих глазах в какой-то мере овладел им. Может быть, под впечатлением этих событий одно из стихотворений Мандельштама («Когда щегол в воздушной сдобе...») заканчивалось строками:

И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

* * *

Апатия была не свойственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желчное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог быть озабочен, сосредоточен, самоуглублен, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно веселым, лукавым, умел шутить.

Как-то Мандельштамы пришли к нам. Осип Эмильевич подошел к письменному столу, выдвинул ящик (там лежали особенно любимые книги) и увидел листки розоватой бумаги со стихами, написанными тушью. Почерк ему показался знакомым. Осип Эмильевич без разрешения прочитал их. Сергей Борисович, уезжая, переписал для меня свои стихи, среди них было одно, посвященное мне. Не знаю, по каким признакам Осип Эмильевич об этом догадался. Называлось оно «Баллада о движении» (в разлив, ранней весной мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту). В стихотворении были слова «источник слез». Осип Эмильевич ничего не сказал, лукаво улыбнулся и написал эпиграмму:

Источник слез замерз, и весят пуд оковы
Обдуманных баллад Сергея Рудакова.

Бедный Сергей Борисович, наверное, и не узнал этой эпиграммы, так как погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

Часто по вечерам от Мандельштамов я спешила к своему дяде, который болел и которого я очень любила. Так возникла шуточная надпись, приложенная к книжке «Стихотворения» издания 1928 года, подаренной мне Осипом Эмильевичем:

Эта книжка украдена Трошею в СХИ[15],
И резинкою Вадиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.

Надпись была сделана на маленьком дамском конвертике с лиловым обрезом (эти конвертики лежали в коробке, стоявшей у Надежды Яковлевны на столе).

На книге была совсем другая надпись: «Милой Наташе,— не знаю, что и надписать: так мне приятно, что нашлась книжка подарить, хоть и плохая. Обещаю никогда боль-

[15] С Х И — Сельскохозяйственный институт.

ше таких книг не писать и во всем слушаться — при условии, что и меня будут слушаться».

История подаренной книги такова. Троша, соквартирант Сергея Борисовича, получил путевку в местный дом отдыха имени Максима Горького, и там в библиотеке ему попалась книжка стихов Мандельштама, о котором он постоянно слышал от Рудакова. Недолго думая Троша украл книжку и передал Осипу Эмильевичу для получения автографа. Между тем, пока Осип Эмильевич собирался это сделать, Трошу направили на постоянную работу в район. О книжке все забыли. Как-то случайно она попалась на глаза, Осип Эмильевич очень обрадовался: действительно, Вадиной резинкой (это был мальчик хозяйки) по возможности стер надписи и просто грязь, просмотрел все стихи, помню, одно вычеркнул, два дописал, что-то исправил. Везде поставил букву «В» (Воронеж), дату и инициалы О. М. и подарил мне. После войны я отдала ее Надежде Яковлевне. У меня остался только «Шум времени» с короткой надписью: «Милой, хорошей Наташе от автора. В. 16/V-37 г.».

Возвращаюсь к конвертикам; на них были написаны и другие эпиграммы. Писал их Осип Эмильевич весело, часто за чаем, когда я собиралась уходить.

Пришла Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила,
И чует мать, черна, как ночь,
Вином и луком пахнет дочь.

Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть не могла да и к вину была совершенно равнодушна. Он читал ее с особым ударением. Были и другие экспромты, тоже за вечерним чаем, на конвертиках с лиловым обрезом. И еще шутка, записанная Осипом Эмильевичем на двух отдельных листках, с заголовками «Подражание новогреческому»:

Девочку в деве щадя, с объяснением юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе: «Люблю!»

А на втором листке:

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо!

Осип Эмильевич даже вычислил и на каждом листке написал, сколько лет было «деве» и «старцу». Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем.

* * *

Часто бывали мы и в книжных магазинах. Это доставляло и мне и Осипу Эмильевичу большое удовольствие Привычка заходить почти ежедневно в книжный магазин возникла у меня давно, до знакомства с Мандельштамом. Я собирала книги, главным образом стихи, и у меня была уже порядочная библиотека. Книги я покупала везде, где бывала: и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах. Помню еще букинистов у Китайской стены — книги были разложены на подстилках прямо на земле или на раскладных матерчатых столиках. Чего тут только не было, и цены были нормальные, тогда книги не являлись еще предметом спекуляции. Да и на старичков букинистов было приятно и интересно посмотреть.

В Воронеже на проспекте Революции находилось четыре книжных магазина (теперь и в одном продавать нечего). Особенно мы любили заходить в два из них. Один размещался в доме рядом со строительно-монтажным техникумом (теперь там булочная), второй — на первом этаже здания кинотеатра «Пролетарий» (сейчас там бар). Эти магазины казались нам необычными, и делали их необычными люди, работавшие в них. Первый назывался «Магазин индивидуальной книги». Доступ к книжным стеллажам был свободный, вместо прилавков стояли небольшие столики и стулья. Заведовал магазином Яков Романович Милой, чудный человек, влюбленный в книги, хорошо знавший вкусы своих покупателей. Кроме него была только одна продавщица, Мария Александровна, милая, красивая, обаятельная женщина. Магазин являлся своеобразным клубом, где встречались любители книг, делились впечатлениями по поводу прочитанного, спорили, радовались новой хорошей книге. Иногда Яков Романович даже звонил по телефону своим постоянным посетителям: приходите, есть такая-то книга. Прибегаешь, еще помучает: «У меня только одна книга, а вы пришли вдвоем». Стоим и думаем: кто же

окажется счастливым? А Яков Романович с заговорщическим видом идет за перегородку в так называемый свой кабинет и торжественно выносит вторую книгу.

Яков Романович уцелел на фронте, но совершенно потерял здоровье. Грустно и больно было на него смотреть. Он умер в первый суровый и голодный послевоенный год в растерзанном немцами Воронеже, где даже кров над головой найти было трудно.

Второй магазин — букинистический, заведовал им Яков Андреевич Чернышов, он же был и продавцом. Яков Андреевич, человек немолодой, когда-то работал у Сытина; это был прекрасный знаток книги и вообще очень хороший человек. У него можно было купить самые редкие книги. Я купила там «Снежную маску» А. Блока издания 1907 года, первое издание «Вечерних огней» Фета 1883 года, «Форель разбивает лед» М. Кузмина, «Четки» Ахматовой, «Кипарисовый ларец» Анненского 1923 года издания и многое другое. Ведь Воронеж до революции был дворянским городом, кругом было много имений с богатыми личными библиотеками, так что источник существовал. Если Яков Романович звонил своим покупателям, когда появлялась интересная книга, то Яков Андреевич, хитро улыбаясь, говорил: «Платите столько-то». Значит, сюрприз. Так были куплены мною «Камень» Мандельштама, его «Стихотворения» 1928 года, роскошный «Фауст» Гёте 1848 года издания. Осип Эмильевич книг не покупал, но особенно часто заходил в этот магазин, с большим интересом рассматривал книги и очень любил поговорить с Яковом Андреевичем. Как я могла заметить, это доставляло большое удовольствие и тому и другому. А когда возникало критическое положение с деньгами, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна несли в магазин к Якову Андреевичу продавать свои драгоценные книги. И, конечно, не случайно книги эти всегда оказывались непроданными; получив откуда-нибудь деньги, Осип Эмильевич, к своей великой радости, выручал их.

* * *

В конце декабря 1936 года я заболела и слегла надолго. Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день. Мандельштамы старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение:

Оттого все неудачи.
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей.—
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей.—
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство.

В письме Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 года Мандельштам сам дает оценку «Кащееву коту»:

«В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы «щ» и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота.

Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение...

Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатается, и он будет принадлежать народу Советской Страны, перед которым я в бесконечном долгу» [16].

В январе 1937 года Осип Эмильевич чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался... И все-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. Как узнавала я в них нашу зиму, морозную, солнечную, яркую:

В лицо морозу я гляжу один,—
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:

О, этот медленный, одышливый простор —
Я им пресыщен до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

И все разрешается замечательным и страшным стихотворением:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок...

Если Осипа Эмильевича не особенно угнетало отсутствие средств к существованию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной натуре порой для него была непереносима, он метался, не находил себе места. Вот в один из таких острых приступов тоски Осип Эмильевич и написал это трагическое стихотворение

Как-то утром пришли Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, и Мандельштам прочитал его, меня оно потрясло. Как ужасно чувство бессилия! Вот, на твоих глазах задыхается человек, ему не хватает воздуху, а ты только смотришь и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц — Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы — действительно стояла водокачка (маленький кирпичный домик с одним окошком и дверью), был и деревянный короб для стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке,

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб...

Все это правда. Да, да, и «переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы» — Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много их в этом узле. Запутаешься, закружат... Как не замечала раньше!

* * *

В эти же дни я как-то пришла к Мандельштамам. Мой приход не вызвал обычного оживления Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич, сказал: «Мы решили объявить голодовку». Мне стало страшно. Возможно, видя мое отчаяние, Осип Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои, потом Данте. И через полчаса уже не су-

[16] «Глагол», 1933, № 1.

ществовало ничего в мире, кроме всесильной гармонии стихов. Кажется, никогда не было так хорошо! Я запомнила это на всю жизнь, очевидно, по резкому контрасту двух противоположных чувств.

Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всесильной музыки слов захватывал тебя целиком, и кроме ничего не существовало. Читал стихи Осип Эмильевич, как я уже говорила, неповторимо, у него был очень красивый голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и удивительным чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И кажется, это непереносимо, невозможно выдержать этого подъема, взлета, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и вдруг на самом предельном подъеме голос разливается широкой, свободной волной.

Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы, становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.

Голодовка не была объявлена, и больше никогда на эту тему разговора не возникало Может, меня пожалели, не знаю, я, кажется, этого не пережила бы.

И, несмотря ни на что, было хорошо! Я обрадовалась, узнав, что не только я так чувствовала. Когда через сорок лет вышла книга Осипа Эмильевича «Разговор о Данте», Надежда Яковлевна, подписывая ее мне, назвала зиму 1936/37 года страшной и счастливой

Анна Андреевна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала свое впечатление от его жизни в известном стихотворении «Воронеж», посвященном Осипу Эмильевичу:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

А ведь она побывала здесь тогда, когда еще существовали какие-то связи с писательскими организациями, когда была какая-то работа или видимость ее — в театре, радиоцентре, даже командировки в совхоз.

Осип Эмильевич, рассказывая мне о приезде Анны Андреевны, смеясь, говорил: «Анна Андреевна обиделась, что я не умер». Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верна старой дружбе, не побоялась приехать, несмотря на свое тоже неблагополучное положение.

Позднее, уже в период моей дружбы с Мандельштамами, все было обрублено — ни людей, ни связей, ни работы.

«Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось работы и в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло все сразу»,— писала Надежда Яковлевна.

Мандельштамы оказались в полной изоляции.

В апреле 1937 года Осип Эмильевич писал Корнею Ивановичу Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу».

Такое настроение, очевидно, усугублялось приближением конца высылки и полным неведением будущего, а также выпадами против поэта в местной печати.

В апреле в областной газете «Коммуна» появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позднее, в том же 1937 году, в первом номере альманаха «Литературный Воронеж», выпад против Мандельштама был еще более резким. В обзорной статье «Воронежские писатели за 20 лет» Н. Романовский и М. Булавин писали:

«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников обкома (Генкин и др.), которые предлагали «перевоспитывать» эту банду».

Там же местный поэт Григорий Рыжманов опубликовал памфлет на Мандельштама.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И... без отклика сердец.

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд —
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он — чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.

И глядит он вдохновенно:
Неземной — пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!

И когда увижу мэтра
Замолчавших вражьих лир,
Напрягаюсь, как от ветра,
Четче, глубже вижу мир.

Презирай, гляди надменно —
Не согнусь под взглядом я,
Не тебе иду на смену,
И не ты мой судия!

Декабрь 1936[17].

В ответ на все это Мандельштам написал письмо в секретариат Союза советских писателей:

«Уважаемый тов. Ставский,

прошу Союз советских писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания Воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена задним числом.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: «троцкисты и другие классово враждебные элементы».

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым».

* * *

Я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич прочитал мне стихотворение «Наташа», свадебное стихотворение. Собственно говоря, оно не имело названия. Мы его назвали «Наташа» условно, начиналось оно так:

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась,—
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась...

Был и первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изменил его, «потому что он автобиографичен». Так он сказал мне. К сожалению, я его совсем не помню.

Осип Эмильевич просил меня привести и показать Бориса. Борис почему-то оттягивал эту встречу, хотя очень любил стихи, был страстным поклонником Пастернака. Наконец я обещала Осипу Эмильевичу вечером прийти с Борисом. Борис заупрямился, ему понадобилось непременно идти в кино. После споров решили этот вопрос компромиссно: отправиться к Мандельштамам из кино. Был одиннадцатый час, когда мы подошли к окну комнаты Осипа Эмильевича. Свет был погашен, и Осип Эмильевич стоял у откры-

[17] Эти материалы собраны Василием Гыдовым.

той форточки, ожидая нас. Я окликнула его, он сейчас же вышел. «Так вот вы какой!» — произнес он, внимательно разглядывая Бориса. Мы вышли на проспект, почему-то мужчины решили выпить вина (ни тот, ни другой к нему пристрастия не имели) и начали водить меня по погребкам. Их на проспекте было много. Не успевали мы туда спуститься, как я бежала назад: нет стульев, неуютно, мрачно. Тогда они повели меня в погребок, где были столы и стулья. Это была какая-то преисподняя. Темно от табачного дыма, дышать нечем, и в этом табачном тумане пьяные физиономии. Наконец сообразили пойти в лучший воронежский ресторан «Бристоль» [18]. Отдельных кабинетов не существовало, а в общем зале были отгорожены желтым шелком кабины. Одну из них мы заняли. Создавалась иллюзия, что мы одни. Ели испанские апельсины. Осип Эмильевич много читал стихов, был очень оживлен. Борису он сказал, что завидует Пастернаку, что у него такие почитатели. Мы проводили Осипа Эмильевича домой. Я шла впереди, они сзади, увлеченно о чем-то разговаривая. Я вспоминаю этот эпизод, чтобы рассказать, как возникло стихотворение «К пустой земле невольно припадая...». Но этому предшествовал еще один разговор.

Незадолго до нашего «путешествия» по кабачкам я зашла к Осипу Эмильевичу и сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы. Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: «Туся не видит одним глазом?» Я ответила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не говорила, очевидно, не видит. «Да,—сказал Осип Эмильевич,—люди, имеющие физический недостаток, не любят об этом говорить» Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю о своей хромоте. «Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!»— горячо воскликнул Осип Эмильевич.

На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму. Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. «Я написал вчера стихи»,— сказал он. И прочитал их. Я молчала. «Что это?» Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная лирика,— ответил он за меня.— Это лучшее, что я написал». И протянул мне листок.

1

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой,
Она идет, чуть чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться,—
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье,
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было поступь — станет недоступно,
Цветы бессмертны. Небо целокупно,
И то, что будет,— только обещанье.

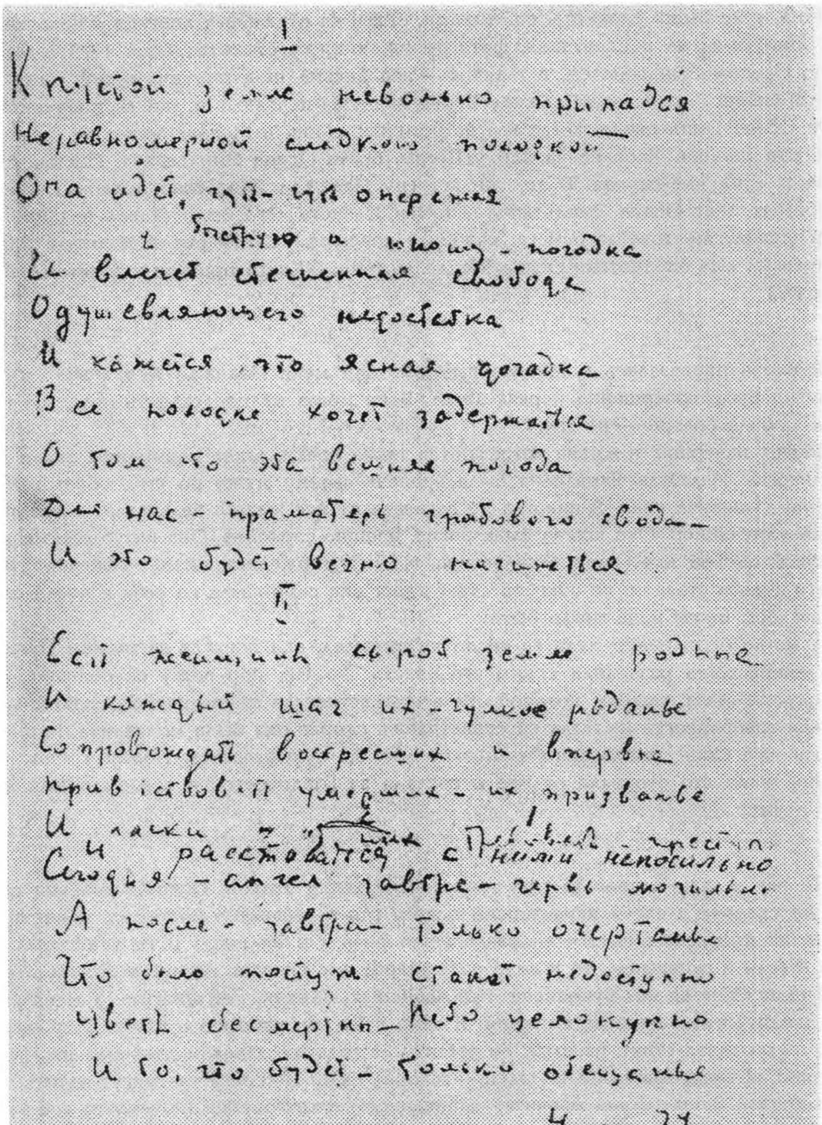
4 мая 1937.

И я сразу вспомнила нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте.

Стихи были написаны тушью на суперобложке к Баратынскому. Осип Эмильевич продолжал: «Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом». И после небольшой паузы добавил: «Поцелуйте меня». Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу — он си-

[18] Ныне ресторан «Москва».

дел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Упоминание о смерти, а я должна пережить?! Неужели это прощальные стихи? На другой день мы зашли в Петровский сквер. Осип Эмильевич был весел, я сказала, что не могу разобрать во вчерашнем стихотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво карандашом на листке из ученической тетради[19].



I

К пустой земле невольно припадая
Неравномерной сладкою походкой
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу - погодка
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться
О том что эта вешняя погода
Для нас - праматерь гробового свода -
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины сырой земле родные
И каждый шаг их - гулкое рыданье
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших - их призванье
И ласки требовать от них преступно
И расставаться с ними непосильно
Сегодня - ангел завтра - червь могильный
А после - завтра - только очертанье
Что было поступь станет недоступно
Цветы бессмертны — Небо целокупно
И то, что будет - только обещанье

4 мая 37

В

---

[19] Когда я приехала в Москву в марте 1975 года и прочла Надежде Яковлевне эту рукопись, она сказала: «Наташа, вы о своих стихах не все сказали, неполно, это не прощальные стихи. Ося возлагал на вас большие надежды». И она повторила строчки:

...Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье...

В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна так писала об этом стихотворении: «Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать воскресшего».

...Возвратившись из Москвы, Надежда Яковлевна прочитала мне другое стихотворение: «На меня нацелилась груша да черемуха...» — и, улыбаясь, сказала: «Это о нас с вами, Наташа».

* * *

Завещания поэта я не выполнила. Уже после войны, когда Надежда Яковлевна приехала ко мне в Воронеж, я отдала ей оба экземпляра стихотворения. Вообще я отдала все, что у меня было: блокноты со стихами, стихи на отдельных листках и полосках ватмана, эпиграммы на конвертиках, фотографии, книжку стихотворений 1928 года, правленную Осипом Эмильевичем, а главное — все письма (подлинники, копий тогда с них не было) Осипа Эмильевича Надежде Яковлевне. Она передала их мне на хранение после смерти Осипа Эмильевича, когда мы встретились с ней в Москве точно не помню где: у ее брата Евгения Яковлевича или у Шуры, брата Осипа Эмильевича. Письма были в железном сундучке от чая. В эту же встречу Надежда Яковлевна подарила мне одну из любимых книг Осипа Эмильевича — томик Клейста. Это было старое издание: готический шрифт, желтоватая бумага, кожаный корешок. Своей рукой Надежда Яковлевна написала: «Из библиотеки Осипа Мандельштама». (Книга пропала в занятом немцами Воронеже.)

* * *

Я очень привязалась к Мандельштамам. Для меня Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич были совершенно неразделимы. Я не могла их представить отдельно и кого из них любила больше — не знаю.

Редко, наверное, в жизни встречаются такие браки, такое понимание, такая духовная близость. Надежда Яковлевна была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Я никогда не слышала от нее жалоб, не видела ее раздраженной или удрученной. Она всегда была ровна, внешне спокойна. Она безусловно являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть.

А могло быть иначе, ведь ее никто не высылал, она поехала за мужем добровольно, и добровольно разделила с ним его участь. До сих пор вижу ее большие, ясные серо-голубые глаза, улыбку, которой она всегда встречала меня, ровный, спокойный тон. Женская говорливость не была ей свойственна, скорее она была молчалива. Мне всегда казалось, что Осип Эмильевич без нее не мог бы существовать. Поэтому так стало страшно, когда его оторвали от нее и сослали за Владивосток в пересылочный лагерь, где он и умер.

* * *

Не раз я присутствовала при таинстве создания стихов. Осип Эмильевич обычно сидел на кровати в своей характерной позе и что-то невнятно бормотал, пока это бормотанье не превращалось в членораздельную речь. Он не писал и не записывал свои стихи, а если и записывал, то в виде редчайшего исключения. Лучше всего об этом сказал он сам: «У меня нет рукописей. Нет записных книжек, нет архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса». Да, действительно он создавал стихи на слух, он работал «с голоса», а потом диктовал их Надежде Яковлевне. «Стихи, записанные Надей,— говорил Осип Эмильевич,— могут идти в порядке рукописи». Внимательно прочитав записанное стихотворение (почему-то всегда стоя, наклонившись над столом), он ставил букву «В» (Воронеж) и дату. К дате Мандельштам относился очень щепетильно, но совершенно был безразличен к знакам препинания, и тот, кто писал под его диктовку, ставил их по своему усмотрению. Помню, одно время стихи записывались на узкие листочки, нарезанные из ватмана, они не раз переписывались тонким, мелким и очень разборчивым почерком Надежды Яковлевны. Многие из этих листков потом попадали ко мне, как и конвертики с эпиграммами. Незадолго до отъезда из Воронежа Осип Эмильевич попросил Надежду Яковлевну переписать для меня все стихи. Получилось три толстых голубых блокнота. На первом из них печатными буквами было написано «Наташина книга». Осип Эмильевич отдал их мне, также поставив под каждым стихотворением дату и букву «В». Он ничего не сказал, вручая мне это сокровище. Что он думал — не знаю. Я тогда ничего не думала, просто была счастлива. Я так привыкла к его стихам, он уезжал, мне трудно было бы жить без них, а их ведь ни у кого больше не было, да и не знал их почти никто.

Подарил он мне и свою воронежскую фотографию. Накануне отъезда по его желанию мы все пошли в пятиминутную фотографию на рынке. Как и следовало ожидать, карточка получилась ужасная. К великому сожалению, Осип Эмильевич отказался идти в хорошую фотографию, сказав, что не хочет меня подводить. Подводить? Почему именно теперь пришло ему это в голову? Ведь встречались почти каждый день, а вот теперь, когда его освободили, у него возникло такое опасение. Каким же непрочным было ощущение этой «свободы»!

Был и еще один подарок, фарфоровая обезьянка, на обратной стороне Осип Эмильевич написал: «Наташа, Ося». Я забыла обезьянку, покидая занимаемый немцами Воронеж. Ведь все было оставлено, мы уходили налегке, в последние минуты. Но если бы я вспомнила, обязательно взяла бы ее, как взяла стихи, листочки, книжку, фотографии и письма, которые, как я уже говорила, отдала мне Надежда Яковлевна после гибели Осипа Эмильевича. Тут я уже понимала, что нужно сохранить все во что бы то ни стало.

И мне удалось это сделать: я не расставалась с небольшим свертком ни в товарных поездах, ни на станциях, ни в деревне, куда мы попали на некоторое время; короче говоря, он был всегда со мной во всех мытарствах, пока мы не оказались в Куйбышеве, в эвакуации.

Для большей гарантии, чтобы сохранить все, что было создано Осипом Эмильевичем, Надежда Яковлевна еще до знакомства со мной стала запоминать наизусть написанные им стихи.

* * *

Я часто думаю, как повезло Воронежу. Вот и еще одно имя навсегда соединилось с этим городом, с этой землей, которая подарила нам в прошлом веке Кольцова и Никитина. Теперь, в XX веке, с ней связано имя Осипа Мандельштама. Здесь поэт обрел новую силу, хоть и писал:

Я около Кольцова,
Как сокол, закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа,
Распахнут кругозор....

И в другом небольшом стихотворении, где шутка смешалась с трагическими нотами:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!

Город не стал для поэта ни «вороном», ни «ножом», он вернул его. Но вернул для новых страданий и гибели.

* * *

Может быть, здесь впервые Осип Мандельштам почувствовал всю силу земли, несущую жизнь, и приветствовал эту землю:

Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст,
Черноречивое молчание в работе.

Стихотворение «Чернозем» [20] было написано под впечатлением распаханных опытных полей СХИ, где Осип Эмильевич нередко гулял ранней весной.

Вплотную к полям подходил Ботанический сад, а напротив была Архиерейская роща. Там в 1879 году собрался съезд «Земли и воли», на котором присутствовали Пле-

[20] Факсимиле этого стихотворения приведено в книге: О. Мандельштам. Стихотворения. М—Л. 1973 Почти одновременно с «Черноземом» наблюдая воронежскую весну, буйный разлив, когда река выходит из берегов, затопляет весь луг и вода переливается даже через дамбу, а иногда и врывается в город, Осип Эмильевич пишет еще одно небольшое стихотворение, которое перекликается с первым (оба стихотворения датированы апрелем),— «Я должен жить, хотя я дважды умер...». В стихотворении чувствуется большая симпатия поэта к городу, где оказался он не по своей воле.

ханов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Желябов и другие. Не отсюда ли в стихах Мандельштама «комочки влажные моей земли и воли»?

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор,—
Комочки влажные моей земли и воли.

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа,—
Тысячехолмие распахнутой молвы;
Знать, безокружное в окружности есть что-то...

«Чернозем» — точное описание местности, где поэт был «закольцован». И, возможно, один из лучших в русской поэзии гимнов земле.

Мне очень нравилось это стихотворение, и Осип Эмильевич переписал мне его разборчиво тушью на листе хорошей бумаги.

Непосредственно навеяно городом, написано под свежим впечатлением от него — многое.

Приехав в Воронеж, Мандельштамы поселились в Привокзальном поселке. Эти места связаны и с Андреем Платоновым. Одноэтажные дома с палисадниками, сады, огороды, немощеные улицы, заросшие травой, бурьяном. По улицам бродят куры, и за забором нередко раздается лай собаки Трудно представить, что стоит только перейти деревянный мостик через железнодорожную линию — очутишься на проспекте Революции, главной улице города, и что город совсем не маленький. Очевидно, под впечатлением своего нового жилья Осип Эмильевич писал:

Я живу на важных огородах,—
Ванька-ключник мог бы здесь гулять,
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать

Поэт, конечно, имеет в виду Придаченскую гать, являющуюся продолжением Чернавского моста и соединяющую город с Придачей, тогда еще пригородом. Гать шла через заливной луг.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка.

Посмею сказать, что Осип Эмильевич полюбил эту землю. В первый год своей жизни в Воронеже он имел возможность побывать в различных районных центрах Черноземья, некоторых совхозах Был даже в декабре 1935 года в тамбовском санатории, откуда писал Надежде Яковлевне: «Здесь.. зимний рай, красота неописанная Живем на высоком берегу реки Цны Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места...»

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро,
Не дворянское угодье —
Океанское ядро...
Я люблю ее рисунок,
Он на Африку похож —
Дайте свет.— прозрачных лунок
На фанере не сочтешь...[21]
Анна Россошь и Гремячье,—
Я твержу их имена —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

[21] Реалиями для строчек «Дайте свет.— прозрачных лунок на фанере не сочтешь...» послужила карта Воронежской области. сделанная на фанере. Населенные пункты на ней были обозначены лунками с горящими лампочками. Карта висела на телефонном переговорном пункте, где Мандельштамы часто бывали.

Я кружил в полях совхозных,
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров.
. . . . . .

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова.
Шутишь — родина щегла!..

Это стихотворение было написано под впечатлением командировок в Воробьевский район, куда Осип Эмильевич ездил с группой воронежских писателей и журналистов.

И отсюда совершенно изумительные стихи о щегле. Я помню, с какой любовью писал их Осип Эмильевич, как радовался им:

Мой щегол, я голову закину,
Поглядим на мир вдвоем
Зимний день колючий, как мякина,
Так ли жесток в зрачке моем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

О щегле было не одно стихотворение, были и варианты. «Щеглиный цикл,— пишет Надежда Яковлевна,— развился на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут». Осип Эмильевич видел щеглов не только на воле, но и у Вади, хозяйского мальчика, были щеглы. Надежда Яковлевна вспоминает, как работал Осип Эмильевич над этим циклом, и передает его слова: «Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную Саламанку... А меня нельзя удержать на месте».

Мне кажется, никогда Мандельштам не сливался душой так тесно с природой, никогда не писал таких задушевных стихов, какие писал в Воронеже:

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый? —
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка,—
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

В Воронеже поэт полюбил русскую зиму, многоснежную, ясную, морозную. До воронежского периода в его стихах почти не было зимних пейзажей. Здесь мне хочется вспомнить еще одно зимнее стихотворение, написанное под впечатлением чудесных картин природы в тамбовском санатории:

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима.
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел.
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел...

Благодаря «Воронежским тетрадям» Осип Эмильевич навсегда прописан в старом русском городе. Жена поэта писала: «Воронеж был чудом, и чудо нас туда привело».

В полушуточном стихотворении Мандельштам писал:

Эта, какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного.
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма,—
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Это стихотворение связано с реальным адресом одной из квартир поэта в бывшей Троицкой слободе на улице Линейной.

Чтобы попасть к Мандельштамам, надо было войти в ворота двухэтажного дома, пересечь двор и спуститься по дорожке вниз, в до сих пор существующую «яму». У стихотворения буквальная топография. А название улицы дало повод для поэтической самохарактеристики поэта.

На этой квартире Осипа Эмильевича с Надеждой Яковлевной навещали В. Н. Яхонтов и М. В. Юдина.

Думаю, настанет время, когда в Воронеже действительно будет улица Мандельштама. Жаль, что мы привыкли чтить только мертвых, и то через десятки лет.

С. С. АВЕРИНЦЕВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Стихи О. Мандельштама, написанные в 1937 году, перед концом и в последнем расцвете дара, приобретают — не просто силою обстоятельств, но и своей собственной силой как стихов — весомость завещания. Этого он и сам от них требовал: достаточно прочитать у Н. Е. Штемпель, в каком тоне он говорил о своем предсмертно просветленном стихотворении «К пустой земле невольно припадая...». (Как сказал еще Гельдерлин, тот, кто прощается навек, может позволить себе торжественность.) Задача была уже названа чуть раньше: жить, «перед смертью хорошея». А еще раньше было описано, как рушат липу на глухом замоскворецком дворике: «Дерево сопротивлялось с мыслящей силой,— казалось, к нему вернулось полное сознание» («Путешествие в Армению»). Это пронзительное описание — словно эпиграф к поздней поэзии Мандельштама. Борьба за полное сознание на самой границе бреда, борьба за катарсис на самом пределе абсурда наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом —

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом,—
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

15 марта 1937. Воронеж[1].

[1] Печатается по тексту, подготовленному И. М. Семенко.

То свойство окончательности, которое отмечает поэзию Мандельштама в целом, достигает в таких условиях максимума. Все плотнеет и сгущается. Концентрированнее проступают и существенные противоречия, которые имеют для мандельштамовской поэзии конструктивное значение.

Мандельштам всегда искал противоречий, так сказать, большой мощности: они были источником энергии для его стихов. Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально вчитывался в книгу П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Здесь не место говорить ни о самой книге, ни о ее роли в биографии поэта (одной из тех «разночинских» биографий, для которых согласно его же острой гиперболе из «Шума времени» достаточно списка прочитанных книг...). Но вот — независимо от контекста — слова, которые Мандельштам, во всяком случае, должен был читать с живым сочувствием, с внутренним согласием и которые многое поясняют у него самого: «Мы н е д о л ж н ы, не смеем замазывать п р о т и в о р е ч и е тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть» [2]. И чуть ниже приятие противоречия названо б о д р ы м, то есть отождествлено с витальностью мысли, чуть ли не физиологически понятой,— с победой над «склерозом», как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разговора о Данте». Или прибегнем к космологической метафоре, важной для эпохи и близкой именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет», перепады жара и холода—единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание температуры, приведение всего сущего к безразличному теплоте, не горячей и не холодной (уж не той ли, которая проклята в Апокалипсисе?), есть согласно второму началу термодинамики «тепловая смерть вселенной».

Мандельштам тревожился не столько за вселенную, сколько за историю, прекращение которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока кипит гнев и спор, пока живет удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесности, подобие которой он увидел в крутом, несговорчивом нраве тех новгородских икон, на которых «сердятся» рядами представленные заказчики, «спорщики и ругатели», «удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно: есть на что, значит, сердиться, есть чему удивляться, есть о чем спорить, раз есть с о б ы т и е. Синоним события — поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки...»). Но вот если «буддийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольство сможет «тупым напильником» (как сказано по другому поводу в статье о Чаадаеве) притупить острие готического шпиля, знаменующего напряженность события, поступка, бросающего вызов пустоте,— это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: «...наступает глухота паучья». В этой связи мыслей понятно, с какого боку интересен Мандельштаму Константин Леонтьев. Понятно также, почему сущность «филологии», то есть, собственно, той же исторической стихии, увидена в «нетерпимости», а «всетерпимость» припечатана лихим польским ругательством [3].

Вернемся, однако, к поэзии Мандельштама. Одно из противоречий, которыми она жива, касается основ ее собственной природы. «Мы — смысловики»,— говорил поэт, и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с которой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глубину, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак поворачивает в вариантах (имеющих у Мандельштама, как давно выяснено, самостоятельное значение). Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают пристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться рассматривать их в «большом контексте». Отсюда соблазн, которому пока чаще подпадали зарубежные истолкователи: увидеть в мандельштамовской поэзии хитрый шифр, скрывающий некую «историософию», которая по дешифровке окажется не просто умной, но и специально «умственной» («интеллектуальной»). Но так дело не идет. Почему, собственно? Проще простого припомнить, как Мандельштам не смог сдать экзамена, как спрашивал у собеседницы, кто такие Аониды, и вознегодовать — тоже еще умник нашелся; но это было бы просто глупо, потому что «знать» для поэта совсем не то, что для ученого. В современном поэте, говорил Мандельштам, «поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели со-

---

[2] П. Ф л о р е н с к и й. Столп и утверждение истины. М. 1914, стр. 157.

[3] В «Четвертой прозе», еще ждущей опубликования: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала вся-кровь, стала — всетерпимость....»

ловьи и розы» [1]; уж если поют, где тут экзамен сдавать? (Как раз способность сдать экзамен изобличила бы недостаточно полную переработку знания — в поэзию.) Но смысл, который «поет»,— это все ли еще смысл, или он должен называться каким-то другим именем? Да, поэт назвал себя смысловиком, но он же сказал о «блаженном, б е с с м ы с л е н н о м слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено на нет никаким умным истолкованием. Отсюда противоположный соблазн: увидеть в мандельштамовской поэзии абсолютно произвольную сюрреалистическую игру ассоциаций, ничем не регулируемую, кроме случайностей фоники и темных порывов подсознания. Но так дело тоже не идет. И установка «смысловика», и жизнь «блаженного бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, просвечивая друг сквозь друга, неожиданно меняясь местами. Верлен, тень которого лежала на рождении поэзии Мандельштама, выразил пожелание, чтоб в стихах «точное сопрягалось с неопределенным» (Rien de plus cher que la chanson grise ou l'Indécis au Précis se joint). Читатель Мандельштама не раз встретит это взаимопроникновение «точного» и «неопределенного», сказанного и несказа́нного. Поэтому его стихи так заманчиво понимать — и так трудно толковать.

Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта нашего столетия, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «остается глубоким, как есть»,— и должно таковым оставаться в любой интерпретации. Противоречие не оставляет места для самодовольства, совершенно исключаемого тютчевской традицией.

Еще одно противоречие, особенно важное для понимания «Стихов о неизвестном солдате»,— это спор между личностью поэта, умевшей «топорщиться» (« .нрава он был не лилейного...»), включавшей даже черту почти отроческой заносчивости, и глубокой волей «быть как все», жить и гибнуть «с гурьбой и гуртом», не отделять себя от судьбы безымянных. Такая воля выявилась по-настоящему у позднего Мандельштама: «Всех живущих прижизненный друг»,— сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная, суровая анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево»,— вся прежняя поэзия не знала, не могла знать такой темы. «Истертый год рожденья» — уже не знаменательная дата начала индивидуальной биографии, а бирка в кулаке, соединяющая призывника с поколением, с товарищами по призыву, растворяющая его в их потоке. Человеческая мера взорвана и развеяна «молью нулей». Настоящее — безымянная мука голода, холода и равнодушной к человеку смерти под неприветливым дождем, «пасмурный, оспенный и приниженный гений могил». Будущее — «воздушная яма». Но тягой контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, не объяснимый никаким рациональным толкованием, но пронизывающий весь его состав: «От меня будет свету светло» «Небо крупных оптовых смертей» названо не только неподкупным, но и целокупным, как в любовном lamento «К пустой земле невольно припадая...»,— в обоих случаях через смерть дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже счастья. А в эпизоде «Для того ль должен череп развиться...» время словно обращено назад, так что уже после смерти, после «войск», после конца триумфально является начало — непорочное и многодумное сияние младенческого лба.

---

[1] О. М а н д е л ь ш т а м. Слово и культура. М. 1987, стр. 43.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЕОНИД БАХНОВ

★

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Окуджава пишет автобиографическую прозу. Это, впрочем, давно не новость.

Первая вещь такого рода — «Будь здоров, школяр» — появилась на заре 60-х, в те самые времена, когда множились, переписывались, начинали шествие по стране его ранние песни. Голос поэта с тех лент звучал хрипло и глухо, продираясь сквозь наложившиеся друг на друга магнитофонные шумы, как сквозь пелену или специальное заграждение.

Сохранились ли они, эти ленты? Мне бы хотелось, чтоб сохранились. Чтобы кто-нибудь из родившихся сегодня смог бы, когда дорастет, взять и послушать Окуджаву не на пластинке и не в видеозаписи, а именно так, как его начинали слушать мы — замолкая, напрягаясь, силясь одолеть шумовую преграду.

Только расслышит ли он, житель будущего, в этих вполне технических помехах шум времени? Расслышит ли нас, для которых эти магнитофонные шумы и хрипы были естественным продолжением ровно-недоброжелательного шума критики, раздраженной в Окуджаве всем — от гитары до идеологии,— особого шума умолчания?.. Сумеет ли понять, зачем мы так напрягали слух, таскали друг другу катушки с записями? Какие такие струны наших душ отзывались на «Бумажного солдата», «До свидания, мальчики...», на «Дежурного по апрелю»? Почему поэт так нам был нужен?

...На титульном листе сборника «Тарусские страницы», куда вошла повесть «Будь здоров, школяр», стоит дата: 1961 год. Восемь лет прошло с того мартовского утра, когда все газеты поместили траурный портрет генералиссимуса на первых страницах. Пять — с речи Хрущева на XX съезде партии. И совсем немного осталось до той печальной памяти встречи в Кремле, когда глава партии и правительства обрушит высочайший гнев на творческую интеллигенцию.

Да, специфическое было время, «сложное и противоречивое», как принято говорить. Потом его, это целое десятилетие жизни страны, станут замалчивать, обходить, как заминированную зону. Борис Слуцкий напишет стихи: «Десятилетье двадцатого съезда, ставшего личной моей судьбой, праздную наедине с собой»... Но к читателю они придут спустя еще двадцать лет, когда поэта уже не будет в живых. Молодежи, чье гражданское возмужание упало на те годы, которой приоткрылась жестокая правда о недавней истории, будет предписано ее, эту правду, забыть, а вместо нее помнить что-то совсем иное. Думаю, драма этого поколения еще ждет своего художника, во всяком случае, пока мы в полной мере не осознаем, как отразилась на нас, к чему привела эта подмена, трудно будет двигаться дальше.

Но все это — позже, потом. А пока — начало 60-х, «Тарусские страницы», «Будь здоров, школяр». И я, еще в буквальном смысле школяр, читаю эту повесть. Сложные чувства бродят в моей душе...

Здесь я чувствую себя обязанным принести некоторые извинения. Дело в том, что я собираюсь обратиться к собственному тогдашнему восприятию. Как мне кажется, оно может кое-что прояснить в характере того времени.

Итак, представьте себе подростка лет четырнадцати-пятнадцати. Он ходит в кино, смотрит телевизор, читает книги. Ему знаком образ Настоящей Войны и образ Настоящего Героя. Есть, понятно, и иные источники информации — взрослые, почти в каждой семье кто-нибудь да воевал. Но — странное дело — очень трудно представить этих дядь Вить на той, Настоящей Войне, где рвутся снаряды, летят под откос поезда, падают раненые и убитые, а бойцы все равно идут в атаку. Какие-то они, эти дяди Вити, не такие, какие-то недопроявленные, как это бывает на фотографиях, нечеткие. Может,

дальние родственники тому, Настоящему Герою, причем из тех, которые вовсе не жаждут признавать почетного родства. Мне во всяком случае не приходилось слышать от них о подвигах, все больше о смешном рассказывали. Или о госпиталях. И здесь, если послушать, немало забавного происходило. Что за странный сговор? Иногда казалось, что они просто н е д о ш л и до Настоящей Войны. Остановились в другом месте.

Так вот, окуджавский школяр очень напоминал тех, недошедших.

«— А где немцы?— спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым».

Вот так до самого конца: немцы — «там», школяр — «здесь». Ни одного не увидит!.. А как странно написана эта вещь! О войне — в настоящем времени. Фразы простые, короткие. И повторяются, бывает, в одном абзаце по нескольку раз. Туманно как-то, зыбко... Будто все, что происходит со школяром, происходит с ним не вполне наяву, в полусне, что ли. Словно не доблестный подвиг служения отчизне вершит он, а, как щепку в водовороте, крутит его, несет куда-то, то с головой накроет, то вытолкнет: где я? что я? я ли это?— и снова крутит... А его отношение к смерти? «Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и все?» Разве такие мысли украшают солдата?!

И потом — война вершилась взрослыми, суровыми людьми, так ведь? (Вспомните типовые «военные» фильмы тех лет: фактически их герой не имел права на возраст: на войне он должен был быть солдатом, типическим героем в типических обстоятельствах; молодость же — читай: незрелость — в число типических обстоятельств не входила.) Что же школяр? Юнец! О чем он только думает — бог ты мой! Сапоги бы ему... Ушанку... Ложки вот нет — потерял... Будто бы нет ничего важнее! Да и другие...

И еще: война — это же вроде налаженного производства. Порядок, четкость. И гибнут, и получают ранения на войне не просто так, а со смыслом: либо за отвагу — герой, либо за малодушие — струсил. А в «Школяре»? Сплошная неразбериха. Школяр, понимаешь, ответственное задание выполняет, несет командиру полка важный пакет. И при этом — «черт его знает, где он, этот командир полка!». Как же так? Доставил, жизнью рисковал, а в ответ: «Скажите вашему командиру, чтоб он таких донесений больше не посылал». Едут на базу армии за минометами, а получают сапоги и бочку вина. Еще и выпивают по дороге. Хороши! И гибнут, и ранения получают как-то негероически, ни за что вроде.

Не то чтобы я не понимал такого героя — и понимал, и сочувствовал, и даже родственную душу в нем находил. Только непривычно все же... Слишком уж он получался как мы, слишком уж по-современному думал он, по-современному был откровенен и даже — представьте! — от неопытности в любви мучался так же, как многие из нас. Мы п о н и м а л и друг друга, вот что!

А одежда? Господи, да он же все время думает, ч т о на нем. Как он выглядит со стороны. «Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно... Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели...». «А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо — аппарат „лейка"»— это так он мечтает о мирной жизни. Стиляга!

Неужели о н и были такими? Отцы, столь похожие на детей? Это вроде бы и подтверждало казенный взгляд на знаменитую в те времена проблему: в нашем обществе не может быть конфликта между поколениями,— но подтверждало с очень уж неожиданной стороны. Ведь это дети должны были быть похожими на отцов, не наоборот...

Словом, читая «Школяра», я все время раздваивался: верил, что т а к могло быть, и знал, что так быть не могло, потому что должно было быть по-другому. Наверное, мое восприятие повести Окуджавы было наивным, но вот ч т о́ в этой наивности было от возраста, а что — от железобетонных стереотипов, от тех мерок, с какими подходили к искусству и воздействие которых ощущал на себе и млад и стар?

Для убедительности процитирую два очень типичных отзыва на «Школяра», принадлежат они А. Дымшицу и А. Метченко, но писаны, что тоже характерно, будто одной рукой.

«...Его (Окуджавы.— *Л. Б.*) героя нельзя назвать иначе, чем героем в кавычках. Он совершенно лишен идеалов, он не боец, а существователь... В этом произведении нисколько не выражена историческая миссия нашего народа на войне, нисколько не показано сознательное служение воинов Отчизне и социализму... Невозможно поверить Б. Окуджаве, что он представляет нам комсомольца, юного советского воина, участника трудной, но общей народной борьбы... И таким же маленьким эгоистом и индивидуалистом «школяр» остается до конца повести... Повесть Б. Окуджавы не только далека от главной линии развития нашей литературы, но

вообще не имеет ничего общего с литературой социалистического реализма».

«...В некоторых произведениях тема героизма, величия подвига советского народа оттесняется «жалостными» пацифистскими настроениями. Такова лирическая повесть Б. Окуджавы... Тяжелое впечатление оставляет оправдание страха перед смертью, обнаженные в своем эгоизме признания лирического героя, что главное для человека — остаться в живых... «Философия» повести ясно выражена во вступлении: «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло». Читаешь и думаешь: неужели автор не понимает, что он оскорбляет память тех, кто своей смертью спас живущих сегодня, в том числе и его самого? К сожалению, подвиг народа, нравственные критерии поведения человека мало интересуют автора».

Чувствуете незримое присутствие Настоящего Героя? Чувствуете а т м о с ф е р у, в которой вершилась любая попытка смягчить его суровые черты, придать им чуточку человечности?

Но самое интересное, что приведенные оценки верны. Верны, если исходить из того, что в каждом отдельном произведении должна быть выражена не больше не меньше как «историческая миссия... народа на войне».

Конечно же, Окуджава п о д с т а в и л с я. Но не теми двумя-тремя цитатами, за которые дружно, как по команде, ухватились критики, по команде же обрывая их на полуслове. Не принималась т а к а я война, т а к о й герой, т а к а я искренность. Обвиняя повесть (а заодно и автора) в отсутствии гражданственности, навешивая на героя всякие ярлыки, никто почему-то не обратил внимания на тот скромный факт, что гражданский, патриотический долг школяр выполняет самым добросовестным образом. Несмотря на внутренние страхи и даже ужас. То есть воюет. Ни от чего не отлынивает. Даже готов пофорсить храбростью. Такого будничного героизма, признанного в наши годы, тогдашние критики никак не хотели принимать. «Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат и себя не щадите...» — этого мотива они в упор не слышали, а вот «постарайтесь вернуться назад» — это им понятно, это — «эгоизм», «индивидуализм», «пацифизм»...

Но, спрашивается, зачем я так долго говорю об этой ранней повести? Теперь, когда мы столько о войне прочитали, когда та истина, что солдатами не рождаются, сделалась как бы начальным, априорным этапом наших познаний, зачем все это?

Но я — даже не об Окуджаве. Я — о времени. О том, какую крепкую стену пришлось ломать писателям, отстаивавшим право на собственное видение, право говорить по-своему и свое. (Отмечу примечательную деталь: раннего Окуджаву никогда не ругали отдельно, всегда вкупе. То с Ю. Казаковым, то с И. Грековой, то с В. Быковым — положительно, ему везло на компанию.) Неверно было бы думать, будто взгляды процитированных мною критиков не имели поддержки читателей. У т о й критики было немало единомышленников, причем не только из числа ортодоксов. Мало ли читателей, которые соглашались (и соглашаются): на войне действительно еще и не такое было, только зачем же все т а щ и т ь в л и т е р а т у р у? И до сей поры раздается: одно — «правда факта», другое — «правда явления». Литература должна нести «правду явления», очищенную от «правды факта». Так получается... «Тот «реализм», который выкристаллизовался в разбираемой нами повести,— такой «реализм» убивает правду» — это уже не об Окуджаве, это о «Мертвым не больно» Василя Быкова. И сказано, кстати, уже в иные, более близкие к нам времена Бор. Леоновым.

Нет, что ни говори, критика все-таки делает свое дело! Признаюсь: листая пропыленные журналы, читая критические статьи, я вдруг поймал себя на ощущении, что поддаюсь завораживающей музыке этого проработочного шаманства и уже зреет во мне праведный гнев против нарушителей. Как тут не понять, почему столько лет мыкался Вячеслав Кондратьев со своим «Сашкой», почему фильм «Проверка на дорогах» полтора десятилетия лежал на полке, почему лишь сейчас мы знакомимся с заветной рукописью Константина Воробьева...

Сегодня, говоря о высоком гуманизме того или иного писателя, нельзя, мне кажется, забывать, к а к этот гуманизм пробивал себе дорогу. И ч т о изменял в нас самих.

В том самом 62-м году, когда критика отлучала Окуджаву от социалистического реализма, один из журналов писал, например, следующее: «Уже кое-кому показалось, что пришла пора реабилитировать припахивающую ладаном идейку всепрощающей любви». И в качестве примера приводил фразу из напутственного слова, предваряющего публикацию стихов Марины Цветаевой в тех же «Тарусских страницах»: «Любовь объясняет все, так же, как и прощает многое, если не все». Такая вот провокация...

В «Вопросах литературы» на «круглом столе», собравшем многих писателей и критиков, самым серьезным образом был поставлен вопрос: «Доброта, жалость, ласка... а из словаря ли это подлинного гуманиста?»

Из всех выступавших одна Ольга Берггольц решилась ответить на него твердо и безбоязненно: да, доброта, любовь, честность, верность — превосходные человеческие категории. Она говорила и о «расчеловечивании» литературы: «Тенденция расчеловечивания литературы... действовала в эпоху культа личности. Тенденция эта во многом удалась, не надо этого скрывать».

«Расчеловечивание»! — вот оно, слово. Годами, десятилетиями внушалось, что нет и не может быть ценностей общечеловеческих. Ты — гражданин нового общества?.. Нет, подожди! Тебе еще надо выковать из себя этого гражданина, выкорчевать остатки прежней морали. И помни: нравственно только то, что служит н а ш и м интересам. Будь бдителен! Думай, прежде чем подумать — может быть, твоя будущая мысль окажется на руку классовому врагу!.. Твоими помыслами руководят жалость, совесть, любовь к ближнему своему? Учись распознавать классовую сущность — и ты увидишь, что в н ы н е ш н и х условиях жалость — это ненависть и беспощадность. Таков был словарь «подлинного гуманиста»... Действительность тебе кажется не столь прекрасной, как ей предписано быть? А какими глазами т ы на нее смотришь?..

Литературе в этих условиях надлежало подменять собой действительность, а читателю — «учиться» у литературы, верить в эту, подмененную и подогнанную, действительность больше, чем в ту, которую он видит собственными (не ч у ж д ы м и ли?) глазами. Но если за несоответствие реальной действительности предписаниям в ее адрес ответить было некому, то за грехи «отраженной» (а в теории по крайней мере литература все еще была призвана «отражать») действительности ответчик находился тут же — вот он, «очернитель»!

«Сейчас это ушло, хотя, мне кажется, остались некоторые пережитки»,— завершила свою мысль Ольга Берггольц.

«Пережитки», как мы знаем, оказались живучими. Растопить сердца людей, ощетинившихся «подлинным гуманизмом», привыкших любое — свое и чужое — побуждение воспринимать в свете раз и навсегда обострившегося международного положения, воспитанных в недоверии и бдительности, вернуть им свет любви — задача очень непростая. Понятно, что на этом пути Окуджава был не одинок — время показало, что работал он в принципе в том же русле, что и ряд других поэтов военного поколения — Самойлов, Слуцкий, Левитанский, Межиров, Винокуров... Но это сейчас нам легко выстраивать разные шеренги из имен, а тогда, на заре 60-х, он воспринимался едва ли не как одиночка. Правда — с гитарой. Может, в силу особых качеств этого голоса, его теплоты, мягкости, домашности — всего, чего так не хватало,— он был слышнее других.

Не думаю, чтобы Окуджава сознательно ставил перед собой задачу вернуть литературе человечность. Слишком уж это громко. Задачи, которые он ставил перед собой, мне кажется, были конкретнее и скромнее. «Каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет»,— эти слова лежали в его «копилке» уже в ту пору. Вот это право художника, данное ему природой («так природа захотела») и ставшее обязанностью перед людьми, он и старался реализовать на практике. С в о и м голосом пел с в о и песни.

На это не могло не откликнуться общество, начавшее сознавать, что оно состоит из л ю д е й.

Ценности, которые он воспевал, по сути были не новы. Любовь. Милосердие. Братство. Надежда. Все то, что объединяет, не посягая на индивидуальность. Потому что индивидуальность — это то драгоценное качество, что дано нам от природы, и сохранение его — естественный путь к пониманию родства с д р у г и м и. То есть он предлагал в о з в р а щ е н и е — к тому, что мы знали, да забыли.

Вдумывались ли мы, подростки, в существо идеалов, вдохновлявших Окуджаву? Наверное, нет. Что-то, конечно, чувствовали. Притягивало другое. Удивительная о т к р ы т о с т ь. Вот — я. Не слишком удачливый, иногда смешной, иногда нелепый. С кем не бывает? Но это — я. Вот — война. Может, ваша война была другая. Но это — моя война. Вот то, во что я верю. Возможно, моя вера вызовет у вас улыбку. Но это — моя вера. И ничего со всем этим не поделаешь... Вызывала восхищение редкостная, сейчас я бы даже сказал, п р о с т о д у ш н а я независимость. Поддакивать, гусей дразнить — это все не по нашей части. «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти, словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю»,— вот это по-нашему, совсем другой разговор...

Может быть, главное, чему читатель учился у Окуджавы — не пугаться в себе ч е л о в е к а.

...Прошли годы. Спустя полтора десятка лет выпустили первую большую пластинку Окуджавы, узаконившую его существование в качестве барда. Потом вышла другая, третья. Прошло четверть века.

Менялась погода на дворе. Установилась долгая, казалось, бесконечная серая осень, барометрам было велено показывать «ясно», а шум дождя, если не продирать глаз, очень легко было принять за продолжительные аплодисменты. Много воды утекло...

А Окуджавы все это будто и не касалось. Никакие погоды. С удивительным достоинством он оставался верен себе. Не суетился, не размахивал руками, не стремился доказывать, убеждать. Работал. Что-то очень знакомое, хрестоматийное приходит на память. Ах, да: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум»,— похоже, в наш иронический век поэт всерьез воспринял сию заповедь.

А «свободный ум» все более властно влек туда, в век минувший. О причинах такого «ухода в историю» Окуджава избегал говорить, старался откреститься и от звания «исторического писателя». «Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке». Или, как он однажды заметил: «Я не пишу исторические романы — пишу себя».

Не было ли в этом демонстративном нежелании открывать перед публикой дверь в творческую лабораторию некоторой рисовки? В наше ли время, когда механизмы творчества разглядываются едва не под микроскопом, писателю утверждать, будто он не ведает, *что* движет его пером, будто не рассчитывает ни на какую общественную *пользу*! Чего бы ему стоило хоть словечком обмолвиться о «связи времен», о том, что «уроки прошлого — школа для настоящего»?..

Думаю, все это объясняется одним старинным понятием — целомудрие. Чем копаться, почему это «свободный ум» влечет в ту, а не в другую сторону,— не достойней ли промолчать? «Так природа захотела. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить».

Как бы то ни было, из нашего века, по крайней мере в прозе, Окуджава, казалось, «выпал» окончательно. И вот — вернулся. Причем вернулся в самые драматичные времена. К годам своей молодости — к войне! К трудным послевоенным годам. Три небольших, в общем-то, рассказа: «Уроки музыки», «Девушка моей мечты», «Искусство кройки и житья». Но, как мне кажется, разговор о них важен. И не только в контексте творчества данного писателя, но и в свете тех нравственных представлений, которые нынче все прочнее утверждаются в нашей жизни.

Недавно критик Н. Крымова назвала Окуджаву так: утешитель. По-моему, лучше не скажешь. Но ведь утешительство — это не просто дар. Утешителем нельзя родиться, им можно стать, познав до глубины человеческую душу, через многое пройдя, многое испытав. А во многом познании, как известно, многие печали...

Мне кажется, последние рассказы Окуджавы помогают понять, в чем можно искать истоки свойства, так точно названного критиком.

В их герое мы без труда узнаем характер знакомого нам школяра. Только писан он, пожалуй, чуть иными красками, с иной глубиной. «Нынче все это по прошествии сорока с лишним лет представляется столь отдаленным, почти придуманным, что я теряю реальное ощущение времени»,— начинает Окуджава «Уроки музыки».

Этим мотивом, этой мелодией «другой жизни», понимаемой нынче уже не без труда, окрашены все рассказы. «Да и самого себя вижу почти условно: так, некто семнадцатилетний, с тоненькой шейкой, в блеклых обмотках на кривых ножках, погруженный в шинель с чужого плеча...». Все эти реалии действительно еще слишком общи, чтобы оживить ту реальность. Оживает она благодаря *музыке*. У каждого из нас, наверное, свой ключ к ларчику под названием «память» — у одних цвет, сочетание цветов, у других запах. У Окуджавы — музыка. Не в смысле того или иного запомнившегося мотивчика, а в другом, более широком: «Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки» — в этой поэтической строке среди прозаического текста «Уроков музыки» Крымова, кстати, точно угадала будущую песню!

Рассказ этот о том, как муштруют новобранцев перед отправкой на фронт, пронизан изнутри идущей музыкой. Мелодии переплетаются, взаимодействуют, звучат то в унисон, то глушат одна другую. Встать! Лечь! По-пластунски! Брюхом к земле, так и так! — это одна мелодия, пронзительная, горькая, оглушающая, наполненная сопеньем, звоном, чавканьем осенней грязи под сапогами. Но не затоптана, еще звучит в юных душах иная музыка, едва слышная музыка домашнего тепла, музыка невозвратного. Музыка становится той силой, которая «командует людьми»; думаете, это по своей воле сержант Ланцов, обучающий новобранцев, вот-вот разразится непечатной бранью? Нет, это в его груди... «накапливается знакомый мотив», который спустя минуту-другую пойдет «разливаться по учебному полю». Новобранцы, в свою очередь, не просто «сопротивляются» грубости, униженьям — они ищут «гармонии», пытаются «примирить эти грязь и ожесточение, эти визгливые дикие

мелодии с иными нотами, еще трепещущими» в их душах. Но все ощутимее становится мотив, идущий из будущего — музыка передовой, «музыка атаки». Музыка судьбы...

Смысл ее можно понять лишь сквозь магический кристалл времени.

«Школяра» от описываемых событий отделяло пятнадцать лет. Теперь дистанция увеличилась более чем вдвое. По-другому стал видеться и герой. Отношение к нему в принципе не изменилось — появились новые ракурсы.

...От сержанта Ланцова вдруг приказание: вот вам десяток новеньких, позанимайтесь. Погоняйте-ка их строевым, понимаешь...

Молодой нерадивый боец Акаджав ошарашен. Как, почему? Ланцов не шутит? Перед ним — «десять стариков лет по тридцать пять». Особенно выделяется невоенным видом один, с красным увесистым носом на синем лице, ему под сорок.

И вот происходит превращение. Мальчишка, только что презиравший и ненавидящий Ланцова, начинает стремительно расти в своих глазах и дорастает до... Ланцова же! «Убрать животы! Грудь вперед! Вы что, понимаешь, игрушки играть? Мать, мать!..» Не только ланцовские замашки и интонации, но и взгляд совершенно сержантский. «Подтянись! — кричу тому, с красным носом: из-за него теряется строгая линия»... «Сутулый, в грязных ботинках пожилой обозник... Ты у меня досмеешься...» И вот уже отыскано место на плацу — самое истоптанное, где мокрый снег перемешан с грязью, и громогласная команда: «Ложись! По-пластунски, марш!» А о чем же он думает, новоиспеченный командир? Ему грезится лицо чуть ли не самого бога — лейтенанта Федоринина, озаренное улыбкой, как бы посрамляющей сержанта Ланцова.

Вам он несимпатичен, этот халиф на час? Все правильно. Но... Читая этот эпизод, испытываешь не отвращение, а понимание. Потому что он пронизан иронией, потому что автор не дает забыть, что речь идет о семнадцатилетнем «петушке», который оттого и петушится, что сам чувствует себя петушком: только и следит — не смеются ли над ним?..

Окуджава спустя сорок лет вовсе не склонен обелять себя в этой ситуации, наверное, ему что-то пришлось перебороть в себе — ведь психология-то холопская, как ни крути! — но, разоблачаясь так перед читателем, он, Окуджава, тем самым предлагает и ему, читателю, быть столь же откровенным перед самим собой, внимательно вглядеться в собственную душу, а уж потом решить: судить ли обвиняемого по строгости закона? Или отпустить с миром, пусть учится уму-разуму?

Речь идет о таком прекрасном человеческом понятии, как с н и с х о ж д е н и е. Надо было, я думаю, многое понять в людях, чтобы, во-первых, признаться в этом грехе, во-вторых, его отпустить.

...Растет дистанция — иным становится сектор обзора. Видишь уже все поле, а не только фигурку на нем. Если автор «Школяра» — воспользуемся вновь музыкальной терминологией — слышал в основном все-таки «партию» главного персонажа, то нынешние его рассказы обрели подлинное многоголосие. В «Уроках музыки» партия Ланцова или «красноносого» столь же полнозвучна, как и партия юного Окуджавы.

То же можно сказать и о персонажах «Девушки моей мечты». Время действия рассказа обозначено точно: 1947 год. Двадцатидвухлетний студент Тбилисского университета встречает маму, с которой был в разлуке десять лет.

«Было несколько фотографий... Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный».

Перед нами опять-таки герой по-человечески очень понятный. Читателю как бы ничего не стоит поставить себя на его место. Вот он мчится на вокзал и, понятно, испытывает страх: не узнать маму в вокзальной толпе, н е р а з г л я д е т ь ее в какой-нибудь старушке. Вот он мечтает, как в первый же вечер одарит ее самым прекрасным — фильмом «Девушка моей мечты» с ослепительной Марикой Рёкк в главной роли... Удивляет, правда, некоторое, что ли, прекраснодушие, понынешнему — инфантильность в человеке, видевшем войну и смерть. Но ведь Окуджава сам замечает, что «что-то такое неосновательное просвечивало» в нем, «как ни странно». Так что ему виднее...

Встреча оказалась совсем иной, чем рисовалось воображению. Мама — сильная, загорелая, молодая, вовсе не старушка. Но странно она реагирует на то, что происходит. Вернее, никак не реагирует. «И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными... Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице».

Окуджава подробно рассказывает о своих мыслях и переживаниях, но — никаких объ-

яснений тому, что происходит с мамой, что творится в ее душе. Лишь констатация: вот она сидит, вот как будто слушает, кивает. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь. Переспросила — она все время переспрашивает...

Он не объясняет — надо ли объяснять? Эта пропасть не между мамой и сыном — между жизнями. Той и этой. Это разные жизни, они несовместимы. Что ее сын может знать про там? Она смотрит фильм — и не видит. Не понимает. Сидит, опустив голову. А ее сыну, вскруженному радостной мечтой осчастливить маму, поскорей вернуть ее к этой жизни, в голову не могло прийти, каким жестоким кощунством выглядит ослепительный карнавал, если смотреть на него из той жизни.

Этот рассказ, написанный не без иронии (не знаю, можно ли назвать самоиронией иронию, обращенную на себя, но с расстояния почти в сорок лет),— обжигает. Заставляет задуматься об очень многом. И о цене счастливого неведения. И о совести. И о вине. И о том, что в любые времена человеческое в человеке все-таки неистребимо. В рассказе есть еще один персонаж — Меладзе, тихий и непонятный человек, сосед Окуджавы по квартире. Мы ничего не знаем о его судьбе, можем лишь догадываться, что беды тех лет и его не обошли стороной. Но его почти бессловесное присутствие в рассказе необходимо, оно придает происходящему иное измерение. Вдруг мы начинаем смотреть на ситуацию его, этого Меладзе, глазами: они оба, и мама и сын, нуждаются в помощи, и той и другому надо помочь преодолеть эту пропасть. Чем тут поможешь? Только участием. Но это, оказывается, так много! Рассказ этот еще и гимн Судьбе, ее неисповедимым путям, той щедрости, с которой она в нужную минуту подставляет плечо, на которое можно опереться...

Хочу остановиться еще на одном, вроде бы второстепенном мотиве. Переживая в душе будущую встречу с мамой, молодой герой думает так: «Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну, случилось, ну, произошло, а теперь мы снова вместе»... Действительно, зачем напоминать, бередить рану?.. Но вот, уже пережив первые часы встречи, заглянув в мамины невидящие глаза, он — не без нетерпения — думает: «Пора забывать».

Молодое нетерпение можно простить. И все-таки эти два слова режут слух, они жестоки. Почему? Разве маме и в самом деле не надо напрячь душевные силы и поскорей отряхнуться от того, что уже позади, во имя продолжения жизни? Отряхнуться, отрешиться, не вспоминать... Где милосердие — в памяти или в забвении?

Окуджава не дает прямого ответа. Но, думаю, он был бы примерно таков: милосердие в том, чтобы не решать за других, чтобы предоставить им самим отвечать на вопрос, где милосердие. «Пора забывать» — это чужой голос, голос неведения. Нынче мы постигаем, какой ценой оборачивается предписанное беспамятство.

...В названии «Искусство кройки и житья» Окуджава явно обыгрывает строчку из своей песни «Старый пиджак». Помните: «Сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья»? Да и содержание рассказа невольно вызывает ассоциацию с той давней песней: не пиджак, правда, но пальто из настоящей кожи сулит герою решительный поворот в его жизни. Подобно бессмертному гоголевскому герою, во сне и наяву он видит это пальто и буквально заворожен возможностью осуществления идеи, предложенной его товарищем.

50-й год, зима, деревня в Калужской области, где Окуджава учительствует. На нем — «пальто из отрубей», которое хоть и спасает от морозов, но выглядит весьма своеобразно, напоминая двустворчатый шкаф, выстроенный из плохо обработанной листовой фанеры. И вот в доме некоего Сысоева, к которому «по сердцу ли, по одиночеству, но потянулся» молодой сельский учитель, под хруст огурчиков и аккомпанемент метели рождается замысел: как им вдвоем практически за бесценок обзавестись пальто «из настоящего шевра».

«Неужели,— сокрушается автор по поводу своего тогдашнего безумного состояния,— я и впрямь был так жаден и завистлив, и внешнее убранство играло такую роль в моей жизни?» И чуть дальше, как бы отвечая давним упрекам в адрес школяра, чересчур озабоченного незначительными материями, уже вполне серьезно пишет: «Теперь я думаю, что несоответствие меж нищенскими обстоятельствами... и открывшиеся вдруг возможности, их головокружительная близость — все это и вызвало во мне позорную на нынешний взгляд лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен...»

Однако вряд ли ради таких сентенций или описания трогательно-забавной истории, пусть и насыщенной узнаваемыми приметами тех лет, Окуджава стал бы сейчас ворошить память. О чем на самом деле этот рассказ, обнаруживается лишь в последних эпизодах, с того момента, как над головой героя (они с Сысоевым зашли в привокзальный ресто-

ран, чтобы утешить себя после крушения затеи) раздается: «Ваши документы, гражданин...»

Повинного лишь в том, что за кем-то что-то записывал, Окуджаву на ночь запирают в милиции. Здесь ироническая улыбка улетучивается с лица автора. Все выстраивается в совершенно фантастический, но оттого и неопровержимый ряд: и то, что родители осуждены, и то, что записывал, и то, что подозрительно трезвый, и то, что заказывал экзотический по меркам нормального гражданина напиток — ликер... Все очевидно — шпион!

Можно забиться в глухую деревню, обо всем забыть, по-соседски коротать вечера в теплом доме, можно, наконец, с головой погрузиться в какую-нибудь заботу — и все это на поверку окажется камуфляжем, скрывающим подлинное лицо жизни тех лет — лицо, искаженное страхом. Неважно, беспечностью, преданностью ли вождю или неусыпной бдительностью он притворяется. Сила страха так велика, что вчерашний щедрый компаньон, товарищ простой и надежный, увидев Окуджаву (его, по счастью, отпустили), испуганно отрекается от знакомства.

Кончается рассказ чисто по-окуджавски. Оценивая всю эту историю уже из нашего времени, автор замечает: «А может быть, окажись я тогда на вокзале в черном кожаном пальто,— неизвестно, где бы я сейчас находился. А тут корявый пиджачок, какие были на всех, стоптанные башмаки... Чего с меня взять? Верно ведь?..»

Все к лучшему в этом лучшем из миров... Не улыбайтесь — это действительно философия Окуджавы. Философия Надежды.

...Так откуда же все-таки этот дар — утешать? Его музу и впрямь легче всего представить себе в наряде сестры милосердия — муза милосердия... Откуда это?

От душевной открытости, конечно. Но не только. За его сочинениями стоит судьба. Не просто его, поэта, личная судьба, некоторые реалии которой открывает его автобиографическая проза — судьба народная. Тех, кому школярами довелось отправиться на передовую, познать горечь насильственных утрат и разлук, тяжесть звания детей врагов народа. Ни одна из общих бед не обошла автора любимых нами песен, все они так или иначе коснулись его судьбы, опалили его душу. «А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она».

Так поется в его песне.

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

★

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

К вопросу о милосердии, о котором напомнил Д. Гранин

Случилось так, что статью Даниила Гранина «О милосердии» («Литературная газета», 18 марта 1987 года) я читал, ожидая приема в поликлинике. Напротив меня в углу сидел пожилой человек; видимо, на строгой диете: он взглянул на часы, извлек из целлофанового пакета бутерброд и начал есть. Из кабинета вышла сестра, лицо старика приобрело виноватое выражение, я тоже решил, что сейчас будет нагоняй.

— Хотите чаю? — участливо спросила женщина.

Чай вскоре появился, а я думал о том, как по-разному ведут себя люди. К сожалению, чаще сталкиваешься с тем, о чем пишет Гранин,— с равнодушием, отсутствием милосердия, откровенной злобой.

Почему так? Кто виноват? Другого ответа не знаю — мы сами виноваты в падении нашей нравственности. Наркоманию не спишешь за счет пережитков капитализма. Как и пьянство в среднеазиатских республиках, где Коран испокон веку предписывал сухой закон.[1] И дефицит милосердия, как убедительно показал Гранин,— порождение наших дней.

Статья Гранина вспомнилась, когда смотрел латышский документальный фильм «Легко ли быть молодым?». Многие эпизоды этого фильма — не сыгранные, а увиденные в жизни — говорят о том же: мы сами создаем условия для порочного поведения подростков. Мальчишки варварски разгромили вагон электрички — перед этим их до умопомрачения взвинтил концерт рок-музыки. Так почему мы так усердно пичкаем ребят этой отравой, отключающей интеллект, заставляющей дергаться как в наркотическом трансе?

Это настолько чудовищно, что я могу понять Гранина (хотя он не прав), когда он утверждает, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль, что это чувство врожденное и лишь атрофируется вследствие неупражнения. Я не верю в существование хромосом или генов добра. Добро — продукт истории. Зло возникает само собой, а добро надо прививать.

Спор это давний — каков человек по своей природе. Руссо уверял, что человек рождается добрым (и свободным), а общество заключает его в оковы, толкает его на дурной путь. Преобразуйте общество — исправится человек. Мы коренным образом перестроили общество, но нравственной ситуацией не удовлетворены. Кант возражал Руссо и утверждал, что человек по природе зол (хотя обладает задатками добра), добрым его делает воспитание, в ходе которого выявляются и развиваются добрые задатки. Так было с человечеством, так происходит с каждым индивидом. Руссо был убежден в существовании «золотого века» на заре человеческой истории, утерянного в ходе развития. По Канту, первобытный человек — злой дикарь. Именно зло — низменные инстинкты, себялюбие, корыстный интерес, тщеславие были движущими импульсами прогресса, в ходе которого возникла его хрупкая противоположность — добро.

Если верить Гегелю, то существование добра как такового открыл Сократ, «изобретатель» морали. «Афиняне до Сократа были нравственными, а не м о р а л ь н ы м и людьми». В широком смысле нравственность и мораль — синонимы, Гегель вложил в эти термины узкий смысл и противопоставил их: нравственность «наивна» (то есть естественна), это поведение без рефлексии по поводу добра; в морали преобладает субъективная сторона, осознание того, что добро есть нечто вечное, само по себе сущее.

Иными словами, можем мы уточнить,

нравственность корпоративна, это принципы поведения социальной группы, основанные на нравах, традиции, договоренности, общей цели. Мораль общечеловечна, она включает в себя постулаты индивида, осознающего себя в своих поступках частью человеческого рода. Мораль — это абсолютная нравственность, единая для всех, безусловное служение добру.

К сожалению, большинство наших этиков проходят мимо такого различия. А если не проходят, то почему-то перевертывают значение терминов. В «Словаре по этике» читаем: «В советской этике наряду с отождествлением понятий морали и нравственности существуют и другие точки зрения... Мораль — это регуляция поведения посредством строго фиксированных норм, внешнего психологического принуждения и контроля, групповых критериев, общественного мнения. Нравственность же — сфера нравственной свободы личности, когда общественные и общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами, область самодеятельности и творчества человека, внутреннего самопринуждения благодаря личной сознательности, переходящего в склонность и спонтанное побуждение творить добро».

Дело не в словах. Можно, конечно, договориться, что с завтрашнего дня синее будет называться красным, и наоборот. Но зачем? Во избежание путаницы лучше следовать терминологической традиции.

Нравственность возникла одновременно с человеком и принимала подчас аморальные формы. Убийство престарелых и больных, каннибализм — нравственные нормы первобытного общества. Мораль более позднего происхождения. Она не устраняет сама по себе уродливых форм нравственности. В развитом, цивилизованном обществе может существовать нравственность, лишенная морали. Пример — фашизм. Коммунистическая нравственность покоится на моральном фундаменте. Без этого фундамента она — колосс на глиняных ногах. Не усвоив арифметики, нельзя устремляться в высшую математику. Так и здесь надо начинать с моральных азов.

Азы, а за ними — вся культурная история общества. Сначала элементарные запреты (вершить злое), затем повеления (вести себя достойно) воспитывали человечество к добру. Каждое поколение усваивало опыт предыдущего, постигая ту истину, что взаимная ненависть непродуктивна, что человек человеку — не волк. Помимо практических были и чисто духовные стимулы этического прогресса. О них и будет идти речь.

Воспитанию морали в течение веков способствовала (тут у меня дрожит рука, когда вывожу это слово) религия. Дрожит не от неуверенности, а потому, что я предвижу гнев наших «научных» атеистов, готовых предать анафеме за любое доброе слово о роли религии. Придется сразу же спрятаться за авторитет. В. И. Ленин внимательно конспектировал работу Фейербаха «Лекции о сущности религии», где наряду с прочими корнями религии отмечается и ее связь с моралью. «Христианство *из морали* сделало бога»,— написано рукой Ленина. Только вульгарное безбожие, чуждое марксизму, отрицает связь религии и морали. Религия настолько монополизировала сферу морали, что в течение длительного времени эти два слова были равнозначны. Бейлю в XVII веке приходилось доказывать, что и атеист может быть моральным. А теперь наши «научные» атеисты делают вид, что этого не было, что религия не служила вековым символом духовного поиска и служения добру.

Вот почему я высоко ценю публицистический пафос романа «Плаха». При всех художественных слабостях, о которых много говорили и писали, роман сыграл положительную роль, введя проблему религии в наше массовое сознание, вернее, выявив, что она в нем существует, хотим ли мы этого или не хотим. Много вопросов, заданных Айтматову в ходе его выступления по телевидению, касалось именно религии. И он признал ее позитивную роль в формировании моральных устоев.

Непродуктивен и псевдонаучен тот атеизм, который в религии видит только результат страха и обмана, только средство угнетения, который вычеркивает религию из истории культуры. Ф. Энгельс отмечает: «С религией, которая покорила Римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей». И в другом месте: «Христианство, как и всякое крупное революционное движение, было порождено массами». Обратите внимание, не придумано для угнетения масс (как твердят все наши атеистические буквари), а порождено самими массами в революционных целях.

Конечно, религия — мнимое средство решения проблем, встающих перед человеком; говоря словами Маркса, «вздох угнетенной твари», «*опиум* народа», «иллюзорное солнце». Религия знала аморальные, порой изуверские формы нравственности — достаточно вспомнить костры инквизиции, религиозные войны. Но она же выступала и как форма революционной борьбы и как форма на-

учной, художественной, философской деятельности. Из истории культуры этого не вычеркнешь.

Тут необходимо уточнение. Термин «культура» многозначен, и во избежание недоразумения следует внести ясность в словоупотребление. Можно выделить по крайней мере четыре содержательных аспекта понятия культуры. Часто приходится слышать, что культура — это все созданное рукой и духом человека, «вторая природа», противостоящая первозданной, натуре. Такое понимание культуры вполне допустимо, хотя и неполно. Это этнографический аспект проблемы. Мы говорим: культура майя, культура скифов, подразумевая все созданное народом во взаимодействии с окружающей средой. В этнографии сколько народов — столько культур.

Далее, политический аспект культуры. У Ленина читаем: «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова». А перед этим сказано: «Есть две нации в каждой современной нации...» Ясно, что Ленин в начале фразы употребляет слово «нация» в переносном значении, имея в виду разделение на эксплуататоров и эксплуатируемых. И термин «культура» употреблен здесь в смысле «политическая идеология». Ибо какая еще «культура» была у Пуришкевича? Прочтите всю ленинскую статью «Критические заметки по национальному вопросу», откуда взята цитата. Вся статья направлена против бундовцев, стремившихся закрепить национальную обособленность еврейского пролетариата. Ленин показал вред лозунга «национально-культурной автономии» делу социалистической революции. Утверждая, что лозунг национальной культуры неверен, Ленин имел в виду только политический аспект проблемы, культура здесь синоним идеологии. Внутри буржуазной нации не может быть единой идеологии, в борьбе за власть класс противостоит классу и ищет соратников у братьев по классу другой нации, другой культуры.

После революции пролеткультовцы заявили, что их задача — «творчество новой пролетарской классовой культуры». Ленин на это ответил иронически: «Ха-ха». Потому что речь в данном случае шла не о политических делах, а об усвоении технических достижений прошлого, знаний, навыков, национальных ценностей. Ленин требовал, отвечая Пролеткульту: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм», и в другом месте: «...взять всю буржуазную культуру себе». Здесь у Ленина речь идет о культуре в социологическом и философском смысле. И это главные аспекты проблемы.

Дело в том, что человек может делать свое дело хорошо, а может — из рук вон плохо. Идешь по обработанному полю, а оно заросло сорняками. Это тоже дело рук человеческих, но разве это культура? Только хорошо сделанное дело можно назвать культурой. Мы говорим о культуре производства, имея в виду высокий профессионализм. Таков социологический аспект проблемы. В социологии под культурой понимают безупречное функционирование социального организма.

Но возможно возражение: безупречный профессиональный уровень дела не мешает творить зло, не устраняет социальной несправедливости. Со знанием дела организованное уничтожение людей — разве это культура? Поэтому приходится ввести еще одно ограничение, толковать культуру предельно узко как деятельность, отмеченную для человека знаком плюс, освещенную и освященную высоким идеалом. Культура служит благу человека, это реализованные ценности, в первую очередь ценности общечеловеческие. Таково философское понимание культуры.

Сегодня оно особенно важно. М. С. Горбачев нам напомнил: «В. И. Ленин в свое время высказал мысль колоссальной глубины — о приоритетности интересов общественного развития, общечеловеческих ценностей над интересами того или иного класса». Действительно, у Ленина сказано предельно ясно: «С точки зрения основных идей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата». Культура — это преодоление партикуляризма и эгоизма, ее сердцевина — гуманность.

Во всех названных четырех аспектах культурного развития религия оставила свой след. Она влияла на культурный облик народа в целом и на классовые антагонизмы (выступая и на стороне угнетенных и на стороне угнетателей, чаще от имени последних), влияла на социальное устройство и особенно на формирование общечеловеческих ценностей. Христианская религия заявила о равенстве всех перед богом: «нет ни эллина, ни иудея», есть люди как таковые.

Религию нельзя ни игнорировать, ни запретить. Я опять процитирую Энгельса: «Единственная услуга, которую в наше время можно еще оказать богу,— это провозгласить атеизм принудительным символом веры». Религия изживает себя, ее время ушш-

ло, но опыт остался. Религию надо не отменить, а превзойти, «снять», то есть преодолеть, усвоив все ценное.

Какое ценное? Чем «полезна религия»? Ну хотя бы тем, что оставила нам Библию — один из великих памятников мировой культуры и литературы в частности. В первом томе «Истории всемирной литературы» много и хорошо написано об этом литературном памятнике. Но где прочитать его? То, что мы лишены возможности читать Библию — огромный пробел в нашем образовании, в нашем культурном бытии. Почему Коран дважды выпущен издательством «Наука», а Библия публикуется только для служебного пользования (я имею в виду церковную службу)? Почему наши дети должны знать амурные похождения бога Зевса, к морали ну никакого отношения не имеющие, а об искушениях Христа, о его жизни и смерти мы им не рассказываем? Кстати, в ГДР Библию переиздают, и ее можно купить свободно.

Половина картин в Третьяковской галерее написана на библейские сюжеты и непонятна тем, кто их не знает. Перед древними иконами (в том числе перед «Троицей» Рублева) мы вообще стоим как истуканы. А как без Библии понять Достоевского? На Первом съезде советских писателей Горький в числе других имен упомянул Екклесиаста, многие ли из нас читали этого автора? А «Песнь песней»? Да наконец десять заповедей, одну из которых недавно процитировала «Правда»: «Древний закон — «Чти отца и мать своих» искоренять недозволительно». А вот что сообщает «Карманный словарь атеиста»: «Так как значительная часть Ветхого завета была написана в период господства рабовладельческих общественных отношений, то в нем нашли отражение требования: ,,не кради'', ,,не желай дома ближнего твоего'', ,,не желай жены ближнего твоего''» и т. п. Чушь какая-то: за пределами рабовладения, значит, можно было воровать, прелюбодействовать и т. п. Так, что ли?

«Чти отца...» А если отец нарушает законы и моральные установления, все равно его чтить? В фильме «Плюмбум, или Опасная игра» подросток ловит папу на браконьерстве. Доставляет в отделение. Составляет по форме протокол и определяет меру взыскания. С точки зрения права поступок правомерен, но он аморален по сути своей, и авторы без труда убеждают нас в этом. Плюмбум — свинец, металл податливый, ему легко придать любую форму. Так и носитель этого прозвища — крепыш физический, чего не скажешь о его духовной структуре, нет в ней какого-то стержня человечности. Любой ребенок — как свинец, ориентиры его нетверды, а у этого они совсем зыбкие. Разочарование в отце — трагедия для детской души. Но судить того, кто дал тебе жизнь — не твое дело, пока ты не созрел как личность, как гражданин.

Жизнь полна противоречий, ребенку не совладать с ними, он должен знать свои азы и держаться их неукоснительно. Диалектика придет позднее, она научит совмещать противоположности, видеть абсолютное в относительном. Не случайно есть понятия совершеннолетия, вменяемости, ответственности. Право судить дано только морально сформировавшемуся человеку.

В фильме «Покаяние» сын тоже судит отца. Сын — не мальчик, у него собственный сын. Оба восхищались отцом и дедом. Но вот выходят наружу злодеяния покойного. Первым не выдерживает внук — лишает себя жизни. Потрясенный отец рассчитывается по-своему с отцом — извлекает прах его из земли и средь бела дня выбрасывает на свалку. К счастью, все эти ужасы только в воображении героини. Жертва злодеяний, она вяло мечтает о всеобщем покаянии, но в действительности ничего не происходит. Все по-прежнему: и улица, на которой она живет, носит имя злодея, и она произносит спокойно ненавистное имя, и не протестует, когда в ее присутствии возносится хвала преступнику. Герои фильма пасуют перед случившимся, но не сам фильм — он заставляет думать и указывает путь мысли.

Конечно, проблема отцов и детей сложнее библейской заповеди. И нельзя прошлое просто выбросить на помойку, забыть его. Прошлое живет в нас; рассчитаться с ним надо по достоинству — назвать злом зло и усвоить добрую традицию, а главное — в собственном поведении следовать моральным заповедям, среди которых «чти отца...» по-прежнему остается одной из основополагающих.

В будущем году исполняется тысяча лет крещения Руси. Неужели мы пройдем мимо этой даты, которая означает и тысячелетие нашей грамотности? 800-летие «Слова о полку Игореве» отмечал весь мир. Между прочим, не секрет: и по сей день существуют скептики, отрицающие подлинность «Слова...», утверждающие, что это подделка родом из XVIII века. Такой версии придерживался не только французский славист А. Мазон, но и наш кропотливый исследователь А. А. Зимин. Мне как-то довелось слушать его выступление, в котором он выстроил целую цепочку аргументов в пользу своей гипотезы. Был среди них и следующий: как могло возникнуть гениальное «Слово о пол-

ку Игореве», когда до него в русской словесности ничего значительного не было, на пустом месте ничего возникнуть не может. Я спросил мнение западно-германского слависта Л. Мюллера, что он думает по этому поводу. «Как ничего не было? какое пустое место? — возмутился он.— А «Слово о Законе и Благодати» Илариона?». Он дал мне свой перевод «Слова», возникшего за сто лет до песни о походе Игоря. Было дело в Тюбингене, к стыду своему, здесь я, русский профессор, на шестом десятке своей жизни впервые прочитал по-немецки эту подлинную жемчужину древнего ораторского искусства. В Киеве недавно памятник издан на языке оригинала, ну а где прочитать его на современном русском языке? Нет его ни в соответствующем томе «Библиотеки всемирной литературы», ни даже в десятитомном издании «Памятники литературы Древней Руси». Недавно Институт философии АН СССР выпустил на ротапринте перевод «Слова о Законе и Благодати» ограниченным тиражом для нужд научной работы. Пора подумать о массовом издании.

Это еще одна недопустимая культурно-историческая лакуна. Мы не знаем, с чего начинались наша литература и наша философская мысль. А мысль Илариона бьется напряженно, предвосхищая на много веков этические искания западно-европейского Просвещения и всей русской философии.

Одна из центральных проблем, проходящая красной нитью через отечественное философствование — все та же проблема корпоративной или абсолютной нравственности. К выполнению предписаний первой можно принудить, моральным человек становится по внутреннему повелению. У Илариона эта проблема принимает форму противостояния «благодати» «закону». В «Слове...» сказано: «Образ закона и благодати — Агарь и Сарра». Тут опять без Библии не обойтись. Иларион имеет в виду притчу о двух женах Авраама — рабыне Агари и свободной Сарре. Человек должен вести себя не как раб, повинуясь приказам, а как свободное существо, следуя по собственной воле моральным принципам. Сначала родила Агарь, потом Сарра, «рабыня прежде, потом свободная» — к этой аллегории прибегает Иларион, чтобы передать мысль о развитии нравственности: на смену жестким предписаниям закона приходит свободное волеизъявление.

Проблематика Илариона возродится через восемьсот лет в трудах Лессинга, Канта, раннего Гегеля. «Воспитание человеческого рода» Лессинга — это сто тезисов о нравственном прогрессе человечества. Различные типы верований являются продуктом определенных исторических эпох. Род, как и индивид, имеет три возраста. Детству человечества соответствует Ветхий завет, юношеству — Новый завет. Грядет зрелость — «эпоха нового, вечного Евангелия», когда мораль станет всеобщим, безусловным принципом поведения.

Откровения Ветхого завета говорят о грубом духовном состоянии мира, когда воспитание возможно только путем наказаний и наград. В юношеском возрасте нужны иной учитель и иные способы воспитания: христианство апеллирует к высшим мотивам поведения, это более высокая ступень духовного развития, хотя и не последняя. Лессинг убежден в том, что рано или поздно человеческий род достигнет высшей ступени совершенства и нравственной чистоты, когда мораль не будет связана с верой в бога, когда человек «будет творить добро ради добра».

Лессинг издавался у нас многократно. Но почему в наших изданиях отсутствует «Воспитание человеческого рода»? Откуда эта лакуна? Мне довелось иметь отношение к выпуску последнего однотомника немецкого просветителя (М. 1980), я настаивал на включении в него «Воспитания...», говорил о том, что Лессинг не считает христианскую позицию совершенством, в ответ услышал следующее: не надо привлекать внимание к религиозной проблематике.

В XVIII веке уже оказалось возможным отделить мораль от религии, и Кант сделал это. Впервые была выдвинута концепция автономной морали, возникающей не по велению бога и не из разумно понятых эгоистических интересов. Категорический императив Канта — безусловное требование в любых ситуациях выполнять моральный долг. В любой конкретной ситуации добро отличается от зла, как белое от черного. Критерии здесь абсолютны и очевидны. Зло есть зло, даже если все злы, а добро есть добро и в том случае, когда никто не добр. Откуда взялась чудесная способность творить добро, Кант не знал и поэтому вспоминал о боге как о моральном постулате, как средстве воспитания к добру.

Это давало повод для обвинений Канта в том, что он не порвал до конца с богословской этикой. Шопенгауэр сравнивал Канта с человеком, который на маскараде ухаживает за прекрасной незнакомкой с целью добиться взаимности. В конце вечера дама снимает маску и оказывается его женой. Кант, мол, пообещал построить нравственность без бога, но все его словесные упражнения представляют собой маску, за ко-

торой скрывается привычное лицо религиозной морали.

Я назвал имя Шопенгауэра и подумал, ведь это тоже пробел в нашей культуре, да какой! Мы не только его не знаем, не публикуем, но и оплевываем. В единственном у нас курсе истории западной философии XIX века речь идет о «деструктивной миссии» Шопенгауэра, ничего не имевшего за душой, кроме «ядовитого остроумия и аристократического цинизма». Непонятным остается, почему увлекался Шопенгауэром Толстой?

А дело в том, что Шопенгауэр — выдающийся этик. Его перу принадлежит трактат «О фундаменте морали», в котором он дал острую критику нравственного учения Канта (приведенная выше острота оттуда). Шопенгауэр выступал не с религиозных позиций, он указал на вполне земной, эмпирический корень морального сознания, каковым является то самое сострадание, милосердие, на недостаток которого в нашей жизни с горечью обратил внимание Гранин. По моему разумению, этот трактат надо издать у нас массовым тиражом — будет только польза.

«Милость к падшим» — как тонко и глубоко выразил Гранин в этих пушкинских словах этический смысл романа «Тихий Дон». А «Фауст», а «Мастер и Маргарита» разве не об этом? Роману «Плаха», кроме всего прочего, не хватает пафоса прощения. Герой финала Бостон неточным выстрелом в волчицу убивает сына. Страшнейшее душевное потрясение. Что происходит дальше? Бостону мало одной смерти, он убивает чабана, укравшего в свое время у волчицы детенышей. Это даже не месть, ибо прямой вины чабана за случившееся нет. Бостон просто вымещает на другом свое горе.

Мы действительно стали немилосердны. Да и откуда взяться милосердию, когда нас в течение многих лет учили: если враг не сдается, его уничтожают. (Когда враг сдавался, его тоже уничтожали и потенциальных врагов заодно, счет шел по-крупному.) Милосердие равносильно измене! Нас убивают — мы убиваем. В жизни и в искусстве. Говорят, что на наших кино- и телеэкранах убито больше, чем за всю историю войн. Какое там «не убий!». Школьник может убить с холодным сердцем и спокойной совестью (об этом информирует «Комсомольская правда»). Исчезает понятие о святости жизни. Размывается представление о таинстве смерти. Смерть — медицинский факт. Все равно, кого потрошить — курицу или человека. Самые страшные кадры фильма «Легко ли быть молодым?» — юный преуспевающий прозектор за работой.

Вернемся, однако, к Шопенгауэру. Он подметил слабое место у Канта — неудаленную пуповину христианства, но не обратил внимания на сильную сторону — исторический пафос: мораль не дается человеку (виду и индивиду) сразу, ее надо пестовать. Синтез двух крайних позиций был неизбежен, его осуществил — мы можем гордиться этим — наш соотечественник Владимир Соловьев.

Вот уж кому не повезло в нашей нынешней истории философии, так это Соловьеву. Стихи его изданы полностью, а из теоретических трудов — буквально несколько строк, и это потеря огромнейшая. Сколько защищено ученых диссертаций, чтобы доказать, что Соловьев как мыслитель — полное ничтожество, реакционер и мракобес. А ведь это сплошная неправда.

Соловьев был глубоким и независимым мыслителем. Он выступал с решительной критикой позитивизма, рационалистического идеализма, ницшеанства и декадентства (когда один идеалист критикует другого, выигрывает, как известно, материализм!). Он поднимал смело свой голос и против правительственных насилий. С детских лет запало в его душу возмущение расправой над Н. Г. Чернышевским. В конце своей жизни он вспоминал об этом в статье «Н. Г. Чернышевский», где отверг версию о судебной ошибке: «...В деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов». Известна положительная рецензия Соловьева на книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительной жизни». Широко известен протест Соловьева против казни первомартовцев.

Нас в данном случае интересует Соловьев как моралист. Его главный труд «Оправдание добра» — одно из великих сочинений в истории этики. Соловьев показал, что шопенгауэровское сострадание (милосердие) — важный, но недостаточный фундамент морали. Можно сострадать ближнему, но быть пьяницей, развратником, бездельником. Поэтому на первое место Соловьев ставит чувство стыда, которое удерживает от аморального образа жизни. Итак, стыд и жалость. Но и этого мало. Соловьев называет третье обязательное условие морального фундамента, предпосылку добра — благоговение. Радостное чувство, что высшее добро есть, увлекает тебя к нему вверх, вперед, прочь от

обывательских дрязг и мерзости аморализма, наполняет смыслом твое бытие.

Переживание стыда, сострадания и благоговения — вот три кита морали. Соловьев строит еще одну триаду, обнажающую структуру морального воспитания. Во-первых, сознание моего морального несовершенства, во-вторых, наличие объективного, вне меня существующего абсолютного добра, в-третьих, мое стремление к нему приблизиться, мое совершенствование.

Вторую позицию Соловьев называет богом (бог — не причина, а рабочий инструмент морали!) — вечно сущим, высшим добром. Дело не в названии. Важно понять, что без признания морального абсолюта никакие императивы не работают, неизбежно возникает нравственный релятивизм и конформизм, принципы приспосабливаются к обстоятельствам. Моральный же человек творит добро независимо от обстоятельств.

«Спешите делать добро!» Москвичи знают это изречение: оно выбито на памятнике Ф. П. Гаазу, «святому доктору» Москвы, тюремному врачу, жившему в прошлом столетии, который служение добру сделал своим основным занятием. Он любил людей и стремился как мог облегчить участь тех, кто в этом нуждался. О нем писали Достоевский (в «Идиоте») и Герцен (в «Былом и думах»), и это характерно — два антипода в политике сходились на признании добра самого по себе, видели в Гаазе олицетворение морального совершенства.

Религия без труда присвоила себе функции морали: человек искал, на что бы опереться в поисках и утверждении добра, религия подставляла ему опору — образ бога, носителя абсолютного блага и милосердия, благоговеть перед которым приучали с раннего детства. Красота ритуала, чувство сопричастности другим в совершении обряда — все это превращало религиозную веру в средство морального воспитания. Отрицать это нелепо. Как нелепо не видеть сегодня кризиса религии и уповать по-прежнему на нее.

Бог умер, сказано еще в прошлом веке (до Ницше на это обстоятельство обратил внимание Гегель), а без бога невозможна религия. Бога нет, но это не значит, что все дозволено. Бога нет, но каждый должен носить его в своем сердце — этот афоризм родился в наши дни.

Действительно, отвергая религию, мы не должны отбрасывать идею морального абсолюта, не должны забывать о благоговении. Соловьев писал: «...Я не могу не чувствовать и благоговения к тем людям, которые своими трудами и подвигами вывели мой народ из дикого состояния и довели его до той степени культуры, на которой он теперь находится». Чувство неоплаченного долга перед предками, «отцами» за переданную тебе культуру, положенное на чувство ответственности перед «детьми», потомками, стремление передать им культурную эстафету в сохранности, в обогащенном виде — вот основа морального поведения, повеления к добру.

Соловьев (как и Кант) не отрицает общественных корней морали. Более того, называет три социальных ячейки, три вида «собирательного человека», в которых проявляется моральное лицо индивида и которые формируют его. Это семья, народ, человечество. Рассмотрим их пристальнее.

Начнем с семьи. Примерно половина браков у нас — брак, неудачное начинание, завершающееся разводом. Мы судачим по этому поводу, но почти ничего не делаем для укрепления семьи.

Недавно состоялась телевизионная премьера кинофильма «Зимняя вишня». Десятки миллионов сразу увидели эту ленту. О чем она им поведала? Живет привлекательная особа с сынишкой без мужа. Имеет женатого любовника, но мечтает о семье. Однажды свои мечты она высказала вслух в присутствии некоего будущего кандидата наук. Тот возьми и поверь и предложи сразу свою руку. После очередной размолвки с любовником привлекательная особа решила ухватиться за эту руку. Будущий кандидат приглашен домой и точно обговорены с ним все детали будущей семейной жизни, и на «ты» перешли, и кровать на двоих постелена, но в последний момент кандидат в мужья, как гоголевский Подколесин, спасается бегством. Тут же возникает новый, почти «южноамериканский» вариант: не дипломат, но на загранработе, обаятельный и обходительный, он искренне влюблен в нашу даму, и сынишка ее к нему привязался. И вот он везет ее на заграничной машине из Ленинграда сначала в Москву, чтобы представить родным, а далее в Женеву, где его офис и квартира. Затем происходит невероятное. Я имею в виду не то обстоятельство, что отечественная малолитражка без труда обходит по скользкой дороге иностранный лимузин. И не то, что любовник запросто вытряхивает из лимузина на глазах изумленного жениха его невесту с сыном, чтобы увезти назад для продолжения раздвоенной жизни, какая была у них прежде. Невероятно то, что авторы фильма радуются этому обстоятельству, заставляя ликовать других персонажей фильма, приглашая миллионы телезрителей порадоваться вместе с ними. А радоваться-то ведь нечему. Вместо того чтобы попробовать

создать собственную семью, героиня будет опять разрушать чужую. Случиться в жизни может всякое, но оценка случившемуся должна быть четкой и однозначной. Ориентиры терять нельзя. В данном случае — это семья. Абсолют в малом. Неколебимый.

Абсолютное всегда существует в относительной форме, имеет свои исключения, знает свои границы. Иной раз сохранение брака — катастрофа бо́льшая, чем его расторжение. Но развод — всегда катастрофа.

Принудить к семейной жизни невозможно, но воспитать, самовоспитать себя можно. Показывали по телевизору четыре сценки, сыгранные по материалам реальных писем, поступивших в редакцию: в одном случае жена бросила мужа, увезла ребенка, отец стал пить, в другом — муж бросил жену, в третьем бабушка рассказывает, как воспитывает «подброшенного» к ней внука, а в четвертом — подросток клянет родителей, которые расходятся, не думая о детях. Потом «знатоки» (писатели и журналисты) «вели следствие», судили-рядили, говорили об эмансипации чувств, о капризах любви и о сложностях жизни, но никому не пришло в голову сказать, что семья — это безусловная ценность и надо воспитывать умение хранить ее. Любовь — это замечательно, но ведь бывают разные виды любви, и любовь-уважение, любовь-дружба, любовь-благодарность — не худшие из них. Такая любовь возникает только в ходе совместной жизни, существует искусство ее воспитания, специальная сфера социальной педагогики — терапия семьи. У нас она, увы, находится пока в зародышевом состоянии, и литературы на эту тему практически никакой. Опять-таки пробел в культуре.

Но на одной личной жизни построить жизнь нельзя. Человек рожден для общества, говорили еще в XVIII веке. И здесь вырастает новый абсолют — мой народ, на языке которого я говорю, чья культура сделала меня человеком. На пленуме правления Союза писателей СССР встал вопрос, можно ли гордиться своей национальной принадлежностью. Один скажет, я горжусь тем, что русский, другой — тем, что он грузин, третий — тем, что он узбек и т. д. Как бы не возникло тут какое брожение, не лучше ли отказаться от национального чувства.

Ни в коем случае. От того, что я горжусь своей семьей, люблю свою жену, свою мать, своих детей, возникает ли ущерб другим семьям? Нация, народ — это культурный организм, воспитывающий и налагающий обязанности. И тут также рождается облагораживающее чувство любви — патриотизм. Опять вспомню фильм «Легко ли быть молодым?». Что противопоставляют авторы фильма духовной растерянности современной молодежи? Национальные латышские традиции, восстановление памятников старины.

А я думаю об «Истории государства Российского» Карамзина. Не я один. Широкая общественность уже не рекомендует и не просит, а настоятельно требует скорейшего выпуска этого труда, который является гордостью русской национальной культуры. Его отсутствие — подлинное бедствие, с него, по сути дела, началась современная русская проза, современное русское историческое сознание, наш патриотизм, выраженный в слове. Любопытная деталь: любимый герой Карамзина — Иван III. Но как не щадит он своего героя. И его подданных: русские воюют против русских, Москва подчиняет Новгород — «с ожесточением, свойственным тогдашнему веку», пленным отрезают носы и губы. Прошло неполных четыре века. Как изменились нравы! Эпопея 1812 года. Карамзин хотел описать ее, но отказался от замысла. Это сделал Лев Толстой. Вторжение разгромлено, как ведут себя русские по отношению к поверженному врагу? «Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди»,— говорит, обращаясь к войскам, Кутузов. И не раз еще на страницах романа «Война и мир» мы встретим эту милосердную формулу — «тоже люди».

Национальный характер можно воспитать, а можно и испортить. Неужели именно это с нами и происходит? Статья Гранина заставляет задуматься. Впрочем, и роман В. Белова «Все впереди» говорит о том же — о трещинах в русском национальном характере. Герой романа разрушает семью, а потом только хватается за голову. Его приятель — мастер поскандалить, но не решить проблему. Неужели это русская интеллигенция сегодня? Страшно подумать.

Семья и народ — что возникает при объединении этих понятий? Семья народов — человечество. Это уже планетарный, можно сказать, космический абсолют. Сегодня нет сомнения в том, что общечеловеческие ценности приоритетны по отношению к любым другим. Марксисты говорят об этом во весь голос. В «Учредительном манифесте Международного Товарищества Рабочих», написанном К. Марксом в 1864 году, выдвинуто было требование «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами». Маркс писал это задолго до того, как появились средства уничтожить чело-

вечество. Сегодня, когда таковые объявились, его слова звучат как обращенный ко всем людям императив самосохранения. Простые законы нравственности абсолютны, это та общечеловеческая мораль, без которой невозможно общежитие ни в малом, ни в великом. Отношения между народами регулирует политика. Теперь ясно, что в большой политике без морали не обойтись. Без первой заповеди ее — «не убий!». Ибо речь идет о жизни на Земле.

Статья была в основном написана, когда мне довелось прочесть роман В. Тендрякова «Покушение на миражи» («Новый мир», № 4—5). Первоначально роман назывался «Евангелие от компьютера», в редакцию он поступил еще в 1979 году. (Я упоминаю это, чтобы отметить, что наша литература потянулась к Библии не только в последние годы.) У героя романа, крупного физика, нелады с воспитанием сына, короче говоря, он вырастил морального урода. Может быть, именно поэтому физик обращается к изучению истории христианства. Пять древних сказаний проходят перед нами. Первое — притча о Диогене, как бы предыстория Христа. В споре Диогена с Аристотелем возникает проблема, как вести себя человеку. Образ жизни киника бесперспективен: люди выродятся, и «будут выть волки в одичавших виноградниках». На это возражает Диоген: трудясь и соперничая, люди перегрызут друг друга, и будут те же волки в тех же виноградниках. Эту антиномию снимает Христос, творящий добро. Но люди предпочитают не добро, а предписание закона, Христа побивают каменьями (именно так, а не на Голгофе гибнет Иисус в «Евангелии от Тендрякова»). Опять антиномия. Но закон не всесилен: у вождя штурмовиков синедриона Савла просыпается совесть, и он становится апостолом Павлом. Это третье сказание. А в четвертом некий христианин, ученик Павла, безуспешно пытается наладить хозяйство в разваливающейся римской латифундии, в результате — восстание рабов и зверское его подавление. Столь же печально кончается и последняя притча: автор «Города солнца» Томмазо Кампанелла попадает в свое утопическое государство. Его сразу же сажают в темницу, где находится уже и верховный правитель соляриев: равенство привело к безделию, отсюда падение производства, всеобщая нищета, ненависть и необходимость насилия, жертвой которого пали и исполнитель проекта и его автор.

Утопии опасны — можно сделать вывод. Экономика к ним отношения не имеет. Что касается морали, то она существует сама по себе. В публичном доме (Б. Брехт. «Трехгрошовая опера») можно заявить: сперва жратва, мораль потом. Но только в публичном доме. Там, где человек уважает себя, он выражается и ведет себя иначе, не соотносит «жратву» и мораль, сиюминутное и абсолютное.

Роман Тендрякова кончается тем, что герой принимается за воспитание внука, брошенного своим отцом. Сын не удался, пусть будет внук.

В этом есть символический смысл: мы недовольны самими собой и своими детьми, но к следующему поколению пока претензий быть не может, судить его рано.

И мы надеемся, мы верим: внуки наши, созревшие уже в третьем тысячелетии, в мире без войн и самоубийственного оружия, шагнувшие еще дальше в космос, будут достойны новой эпохи.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Петрова. Будем помнить.— **Адольф Урбан.** «Жизнь, а не роль».— **Аркадий Гаврилов.** Биография и судьбы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

К. Челищев. На пути в незнаемое.— **Петр Черкасов.** Не только пропаганда.

Литература и искусство

БУДЕМ ПОМНИТЬ

А. Никольская. Передай дальше! «Простор», 1986, № 10.

Сегодняшнему читателю приходится изрядно потрудиться. Вспомним только хотя бы газеты с их обильной информацией... А сколько острейших проблемных материалов: статей, очерков, публицистики предлагает периодика, толстые и тонкие журналы. Похоже на состязание: «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Огонек», «Век XX и мир» (и не только они!) выпускают один за другим номера, которые хочется читать от корки до корки. При этом, естественно, впечатления определяются прежде всего уровнем прозы. А здесь несомненное лидерство захватили романы и повести, долгие годы буксовавшие на пути к читателю. Многие из этих произведений, как заметил недавно Игорь Дедков, противостояли в жизни тому, что «корыстно торжествовало... Противостояли, опираясь на острейший драматический материал, на созидание истории, все еще не остывшей, обжигающей...».

Автобиографическая повесть Анны Борисовны Никольской «Передай дальше!» именно из такой прозы. События в ней относятся к 30—40-м годам, действие развивается в одном из лагерей для заключенных, затерянном в глубине Сибири. И хотя стилистика вещи сурова, а отраженный в ней лагерный быт предстает во всем своем трагизме, читаешь ее с ощущением не только горечи, но и с удивлением, восхищением тем мужеством, благородством, которые способен сохранить в себе человек, до конца оставаясь интеллигентным, великодушным, твердым духом. Да что там сохранить — казалось бы, аккумулировать все это из той же самой окружающей жизни, вызвать ответную цепь добрых реакций у окружающих...

Среди тяжкой и однообразной работы в тайге или конторе, особенно постылой, ибо она без смысла и радости, предложили А. Никольской однажды написать «пьесу для занимательности» («и чтобы никакой политики!..»).

Не было ни бумаги записать сочиненное, ни сцены, ни грима, ни костюмов, ни актеров. И тем не менее через несколько дней в намеченное воскресенье незатейливый коротенький скетч был представлен зрителям в уголке столовой лагерпункта. «...один момент ярко, на всю жизнь запечатлелся в моей памяти,— признается автор повести.— То, как, глядя на сцену, смеялись усталые люди в серых бушлатах с серыми лицами, люди, которых я привыкла видеть угрюмыми, подавленными и замкнутыми... или же озлобленными, отупевшими, ругающимися непотребными словами... Они смеются... веселым, искренним смехом! Я слышу их неожиданные забавные возгласы и замечания... Они хохочут!», «...этот момент определил все. Я поняла, что с головой уйду в эту работу... Я хочу, чтобы они смеялись».

Так возник этот самодеятельный театр. С ним для многих в лагере началась новая жизнь. Пусть в самой мизерной мере, но все же одухотворенная искусством, радостью доброго человеческого общения, согревающ-

щего одинаково зрителей и актеров. (Понимаю, как странно звучат эти торжественные, парадные слова по отношению к т е м людям и т е м условиям, и все-таки, все-таки...

Описания репетиций и спектаклей в повести чередуются с картинами лагерной повседневности. Контрастируя и оттеняя друг друга. С одними героями мы успеваем познакомиться и подружиться, другие — мелькнут, словно тени, и исчезнут, растают в зыбкой неопределенности этапных кампаний. Только боль сердечная остается. Автору вроде бы и случая нет рассказать о себе поподробнее. Рядом люди, на судьбе которых сосредоточено ее пристальное внимание. А значит — и интерес читателя. Но заметим: суровая жизнь самой писательницы от этого становится значительнее и легче — она нужна людям, она приносит им облегчение и радость. И чувствует, понимает это.

В повести разворачивается галерея неповторимых своеобразных характеров: актеры, зрители, лагерное начальство, охрана. Благородство и подлость, трагедия и фарс, истовая преданность революции и пустая демагогия переплетаются и в той жизни весьма причудливо. Да и люди вокруг театра собираются самые непохожие: Борис Красилов — коммунист в прошлом, с достоинством переносящий все горести и невзгоды интеллигент, и слесарь Раш, говорящий на фантастической смеси русского, еврейского и немецкого, «неуклюжий, милый романтик», «замечательная душа»; хохлушка Тася, на чью долю выпало особенно тяжкое (родившуюся уже в тюрьме дочку у нее отняли, девочка умерла в детприемнике), и немец Иван Иванович Функ, отличающийся удивительной совестливостью и цельностью, до лагеря — заслуженный учитель на Севере Казахстана; бывший военный Анатолий Малашевский, талантливый, противоречивый, неуравновешенный человек, много нагрешивший до ареста, и Фрося Путинцева, для которой театр — первое и единственное приобщение к культуре. Пройдя этот своеобразный ликбез, Фрося вышла из лагеря другим человеком.

Немало обид приходилось терпеть всем им от начальства, в том числе и от тех, кто вышел из среды заключенных. Но, слава богу, и добрые, великодушные люди встречались. «Золотой век» выпал театру при начальнике лагпункта Липовенко, которому посвящено немало страниц. Тепло вспоминаются в повести рядовые бойцы охраны Дионисий Бояркин и Федя Таран. А «ранней весной — метельной и снежной в тайге — я навсегда покинула лагерь,— пишет Никольская,— на центральном пункте первым подошел ко мне и поздравил с освобождением... начальник воспитчасти Гавриил Георгиевич Лахтин, умный, тактичный, мягкий человек. Мне пришлось работать с ним почти три года. Прощаясь со мной, он просил меня написать ему, как и где я устроюсь на свободе». Она написала, он — ответил. Отрывки из его чрезвычайно интересного письма автор приводит в повести.

В своих воспоминаниях А. Никольская ничего не упрощает, не сглаживает — лагерный мир ее лишен малейшего благообразия. Он населен не только невиновными и несчастными людьми, но и уголовниками, мошенниками, прохвостами, бандитами. Надо было научиться сосуществовать и с ними. Самодеятельный театр помогал «не примириться с животным существованием в лагере». Давал возможность не забыть о подлинной жизни, потянуться к будущей свободе.

В повести приводятся живые и удивительно достоверные картины той жизни, множество точных, выразительных примет и деталей, свидетельствующих о художественной одаренности автора. Но главное, писательница свято сберегла память о своих товарищах, чтобы — повторим и мы за ней слова Ю. Фучика — «...все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и потому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю...».

Г. ПЕТРОВА.

★

«ЖИЗНЬ, А НЕ РОЛЬ»

Т а т ь я н а Б е к. Замысел. Стихи. М. «Советский писатель». 1987. 128 стр.

Есть ролевая поэзия. Сконструирован образ. Создана маска, которую можно слегка деформировать, разрисовывать, создавая видимость развития. Но однажды принятая роль твердо заучена и по сути не меняется. Это создает видимость резкой обособленности, определенности творческой манеры, «лица», как в мультипликационном фильме, мгновенно узнаваемого, но с ограниченным набором сменяющихся выражений, читаемых однозначно.

Татьяна Бек решительно не хочет играть в разученной пьесе или ставить ее по заранее предусмотренному плану: «неуместна суф-

лерская будка, ибо предложена жизнь, а не роль». Не чья-нибудь, а своя жизнь, своя беда, свое счастье, не укладывающиеся в декламационные фразы: «Шероховатости речи — лучшее, чем я владела».

Это — один из главных сюжетов ее «замысла». Отказ от «чистописания», от гладкой речи, от порхающих мотивчиков: «Я желаю, ровесники, чтобы нас полюбили не за легкие песенки, а за трудные были!» И еще: «Режу, точно закройщица, непокорное слово».

Дело опять же не в преднамеренном обособлении, не в преимуществах частной жизни над ее общими стремлениями Т. Бек живет в своем времени и в его атмосфере, ровно так же овевающей и ее сверстников и современников.

Я расскажу тебе впотьмах,
Вполголоса, скороговоркой
Про город на семи ветрах,
Стоящий кротко за «Вечеркой»,—
Где я росла; где даже бред
Бульварной изморози ржавой
И тот был понят и воспет
Магнитофонным Окуджавой.

Где мы росли под гул вестей;
Где воздух был жесток и молод
В шестидесятых...

Это, так сказать, общее. Оно — узнаваемо, даже стандартно. Но в том-то и суть ее поэтического противостояния, что, впитывая эту атмосферу — «Как тайком курили старшеклассники, как старух пугала новизна»,— Т. Бек вырывается на простор: «Не отрекаясь от «презренной прозы», в нее вдохнуть мерцание светил...»

Во всех этих формулах, достаточно однозначных, можно было б заподозрить схематизм и декларативность. То самое рационалистическое конструирование, которое свойственно «ролевой» поэзии. Но для Т. Бек детство — «ожог», «мир, как оплеуха», в «уличной давке» звучит «заплаканный голос добра», требует выражения «тайный сговор совести с бедой». На глубине жизнь уже не так проста, не так очевидна в своих проявлениях, но тем сильнее ее земное притяжение, тем более она требовательна. Тут мы испытываем и эмоциональные перегрузки и муки совести, преодолеваем болевые пороги. Время кажет свою изнанку. И сами мы уже соприкасаемся с ним не внешними жестами, а всей своей нервной системой:

Не думай захлопывать дверцу.
Отнюдь не герой — самоед.
Проверено: честному сердцу
Укрытья от Времени — нет.

Оно и тебя не минует,
В жестокий возьмет переплет,
Измучит, переменует,
Верхушкою в землю воткнет.

Но дудки! Не вымру, не сгину.
Характер задумчив, да крут.
Не высушило сердцевину,
И корни к весне — расцветут.

Время выворачивает человека корнями наружу. Испытывает самую его суть. И тут уже не до выученной роли. Надо проявить характер и волю. Выжить. Сохранить самость: «Я не растеряю душу живу, как в три ее погибели ни гни». Место поэтических сказок занимает «хроника, беспристрастная речь летописца». Расцвеченная фраза отступает перед напором неприкрашенной правды: «О, не знай ни вранья, ни тщеславия нагота городского глагола!»

«Замысел» — третья книга Т. Бек. Наверно, ее автора следовало бы поставить в ряд сверстников. Поговорить о чертах поколения (молодого или среднего?). Описать общность опыта и индивидуальность почерка. Да как-то не вяжется этот разговор.

Единство поколения почти всегда было фикцией. Можно вспомнить, что Николай I был сверстником декабристов. Но что у них общего? Не более чем у палача и казнимого.

По логике поколения Т. Бек должна бы принадлежать либо к тихим лирикам, либо к изощренно вычурным новаторам, которые прокладывают себе путь через стену недоумения. Но какая уж тут тихая лирика!

Я люблю этот холод осенний,
Я люблю этой жизни зигзаги...
Чем обиженней —
тем вдохновенней
Отражается жизнь на бумаге.
Стол в пыли, и посуда побита,
И под мышками рвется рубаха,—
Но
в глаза полоумного быта
Я гляжу без упрека и страха.

Не боится она агрессии быта. «Перекличка души и природы» влечет ее не к созерцанию, а к действию. Но и романтика ею изжита. Она тут же снимается поэтическим антиэстетизмом: «О, как больно сияют и крупно на полянах лепешки навоза!» А прекраснодушные словопрения — трезвой реалистической оценкой: «Покуда мы слюною брызжем в сугубо устных разговорах... дурак становится бесстыжим, поэт — паяцем ярко-рыжим, а летописцем — жук и олух». И она призывает грозу на это болотное равновесие.

Эффектные позы — новаторов, романтических «бездомников» ли — ее не соблазняют:

«Открывается даль за воротами неуютно, тревожно, светло... Мы поэтами, мы обормотами были, были,— да время сошло». Если уж что и берет за сердце, так это простота: «прекраснее наших изысков деревянная первооснова дудкой произнесенного слова».

К каким же берегам она устремляется, какой тип поведения предпочитает? Ее идеалы явно «старомодны».

Если вы меня не перебьете,
Я вам человека покажу.
Это ваш товарищ по работе
Или же сосед по этажу.

Совершенно неуместный некто.
Пустомеля, спица в колесе,
Пугало Рязанского проспекта
Или Хорошевского шоссе.

Птичьего ли рынка посетитель,
Шахматных ли споров краснобай,—
Он влюбленный, а не просто зритель,
Как его в сердцах ни называй.

Сам он и не думает про это,
Я же вам ручаюсь головой:
Без его линялого берета
Вымрет город,
вымрет деловой...

По ее книге шествуют чудаки «с вытертым фанерным чемоданом», старики и старухи, рассказывающие «были и басенки о временах затрапезных». Все эти «погорельцы, скитальцы», «выпивохи, бабье, перестарки», «военные вдовы».

Она оговаривается: «Кульки, и банки, и коробки — живая жизнь, а не мещанство. Над ними потешаться — чванство». Но в простом житье нет смысла и цели без уважения к «азам любви, и совести, и боли с прожилками житейской прозы». Без того, чтобы в критической ситуации не восставал «дух мятежный».

О себе она скажет: «О любовь моя! Ты — неизвестность с обязательной примесью боли». С усмешливой иронией предречет и возможное свое будущее:

Я буду старой, буду белой,
Глухой, нелепой, неумелой,
Дающей лишние советы,—
Ну, словом, брошка и штиблеты.

А все-таки я буду сильной!
Глухой к обидам и двужильной.
Не на трибуне тары-бары,
А на бумаге мемуары.

Да! Независимо от моды
Я воссоздам вот эти годы
Безжалостно, сердечно, сухо...
Я буду честная старуха.

Пора назвать вещи своими именами: это — не особая логика поколения, это — демократическая традиция русской поэзии. Она доступна любому возрасту. Она столь же объединяет людей разных поколений, сколь и отвращает их от замкнутого самодовольного существования, где обустраивает свой комфорт «глотатель новостей, пирогов и сердец! Не творец, а бумагомаратель, остроумец, домашний мудрец». И понятно, что Т. Бек вспоминаются «родные, давние, пресветлые», «недальный предок — седой военный врач», следы которого «исчезли на первой мировой», двоюродная бабка, проведшая годы «в тиши библиотек», «наши бедные мамы и папы». И с гордостью подводит итог: «Я — наследница нашей родни, и Бестужевских курсов, и чести!»

Так что же это за книга? Что за поэзия? Не новаторская, не романтическая, не тихая, не громкая. Это — честная книга, книга о людях, о жизни, о себе с прямым и ясным человеческим содержанием. Трудно сказать, в какой ряд она встанет, в какую степень возведет ее быстро идущее время. Но таких книг сегодня не так уж много. Не потому, что нет стихов интересных, эмоциональных, эффектных. Но такая открытая приверженность не на словах, а всей сутью к простой демократической материи бытия, к жизни с ее каждодневными потребностями самосовершенствования и преодоления косного ее распорядка встречается редко.

Адольф УРБАН.

★

БИОГРАФИЯ И СУДЬБЫ

Э. Герштейн. Судьба Лермонтова. Изд. второе, исправленное и дополненное. М. «Художественная литература». 1986. 352 стр.

Кроме Судьбы, у поэтов есть биография, как у всех простых смертных. Биография поэта — комментарий к его стихам. Стремление правильно прочесть и лучше понять поэта оправдывает наш интерес к его частной жизни. Именно этот, литературный, интерес к последним четырем годам жизни Лермонтова определяет общее направление работы Э. Герштейн.

Со времени первого издания «Судьбы Лермонтова» прошло более двадцати лет. За это время появилось немало публикаций дру-

гих исследователей и новых материалов о Лермонтове. Э. Герштейн проанализировала многие публикации и либо приняла выводы авторов, либо аргументированно оспорила. Новое издание «Судьбы Лермонтова» до известной степени отразило путь нашего лермонтоведения, пройденный им за последние два десятилетия, и современное его состояние.

Книга Э. Герштейн не монография, а собрание литературоведческих эссе, содержащих интерпретации биографических фактов и произведений Лермонтова последнего периода его жизни (1837—1841). Эти интерпретации основываются на архивных находках исследовательницы. Включенные Э. Герштейн в научный оборот архивные материалы составляют огромный объем, и значение их для лермонтоведения неоценимо.

Автор выделяет несколько узловых моментов биографии Лермонтова: дуэль с Э. Барантом 18 февраля 1840 года и последовавшая за ней вторая ссылка поэта на Кавказ; отношения Лермонтова с царским двором; участие в «кружке шестнадцати» в 1838—1840 годах и, конечно, дуэль 15 июля 1841 года. Наиболее значительными по новизне использованного материала и выводам представляются главы «Лермонтов и двор» и «Кружок шестнадцати», хотя каждая страница книги содержит что-то новое и читается с неослабевающим интересом.

Дуэль Лермонтова с Эрнестом Барантом, сыном французского посланника при дворе Николая I, раньше воспринималась как «пустое бальное приключение». Но поединок этот имел общественно-политическое значение, что Э. Герштейн убедительно доказывает. Французское посольство проявило настороженное внимание к Лермонтову из-за его стихов на смерть Пушкина. Французскому посланнику «кто-то... внушил, что они заключают в себе оскорбительный для Франции смысл»,— делает вывод исследовательница на основании изученных ею новых материалов. Ссора на балу была только предлогом для вызова со стороны молодого Баранта, причины были значительно серьезнее, чем соперничество за внимание светской красавицы.

В марте 1840 года, сидя под арестом за дуэль с Барантом, Лермонтов создал шедевры лирики — «Воздушный корабль» и «Журналист, Читатель и Писатель». Первым стихотворением поэт как бы продолжил дуэль с сыном французского посланника. «Как ни романтична гениальная баллада Лермонтова, в ней ясно выражено его отрицательное отношение к буржуазно-мещанскому общественному строю „июльской монархии"»,— пишет Э. Герштейн. Но второе стихотворение долгое время скрывало загадку. Если за образом Писателя стоит сам Лермонтов, а за фигурой Журналиста угадывается Н. А. Полевой, как это установил Н. И. Мордовченко в 1950 году, то по поводу прототипа образа Читателя у исследователей не было согласия. «В последних изданиях сочинений поэта все комментаторы остановились на мысли, что «авторский голос» Лермонтова слышен и в словах Читателя и в словах Писателя,— отмечает Э. Герштейн.— Однако это вызывает возражения». На основе обнаруженной ею в тексте стихотворения скрытой цитаты, не замеченной другими исследователями, и анализа литературных взглядов П. А. Вяземского она доказывает, что за фигурой Читателя стоит один из ближайших друзей Пушкина.

Известная приближенность Лермонтова ко двору в петербургский период сыграла роковую роль в его судьбе. Исследовательница пишет: «Царь и его слуга (Бенкендорф.— *А. Г.*) предпочитали держать неблагонадежного поэта под рукою, в столице и Царском Селе, чтобы легче было над ним надзирать... Лермонтова хотели приручить». Интерес к литературе у царей специфический. Николай I назначил себя личным цензором Пушкина не из любви к изящной словесности. И, читая «Героя нашего времени», он испытывал не эстетическое наслаждение, а «отвращение», как он писал в письме императрице. Э. Герштейн говорит о Николае I: «Во всей печатающейся в «Отечественных записках» лирике Лермонтова он инстинктивно чувствовал враждебную и не подчиняющуюся ему силу». Поэзия могла интересовать царя только как сила, враждебная тирании (своего врага надо знать). Заступничество императрицы, увлекшейся поэзией Лермонтова, а может быть, как намекает исследовательница, и им самим, могло только раздражать царя. «...чем чаще указывали Николаю I на выдающийся литературный талант Лермонтова, тем беспощаднее было отношение к нему самодержца»,— делает вывод Э. Герштейн.

А. Х. Бенкендорф, ревностный исполнитель царской воли, последовательно боролся с преемником Пушкина, с поэтом «молодой России». Если это можно назвать борьбой, то силы в ней были явно не равны. Чем все кончилось, мы знаем.

Участие Лермонтова в аристократическом вольнодумном «кружке шестнадцати», судя по всему, оказало большое влияние на формирование взглядов поэта, выраженных им в последних произведениях, и в частности в стихотворении «Родина». Но лермонтове-

дение располагало незначительными сведениями об этом кружке, его членах и характере их бесед до открытия Э. Герштейн новых материалов. Из дневника участника кружка П. А. Валуева мы узнаем, что в кружке велся «спор о национальности». Нельзя не предположить, что Лермонтов принимал деятельное участие в споре, поскольку вопрос этот занимал его с юношеских лет. Окончательно установившийся взгляд поэта на «национальность», на связь с родной землей и ее народом был выражен им уже после того, как кружок распался (весной 1840 года), в стихотворении «Родина» (1841).

Стихотворение «Родина» неожиданно для Лермонтова и для русской поэзии его времени. Э. Герштейн пишет: «По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, в строке „...я люблю — за что, не знаю сам" Лермонтов противопоставляет свое непосредственное чувство любви к отчизне умозрительному хомяковскому «и вот за то, что ты смиренна», обращенному к России в стихотворении 1839—1840 годов „Гордись! — тебе льстецы сказали..."». Обстоятельства написания «Родины» важно знать для понимания не только творческой эволюции Лермонтова, но и путей развития русской лирики после Лермонтова.

...8 октября 1839 года в «Санктпетербургских ведомостях» было напечатано стихотворение Хомякова «Отчизна», в котором поэт обращался к России с таким призывом: «Всей этой силой, этой славой, всем этим прахом не гордись!» Была в этом стихотворении и «положительная» часть: «И вот за то, что ты смиренна...» — и т. д. Поэт призывал «былое в сердце воскресить». Допетровское, конечно, былое. Что же касается официальной русской истории, то, по Хомякову, она — перечень грехов, которые нужно отмолить. В «кружке шестнадцати», несомненно, обсуждали этот новый взгляд на Россию и отечественную историю.

Стихотворение «Родина» в рукописной тетради было названо, как и стихотворение Хомякова, «Отчизна». Для того чтобы современному читателю открылась полемическая направленность этого вершинного творения Лермонтова, необходим комментарий. И его дает в своей книге Э. Герштейн. Причем она идет дальше Б. М. Эйхенбаума, показывая, что стихотворение полемично и по отношению к взглядам на Россию членов аристократического «кружка шестнадцати». В строках «С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно...» и т. д. «Лермонтов противопоставляет... свою кровную связь с русской деревней отчужденности «француза» Шувалова, «парижского Гагарина», «француза в душе» Кс. Браницкого»,— пишет Э. Герштейн.

Итак, ни старая система ценностей («слава, купленная кровью», «полный гордого доверия покой»), ни вновь предложенная славянофилами («темной старины заветные преданья») не убедительны для поэта. В пронзительных стихах он выразил любовь, которая весит неизмеримо больше, чем рассудочные призывы Хомякова к покаянной молитве «за грехи отцов».

Нужны были такие читатели, как В. Г. Белинский и Н. А. Добролюбов, чтобы оценить это стихотворение и внесенный им в русскую поэзию огромный вклад. Очень немногим поэтам удается расширить тематический репертуар национальной поэзии. Лермонтову это удалось. Для будущих поколений русских поэтов он открыл более широкие возможности интерпретации темы России. Лермонтовская линия нашла достойных продолжателей в лице Александра Блока и Сергея Есенина.

После «Родины» Лермонтову оставалось совсем немного прожить и написать, так что это стихотворение можно считать его духовным завещанием.

Э. Герштейн исследует обстоятельства написания еще нескольких произведений Лермонтова. Читатель как бы приглашен в творческую лабораторию исследователя-литературоведа и получает ясное представление о том, что такое строгий, вдумчивый историко-филологический анализ. Весьма убедительна аргументация автора в пользу передатировки поэмы «Тамбовская казначейша», стихотворений «Валерик» и «Пленный рыцарь».

Последняя глава книги посвящена дуэли и смерти Лермонтова, может быть, самой разработанной теме в лермонтоведении. Э. Герштейн показывает, что не только пятигорское окружение Лермонтова, но и люди посторонние, пришедшие на похороны, уже тогда понимали, что погиб поэт, имя которого станет в один ряд с именем Пушкина. Понимал это, конечно, и Николай I. «...Царь и его присные не игнорировали талант Лермонтова,— пишет Э. Герштейн,— они с ним боролись». За недостатком свидетельств автор оставляет открытым вопрос о непосредственной причастности двора и Бенкендорфа к гибели Лермонтова, но не снимает с них подозрений.

При всей доступности и достоинствах языка «Судьбы Лермонтова», на которые обращала внимание А. А. Ахматова в рецензии на первое издание, легким чтением книгу

Э. Герштейн никак не назовешь. Собранного автором материала хватило бы на несколько книг, написанных не столь концентрированно. Одно несомненно — эта работа послужит неоценимым подспорьем для всех, кто серьезно интересуется историей отечественной литературы.

Аркадий ГАВРИЛОВ.

★

Политика и наука

НА ПУТИ В НЕЗНАЕМОЕ

Будущее науки. Международный ежегодник. Выпуск 19. М. «Знание». 1986. 271 стр.
П. Девис. Случайная Вселенная. М. «Мир». 1985. 159 стр.

Сегодня уже совершенно очевидно, что среда обитания человечества в широком смысле слова — вся Вселенная, заметил академик Д. Т. Урсул. Можно добавить, что отношения между человеком и Вселенной выходят далеко за рамки физики, астрономии или, скажем, космологии, для их изучения необходимо привлекать общественные и гуманитарные науки.

Глубокая связь между человеком и земной природой с давних пор осваивается в художественной культуре, примером чему служит хорошо всем знакомый параллелизм: описания дождя как плача, осени как печали, весны как любви. Труднее осознаются человеком космические и космологические явления. И все же этот процесс неизбежен. В течение одного лишь столетия обрели реальность два состояния, прежде человеком не испытываемые: полет и невесомость. Еще в XIX веке, желая выразить ощущение полета, авторы прибегали к символам, метафорам и аллегориям — ведь на самом деле человек не летал. А невесомость? Циолковский вспоминал, что в детстве у него было представление о пространстве, где человек может летать не как птица при помощи крыльев и не при помощи технических приспособлений, а просто — летать. По словам ученого, в сказках таких полетов он не нашел. Вполне возможно, что представление о невесомости, как и о полете, всегда таилось в глубинах человеческой психики, и то, что феномены эти стали явью, лишний раз подтверждает плодотворность космического параллелизма. Живая и мыслящая материя несет в себе ценнейшую информацию о Вселенной.

Однако открываемые и даже осваиваемые физические и космические явления не скоро становятся реальностью нашего мировосприятия. А. Вознесенский в повести «О» справедливо заметил, что описания полетов в художественной литературе удивительно приземленные. Скажем, полет Маргариты из романа Булгакова сохраняет привычные ориентиры: верх вверху, низ внизу, а ведь в невесомости нет ни верха, ни низа. Почему бы не полетать головой вниз или под любым углом к горизонту? Словом, в сознании человека все еще преобладают земные реалии.

В очередном сборнике «Будущее науки» напечатана статья академика А. Мигдала «Пустота — эфир — вакуум». В ней говорится об особом виде нулевых колебаний вакуума, названных инстантонными. Образующиеся при этом вакуумные поля типа глюонных в отличие от электромагнитного поля могут иметь конфигурации, которые нельзя перевести друг в друга непрерывными изменениями, как нельзя развязать узел на бесконечно длинной веревке, не разрезая ее, или как нельзя перевести тор (бублик) в сферу. Однако в микромире согласно новейшим открытиям квантовой механики совершаются именно такие «невозможные» переходы одной топологической структуры в другую.

Казалось бы, это сугубо физическое открытие не может иметь прямого отношения к гуманитарным проблемам. На самом же деле само понятие об «инстантонном бытии», где возможны волшебные превращения «бублика в сферу», заставляют нас гораздо серьезнее отнестись, скажем, к художественному пространству сказки, где такие чудеса вполне нормальны. Получается, что многотысячелетняя художественная культура обладает гигантским запасом понятий и представлений, которые при всей своей фантастичности все же имеют выход в реальность, хотя бы и на уровне микромира.

К одной из реальностей современной науки, значение которой еще недостаточно осмыслено в гуманитарной среде, относится антропный принцип мироздания. Он был открыт и сформулирован общими усилиями ученых разных стран. Еще А. Эйнштейн задавался вопросом, почему Вселенная именно такова, какой мы ее наблюдаем. По словам советского философа А. Мостепаненко, теперь впервые дается ответ на этот вопрос. Оказывается, при других условиях мы с ва-

ми просто бы не существовали, ибо фундаментальные законы как бы учитывают и предопределяют появление человека.

Английский астрофизик и популяризатор науки П. Девис формулирует это так: «Обычно в физике «наблюдатель» не принимается во внимание. Как правило, полагают, что мы здесь просто «на прогулке». Некоторые ученые подвергли сомнению это предположение, считая, что строение физического мира неотделимо от обитателей, наблюдающих его, в самом фундаментальном смысле. Они утверждают, что действительно существует некий принцип, осуществляющий невероятно тонкую подстройку Вселенной. Но это не физический, а антропный принцип».

Малейшее отклонение физических величин от их существующих значений привело бы к возникновению другой Вселенной, где не было бы «наблюдателя». Из этого постулата возник так называемый слабый антропный принцип, гласящий, что «Вселенная так велика потому, что только тогда может существовать человек». Девис, однако, сторонник более радикального сильного антропного принципа: «Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции мог существовать наблюдатель».

Девис обращает внимание на то, что есть одна область физики, в которой наблюдатель действительно играет центральную роль,— квантовая теория. Процесс измерения в квантовой механике требует участия мыслящего наблюдателя на основном уровне. «И хотя нельзя сказать, что наблюдатель в квантовой механике создает свою собственную Вселенную в общепризнанном смысле слова «создавать»,— пишет Девис,— анализ измерений квантовой теории открывает реальный путь, представляющий правдоподобное физическое (в противоположность философскому) свидетельство в пользу сильного антропного принципа».

Получается, что наше существование и многие казавшиеся чисто субъективными свойства живой познающей материи имеют вполне объективный смысл. Иными словами, неизмеримо возрастает роль всего живого и особенно разумного живого в мире. Мы являемся живым зеркалом мироздания: в наших эмоциональных, психологических и духовных движениях отражены качества, присущие всей материи в целом.

Несколько с другой стороны к таким же выводам пришел в свое время академик В. И. Вернадский, считавший возникновение жизни и разума важнейшим законом мироздания. Художественное творчество он назвал «Космосом, проходящим через сознание живого существа».

Для русской классической литературы эти слова Вернадского прозвучали подтверждением ее исконных ценностей. Русские писатели видели человека в неразрывном единстве со всем мирозданием.

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества...

Эта мысль Державина стала камертоном всей поэзии XIX столетия. «Звездное» родство человека и Вселенной было главной темой для Фета, считавшего человека истинным носителем вселенского огня. Не менее значительно и тютчевское ощущение вселенской бездны, в которой человек узнает свое «наследье родовое». Писатели-«космисты» нашего столетия (Хлебников, Маяковский, Заболоцкий, Кирсанов, Платонов, Леонов в романе «Мироздание по Дымкову») — все они видят человека как главную, решающую творческую силу Вселенной. «Я тать небесных прав для человека» (В. Хлебников). «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» (В. Маяковский).

Наконец, сегодняшние молодые поэты также продолжают обживать просторы космологии.

Как строится самолет
с учетом фигурки пилота,
так строится небосвод
с учетом фигурки удода —

эти строки А. Парщикова могли бы стать иллюстрацией к антропному принципу,— ведь небосвод, считает Девис, действительно «подстроен» к фигурке человека, удода и даже мельчайшего вируса. А за одной строкой И. Жданова «пчела внутри себя перелетела» таится дюжина формул современной топологии. При этом, однако, поэты вовсе не собирались иллюстрировать учебники. Просто их душевные состояния соответствуют некоторым фундаментальным принципам мироздания, открытым лишь в XX столетии.

О силе инерции мышления говорит тот факт, что именно эти поэты труднее всего воспринимаются читателями и критикой. Их космологическое зрение отождествляют обычно с давними литературными школами. Новое с трудом пробивает себе дорогу. И это несмотря на то, что процесс нарастающей космизации различных отраслей науки постепенно распространяется на всю культуру в целом. Появились уже такие отрасли гуманитарного знания, как космическая археология, космическая фольклористика и даже космическая психология.

Сегодняшняя физика «сказочна», и в этом смысле древняя сказка могла бы стать клю-

чом к новым явлениям, а искусство — стартовой площадкой для полета в неизведанную реальность. Человечеству следует основательно встряхнуться, подняв на поверхность весь запас своих фантастических представлений хотя бы для того, чтобы убедиться, что запас этот не так уж и велик и тысячи новых реальностей физики и космологии еще не обжиты в гуманитарной культуре и не осмыслены нами как реальности человеческие.

К. ЧЕЛИЩЕВ.

★

НЕ ТОЛЬКО ПРОПАГАНДА

Разоружение и безопасность, 1986. Ежегодник. В двух томах. Ответственный редактор Е. М. Примаков. Руководитель авторского коллектива А. Г. Арбатов. М. АПН. 1987. Т. 1. 256 стр. Т. 2. 244 стр.

Сейчас уже никто в мире не оспаривает тот непреложный факт, что разоружение и безопасность превратились в центральную проблему мировой политики. На эту тему много пишется и у нас и на Западе, но, как правило, с диаметрально противоположных позиций. Большинство западных политиков и публицистов толкует о сохранении ядерного устрашения как единственном условии поддержания мира. Советская же концепция международной безопасности исходит из необходимости сокращения и последующей ликвидации ядерного оружия при достаточном минимуме вооружений, структура которых определялась бы чисто оборонительными нуждами.

Тем, кто профессионально занимается международными отношениями, известны регулярно выпускаемые на Западе информационно-аналитические издания типа английских «Strategic Survey» и «Military balance», французского «RAMSES» или ежегодников СИПРИ (Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира). Помещенные в них материалы военно-политического характера, претендующие на объективность, отражают западные оценки стратегической ситуации в мире. К сожалению, до самого последнего времени у нас не было аналогичных изданий, что существенно затрудняло диалог с Западом. Наши дипломаты, эксперты и журналисты-международники не признавали помещаемые, например, в «Military balance» данные о соотношении вооруженных сил и вооружений между НАТО и Организацией Варшавского Договора, но фактически вынуждены были исходить из них по причине явной нехватки официальных советских данных и расчетов.

Ежегодник «Разоружение и безопасность», к выпуску которого на русском и английском языках приступил Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР при содействии АПН,— первая попытка комплексного осмысления и аналитической обработки возрастающего потока информации в данной области. Это во многих отношениях новаторское издание подает надежду, что ситуация, при которой буржуазная политическая наука, по существу, монополизировала разработку военно-политической проблематики на регулярной основе, будет наконец-то изменена.

Потребность в подобном периодическом издании очевидна, ибо в нашей достаточно обширной литературе по проблеме разоружения и безопасности, с одной стороны, слишком много «лирики» и дилетантства, с другой — проглядывает узкотехнократический подход. Политологи и особенно журналисты часто обнаруживают некомпетентность в стратегических и военно-технических вопросах, а военные эксперты не всегда могут подняться на уровень современного политического мышления. Одни с энтузиазмом (вполне оправданным, но самим по себе недостаточным) обличают военные приготовления на Западе, другие занимаются схоластическими подсчетами того, сколько раз США и СССР могут уничтожить друг друга.

Пропаганда — дело нужное, особенно в борьбе за мир и разоружение, но одной пропагандой явно не обойтись. Она не может полностью удовлетворить потребности реальной политики. Задача пропаганды — не открывать новое, а популяризировать уже открытое. Решающее слово в поисках истины остается за наукой. В данном случае речь идет о научном обеспечении советской внешней политики, по сути дела, о том, чтобы предупреждать недостаточно обоснованные решения, способные привести к материальным и, что не менее важно, к морально-политическим издержкам.

Вряд ли является нормальным положение, при котором ученые-международники глубоко и всесторонне изучают позиции западных держав или развивающихся стран, оставаясь в то же время на уровне пропаганди-

стских представлений об интересах собственной страны. Опыт работы в области международных отношений убедил меня, что расхождения среди наших специалистов возникают не столько в связи с внешней политикой США, Франции или, скажем, Японии, сколько по поводу советской внешней политики: что отвечает интересам СССР и что идет им во вред?

В последние два года отставание научных разработок от внешнеполитической практики стало особенно заметным. Наша наука о международных отношениях оказалась недостаточно подготовленной к тем смелым инициативам в области разоружения и безопасности, которые были выдвинуты советским руководством в 1985—1987 годах. В лучшем случае она едва успевала их обслужить, так сказать, постфактум, в то время как ее задача — участвовать в разработке будущих решений. Кстати говоря, Ежегодник обещает читателям регулярно анализировать (а не только пропагандировать) новые советские инициативы в области разоружения и безопасности. Если это обещание будет выполнено, то ученым, быть может, удастся заглядывать чуть дальше зафиксированной на данный момент официальной позиции.

Авторы задались целью следить за непрерывно меняющимся положением дел в мире, отражать эволюцию официальных и неофициальных подходов к вопросам разоружения и безопасности, выявлять и, что особенно интересно, прогнозировать действующие в этой области закономерности. Основное внимание в Ежегоднике уделяется вопросам ограничения, сокращения и запрещения вооружений, снижения уровней военного противостояния государств, ослабления угрозы войны. В фокус анализа попадают прежде всего ведущиеся в этом контексте двусторонние и многосторонние переговоры, военно-политические шаги государств, урегулирование возникающих конфликтов и организация международного взаимодействия с целью упрочения мира. Читатель найдет здесь квалифицированные ответы на многие вопросы. Таблицы, диаграммы и графики, составленные авторами, придают их суждениям и выводам наглядность и убедительность. В Ежегоднике впервые в советской литературе публикуются некоторые документы — в частности, «Согласованные заявления» СССР и США к Договору об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, ставшие объектом ожесточенной полемики (из-за трактовки пресловутого пункта «D»).

Для науки (если речь идет о подлинной науке) не должно быть запретных тем и закрытых областей. Внешнеполитическая и военно-политическая сферы приобрели в наше время слишком важное значение, чтобы ограждать их в качестве «священных коров» от плодотворной дискуссии и свободного обмена мнениями. Реальности ракетно-ядерного века требуют, как об этом неоднократно говорил М. С. Горбачев, преодолевать отторжение политики от общечеловеческих норм нравственности, подчинять политическую практику морально-этическим нормам. Все больше осознается необходимость гуманизации, очеловечения международных отношений. На этом фоне особенно удивляет предостережение об опасности «гуманитарной агрессивности» нашей литературы по отношению к военным проблемам, высказанное не военным и даже не политиком, а... писателем А. Прохановым!

В последнее время мы достаточно откровенно говорим о наших ошибках в экономике или в социальной сфере, но неизменно впадаем в гипнотическое молчание, когда дело касается внешней политики прежних лет. Анализ проигранных сражений не менее полезен для настоящего и будущего, чем патетические описания одержанных побед. Умолчание о прошлых ошибках — прямой путь к совершению новых. В наших учебниках и даже в научных монографиях по истории внешней политики СССР можно найти одни победы и достижения. Внешняя политика как бы априори освобождается от ошибок и просчетов. А бывает ли так в реальной политической жизни?

Хочется верить, что новое издание поможет преодолеть отставание нашей политологии, создать массив знаний, без которого наука не является таковой. Однако ученым, перед которыми стоит сложная задача систематизировать взгляды и представления в области разоружения и безопасности, трудно будет обойтись без помощи компетентных, прежде всего военных инстанций. Необходимы более детальные официальные расчеты соотношения военных потенциалов, данные о военных бюджетах, другая информация военного характера, не представляющая, кстати, большого секрета для противной стороны, но сознательно искажаемая ею. Отсутствие гласности здесь на руку лишь противникам разрядки на Западе, спекулирующим на «закрытости» советского общества и «непредсказуемости» советской внешней и военной политики. Пока что авторы Ежегодника в своем анализе стратегической ситуации в мире, а также военной деятельности НАТО и Организации Варшавского Договора больше опираются на западные, нежели на советские данные.

Квалификация наших экспертов позволяет

надеяться на то, что их суждения по военно-политическим вопросам станут не менее авторитетными, чем мнения, высказываемые английскими или шведскими учеными. И уж конечно, Ежегодник обязан завоевать в международных научно-политических кругах репутацию самого надежного источника по изучению советской политики в области разоружения и безопасности.

Уже первый выпуск Ежегодника демонстрирует его коренное отличие от большинства западных аналогов, равнодушно регистрирующих нарастающую гонку вооружений и «неравнодушных» к одной лишь советской военной мощи. Это отличие — в конструктивной направленности издания. Оно освещает бурные события 1986 года — года XXVII съезда партии, крупных советских инициатив, направленных на предотвращение ядерной войны, обуздание гонки вооружений и укрепление международной безопасности. Это был год Рейкьявика — время надежд и разочарований. Непредвзятое, в полном смысле научное осмысление политических событий этого года — несомненная заслуга авторов Ежегодника, проявивших инициативу и смелость, которых нам пока так недостает в области изучения современных международных отношений.

Сделан первый шаг. Не все пока удалось, да это и не удивительно: дело ведь новое. Редколлегии и авторскому коллективу предстоит, видимо, еще поработать над структурой Ежегодника, а издательству — над улучшением его полиграфического качества. Не может быть признано удачным деление Ежегодника на два тома. Но это все, как говорится, дело техники. Главное, что специалисты-международники и более широкая читательская аудитория как в нашей стране, так и за рубежом получили несомненно полезное и своевременное издание. Его аналитический уровень отвечает требованиям, поставленным перед советскими учеными-обществоведами самой жизнью.

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДОЛГИ, ПО КОТОРЫМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ...

Важным звеном перестройки является совершенствование хозяйственного механизма. Дискуссии по этому вопросу необходимы и полезны, если они ведутся с четких классовых позиций, на основе научной методологии. В этом отношении представляется странной позиция журнала «Новый мир». Вместо того чтобы искать пути перестройки, обеспечивающие, по словам М. С. Горбачева, «больше социализма», «Новый мир» публикует материалы, призывающие к оживлению частного предпринимательства как единственному средству, позволяющему преодолеть застойные явления в нашей экономике. Статья Л. Попковой «Где пышнее пироги?» уже получила в «Правде» справедливую оценку. А в июньском номере журнала опубликовано нечто вроде продолжения этого своеобразного «критическо-экономического» литературного «сериала» в виде статьи Н. Шмелева «Авансы и долги».

Нельзя сказать, что в этой статье совсем нет дельных мыслей. Автор справедливо пишет о необходимости насытить рынок товарами народного потребления, навести порядок в денежном обращении; о том, что засилие инженеров на должностях экономистов в аппарате планирования и управления — не на пользу делу и т. п. Но все эти правильные утверждения — не новы, о них давно идет речь, по многим — приняты соответствующие постановления.

«Победа Октября утвердила исторически беспримерные основы социального бытия людей,— говорится в Обращении ЦК КПСС «К советскому народу»...— Не угаснет наше восхищение свершениями энтузиастов первых пятилеток, создателей могучей индустрии, строителей коллективного сельского хозяйства, творцов социалистической культуры». Н. Шмелев с этим, видимо, не согласен. «Пусть мы потеряем свою идеологическую девственность,— решается он на истерический выкрик,— пусть уж лучше процветают те, кто хочет и может давать обществу реальные продукты и услуги», то есть кустари и мелкие капиталисты.

Несмотря на довольно большой объем статьи Н. Шмелева, ее содержание можно свести к трем положениям. Первое. Революция, по мнению автора, застала нас не вооруженными продуманной, законченной экономической теорией социализма (как будто не было таких работ, как «Критика Готской программы» К. Маркса и «Государство и революция» В. И. Ленина, как будто вообще можно создать законченную теорию постоянно развивающегося социализма!). Логическое следствие — создание этой самой «законченной теории» в статьях «Нового мира», стремление любой ценой утратить свою эту самую «идеологическую...».

Второе положение статьи — зачеркнуть наше социалистическое прошлое, припугнуть «сталинизмом», вывалить на голову читателя ворох «негативных» цифр — общеизвестных, но тенденциозно подобранных. Что из семидесяти лет советской власти половина приходится на годы войны и восстановление разрушенного, что, несмотря на это, скоро национальное богатство СССР превзойдет дореволюционный уровень в 50 раз и десятикратно превысит рост того же показателя в Соединенных Штатах, что, по словам М. С. Горбачева, «...советский народ, идя по пути Октября, осуществил беспрецедентные преобразования в политической, экономической, социальной и духовной сферах»,— этого автор (или авторы) статьи (статей) в «Новом мире» не пожелали заметить.

Отсюда — и третье положение статьи. Единственный способ улучшить состояние экономики Н. Шмелев видит в том, чтобы вернуться к нэпу 20-х годов, скопировав его до мелочей, а кое в чем и усилив, например, уничтожив монополию внешней торговли. Предлагается включить рыночный механизм свободного предпринимательства, который должен решить все проблемы ускорения, обеспечить свободную игру рыночных сил. «Выбор, конкуренция — это объективное условие, без соблюдения которого ни одна экономическая система не может быть жизнеспособной»,— пишет Н. Шмелев («выбор» и «конкуренция» для него — одно и то же). И — «венец творения»: нам нужна «сравнительно небольшая резервная армия труда». Весь этот рыночный механизм мелкотовар-

ного и мелкокапиталистического производства преподносится под названием «хозрасчетного социализма».

Много чего еще есть в статье. Но вот чего в ней нет — так это четкой методологии и знания мировой хозяйственной практики. Под видом «хозрасчетного социализма» проповедуется еще одна модель мелкобуржуазного социализма, типичные черты которого: консервация мелкого хозяйства, отрицание экономической роли государства, преувеличение значения рыночного механизма. Такие теории имели хождение в прошлом веке. К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Манифесте» о мелкобуржуазном социализме: «Этот социализм прекрасно умел подметить противоречия в современных производственных отношениях. Он разоблачил лицемерную апологетику экономистов... Но по своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними старые отношения собственности и старое общество, или — вновь насильственно втиснуть современные средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности».

А «втиснуть» — нельзя. На пороге — не XIX, а — XXI век. При современных производительных силах рыночного механизма нет в чистом виде нигде; ни в одной экономически развитой стране нет игры свободных рыночных сил. Это — явление XIX века, а сейчас — конец века XX. Современного «рыночного социализма» так же не может быть, как уже давно нет рыночного капитализма в его классическом виде. Он невозможен при монополиях, национальных и транснациональных, при государственном регулировании. XXVII съезд КПСС отметил, что в современных условиях транснациональный монополистический капитал подминает и монополизирует целые отрасли производства или сферы как в масштабе отдельных стран, так и мирового хозяйства в целом. На долю транснациональных корпораций приходилось к началу 80-х годов более трети промышленного производства, более половины внешней торговли, около 80 процентов патентов на новую технику и технологию в капиталистическом мире. И правят этим миром не мелкие хозяйства (от иллюзий надо отказаться), а монополии-гиганты.

И даже в сельском хозяйстве — этой любимой сфере рассуждений сторонников мелкого свободного предпринимательства — дела идут совсем не так, как нам пытаются представить: на деле мелкое хозяйство и там исчезает, заменяется крупным. Например, в США число ферм сократилось с 6,3 миллиона в 1940 году до 2,3 миллиона в 1984 году, при этом средний размер земельного участка, приходящийся на одну ферму, возрос с 67 до 175 гектаров Разоряется он — мелкий производитель, в котором Л. Попкова и Н. Шмелев видят спасение от всех наших бед. Вместе с тем в США на долю крупных ферм, составляющих 12 процентов общего числа ферм, приходится около 60 процентов всей сельскохозяйственной продукции и почти 90 процентов чистого дохода фермерских хозяйств. Выходит, страну кормят и зерно экспортируют не мелкие, а крупные, по-капиталистически организованные фермы. Вывод: либо крупное капиталистическое, либо крупное социалистическое хозяйство. Середины нет.

Из этого вовсе не следует, что при социализме уже исчерпали себя кооперативные и мелкотоварные формы производства — они еще необходимы. Но нельзя противопоставлять их социалистической общенародной собственности. «Предстоит и дальше повышать уровень обобществления производства, его планомерной организации, неуклонно улучшать формы и методы реализации преимуществ и возможностей общенародной собственности» — так записано в новой редакции Программы КПСС.

А Программу надо выполнять. Пусть будет больше кооперативных кафе, но пусть они существуют вместе с государственными торговыми точками, а не вместо них. А то уже в Костроме, Орджоникидзе и других городах Минторг стал передавать торговые точки кооперативам; получается — точек столько же, а цены в них выше. Вряд ли народу от этого лучше. Пусть владельцы «Жигулей» помогают таксомоторному парку в часы пик в порядке индивидуально-трудовой деятельности (они все равно и так подхалтуривают), но пусть и само государственное такси работает лучше, не надеясь на фирму «Экспресс». Кстати, и государственное таксомоторное предприятие и владелец индивидуальной машины — все они ждут надежного, удобного, дешевого автомобиля от государственного предприятия, ведь в огороде его — автомобиль — не вырастишь, в сарае — не соберешь... И еще: бензин на основе индивидуально-трудовой деятельности не произведешь, тысячекилометровую трассу кооперативным способом не построишь даже при наличии «небольшой резервной армии труда» и полной утрате «идеологической девственности». У всего свои возможности. Судьба нашей страны решается на социалистических государственных предприятиях.

Неужели «Новый мир» этого не понимает? Вряд ли. Тогда зачем печь «пироги» с несъедобной начинкой и делать «долги», по которым нечем платить... Ведь демагогия на грани приличия — не то средство, которое ускоряет перестройку. Ответ опять-таки находим у К. Маркса и Ф. Энгельса. Заканчивая характеристику мелкобуржуазного социализма, Маркс и Энгельс в «Манифесте» пишут, что он «одновременно и реакционен и утопичен... В дальнейшем своем развитии направление это вылилось в трусливое брюзжание».

Далеко в будущее смотрели Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

А. СОЛОВЬЕВ,

доктор экономических наук,
профессор кафедры политической экономии
Костромского технологического института.

Кострома.

АВТОР БЬЕТ ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

Уважаемая редакция! Впервые пишу отклик на печатное слово.

Я никогда особенно не проявляла интереса к политике, как и большинство женщин, мне просто не до нее. Информацию о событиях в стране и в мире я получала урывками: по радио во время готовки на кухне, по телевизору. С приходом М. С. Горбачева и появившейся вдруг свободой печати я стала читать газеты (в основном «Литературную»), стала, как и многие, как говорится, простые люди оценивать и переоценивать обстановку в стране гораздо глубже, чем это делала раньше. За один-два года у меня сформировалось более четкое представление о том, что у нас не так, вернее, отчего у нас не так. Но все это расплывчато, однобоко — ведь я не специалист ни в экономике, ни в политике. А вот читая строчку за строчкой статью Н. Шмелева, я чувствую: автор бьет прямо в цель, мои догадки выражены у него в ясной форме. Эту статью хочется перечитывать и иметь у себя под рукой.

На меня и на всех моих знакомых, кто читал эту статью, она произвела огромное впечатление. Написано чрезвычайно убедительно, четко, логично, с чувством ответственности и боли за все, что происходило и что происходит в стране. Мне не хватает умения выразить впечатление, я не знаю, насколько вам это нужно, и все же очень хочу это сделать.

О статье хочется сказать, что она написана блестяще. Здесь есть все, чего так не хватает в речах и программах некоторых руководящих работников: прежде всего обоснованные и конкретные пути перестройки.

Написано все настолько убедительно и сильно, что, честное слово, хочется, как Маури, встать с петицией, собрать подписи наших граждан и обратиться с ней к нашему правительству с призывом проводить экономическую политику по этим конкретно обозначенным позициям. Знаете, даже появилась надежда, что стимул к жизни, к работе и удовлетворение от нее — то, чем обделены мы, сорокалетние,— смогут получить хотя бы наши дети. Ведь больно смотреть, как они сталкиваются с нашей действительностью, которую мы уже не в состоянии ничем оправдать. Разочарование, которое они испытывают, вступая в самостоятельную жизнь, по-моему, самое тяжкое последствие всех совершенных ошибок.

Слово «перестройка» не сходит со страниц газет, все официальные речи пестрят им, повторяют его и в народе, но что это такое и как будем перестраиваться, конкретно не знает никто. Борьба с пьянством, сокращение в учреждениях — это ведь не стимулы для перестройки. Н. Шмелев же определяет рычаги, с помощью которых ее можно осуществить. И в это веришь, так как здесь речь идет о коренных преобразованиях, с помощью которых только и можно ликвидировать все, что нам мешает.

Напрашивается вывод: насколько же назрела необходимость решения всех этих проблем, если даже я — рядовой советский человек, женщина, почувствовала правдивость и правильность такого совершенно нового подхода к нашей жизни.

Закончу самой беспокойной строчкой из статьи Н. Шмелева: «Однако сегодня нас больше всего тревожит нерешительность в движении к здравому смыслу...»

С. БОБКОВА.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ГАЛИНА КОРНИЛОВА. В сторону Садового кольца. Рассказы. М. «Московский рабочий». 1986. 175 стр.

Тайна в прозе Галины Корниловой — всегда способ заставить читателя задуматься над превратностями нашего бытия, над проявлениями сути человека, недаром она любит энергичный глагол «догадаться» — во всяком случае он часто встречается в ее произведениях. Маленькая девочка догадалась, что шумный и веселый человек не был счастлив, и по-своему ободрила и утешила его («Угликов»). Студент-выпускник догадался, что под импозантностью нового директора института прячется трусость, и воспользовался этим («Человек на мосту»). Светлана, героиня повести «Друзья и подруги детства», встретившись после многолетней разлуки с другом юности Андреем Рюминым, догадалась, что человек, называющий себя его именем и живущий в его квартире, не Андрей Рюмин, и решила разоблачить самозванца...

Догадки возникают там, где есть загадки, и почти непременное присутствие тайны в прозе Галины Корниловой можно считать одной из черт ее творческой манеры. Полны таинственного лес, река, море, город, но главной хранительницей тайн остается для писательницы душа человеческая.

В дирекцию института некогда было подано клеветническое письмо третьекурсников, испугавшихся строгого экзаменатора,— и наступила гражданская смерть талантливого историка Покосина: отныне ему не читать лекции и не публиковать свои труды. Светлана была среди организаторов студенческой петиции, и Андрей, влюбленный в нее, подмахнул письмо не глядя.

И именно его, встретив через годы, не узнает Светлана. Сюжет с подменой героя — не редкость в литературе, но Галине Корниловой удалось создать вариант неожиданный, особенно для того, кто после ошеломительной догадки Светланы настроился на чтение детектива. Композиционно повесть построена так, что лишь на последних страницах становится известной давняя история с письмом и сегодняшние противоположные ее оценки: озорство — предательство. Морально-психологическое перерождение Андрея началось с той самой минуты, когда он потрясенно осознал, что легкомыслие обернулось безнравственностью. Муки от непоправимости совершенного в юности, переплавившись в душе Андрея, определили цель жизни — достойно продолжить дело погибшего учителя, рассказать в своих книгах о том, о чем когда-то не дали рассказать историку Покосину.

В повести о нравственном перерождении человека Галина Корнилова отказалась от некоторых художественных приемов своей новеллистики — в частности, от вплетения ирреального в повседневность героев-современников. Писательница стремилась к тому, чтобы традиционная для русской литературы тема совести, воплотившись в образах и коллизиях реальных, узнаваемых, обрела сегодняшнюю остроту и актуальность.

Лучшие рассказы последних лет, собранные теперь под одной обложкой, и новая повесть Галины Корниловой свидетельствуют о тяготении писательницы к остропроблемной психологической прозе. При чтении ее произведений вспоминаются слова, которые мы не часто употребляем,— совестливость, благородство, милосердие, честь. «Некоторые вещи нельзя заучить наизусть, запомнить, скопировать. Например, доброту, смелость, любовь к людям, нежность ко всему, что есть вокруг. Многому научиться невозможно. Но я все-таки...» В этом «но я все-таки» — неутомимость писательницы в достижении своей цели. Ведь какие бы формы общения с читателем ни выбрала Галина Корнилова, какими бы изобразительными средствами ни пользовалась — будь то ирония или романтическая приподнятость, сюжетные западни или парадоксальные концовки, реальные или инфернальные образы,— все служит воспитанию серьезных, возвышенных чувств.

М. Каменская.

★

П. Е. ЩЕГОЛЕВ. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. М. «Книга». 1987. 576 стр.

У книги Павла Елисеевича Щеголева странная судьба. О ее существовании слышал едва ли не каждый из интересовавшихся когда-либо жизнью великого поэта. Без ссылок на труд Щеголева не обходится ни одна работа о «последних днях» Пушкина. Введенные Щеголевым в научный оборот и общекультурное сознание факты воспринимаются как известные от века. И вместе с тем по-настоящему книга Щеголева знакома лишь узкому кругу специалистов. Ибо издана она была в последний раз в 1928 году тиражом 3000 экземпляров.

За почти шестьдесят лет в концепцию Щеголева было внесено немало дополнений и поправок. Стоит ли возвращаться

к давней работе? Несомненно стоит. Ибо труд большого ученого (особенно гуманитария) никогда не растворяется без остатка в последующих уточнениях — он сохраняет собственную значимость и способен преподать важные уроки новым поколениям исследователей и читателей.

Чему учит книга Щеголева?

Во-первых, масштабности подхода к изучаемому явлению. Щеголев знал о последних днях Пушкина больше, чем кто-либо из ученых его времени. Он собрал огромный свод фактов и сделал его доступным: за «исследованием» — сжатым очерком событий конца 1836 — начала 1837 года — в книге помещены документы, с которыми работал Щеголев и с которыми работают историки, нередко его оппоненты, по сей день.

Во-вторых, непредвзятости в отношении материала. Щеголев не спешил дискредитировать малодостоверные источники (типа воспоминаний дочери Н. Н. Пушкиной от второго брака А. П. Араповой или приятеля Дантеса А. В. Трубецкого). Он не боялся «лишних» документов, так как знал: и в груде лжи можно найти зерна истины.

А в-третьих, и это теснейшим образом связано с тем, что говорилось выше,— умению работать с источником. Изначальное доверие к новому факту сочеталось у Щеголева с редкой трезвостью в оценке этого нового, способностью видеть подтекст и контекст того или иного свидетельства, подчас меняющие его наглядный смысл на противоположный.

Всего этого было бы, возможно, и мало (лишь в скобках скажем о блестящей технике Щеголева-текстолога, о его феноменальной эрудиции в вопросах политической истории, русской и иностранной генеалогии, о его даре литератора, умеющего сочетать занимательность с методичностью), не будь самого главного — исследовательской целеустремленности. В книге Щеголева есть сквозная и организующая материал мысль — мысль о духовном противостоянии Пушкина и того, что сам поэт именовал «свинским Петербургом». В истории последней дуэли Щеголев увидел не роман в духе французской «неистовой словесности», не цепь дурных случайностей, но хронику борьбы поэта за свое человеческое и гражданское достоинство

Без этой мысли не было бы книги Щеголева. Более того — подобная трактовка драматических событий стала отправной точкой для будущих исследователей, одним из важнейших заветов советской пушкинистике. И в то же время именно эта мысль, богатая у Щеголева полемическими обертонами и звучавшая совсем не так привычно, как сегодня, вела к некоторым издержкам его работы. Исследователю иногда не хватало диалектики — он был излишне категоричен в своих характеристиках Н. Н. Пушкиной или В. А. Жуковского, он «пережимал» в рассуждениях о «намеке по царской линии», якобы содержавшемся в анонимном пасквиле, да и обвинения в адрес П. В. Долгорукова как составителя анонимного диплома были отчетливо пристрастны.

Было бы нелепо закрывать глаза на издержки труда, созданного почти шестьдесят лет тому назад. Но не менее нелепо было бы сводить этот труд к одним издержкам. Столь часто повторяемые слова Пушкина об «уважении к преданию» побуждают нас относиться к научной классике бережно и тактично, помня о том, что гуманитарные труды создаются не в торричеллиевой пустоте, но в гуще идеологической борьбы, что сила и слабость ученого, жившего пятьдесят, сто, двести лет назад, взаимосвязаны и что грех быть не благодарным тем, у кого не могло быть нынешнего духовного и социального опыта.

Думается, из сказанного ясно, почему должно приветствовать научное переиздание книги Щеголева. Читатель наконец может увидеть богатейшие материалы, сведения о которых он так долго получал из вторых, а то и третьих рук. Обстоятельный комментарий Я. Л. Левкович (она же — автор вступительной статьи к изданию) поможет оценить старую монографию по достоинству, скорректирует в нужных случаях суждения Щеголева, познакомит с гипотезами его продолжателей и оппонентов, с новообнаруженными документами (они обильно цитируются, что повышает ценность издания). Подробные библиографические отсылки открывают читателю путь ко множеству разнородных работ и тем самым стимулируют его интерес к Пушкину и опыту пушкинистики, прививают исподволь навыки научного мышления. Перед нами не только памятник историко-литературной мысли, но и отчет о современном состоянии вопроса — дуэль и смерть Пушкина, вопроса, вызывающего постоянный и напряженный интерес.

А. Немзер.

★

И. М. ЗАБЕЛИН. Мудрость географии. М. «Просвещение». 1986. 192 стр.

Замечательному советскому ученому, писателю, географу и путешественнику Игорю Михайловичу Забелину не суждено было дождаться выхода этой книги: он скончался в 1986 году в канун своего пятидесятидевятилетия. Последние деяния человека всегда несут отпечаток прожитой жизни, но в данном случае выход книги под таким названием особенно символичен.

Мудрость географии как науки, считает Забелин, не может быть усвоена без обращения к ее истории, к многотысячелетнему процессу освоения человеком земной поверхности, полному разнообразных противоречий и коллизий. История природы и история человечества теснейшим образом переплетаются между собой, а в наш век они слились, по существу, в одну природно-социальную историю. Об этом говорит хотя бы немыслимая прежде «гамлетовская» острота экологических проблем современности. История географии доказывает, что в этой науке практика и теория, действие и мысль, поступок и идея всегда шли рука об руку, взаимно обогащая и стимулируя друг друга. Не случайно в книге Забелина мы встречаемся с учеными, сумевшими воплотить в своей жиз-

ни единство действия и мысли: А. Гумбольдтом, К. Риттером, Л. С. Бергом, В. И. Вернадским, А. Н. Красновым, А. А. Григорьевым и другими. И хотя книга по преимуществу исторична, собеседования (именно собеседования!) автора со своими героями целиком обращены к современности.

Автобиографические страницы, составляющие добрую треть книги Забелина, носят характер искренней, идущей от самого сердца исповеди. Автору были свойственны доброта и сострадание к людям, мягкий, незлобивый юмор, временами окрашиваемый легкой грустью. Игорь Михайлович писал стихи философского содержания, в своих многочисленных экспедициях и путешествиях систематически вел научный дневник, обогащая его художественными впечатлениями. Читая книгу, постоянно чувствуешь, что она написана не только ученым, но и художником, поэтом: «Бывают ли деревья вежливыми?.. Наверное, деревья всякие встречаются, но березе как раз это не нужно, ибо владеет она более тонким и глубоким, владеет прирожденной тактичностью, и кажется мне в этом бесподобной,— по этой или по другой причине, но рядом с березой хочется быть чисто одетым и не хочется громко разговаривать: береза склоняет к доверчивости, к интимности, к шепоту... И все же два раза в году березы позволяют себе вольности: весною, когда все вокруг матово-стыло, они прорастают неяркими, но приметными сережками, а осенью продуманно-кокетливо седеют редкими желтоватыми прядями,— это как последний шанс, это как просьба вернуться, обращенная к уже ушедшему лету».

Все это прекрасно, скажет иной читатель, но при чем здесь география? В таком вопросе вольно или невольно подразумевается та засушенная география, которой все мы, как говорится, сыты уже по горло — благодаря не только школьным и вузовским учебникам, но и в значительной мере многочисленным ученым трудам. В чем же, по Забелину, мудрость географии? Она в неоднозначности, нередко альтернативности предлагаемых подходов и решений, в критическом усвоении уроков прошлого, в обращенности к злобе дня. А главное, в том, что эта наука призвана прежде всего созидать в человеке человека.

Чтобы осуществить в полной мере свое гуманистическое предназначение, возникающей на наших глазах новой географии необходимо, по мнению Забелина, критически переосмыслить предмет своего исследования. Им должна стать биогеносфера — область зарождения и воспроизводства жизни, взаимодействия живого и неживого, сфера жизни человека. Лишь в содружестве со своими родными сестрами — геологией, биологией, антропологией, этнографией, социологией, экологией, философией — география сможет подняться к вершинам подлинной мудрости.

И. Мочалов,
доктор философских наук.

★

К. СЫТНИК, В. ГАЛУЗИНСКАЯ. Ботанические тетради. Киев. «Наукова думка». 1986. 239 стр.

«Множество смятений человеческого духа умеряет, смиряет созерцание жизни растения». С этой жизнью мы сталкиваемся повседневно, подчас совершенно ее не замечая. Авторы книги серьезно озабочены этим, они неспроста бьют тревогу, призывая нас оглянуться, понять свою роль в хрупком и непрочном мире.

Что люди знают о ботанике? Если спросить об этом неспециалиста, то, вспомнив, разумеется, что это наука о растениях, он скажет что-нибудь о пестиках и тычинках. Примерно с этого, с первых подробностей того, как живое само себя воспроизводит, и начинают свою книгу К. Сытник и В. Галузинская, чтобы потом окунуться в бездонную глубину темы.

Не впервые обращается литература к жизни растений, но давно, кажется, не был слышен голос столь внятный. Проблема отчуждения человека от природы, душевного отрыва от нее очень остра.

Именно сегодня, когда борьба за охрану окружающей среды приобрела глобальный масштаб и тем самым тоже как бы отчуждена от повседневных чувств и мыслей каждого, так своевременна книга, любовно и настойчиво рассказывающая о чуде раскрывающегося цветка, о невероятных возможностях обыкновенного гриба, о тайнах, скрывающихся в скромных стебельках, лепестках, корнях, о том, насколько растения близки человеку и как они служат его здоровью — не только физическому, но и нравственному.

«Тысячи инженеров и ученых трудятся для того, чтобы дома были выше, города — больше, электростанции — мощнее, а самолеты — быстрее. Городской пейзаж за окнами манит воображение деревенского жителя, а счастье созерцания круглосуточных перемен живого заменяет ежедневный ритм общения с машиной-домом, машиной-лифтом, машиной-трамваем и машиной-конвейером. И крошечные передышки в этом ритме для общения с живым тонут, теряются в престижном потреблении вещей, лекарств, комфорта».

Ключевая глава книги называется «Космический оптимизм». Она о Николае Григорьевиче Холодном — выдающемся ботанике и философе. Опираясь на научные и философские труды ботаников прошлого, авторы пытаются донести до нашего сознания тот факт, что человек — не единственный ценный вид живого на планете. Что, ощущая себя частью всего живого, он оказывается мудрее, счастливее, гармоничнее как личность и может целесообразнее строить свое поведение в своих же человеческих и общественных интересах.

Если внимательно вникнуть в строй и ритм «Ботанических тетрадей», то обнаружишь, что гористый, затканный садами Киев виден едва ли не в каждой строке. «И как не сказать, что наш многажды упомянутый сад сегодня окутан туманом, влагой внезапно сломившейся зимы. Что декабрьский день в саду весь как сумерки, от восхода до заката солнца проходит всего часов семь. В коротком этом дне стоят

агатово-черные деревья, влага, тяжелая, как смола, скатывается по стволам. В ярах туман, он поднимается снизу и сливается с тем, что клубится и дышит в ветвях. Нет, не праздничный этот день в природе, но как прекрасен. И заглушая запах сырости, волшебный дух уснувших растений поднимается от земли, вливая свежесть, силу, душевный покой».

Легко понять, что книга, увидевшая свет в разгар аварии в Чернобыле, написана несколько раньше. Не скоро восстановятся прежние близость и доверие к природе у тех, кого непосредственно коснулась грозная катастрофа. Но остается в силе главная мысль книги: радость бытия, душевную силу, размыкающие кольцо одиночества и страха, человеку может дать только общение со всем живым, что растет, дышит, развивается вокруг.

О. Белозерова.

★

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ. Философские произведения. М. «Наука». 1986. 703 стр.

В 1958 году крупнейший в нашем веке знаток и исследователь творчества Эразма Роттердамского Перси Стаффорд Аллен завершил издание десятитомного собрания писем, ставшего существенным дополнением филологического наследия этого титана Возрождения, популярнейшего мыслителя своего времени и вдохновителя гуманистического движения в Европе. Для нашего читателя Эразм долгие годы оставался автором одной книги — бессмертной в веках «Похвалы Глупости». Мало кто знал, например, что в юношеские годы, будучи облаченным в монашескую рясу, Эразм писал великолепные стихи. Эти стихи вышли на русском языке в серии «Литературные памятники» только в 1983 году и привлекли внимание читающей публики особым взглядом на средневековье, зафиксированным в лаконичных строках «поэзии ученой и священной». Более полному знакомству с творчеством Эразма Роттердамского мешал установившийся взгляд на него преимущественно как на ученого-богослова. Судьба его философского наследия — типичный пример того, как отчасти по нелепости, отчасти из-за упрощенного подхода к личностям со сложным мировоззрением мы лишали себя части мирового духовного богатства.

«Диатриба, или Рассуждение о свободе воли» (ответ на лютеровский трактат «О рабстве воли»), а также переписка Лютера и Эразма в 1519—1526 годах вскрывают принципиальное неприятие Эразмом догматической религиозности. Положения христианского вероучения для него все равно что языческое идолопоклонство, идеологи которого «имели обыкновение защищать свои учения мертвой хваткой, и, если мир отвергал их, если все свистели и шикали, они, однако, упорно настаивали на том, в чем единожды себя убедили».

В «Диатрибе...» решается вопрос, может ли один заблуждающийся, но обладающий властью человек диктовать свою волю остальным, повелевать ими. Эразм остро полемизирует с Лютером, отстаивавшим тезис о подчинении человеческих устремлений букве Священного писания. Но если в юные годы Эразм стоял на позиции откровенного нигилизма («Не считай верным то, что делают начальники»), то теперь, когда пишется «Диатриба...», он говорит: «Я здесь не играю роль судьи, я выступаю как диспутатор». Решает народ — от этого убеждения Эразм не отступал до конца своих дней. В Реформации, ставшей следствием его же идей, он усматривал лишь слепое следование воле одной «сильной личности».

Наиболее полно Эразм выразил свои взгляды в «Оружии христианского воина». Тридцатидвухлетний слушатель Сорбонны произвел свою малую духовную реформацию, совершил переворот в сознании значительной части тогдашней просвещенной публики. «„Оружие..." я написал не затем, чтобы похвастаться остротой ума или красноречием,— сообщает он сам в письме Джону Колету,— но ради того единственно, чтобы рассеять заблуждение б о л ь ш и н с т в а, для которого вся религия — в обрядах и, я бы сказал, более чем иудейском соблюдении внешних правил...»

Через два с небольшим десятилетия после смерти Эразма все им написанное было изъято из библиотек и сожжено, а затем на целых полтора столетия попало в папский Индекс запрещенных книг.

«Не думаю, чтобы плоды моих занятий намного пережили меня, а о бессмертии для них и мечтать не смею» — так сурово оценивал свои труды Роттердамец. Предназначение свое он видел в служении истинному знанию, которое «помогает благочестию больше, чем внешний вид, телесные силы или богатство». Среди бесконечной пестроты человеческой жизни, к истолкованию которой его постоянно влекло, он считал главным «желание всем добра» и служение людям «достойными средствами».

Эразм-философ намного опередил свою эпоху. У него нашлись продолжатели. С началом Реформации, когда рухнули многие надежды, когда был казнен автор «Утопии» Томас Мор — близкий друг и соратник Эразма, о великом расцвете наук и искусств мечтал Монтень: «Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке в духе разума, но безо всяких чудес и необычностей». Из посеянных гуманизмом семян взрастали новые философские течения.

В. Ковалев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. С. Горбачев. Избранные речи и статьи Т. 3. 511 стр Цена 1 р 10 к.

И. Гуро, А. Андреев. «Конь мой бежит...». О Викторе Курнатовском. 253 стр Цена 55 к

Л. Зорин. Особое задание 176 стр. Цена 25 к

З. Косидовский. Сказания евангелистов. Перевод с польского 256 стр. Цена 1 р

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Гоголь. Избранные сочинения («Библиотека учителя») 703 стр. с илл Цена 5 р. 10 к

М. Зощенко. Рассказы 111 стр. Цена 1 р 30 к

Лукиан. Избранное Перевод с древнегреческого. («Библиотека античной литературы») 623 стр. с илл. Цена 3 р 40 к.

А. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги Роман 366 стр Цена 2 р. 80 к

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Вакснберг. Белые пятна Очерки 367 стр. Цена 1 р

А. Тарковский. От юности до старости. Стихи 111 стр Цена 40 к

Тверской бульвар, 25. Голоса молодых Сборник стихов студентов Литературного института имени А. М Горького. 238 стр. Цена 1 р 10 к

«РАДУГА»

Я. Сейфет. Прощание с весной. Избранная лирика Перевод с чешского 182 стр. Цена 95 к

Д. Стюарт. Круглая мозаика. Пирамидный дюйм. Мамелюки. Романы Перевод с английского. 655 стр. Цена 4 р 40 к.

С. Цвейг. Статьи. Эссе Вчерашний мир Воспоминания европейца. Перевод с немецкого. («XX век Писатель и время») 479 стр Цена 2 р. 70 к

Т. Янсон. Честный обман Повести Рассказы. Перевод с шведского 376 стр. Цена 2 р. 20 к.

«ИСКУССТВО»

Ю. Айхенвальд. Александр Иванович Сумбатов-Южин. («Жизнь в искусстве») 304 стр. Цена 2 р.

В. Демин. Цветение земли. Книга о тринадцати литовских фотографах 222 стр. Цена 1 р. 90 к.

Р. Харвуд. Костюмер. Перевод с английского. («Современная зарубежная пьеса») 87 стр. Цена 50 к

У. Хогарт. Анализ красоты. Перевод с английского 254 стр Цена 2 р.

«НАУКА»

В. Божович. Традиции и взаимодействие искусств Франция. Конец XIX— начало XX века. 320 стр. Цена 1 р 30 к.

Ломоносов и русская литература. 390 стр. Цена 2 р. 10 к.

Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. 400 стр Цена 1 р. 80 к.

Роман о Лисе. Перевод со старофранцузского 160 стр. Цена 65 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вовеки живые. Из испанской поэзии военных лет 1936—1939 Перевод с испанского. 175 стр Цена 45 к

И. Зиедонис. Сказки. 79 стр. Цена 2 р. 20 к.

Признание. Элегии русских поэтов XIX века 286 стр. Цена 85 к.

А. Томилин. Рассказы об электричестве. Очерки истории электричества от древности и до наших дней 302 стр Цена 1 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

М. Булгаков. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Романы Кишинев. «Литература артистика» 768 стр Цена 4 р. 70 к.

И. В. Гёте. Избранные стихотворения и проза Перевод с немецкого Петрозаводск. «Карелия» 335 стр Цена 1 р. 20 к.

П. Ершов. Конек-Горбунок. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 79 стр. Цена 15 к

Б. Мейлах. Декабристы и Пушкин. Страницы героико-трагической истории. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 367 стр. Цена 70 к.

М. Цветаева. Поэмы Стихотворения Уфа. Башкирское книжное издательство. 287 стр. Цена 1 р. 10 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Д. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, А. И. Стреляный, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 18.07 87 г Подписано к печати 08.09.87 г. А 03827.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п. л. (23.8 усл.-печ. л.) 27.14 уч.-изд. л.

Тираж 495 000 экз. (1-й завод 1 — 215.000 экз.). Зак. 2710.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6 Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 коп. 70636

В 1988 году «Новый мир» предполагает опубликовать:

Ч. Айтматов — «Богоматерь в снегах» (повесть), В. Астафьев — «Смельчик — Ельчик» (притча), А. Бэл — «Люди в лодках» (роман), И. Герасимов — «Ночные трамваи» (роман), Д. Гранин — «Источники любви» (повесть), Ю. Домбровский — «Факультет ненужных вещей» (роман), В. Крупин — «Бумага» (роман-завещание), Б. Можаев — «Изгой» (роман), В. Орлов — «Аптекарь» (роман), Б. Пастернак — «Доктор Живаго» (роман);

повести и рассказы В. Белова, В. Быкова, Ф. Искандера, Б. Окуджавы, Е. Попова, В. Распутина, Э. Сафонова, В. Солоухина, Т. Толстой;

стихи Б. Ахмадулиной, Г. Виеру, Е. Винокурова, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Ю. Кузнецова, Ю. Марцинкявичюса, А. Межирова, Р. Рождественского, П.-Э. Руммо, Д. Самойлова, В. Соколова, Н. Старшинова, Н. Тряпкина, М. Шелехова, Г. Эмина;

очерки и статьи М. Кострова, Г. Лисичкина, И. Маркелова, А. Нуйкина, В. Селюнина, Ю. Черниченко;

литературно-критические статьи А. Адамовича, Л. Аннинского, И. Дедкова, А. Зверева, В. Лакшина, А. Лебедева, А. Марченко, Ст. Рассадина, Б. Рунина, А. Туркова, О. Чайковской, С. Чупринина;

из литературного наследия Д. Андреева, В. Вернадского, В. Овечкина, А. Ремизова, В. Шаламова, Б. Шергина;

иностранная проза: К. Э. Портер — «Корабль дураков», В. Вулф — «На маяк».

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.

Новый мир, 1987, № 10, 1—272.